



КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ

Орган
творческого
объединения
писателей
Коломны

Литературный ежегодник

ИЗДАЕТСЯ В КОЛОМЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

ВЫХОДИТ С 1997 ГОДА

2007

ВЫПУСК
ОДИННАДЦАТЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

СОВРЕМЕННАЯ
ПРОЗА

Олег КОЧЕТКОВ

МОЯ КОЛОМНА 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ, КОЛОМНА! 7

Валерий КОРОЛЁВ

ПРОДАЁТСЯ МОТОЦИКЛ. Рассказ 11

Владислав ЛЕОНОВ

ДВОЕ ИЗ ХРУЩЁВКИ. Рассказ 17

Виктор МЕЛЬНИКОВ

ГДЕ-ТО В СИБИРИ... Рассказ 31

Сергей МАЛИЦКИЙ

ДЕРЕВЕНСКИЙ КИБЕРПАНК. — ОКНО. —

СТАРЬЁВЩИК. — ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ.

Рассказы 53

Роман СЛАВАЦКИЙ

БИТВА У ЛАГЕРЯ. — НОЧЬ В ТРОЕ.

Главы из книги «МЕМОРИАЛ» 63

ПОЭЗИЯ

Виктория НЕЧАЕВА
ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК. — РЕДКИЙ ВИД.
Рассказы 75

Евгений ЮШИН
РАЗГОВОР С ТУМАНОМ 89

Григорий ВИХРОВ
ИЗ МОЛИТВЫ МАТЕРИ 93

Михаил МЕЩЕРЯКОВ
ИЗ ЭПИГРАФОВ 95

Нина СОЛОВЬЁВА
СУМЕРКАМИ ЗИМНИМИ 99

Юрий ГОРБАТОВ
УСПЕТЬ СКАЗАТЬ 103

Леонид КОСС
МОЯ ТРУДНАЯ РОДИНА 107

Вадим КВАШНИН
ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ ГОДА 111

Екатерина УСТИНОВА
СНЕЖНОЕ РУКОДЕЛИЕ 115

Евгений ЗАХАРЧЕНКО
ОДИНОКИЙ СТРАННИК 119

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Александр ДЕНИСОВ,
Константин ПЕТРОСОВ
«ЭТО БЫЛ СЛАВНЫЙ ГОРОДОК».
Коломенские мотивы и образы в повести
А.В. Чаянова 125

Александр ЧАЯНОВ
ИСТОРИЯ ПАРИКМАХЕРСКОЙ КУКЛЫ,
или ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
МОСКОВСКОГО АРХИТЕКТОРА М. 133

ТЕАТР

Николай АНТОНОВ

ТРАК. Трагическая комедия в двух действиях
с эпилогом 155

ПОРТАЛ

Роман СЛАВАЦКИЙ

АМФОРА. Книга стихов 191

БЕСЕДЫ
О ЛИТЕРАТУРЕ

Капитолина КОКШЕНЁВА

ЧТОБЫ ГРЕХ НЕ СТАЛ ПРАВДОЙ
ЖИЗНИ 211

КОЛОМЕНСКАЯ
СТАРИНА

Герард Фридрих МИЛЛЕР

ЕЗДА В КОЛОМНУ 225

Николай КАРАМЗИН

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ МОСКВЫ 239

Алексей ТОЛСТОЙ

ПОВЕСТЬ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ 243

КОЛОМЕНСКИЕ
ТИПЫ

Валерий ЯРХО

ВДОВА ТУПИЦЫНА 259

Валерий КОВАЛЕВ

ЭКСТРЕННЫЙ СОЗЫВ 271

РОДИМАЯ
СТОРОНА

Александр СУСЛОВ

УСАДЬБА КРИВЯКИНО 279

Ирина РАКША

«НАД ПОЛЯМИ ДА НАД ЧИСТЫМИ» 295

ЛИЧНОСТЬ

Борис АРХИПЦЕВ

АЙ ДА КРАПИВИН!
АЙ ДА «ЩУКИН» СЫН! 303

Анатолий КУЗОВКИН

ЕГО НАЗЫВАЛИ КОРОЛЁМ ЭПИЗОДА 309

КУПАЛІНКА

Михась КОЗЛОВСКИЙ

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ 321

Лидия ГОРДЫНЕЦ

ПЕСНЕЮ РИФМА ПРИДЁТ 325

Таисия ТРОФИМОВА

ПОСПЕЛИ ВИШНИ 327

ДУХОВНАЯ НИВА

Владимир КРУПИН

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ,
ПЕРВОУЧИТЕЛИ СЛАВЯНСКИЕ 331

Священник Андрей ЛОГВИНОВ

КРЕСТНЫЙ ХОД 337

Роман СЛАВАЦКИЙ

ТАЙНА КОЛОМНЫ 343

Уважаемые читатели!

Впервые в нашей истории культурной столицей России становится подмосковный город. День славянской письменности и культуры 2007 года отмечается в древней Коломне. И это, конечно же, не случайно. Коломна — церковная столица Московской земли. И вот уже не одно столетие копят здесь сокровища культуры и искусства. Так совпало, что в нынешнем году Коломна отмечает свое 830-летие. Поэтому нынешний выпуск «Коломенского альманаха» посвящён и этой дате. Словно два крыла, две цифры — 1177 и 2007 — поднимают ввысь коломенскую историю. Пусть вечно парит над Коломенским кремлём эта величавая птица!

Издание выходит при поддержке администрации городского округа Коломна и Коломенского государственного педагогического института



Олег КОЧЕТКОВ

МОЯ КОЛОМНА

* * *

Коломна — мой город старинный!
Наличников мудрый узор.
Над крышами крик журавлиный
Проносится в зябкий простор.
Ты камень потрогай замшелый —
К векам прикоснёшься рукой.
Тут в церкви высокой и белой
Венчался сам Дмитрий Донской.
Здесь древность не сильно задета —
Увидишь, чуть взором скользни:
Спортклуб под названием «Комета» —
Маринкина башня вблизи.
А далее, чуть за рекою,
Стога, и щемящая ширь,
И, полон былин и покоя,
Бобрёвский монастырь.
Я молча всё это приемлю
С какою-то вещей тоской...
Найти ли подобную землю?
Нигде не найти мне такой!

* * *

И снова озябшие клёны
Листвой облепили ограду.
Окраиной древней Коломны
Пройду, на скамейку присяду

Над тёмной, холодной рекою,
Где лодки торчат на приколе,
Почувствую ветер щекою,
Увижу Бобренево, поле.
И вспомню, как кони Батя
Храпели, топтали посевы.
Столетия, години крутые,
Отважные пращурь, где вы?!
Шумел свежий ветер в осоке,
Когда, вынув лук из колчана,
Земляк мой, Торопка далёкий,
Сразил молодого Кюлькана.
Шумел свежий ветер... Как странно...
Был день неожиданно светел.
Где прах от стрелы и колчана?
Ни памятника, ни кургана...
Шумит над Коломною ветер...

* * *

Снова уводят меня из Коломны
Ранних стогов золотые шеломы,
Поле широко, дорога пустынна,
Вольная доля да песня-кручина.
Столькие к ней обращались
с мольбою!
Столькие звуки покрылись травой!
Даль необъятна, и небо бездонно,
Сердце болит от полынного звона...

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ, КОЛОМНА!

Мы поздравляем тебя, Коломна, с великой и праздничной датой. Немного наберётся на Руси городов с такой давней и царственной историей. Восемьсот тридцать лет назад летописцы впервые занесли твоё имя в исторические хартии. И с тех пор, столетие за столетием, струилась вязь твоей жизни, плелась кольчуга кремля, белыми жемчужинами восставали духовные оплоты.

Мы помним кровь русских воинов, защищавших у твоих стен остатки Рязанского княжества и границу великого Владимира в январе 1238 года. Мы помним, как вступал в город через Пятницкие ворота благоверный князь Даниил, присоединяя твои земли к Москве. Мы помним рати Дмитрия Донского и чтим сынов твоих, чьими трудами украшался твой лик. Словно великая княгиня, убрана ты в узорные ризы старинных построек. Твои ремесленники и купцы, твои мастеровые разнесли славу о тебе по всей России и даже за пределы её.

От искусных средневековых мастеров слава твоя дошла до времён Петра Великого, когда наш люд строил питерскую Коломну, а потом и до века двадцатого, когда коломенцы ковали столичный Дворцовый мост. О Коломне грохочут по всей Европе твои станки и тепловозы. И если раньше в твоих кузницах делали брони и копья, то теперь Отчизну хранит ракетный щит, скованный твоими сынами.

Мы поздравляем тебя, Коломна, мы поздравляем твоих талантливых жителей с Днём славянской письменности и культуры, столицей которого ты стала в нынешнем году. И заслужена то-

бой эта почеть! Неисчислимы сокровища духовной культуры, литературы, искусства, скопленные тобой за столетия. И мы гордимся тем, что частица и нашего труда вложена в твои богатства.

Вот уже более десяти лет издаётся «Коломенский альманах». По сравнению с восемью столетиями это, казалось бы, немного. Но для того переломного времени, в которое мы живём, когда меняется социальная структура, да и вся жизнь общества, десять лет — это целая эпоха. И мы, не стыдясь, можем сказать, что за этот срок не уронили твоего имени.

Трудами твоих прозаиков и поэтов, заботами щедрых меценатов голос твой, прежде почти неслышимый, прозвучал ясно и отчётливо. По всей стране, как дорогой подарок, передаются книжки альманаха, а за его нарядной обложкой хранится, запечатлённая навеки, твоя душа. Мы рады тому, что и некоторая наша заслуга есть в твоём сегодняшнем празднике.

Два памятника возвысились над коломенской землёй в этом году: князю Димитрию Донскому и братьям-просветителям Кириллу и Мефодию. Это, конечно, очень важно для Коломны в архитектурном плане, потому что до сих пор город не имел монументов, достойных его истории. Но сегодня хочется подумать о духовной связи этих памятников. Великий князь Московский, собирающий войска на битву, и два равноапостольных брата, воздвигшие священный крест над просторами Москвы-реки... Что общего между ними?

Есть, есть эта общность! Ибо Куликовская победа стала торжеством не оружия, но духа. Без тех драгоценных словесных семян, которые были брошены на славянскую почву, не поднялась бы великая русская культура, не возвысилась бы русская душа. И нынешний праздник — свидетельство глубинного единства нашей государственности и культуры.

Об этом звенят коломенские колокола, об этом поют великие хоры, об этом говорят поэты и учёные. День славянской письменности и культуры вызвал всплеск духовной жизни. Давно Коломна не видела столько выставок, новых книг, художественных альбомов...

Совсем недавно археологи нашли в твоих глубинах остатки поселения каменного века. Это одно из древнейших человеческих обиталищ на территории России. Из палеолита, из дали десяти тысяч лет, и до космонавта-коломенца, который дважды покорил околоземное пространство, пролёт твой путь.

И мы поздравляем тебя, Коломна, с прекрасным праздником! Пусть мир почиет над тобой и твоими гражданами, создающими для потомков славу Отчизны!

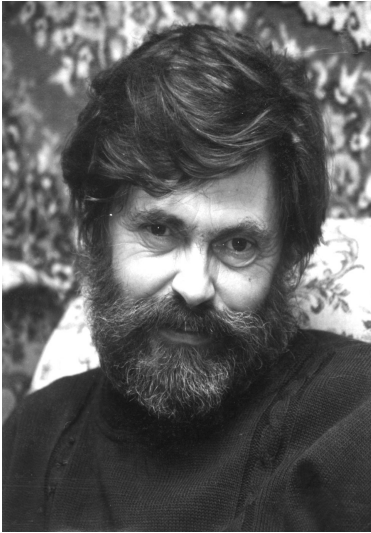
Виктор МЕЛЬНИКОВ

СОВРЕМЕННАЯ
ПРОЗА





Церковь Николая Гостинного на ул. Успенской (Лазарева)



Валерий Васильевич Королёв (1945—1995) родился в Москве. Окончил восемь классов общеобразовательной школы, затем музыкальное училище, Московский институт культуры. После службы в армии работал преподавателем музыкальной школы, методистом Дома народного творчества, инструктором райкома КПСС.

В 1979 году переехал в Коломну.

Первый рассказ был опубликован в 1981 году. Рассказы печатались в журналах «Сельская молодёжь», «Студенческий меридиан», «Юность», «Крестьянка», в еженедельнике «Литературная Россия».

Автор двух книг прозы — «Жизнь как жизнь» (1984), «На трёх буграх» (1990).

ПРОДАЁТСЯ МОТОЦИКЛ

Издалека течёт Угожа-река. Привольно Угоже на лугах резвиться. А много сотен лет тому назад стоял на Угоже коренной лес и лишь в одном месте, среди дрёмы чащобной, у подножия холма, зеленела проплешина-полянка.

В те времена кругом на многие дни пути не было ни кола, ни двора, ни души человеческой. Угожа-река, все земли по реке были свободны, не властвовал над ними никто, и листья древесные, и иглы еловые, и птичий пересвист, и звериный рык ни за кем не числились и нигде не значились. Тишина стояла. А среди тишины, на поляне-пятаке, жил человек. Бортничал, рыбу ловил, охотой промышлял. И была у него дочь, красавица Василиса.

Однажды по весне, только лёд с верховья сплыл, шёл по Угоже с полком чужедальний князь. Шёл в поход за славой, за казной, потому как что за князь без славы, что за слава без казны.

Пристали ладьи у полянки, вышли воины на берег, поклонились князю, говорят:

— Княже, порасходовали мы силу на работу чёрную. Ладони вёслами в кровь избиты. Ну как за излучиной из щитов забор завидится? Чем прикажешь тот забор ломать? Прикажи, князь, деревья рубить, разложить костры, передохнуть.

Утром села Василиса в лодочку, поплыла за мысок, с мужских глаз долой, умыться на приволье, косу переплести. Только отплыла, а лодка уж назад летит, Василиса что мочи огребается.

— Беда! — кричит. — Речка ладьями запружена, над водой лес копейный вырос, притаились вороги, видно, ночи ждут.

И ударил тогда князь на князя. И великая сеча была. И покраснелась от крови Угожа. И стон стоял над чащобой. И по-

бил князь князя, перенял славу, казну, а Василису то ли сделал женой в награду, то ли наложницей в наказание: умалчивает легенда, какой князь победил. Да в том ли дело? Главное — увенчалось всё, как положено: повелел князь ставить крепость-монастырь, отвалил на то часть казны.

И полетели годы. Стояла над Угожей крепость-монастырь, ходили мимо туда-сюда одружиненные князья, селились по Угоже люди, сводили коренной лес, пахали пашни. Проползли по Угоже тьмы иноплеменных орд, осели по этим местам, а время пришло — скатились к югу, словно талая вода по весне. Всё шло своим чередом, и могло случиться, что не стоило сейчас о тех временах вспоминать. Да никуда не денешься.

Крепки монастырские стены, да не под силу им бремя веков. Горы цельнокаменные и те время рушит, а что перед тяжестью времён творение рук человеческих? Грызут, точат годы монастырь. То трещина вдруг башню озмеит, то осыплется ещё один зубец, то пронзит солнечный луч соборный купол насквозь. Капля за каплей иссякает былая красота.

Сельцо Борисово плотно обложило монастырь, а несколько домов забрались за монастырскую стену, расположились внутри, которому как вздумалось, без всякого порядка. Один приткнулся к «собору каменному», другой спрятался за трапезной, третий въехал в монастырский погост и весело лупил окна-глаза на гранитные надгробья и кресты, мутные от времени, вросшие в землю, испятнанные тёмно-зелёным мхом с северной стороны.

Дом Микотиных стоял у ворот. Слева от него въездная башня, в тылу крепостная стена, а уж сарай, летний домик-беседка, огород — справа, вдоль стены тянутся.

— Ладно поставлен, в затишке, — пояснял старший Микотин, Мирон Фёдорович. — Ни тебе зимой ветру, ни летом жары. Всё мимо.

С чего, по какому случаю Борисово монастырь обложило — сельчане не помнят. Старожилы перемёрли, а среднему поколению как-то всё получалось не до того. Младшему же, вроде Тольки Микотина, вообще на то наплевать. Что толку в прошлом копаться, тут другие проблемы надо решать: диск бы с «Араксом» добыть да отца растрясти на заграничные джинсы. А крепость, село — да Бог с ними. Не нами заведено — не нам голову ломать. Ну её, эту историю с географией. Денег от неё в кармане не прибавится, и Валька сильнее не полюбит. Хотя иногда и с истории доход можно иметь. Но это редкость, случай, такое бывает раз за сто лет.

Прошлым летом решил Толька вымостить дорожку у дома. Покидал в тачку кувалду, ломик, отправился к западной стене. В подобных случаях монастырь всегда выручал, все борисовские поступали так. Надо ли во дворе дорожку вымостить, фундамент под сараюшку подложить или огоряду какую сладить — сейчас соберутся кагалом и под стены подступают. Отколотят камня сколько надо, в машину навалят — и рады-радешеньки: удобно, далеко не ездить, ни у кого не просить, и денег платить не надо, мы, мол, с этой крепостью как у Христа за пазухой, живи не тужи хоть тысячу лет. И верно: что тужить, всё под рукой. Камня ли известкового надо чуток, кирпичику битого, железку ли какую в хозяйстве пристроить — иди на стены, в башни, пошарь как следует — всё сыщется.

Подъехал Толька к стене, ухватил кувалду, к-а-а-к хрястнул по кладке — кувалда внутрь стены улетела. Жалко стало кувалду. Взял Толька ломик, расковырял пошире пролом, полез искать. Смотрит: стоит в тайнике сундук, стенка отвалилась, кувалда рядом валяется. «Во врезал, — удивился. — Сила есть, ума не надо». А сам руку в сундук: ну если клад?

Золота, камней драгоценных в сундуке не оказалось. Одни иконы. Тёмные, чёрт не разберёт, что там нарисовано. Хотел ребяташкам раздать, но решил сначала показать отцу.

— Счастье тебе, дурень, привалило, — обрадовался Мирон Фёдорович. — Нашим, сельским, ни гугу. Будет тебе мотоцикл «Планета». Понял?

Сложил Мирон Фёдорович иконы в мешок, отбыл в город, а через пару недель гонял Толька на мотоцикле «Иж-Планета-Спорт», и сзади сидела соседская Валька, дышала в шею, давила в спину высокой грудью.

Бородач постучал под вечер.

— Пустите пожить на недельку, — попросил. — Нужно очень. Я заплачу.

Мирон Фёдорович изучающе оглядел рыжие волосы, рыжую же, лопатой, бороду, голубые усталые глаза.

— В отпуск, что ли? — поинтересовался.

— Нет, — отвечал бородач. — Книжку пишу об архитектуре. Надо по стенам ползать, кое-что уточнить.

Бородач оказался человеком тихим. Чуть свет, только солнце ударит лучом в соборную луковицу, выпьет он кружку молока, захватит рулетку, фотоаппарат, толстую тетрадку, уйдёт на стены, и целый день его нет. Вернётся затемно. Поужинает что подадут, и спать. А утром опять на стены. Спокойный человек, неразговорчивый. Попробовал Михаил Фёдорович его на рюмочку позвать — не вышло ничего, отказался наотрез.

— Вы уж извините, — покраснел. — Времени на это нет.

Борисовские решили: чудик. На Угожу купаться не идёт, углы, бойницы, зубцы обмеряет, пишет что-то на солнцепёке, камни фотографирует. От выпивки задарма отказался — мыслимое ли дело!

— Знаю я таких, — уверял односельчан Шемякин Андрей. — На службе на них насмотрелся. Ходят по улице, словно белены объелись. Уставятся на дом и ахают. Было бы чего — дом как дом, бабы голые балконы держат, невидаль нашили. Этих чудиков там — пруд пруди.

К мнению Шемякина прислушивались. Бывалый он, половину страны изъездил, на что только не нагляделся. И к бородачу потеряли интерес.

Тольке бородач тоже до лампочки. У них с Валькой так повернулось — одно осталось, за свадьбу. Ходит Толька сам не свой: вроде бы радость, да как бы отец не взъярился. Смутно на душе. А Валька торопит. Заедут они куда-нибудь в соснячок либо в ельничек, бросят мотоцикл, бредут обнявшись по хвойному ковру, присядут. Валька вопьётся в Толькины губы ртом — за волосы не отдерёшь.

— Толенька, миленький, — шепчет потом, — заявленьице бы в сельсовет, самый уж раз, пора.

Последняя встреча была в пятницу.

— Ладно, — решил Толька. — Жди в понедельник, поедем.

Бородач уезжал в субботу. Сложил вещички в рюкзак, пожал хозяевам руки.

— Слушай, — обратился к Тольке. — Собор на прощанье хочу снять, встань-ка рядышком для масштаба.

Пошли к собору. Встал Толька возле угла, бородач щёлкнул фотоаппаратом.

— Заезжай, — пригласил для порядка Толька и уже не для порядка, из любопытства спросил: — Ездишь, пишешь что-то. Много за это платят?

— Меньше, чем тебе, — ответил бородач.

Сели на бревно и закурили.

— Неделю у вас прожил, — усмехнулся гость, — уезжать собрался — ни одна собака не заинтересовалась: кто, откуда приехал, зачем по башням лазает. Один ты спросил, да и то про деньги. Чудной вы народ. На таком месте живёте и ничего про него не знаете, как с луны свалились. Спрашиваю у одного, спрашиваю у другого, третьего: что за башня, что за храм, как называется? «А чёрт его знает, — отвечают. — Башня как башня, храм как храм». А до чего довели крепость? Своё же, русское, неужто не жалко? Ведь люди строили вам, дуракам, в назиданье, а вы тем камнем дорожки к клозетам мостите. Вандалы вы! Свои! Отечественные! Так и будете из ваших хибар по каменным дорожкам в холодные нужники ходить, и дети ваши будут, и внуки! Нет у вас ничего святого!

Обалдел Толька. Раскрыл рот, смотрел, как этот тихий человек брызжет слюной, трясёт бородой, наливается кровью до малинового цвета. Никогда он не слышал такого о себе и односельчанах. На всех торжественных заседаниях, колхозных собраниях говорилась одно: труженики, передовое колхозное крестьянство, надежда наша — молодёжь. Он так привык к этому, что и понятия не имел о другом отношении к себе, колхознику, работяге, ежедневно умножающему народное богатство. На всё население страны, не обрабатывающее землю, смотрел даже свысока, считая себя первоисточником блага, началом начал, без которого в случае чего все городские сдохнут. Но приезжает какой-то шибздик и пытается все его представления о ценности человека перевернуть с ног на голову. Выходит, он, его односельчане — все вместе не стоят и зубца на крепостной стене. Да он не чудик, он этот, как его — шизофреник.

«Врезать ему, чтоб не разорялся», — вяло подумал о бородаче, но с бревна не встал, что-то сковывало желание.

— Что рушите? — уже почти кричал бородач. — Это же луч света из тьмы веков. Это — мост от них к нам, от нас к будущим поколениям. Если бы не такие мосты — человечество давно задохнулось бы в собственном зловонии, само себя сожрало. Тысячелетия копили люди в душе красоту, по крохам, по пылинкам. Скопили, построили: нате, смотрите, какими мы были, учитесь быть великодушными, учите ваших детей, пусть дети научат внуков. А ты? Сидишь, пялишься на меня. Чему будешь учить своего сына? Отвечай. Вандализму? Как добро разрушать?

Подхватил бородач рюкзак и зашагал к воротам. А Толька ещё долго сидел и удивлялся: почему же он стерпел надругательство, почему не вскочил, не догнал, не врезал как следует на прощанье?

Ночью Толька спал прекрасно. Утром сбегал на Угожу, опростал вершу, поставленную вечером, потом поправлял штакетник, менял на доме шиферный лист. До обеда всё спорилось, и уха, сваренная матерью, оказалась вкусной-превкусной.

Хандра пришла после обеда. Испортил настроение Петька Кудеяров.

— Подсоби, кореш, — попросил Петька, войдя в дом. — Пойдём кирпичика ломанём, лужу во дворе засыпать надо.

Взъярился Толька ни с того ни с сего.

— Я тебе ломану! — закричал на приятеля. — Голову тебе проломить надо. Увижу, кирпич бьёшь — морду расквашу!

Вечером он сидел на западной стене, глядел, как ложится за лес солнце. А когда оно улеглось, когда выбралась на небо оранжевая луна и поплыла к собору, чтобы по обыкновению отдохнуть на его макушке, отправился спать.

Но ему не спалось. Он выходил из домика-беседки, садился на ступеньку, курил, ложился снова, опять выходил курить и искал всё причину бессонницы.

«А ведь из-за бородача, — понял наконец. — Ишь, как припечатал! И с чего это он разошёлся? Неужели и вправду всё так? Ведь, если рассудить, выходит тут дело серьёзное: стал бы человек себе нервы трепать попусту».

И Толька принялся думать.

Сначала мысли не поддавались. Они порхали, словно бабочки на июльском лугу, без определённого направления. Он хватал одну, пытался направить в нужное русло, хватал другую, но, пока мучился со второй, первая вырывалась и опять мелькала то справа, то слева, и нужно было её догнать, откидывая вторую. А между голубым и зелёным просторами появлялась третья, и её тоже надо было ловить. От напряжения его прошиб пот. Собрать воедино все мысли, выстроить их в систему — не получалось. Можно было просто поверить на слово бородачу: если человек так убивается — значит, не зря. Но слепо верить не хотелось. Хотелось познать именно ту внутреннюю боль, светившуюся в глазах бородача, когда он плескал обидные слова, горячие, словно кипятки, хотелось, чтобы вера родилась в его душе из собственных сомнений и боли, а не была бы пришлой, укоренённой силой чужого авторитета. Толька был упрям.

Рой мыслей улёгся неожиданно, как неожиданно, без видимых причин, садится в каком-то месте отроившаяся пчелиная семья.

«Точно — нелюди мы, — решил вдруг. — Верно приметил бородач: не умеешь беречь старое — где уж новое сохранить. Что про монастырь толковать, о нём у нас понятия нет, а вот в своём деле, в колхозном, ведём себя точно вандалы. Да что там, хуже, те ломали чужое, а мы своё».

Тольке стало так стыдно, что его передёрнуло, и он почувствовал, что шея покрывается краснотой, а за ней нижняя часть лица, потом голова под шапкой волос. Вспомнил он, как гонял на «газике» напрямик через поля, перемешивая с землёй взошедшие ростки, как продавал бензин проезжим частникам. Всё это воровство. Растаскивать по кирпичу крепость — воровать у предков, разбазаривать бензин, портить посевы — воровать у колхоза, а в конце концов, воровать у самого себя: предки-то его, и колхоз его тоже. И то и другое от дедов-прадедов досталось, ими завещано, ему бы это хранить, детям, внукам в наследство оставить, чтобы знали, как он бережлив, какой хозяин он был и наследник, чтобы они на его примере свою счастливую жизнь строили. А он... Вот уж точно, с луны свалился, словно не хозяин, не патриот своей земли, а инопланетянин с летающей тарелки.

«Ну родит Валька сына, ну вырастет он, ну спросит: как ты, папаня, жил, чем занимался? Да так себе, отвечу, бензин воровал, иконы, картошку, крепость четырнадцатого века разламывал, фундаменты из лома ладил, дорожки к уборным мостил. Тебя вот вырастил. Теперь ты воруй, ломай дальше, а я на лавочке посижу, на тебя радоваться буду. Весёленькое дельце, да, может, к тому времени, как ему вырасти, ломать и воровать нечего будет — всё сами по свету разнесём-разведем».

Толька встал, зашагал по дорожке. Вот когда появилась та боль, что светилась в глазах бородача. Она как жар, как огонь, как любовь. Она жжёт, испепеляет душу, а пепел клубится где-то внутри и не даёт дышать.

«Нечего тогда и в сельсовет ходить, — думал, идя просёлком. — Пусть лучше так родится... Пусть не знает про отца. Нет, надо что-то срочно предпринять, прямо сегодня и сейчас».

Председатель колхоза заканчивал завтрак, когда Толька постучал в дверь.

— Заходи, Микотин, — призывно махнул рукой, — завтракать садись.

— Не до еды, Виктор Никитич, — замотал головой Толька. — Дело срочное у меня.

Не присаживаясь, начал говорить. Рассказал про крепость, про то, как её разрушают, про бородача, про крикливую беседу с ним. Сказал, что не спал ночь, что рассуждал и понял: бородач прав. Нужно отстроить крепость, сделать, какой была. Пусть любят люди, гордятся дивным умением предков.

— На нашей же земле стоит. Кому, как не нам, о ней подумать. Архитектора пригласим, пусть что и как покажет, а о рабочей силе не беспокойтесь: я молодёжь по деревням наберу, вы нам материал подкиньте, кирпич там, цемент, ещё чего. Мы её в месяц отгрохаем, любо-дорого будет смотреть.

Долго молчал председатель. Чиркал спичкой, курил, царапал ножом по клеёнке.

— Пять десятков прожил, такого не слышал, — сказал наконец откровенно. — Ишь удумал чего. Что крепость — курятник? Реставрацию годами ведут. У нас на такое шишей не хватит. Много чего на нашей земле стоит, не разваливается, терпит. Нам, Микотин, не до старины, ясли вот строить надо. Ну а неймётся — поезжай в район. Есть там какой-то Васильев.

И Толька отправился в район.

Ответственный за старину Васильев на вид был чуть старше Тольки. Парень он разносторонний, пришлось — и занялся стариной.

Толька взялся за дело сразу.

— Надо поправить историческое строение, — сказал он, — оно ведь народное достояние.

— Деньги на это нужны, — ответил Васильев.

— Много?

— На первый случай... тыщ восемьсот.

Ахнул Толька:

— Так что же ты спокойно сидишь?! Ехать надо в область, просить, добиваться.

— Ездил. Теперь поезжай, хочешь, ты.

— Штаны просиживаешь, — разозлился Толька. — Врежу — по-другому запоёшь!

— Попробуй — милицию позову, — отрезал ответственный за старину Васильев.

Издалека течёт Угожа-река. В этих краях она уже к устью струится, исток речной далёк. Долгий путь пропетляла Угожа, две области напоила водой. Светла Угожа, радостна, великолепна в нешироком разливе своём, плещется в невысоких берегах, излучину за излучиной гнёт, то леском прикроется, то в сторону убежит и спрячется в камышах, а то бросит всё, выскочит на луга: вот я, глядите все, не дородна, не могуча, но как тонка и мила. Словно девочка-подросток проказничает.

Я уехал из тех мест. А недавно заглянул ко мне с Угожи знакомый. Я спрашиваю про древний памятник, но он ничего не знает. От архитектурных вопросов далёк, работает учителем в школе. Забыл он книжку, завернутую в газету. Книжка мудрёная, что-то о воспитании детей. Книжку я отослал, а газету оставил.

«Продаётся мотоцикл “Иж-Планета-Спорт-350”, — значилось на последней странице газеты. — Обращаться по адресу: с. Борисово, д. 4, Микотин».

Странный народ на Угоже живёт. То им подай мотоцикл, а то мотоцикл не нужен. Не нужен — и всё тут.



***Владислав Николаевич Леонов** родился в Коломне в 1935 году. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Работал в газете «Коломенская правда». Автор многих публикаций и книг «Грачи мои, грачки», «Хозяин морковного поля», «Сбереги мою лошадку», «Мамин сын», «Грушевый чертёнок» и других, которые неоднократно переиздавались массовыми тиражами.*

Член Союза писателей России. Постоянный автор «Коломенского альманаха».

Живёт в Москве.

ДВОЕ ИЗ ХРУЩЁВКИ

Они жили в старинном русском городе, в блочной пятиэтажке, два художника — Иван Семёнович Киселёв (в простонародье КИС) и Олег Константинович Рокотов (РОК). Так они подписывали свои работы, которые Кис, по его простодушным словам, «рисовал», а Рок «писал». Полотна Рока поражали размерами и яркими красками, особенно то, что украшало Дворец культуры цементников. Оно называлось «Утро нашего города» и изображало рассвет над местной рекой и радостных рабочих, идущих на смену. Сильно впечатляли розовые цементные дымы. Всё в Роке было монументально и значительно — и голос, и поступь, и рост, и грива. Тесно становилось, когда он входил, и хотелось пригнуться, когда гремел его снисходительный баритон: «А фамилия моя, простите, Рокотов». А когда добавлялось ещё «Олег Константинович», совсем уж веяло чем-то ковыльным и курганным.

Кис, напротив, был очень неприметен, и на дружеских вечеринках места ему не доставалось, пристраивался где-нибудь на подоконнике. Был он лысоват, тощеват, молчалив и скопления народа не любил. Рисовал Иван Семёнович зверей, и когда Олег Константинович, развалясь, спрашивал: «Но почему только зайчики-птички? Ты же прирождённый портретист», отвечал одинаково: «Люблю».

Любил Кис живность — от лягушек до мишек. Даже когда по молодости лет рисовал портреты, то проглядывали в них то лисьи, то рысьи мордочки, а иной раз вдруг проступали такие пороссячьи глазки, что заказчик мрачнел, глядя на себя, такого. Город был невелик, и слава про ехидного живописца сорокой про-

летела по улицам и переулкам, отбив клиентов, что ничуть не расстроило Ивана Семёновича. Он всей душой отдался любимому зверью: по всем детсадовским терраскам его весёлые зайцы гонялись за такими же бесшабашными лисицами. Это давало хоть небольшой, но постоянный заработок, а больших денег он боялся, считая, что приносят они немалые хлопоты.

Вечерами Рок приходил к Кису — «поговорить за жизнь». Рассказывал про свои сегодняшние дела, делился завтрашними планами, а излившись, заканчивал, помешивая чай ложечкой:

— За что люблю тебя, Вань: умеешь ты слушать сочувственно.

Однажды Рок явился с загадочным видом и, вопреки обыкновению, долго молчал. Глядя на него, молчаливого, Кис опять увидел, на какого матёрого гривастого зверя похож его собеседник. Увидел и испугался: ну что за глаз у него поганый! И первым поспешил нарушить молчание:

— Твоя «Девушка в светлом платье»... Ну, которую ты мне вчера показал... Она прекрасна. Ты молодец, ей-Богу.

Олег Константинович даже привстал от неожиданности. Рассмеялся, как-то сразу разомлев:

— Спасибо, мой разговорчивый друг. Твоя похвала мне особенно дорога. Спасибо... — Посмотрел искоса: — Не очень я её подсластил?

— Да что ты! — искренне удивился Иван Семёнович и вздохнул: ему бы так суметь.

Девушку Олег Константинович писал со своей жены Иринушки, как ласково называл это хрупкое глазастое создание, которое он так легко носил в руках, а она, поджав стройные ножки, обнимала его за шею и сквозь гриву шептала ему в ухо нежности. «Господи, как же ты разродилась?» — пугалась Катерина, жена Ивана Семёновича. «Да так уж получилось», — отвечала беспечная Иринушка. Получилось очень даже неплохо: сын Аркашка был крупный, в отца, и глазастый — в маму. Прелесть была Иринушка, замечательным получился и её портрет, перед которым Иван Семёнович долго стоял в потрясении. «Ну как?» — взглядом спрашивал Рок, опасаясь нарушить своим рыком священную тишину. Ничего не мог ответить вчера Иван Семёнович, чувствуя трепет подмастерья перед мастером. Только сегодня смог вымолвить скудное похвальное слово, так растрогавшее Рока.

— И всё, и хватит, — отрезал Олег Константинович. Посуровел, стал прежним, недоступным. — А вообще-то я пришёл к тебе с приветом, то есть сказать: завтра делёжка.

Иван Семёнович поскутнел, хоть весёлым никогда особенно не был. Случилось то, чего ждали многие в городе и чего он опасался, втайне надеясь: авось пронесёт. Не пронесло. Завтра на Гадючьем болоте будут делить садовые участки, и все люди давно подали заявления, собрали многочисленные справки насчёт болезней, заслуг и званий. Кис ничем таким не обладал, заявление под напором жены всё-таки подал последним и никаким садоводом себя не чувствовал. Рок же, наоборот, только про дачу и говорил: какой дом построит на радость Иринушке, какую мастерскую сварганит для себя, какие полотна сработает для народа, в какие галереи их возьмут. «Стоп, разбежался», — с улыбкой останавливал себя. Но тут же рассуждал о том, что шесть положенных болотных соток ему, руководителю местного отделения Союза художников, всё-таки маловато, он будет требовать добавки — должны же ТАМ понять и

войти в положение. Кис тоскливо кивал и молил Бога, чтобы его заявление затерялось среди бумаг.

Не затерялось. Хуже того, Иван Семёнович, как отец троих малолетних детей («троедетный» — звали его живописцы), попал в начало списка под первым номером, а Олега Константиновича, руководителя и организатора всей этой кутерьмы, задвинули в неприметную середину. Он пришёл к соседу прямо с заседания садовой комиссии — лохматый, багровый, с дрожащими губами, на Киса глядел злобно. В тесной кухне некуда спрятаться от его голоса.

— Ну? Доволен? Вижу, что доволен! А как же! Обскакал. Молодец! Мы пахали! Мы в Москву мотались, землю выбивали. Натё, выбили. А я — то дурак, а? Надо было тихо сидеть, тихо глядеть — оно спокойнее. — Он с трудом перевёл дух, рванул на толстой шее галстук, хрипловато продолжал: — К чёрту, значит, заслуги, к дьяволу авторитет. Знаешь, что московский чинуша ляпнул? Вам, мол, местным художникам, и так немало выделили — целых десять участков! Местным... каково, а?

«Местные — чем же плохо?» — подумал Кис, а вслух высказался в таком духе: не великие, мол, художники, академиев не кончали — так, самоучки. Своим нравятся — и хорошо. Вон «Девушка в светлом платье»...

Лучше бы помолчал бедный Кис. Долго на его слова грохотал Олег Константинович. Какой он, к чёрту, самоучка! За спиной два года художки, член Союза, портретист! Это вам не кроликов малевать.

— И мою картину не трогайте, не задевайте! — закончил он и хлопнул дверью.

Крепко обиделся Олег Константинович на Ивана Семёновича. Перестал посещать его кухню, зато там ожили и зазеленели цветы. Дочка Лерочка больше не скрывалась при появлении «этого», малыши Лёшка и Серёжка больше не просыпались от громкого голоса Рока.

Лето между тем подходило к концу, и по первым опавшим листьям пошагали новые дачники делить участки. Были крики и вопли. Кому-то досталась земля посуше, Кису с Роком выпало самое болото с тростником и лягушками. На участке Олега Константиновича грелась на кочке узорчатая гадюка. Рок с остервенением изрубил её лопатой.

— Зачем? — морщился Кис. — Это ж её болото.

Он в сердцах отвернулся от соседа и стал разглядывать свою делянку, полную живности. Плюхались на ней лягушки, торопился куда-то ёжик, на собственной кочке, подняв головку, грелось грациозное юное создание с раздвоенным язычком.

— Змейка, ты меня не бойся, ты извини, — ласково бормотал Иван Семёнович, подставляя ведро и подталкивая в него ладонью гадюку.

С ужасом смотрел Олег Константинович, как чокнутый анималист ловил змею, относил её в близкий лес. И родилась у дачников первая местная легенда: о человеке, который гадюк на руках носит, к сердцу прижимает.

Кис в тоске стоял посреди личного болота, безнадежно спрашивая себя: «Как же строиться?» Строились кто как сможет: тот с колхозным трактористом договорился за бутылку, этот кирпич где-то добыл и горбыль оторвал, а где — не колетса, гад. Неспоро, но прибывал рабочий народ, пребывающий в обычном похмельном состоянии. Помаленьку копались траншеи, по которым уходила маслянистая вода. Дачники вырубали деревья, завозили стройматериал, шёпотом, с придыханием гово-

ря о неведомой Кису вагонке, достать которую нельзя было и по великому благу. Самые ловкие сколотили уже дощатые хоромы, норovia до сантиметра уложиться в отпущенные кем-то квадратные метры, и с высоты своих мансард насмешливо поглядывали на беспечного Ивана Семёновича, сидящего возле кособокого сарайчика.

— Когда приступим? — походя интересовался Рок, у которого и домик, и банька.

Век бы не приступал к огородным делам Кис — жена не вздохами, не упреками одолела, а делами достала: сама и с шабашниками договаривалась, и цемент выбивала, и провод экспериментальной невесты с какого оборонного завода добыла. Да ещё успевала к детям и в свою библиотеку, к любимым книгам, к мизерной зарплате. А вечером шла Лерочке танцевальной платье. Дочка мала, а уже характер! Недаром Олег Константинович говорит с уважением: «Валерия — имя мужское». Сама в студию записалась, второй год ходит и не бросила, как её подружки. Сидит, лобастенькая, смотрит, как мама работает, учится. Кис тоже смотрит на жену: может, и ему взяться да написать свою «Девушку в халате»? Крепкую, синеглазую, любимую. Он ведь тоже ей помогает: оформляет детские книжки для «Малыша», пересилив себя, мажует в залах гастронома жирные колбасы, которых в глаза не видал, селёдку — не ржавую, а съедобную и многое другое, радующее глаз и томящее желудок.

— Не было бы тебя, — сказала сегодня Катерина дочке, — что бы я одна делала с моими художниками? Другие вон вагонку достали, — добавила, не сдержавшись.

Иван Семёнович вздохнул, понимая своё ничтожество.

— Достану я тебе вагонку.

Супруга посмотрела насмешливо.

Утром был он на пустом складе, где мордастые ребята лениво играли в карты. На вопрос о вагонке заржали:

— Ты, мужик, с луны свалился? На неё на год вперёд запись.

— А что, в России леса извели? — спросил их Кис и побрёл за порог.

Дальнейшее хождение ни к чему не привело. Уже к вечеру присел он возле очередного склада, у занозистого забора, за которым раздавалось грозное рычание собаки. Сторож, с лицом не то чтобы измятым — скомканным, в зимней шубе и шляпе, вышел запирать ворота.

— Эй, — окликнул он усталого Ивана Семёновича, — умотал бы ты, а то кобель сорвётся...

Кобель рвался из ворот, припадал на передние лапы, придушенно хрипел.

— Артист, — усмехнулся Иван Семёнович и, подойдя к нему, почесал за ухом, словно кошку.

— Разорвёт, — лишился голоса помятый сторож, но кобель молчал и пятился, а потом и вовсе удрал, поджав хвост.

Сторож присел рядом с Иваном Семёновичем, с великим изумлением разглядывая его, лысоватого, в дачной куртёнке.

— Ты кто?

— Был человек, — сказал Кис, — а теперь — «эй».

Потом в сторожке они пили водку, поглаживали тихого кобеля по кличке Грозный и толковали про жизнь, в которой нет места хорошему человеку. Утром не заснувшая всю ночь Катерина с ребятами встречала

мужа далеко до въезда в садовый кооператив. Иван Семёнович сидел в кабине огромного грузовика рядом с водителем и мужиком в зимней шубе, и от всех несло водкой. Потом они втроём долго сгружали мечту дачника, легендарную вагонку — гладко обструганную доску, пахнущую сосной, под рукой ласковую. Народ сбегался, глаза. Олег Константинович на правах соседа раскатисто спрашивал: с какого такого закрытого склада богатство? Помятый сторож подмигивал:

— Места, юноша, знать надо.

Вечером Рок впервые за много дней пришёл к Кису на кухню и потребовал объяснений: откуда, как и нельзя ли другим тоже. Например, дамскому парикмахеру Валентину.

— Не знаю, — и вправду не знал, как помочь Валентину, Иван Семёнович. И Олег Константинович вскочил в непонятном восторге:

— Ну тихоня, ну наконец-то! И ты как все! Себе на уме. И правильно! Подумаешь, парикмахер — чай не директор магазина. Верно мыслишь, далеко пойдёшь, Вань. Хотел бы видеть тебя через несколько годиков!

Много чего случилось за эти «годики», когда Олег Константинович, сколотив бригаду, валял плакаты и растяжки: «А что ты сделал для перестройки?!» Суровый человек тыкал пальцем людям в лицо. С той же малярной бригадой разрисовывал он, спустя время, забегаловки и казино, трудился над портретами новых хозяев жизни, которые много платили и многого желали: чтоб и сами были «покарасивше», и позади обязательно их дворец и тачка «шестисотая».

— Время-то какое, братцы! — горячился на Кисовой кухне Олег Константинович. — Хватай судьбу за портки, скручивай! Чего, Вань, сидишь, кого ждёшь? Хватать надо, пока не разобрали!

Хватать Иван Семёнович не умел, не хотел, да и неведомо было, чего хватать. Он, в общем-то, не жалуется: детское частное издательство за хорошие деньги берёт его рисунки для книги сказок, уже выплатило аванс, только требует, чтобы звери были посовременнее, как в американских мультиках. Страдает Иван Семёнович, но кто платит, тот и пан. На ферме что-то тоже нарисовалось: стоял щитовой домик, был сарай для лопат, две грядки для супруги и железная бочка с водой для его подросших пацанов. В неё Лёшка с Серёжкой кидали гвозди, кирпичи и галоши. Катерина не могла отогнать ребят «от грязи», бочка притягивала, и ржавая маслянистая вода в ней отражала их счастливые мордочки. «Господи, что из них выйдет», — думала с тревогой Катерина, успокаивая себя: маленькие, ещё повзрослеют.

Радовала старшая, Лерочка, свет её очей. «Умница!» — на все лады хвалит её Олег Константинович. Она Катерине и помощница, и советчица, и подружка. Для танцев ей уже купили взрослое длинное платье, в котором она выступала в Москве. А как тренируется! Ранним утром или поздним вечером, худенькая, востренькая, впихивалась в переполненный автобус, чтобы успеть на занятия на другой конец города. В школе тоже всё у неё нормально, хоть про школу она говорить не любит: учиться, потому что надо — без особого напряжения, но и без большой любви. С детства не куклы её страсть — техника. Электронные часы через день ремонтирует: Лёшка с Серёжкой, взмыленно гоняя по квартире, по всем её двум комнатам, заваленным красками, этюдами и прочими художественными принадлежностями, то и дело сбивали их с телевизора. А уж

чинить кран или дверной замок — только дай! Правда, как говаривал Кис, руки у дочки пока впереди головы успевают: разобрать сразу разберёт, а обратно сразу не получается — сердится, но никого в помощники не допускает, сама в конце концов доходит до ума. «Далеко Лерочка пойдёт», — печально скажет умный Рок, у которого новые времена отняли жену и сына. Иринushка сбежала за границу с каким-то большим чиновником и Аркашку увезла, добавив Олегу Константиновичу седых волос в его гриве. Остались тоскливая память и «Девушка в светлом платье», так похожая на его Иринushку.

Иван Семёнович и Катерина, как умели, опекали соседа, только Олег Константинович был упрям и горд и жалости по отношению к себе не терпел. Многих резко осаживая, он лишь от Киса принимал утешения вроде:

— Ничего, может, ещё что-то как-то... Чем чёрт не шутит.

— Ну спасибо, — веселее посматривал на белый свет Олег Константинович, — ну успокоил. — И, уходя, уже серьёзнее говорил: — Хороший ты человек, Вань, душевный, а в жизни нынешней не разбираешься. Лучше о себе расскажи: как там ребята, Лерочка?

Будто сам не знает, как живут соседи: на виду у них всё — и заботы, и радости.

Если за дочку Катерина спокойна, то как пойдёт учёба у Лёшки с Серёжкой — большой и громадный вопрос. «Дай ребятам побалдеть, — говорит Иван, — дай им детством насладиться». «Наслаждайтесь», — устало посмотрит жена, но, едва возьмётся за лопату, Лёшка с Серёжкой тут как тут: «Мы поможем!» Олег Константинович горько скажет со своего дачного балкончика: «До школы все они помощники, а потом...»

Плохо Року, хотя на первый взгляд он плавал в этих новых временах, как рыба в воде, не очень замечая, что вода эта с тухлинкой. Днём Олег Константинович был весел и громогласен. Гонял подручных, сам хватался за кисть — показывал, учил, сердился. Вечером приходил к Ивану Семёновичу совсем другой человек, опустошённый, задёрганный. Молча пил чай, смотрел в угол. «Тяжко?» — взглядом спрашивал Кис, и Рока прорывало. Кричал, что таланты не ко двору — подавай халтуру, что художник теперь хуже лакея, а вчерашние жулики тычут тебе в харю селёдочной мордой. Куда художнику податься, не выставляться же «У забора». Иван Семёнович тоже против местного вернисажа. Это тебе не Арбат, тут, в засыпанном цементной пылью городке, иностранцев нету, «Золотое кольцо» стороной пролегло, а по грязной речке не летят белые теплоходы.

— Спасибо, ребята, — говорил, прощаясь, Олег Константинович. — Обогрели вы душу. Пойду работать, вкалывать, чтобы совсем не скиснуть.

Чтобы не скиснуть, Ивану Семёновичу приходилось малярничать в чужих особняках, а когда выпадала свободная минута, спешил в свою дачную «мастерскую».

— Работать, да, надо работать, — говорил себе Кис, торопясь однажды к загрунтованному холсту, с удовольствием представляя, как ладно лягут на него краски.

На даче тишина, у бочки никого. Бочка неинтересна школьникам — всё время они у компьютера. «Не надоели вам стрелялки?» — в сердцах говорит Катерина. Нет, не надоели им. Сами не справятся — сестру зо-

вут, втроём просиживают до ночи. «Лучше уж у бочки», — не знает, что теперь лучше, Катерина.

Дверь в мастерскую полуоткрыта, за ней — шёпот. Лёшка с Серёжкой опять чего-то удумали, значит, надо посматривать. Хоть и гоняет их Катерина из мастерской, Кис не против: пускай красок понюхают, попривыкают, может, со временем... Отец улынулся своим мыслям, перешагнул порог и застыл на месте.

— Что ж вы, братцы, натворили-то? — только и мог произнести.

Яркое летнее солнце било прямо в картину, на которой причудливо переплетались разноцветные линии, плясали красные, жёлтые, зелёные, синие пятна, чёрные птицы летели по розовому небу, закручивались какие-то невообразимые павлиньи перья.

— Наш сад, — мечтательно сказал Лёшка, по уши измазанный чёрной и фиолетовой краской. Это его любимые цвета: чем мрачнее, тем лучше. Весёлый Серёжка, любитель пёстрых бесшабашных мазков, млеющий от праздничных салютов, повторяет сейчас за старшим братом:

— Наш сад. Весенний.

Молчание нарушалось стрекотом кузнечиков и чьим-то неожиданным сосредоточенным сопением. Иван Семёнович повёл глазами. Позади стоял Рок, сосредоточенно разглядывая творение. Наклоняя голову так и сяк, подошёл поближе, отступил на шаг — дальше отступить в заваленной мастерской Киса некуда, не засмеялся — был необычайно серьёзен. Наконец сказал:

— А ведь крепко схвачено. Молодцы огольцы. — И с места в карьер, не тратя золотых минут: — Я, пожалуй, пристрою сие творение. В белокаменной намечается грандиозная выставка всякого барахла. Иностранец косяком прёт, всё хватает. А как же: свобода творчества, демократия! Художник вылез из подполья, уря!

— Это не барахло, — просунулся вперёд Серёжка, — мы старались.

— Вижу, — сказал Олег Константинович. Протянул руку, пошевелил пальцами, догадливый Серёжка сунул ему кисть. Рок, прищурясь, размазал краску на крышке от кастрюли, мазнул раз и другой, добавив в небо тревожного багрянца. Отступил довольный.

— Порядок. Теперь бы название позвучней, и дело в шляпе. Как вам такое: «Ожидание», или нет, лучше: «Грядущее», а? Подойдёт?

Парни внимательно посмотрели друг на друга. «Выросли!» — радостно увидел Иван Семёнович. Пошептавшись, Лёшка с Серёжкой хором ответили:

— Подойдёт!

Лёшка ещё добавил:

— А подпись поставьте: «Киселёвы».

— Ага! — заходил, сотрясая мастерскую, Олег Константинович. — Так её, судьбу проклятую, бабу вёрткую! Хватай её, ребята, за жабры, держи крепко!

Иван Семёнович только всему удивлялся, не встречая.

На какие выставки увёз «Грядущее» Олег Константинович, Кис не интересовался: пускай потешится. Уехал Рок на старом «Москвиче», вернулся на «Волге», хоть тоже не новой. Весь в пакетах и свёртках. Долго вываливал на Кисов кухонный столик нарезки и балыки, маслины, икру, заморские фрукты и местные овощи, конфеты, пряники — всё в кучу, на которую с недоумением смотрели из двери домочадцы. Когда бутылки с винами-водками заняли почётное место, Рок наконец скинул на пол

куртку, за руки выволок из двери Лёшку с Серёжкой, оглядел их с весёлым удивлением. Потом торжественно вручил каждому по толстой пачке зеленовато-синеватой валюты.

— Это вам. — Кивнул за окно на машину: — А это — мои комиссионные. А теперь, как положено, обмыть! Дамы, собирайте на стол!

Катерина и Лерочка без суеты, споро расставили всё как положено, разложили закуску, вилки и ножи. «Научились! — удивлялся Олег Константинович, глядя на ловкую, гибкую девушку с чуть оттопыренной нижней губкой — знак лёгкой брезгливости. — Красавица вырисовывается, будут по ней парни сохнуть...»

— Мой Аркашка тоже теперь жених, — неожиданно сказал он, и Катерина дружески подтолкнула его к столу:

— Садись-ка, голодный, небось.

— Господи! — вознёс глаза к потолку несчастный Рок. — Хоть бы когда бы меня бы так вот...

Когда Лёшка с Серёжкой напилась заморской отрывной газировки и побрели спать, Рок в который раз рассказывал, как он «впаривал» «Грядущее» то ли шведке, то ли польке и как наконец «впарил» за немалые деньги и большое мерси. Слушали его скучно. Когда он ушёл, Иван Семёнович распахнул окно в ночь, в летний тихий дождичек, но крепкий запах мужской туалетной воды долго ещё стоял на кухне, и казалось, что вместе с этим запахом застыл под потолком густой, вязкий голос Олега Константиновича: «Может, нам с тобой, Вань, золотая жила блеснула, а?» Катерина искоса посмотрела на забытые ребятами пачки «зелёных» мелкого достоинства:

— Чего с этим-то делать? — Иван Семёнович подумал: «А как ты решишь». Катерина вздохнула: — Пускай полежат.

И Кис с удовольствием согласился: пускай! А то за них только возмись. Столько дел набегит, столько ненужностей.

— Пускай полежат до завтра, — весело добавила Катерина, и Кис немного поник: завтра затаскает его по рынкам и ярмаркам.

Золотая жила блеснула, видно, для одного Рока: раскрутился так, что земля под каблуками дымилась. С бывшим помятым сторожем (ныне господином Загорулько, владельцем трёх строительных складов) они с помощью нужных бумажек выперли городскую библиотеку, соорудив там культцентр «Заходи!» с казино, баром и выставочным залом. Катерине Олег Константинович, пряча глаза, пояснял негромко:

— Кому теперь книжки нужны. Хочешь, тебя менеджером или кем-нибудь ещё пристрою?

Катерина не захотела и высказала Року всё, что думает о нём и его центре, закончив так:

— А ведь хорошим художником был.

И Олег Константинович впервые не нашёл ответных слов.

Катерина устроилась в местную «правду» редактором отдела культуры. И первый критический материал о «Заходи!» сразу вызвал отклики в народе. «Как это у нас мало культуры?» — возмущался Загорулько. Однако одноруких бандитов потеснили. Олег Константинович за малую плату стал выставлять у себя всех, кто хотел выставиться, и вернисаж «У забора» помаленьку опустел. Сам же Рок свои работы никому не показывал, вплотную занявшись портретной живописью. Для этой цели он оборудовал мастерскую на даче, хорошо отодвинув соседа слева и своротив, видимо случайно, у соседа справа забор и ель, которую так

берегла Катерина, выросившая из крохотной болотной ёлочки настоящую новогоднюю красавицу. Напрасно она махала кулачками, в ярости плохо различая строителей, — парни только посмеивались с высоты бульдозера:

— Отойди, тётка, зашибём.

Иван Семёнович, бледный и всклокоченный, насмерть встал перед железным зверем. Рядом с ним прыгал и заходил лаем приبلудный прикормленный пёс. Парни слезли с бульдозера.

— Эй, отгащи собаку! — издали крикнул один.

Кис подошёл к нему, схватил за грудки, потряс и, заглядывая в маленькие глазки, тихо сказал:

— Я тебе не «эй». — И добавил веско: — Убью.

Негромко ругаясь, двое отошли к поваленному забору, а Кис, прихватив на всякий случай приبلудного пса, напрапую, в садовых галошах, по коврам, взобрался на третий этаж нового особняка, без стука вошёл в просторную мастерскую Рока, посреди которой стоял, визгливо ругаясь на хозяина, некто рыжеватый и вёрткий неопределённых лет, из тех, которых до пятидесяти зовут «Эй, парень!»

«Хорёк!» — зорко подметил Кис и невольно улыбнулся.

— Чего скалишься? — подскочил к нему парень. — В лоб захотел?

Олег Константинович, снисходительно потряхивая гривой, не обращая внимания на шум, стоял с кистью в руке над куском незагрунтованной фанеры.

— Уймись, Санёк, — только и сказал он, а парня как прорвало.

— Я тебе не Санёк! — наскაკивал он на Рока костистым плечом, тот полусхитя осторожно отпихивал его, чтобы не испачкать краской. — Я тебе Александр Сергеич, понял? Пушкина знаешь? Тёзка мой.

— Ага, понятно, — хмыкнул Олег Константинович. Повернулся к Ивану Семёновичу: — Слушаю тебя, сосед.

Кис обвёл взглядом мастерскую мэтра. Портреты сильных града сего. «Кабаны да бульдоги», — разглядел Кис, только что ему до них: видел в широкое окно, как убито стоит Катерина у поваленной ёлки.

— Не бойтесь, ребята, что красные придут? — спросил Иван Семёнович, обращаясь скорее к портретам, чем к людям.

— Напугал! — хихикнул парень. — Не придут. Ты из-за ёлки переживаешь? Так новую посади! Я где-то, слышь, тебя видел.

— И я тебя видел, Шустрый, — вспомнил Кис кличку «хорька», когда-то ловко торговавшего джинсами «У забора».

Тот схватил его за пуговицу, подтащил к окну.

— Из наших, что ли? В каком бизнесе?

Олег Константинович засмеялся, парень, то ли вправду нервный, то ли на публику работающий, запсиховал не на шутку:

— Чего хохочешь, мазила? Я тебе за смех деньги плачу? Я их в своих палатках по копейке зарабатываю! Помолчал бы, урод, зверей рисовать не можешь!

Рок, уже с трудом сдерживаясь, кивнул на Киса.

— Он может, анималист.

— Кто? — не понял заказчик, плюхаясь в золочёное кресло, в котором сживали, развальясь, богатые клиенты Олега Константиновича.

— Художник, который зверей изображает.

Парень, оттолкнув Рока, подбежал к его бару, схватил коньяк с лимоном, налил Кису в фужер царский напиток, какого тот сроду не пил,

себе плеснул в гранёный стакан, заставил Ивана Семёновича выпить всё до дна, сунул ему в рот кусок лимона, сам одним глотком отправил золотистую жидкость в рот, выдохнул и сообщил, по-приятельски хлопывая художника по колену:

— Не признаю, понимаешь ты, рюмки. Стакан — моя норма с детства. Он вот, — кивнул на Рока, мрачно вззирающего на такое самоуправство, — взял у меня кредит и не отдаёт. Говорит, портретами заплачу, а на кой они мне? У меня фоток полно. И всяких там картинок, а вот зверей нету. Он, вишь ты, их рисовать не умеет, хмырь! У меня, знаешь, заяц в деревне жил, ручной. Не веришь?

— Верю, — засмеялся Кис, у которого в груди разливалось тепло, а в голове плавал сладкий туман. — У меня тоже кошки были, собаки.

— Кошки — дерьмо, — сказал Шустрый, — собака — сволочь продажная. Заяц — тварь полезная, сожрать можно.

«Жалко», — подумал Иван Семёнович, и Шустрый угадал его мысли:

— Конечно, жалко, а что делать? Все друг друга едят. — Помолчал, посасывая лимон. — А ты, художник, приходи ко мне. Я зверей развожу, мне большую рекламу нарисовать надо. Ты не думай, я заплачу. Завтра с утрачка, часов с двенадцати, и подгребай.

— Зачем же завтра, можно и сейчас, — сказал Олег Константинович, протягивая Ивану Семёновичу кисть в рыжей гуаши.

Кис сидел с кистью в руке и только теперь разглядел то, над чем трудился Рок. На фанере был изображён страшный неведомый жук, огромный и усатый.

— Это кто? — ошарашенно спросил Иван Семёнович. Шустрый нервно откликнулся:

— Я ему тараканов заказывал! Разве похож? Я ему деньги плачу! — уже кричал он, разгораясь, — а он только баб сиястых малюет, тёлоч своих! Погляди на эти рожи! — Шустрый помчался к ширме, ногой сбил её. Девушка в светлом платье доверчиво смотрела на него. — Вот они! — пнул он портрет.

Рок, рыча, погнался за парнем, который недаром имел такую кличку: поймать его было нелегко. Наконец поймал, схватил в охапку. «Убьёт», — понял Кис и хотел крикнуть: «Стоять!» А получилось:

— Погоди-ка, постой!

Пёс залаял неистово и прижался в угол.

— Дверь, — приказал Ивану Семёновичу Олег Константинович и в эту дверь выбросил Шустрого, который с воплем прокатился по всем ступеням и затих где-то внизу. Рок бросился к портрету, Кис торопливо спускался по лестнице, в конце которой, на площадке, неподвижно лежал Шустрый.

Иван Семёнович поднял его под мышки. Тоший парень был тяжёл, как покойник. «Господи!» — испугался Кис.

— Ничего, — сказал Шустрый и открыл глаза. — Я сам. — Поднялся, держась за стену. — Башка кружится.

— Эй! — позвал Иван Семёнович хозяина, тот тяжело и нахмуренно спускался с лестницы.

— Живой? — спросил равнодушно. — Рад за тебя. Если бы она пострадала!..

И вдруг сел на ступени и, как показалось Кису, заплакал. Но нет, не заставишь плакать железного Рока — справился, поднялся.

— За что? — прошептал Шустрый. — Что я сделал? Посажу ведь. Ты, художник, свидетель.

В холл вошли встревоженные Катерина и Лерочка, услышавшие шум. Шустрый во все глаза смотрел на девушку.

— Рот закрой, — усмехнулась она.

— У тебя кровь на голове, — сказала Катерина — Подожди-ка, перевяжу.

Вернулась с бинтом.

— Пускай она, — попросил Шустрый.

Девушка фыркнула, но ловко и быстро промыла рану перекисью, забинтовала рыжеватую голову парня. Тот сидел, закрыв глаза, бледный, но будто даже довольный. Катерина с дочкой помогли ему подняться.

— Проводила бы, — поглядел он на Лерочку.

— Разбежался, волосатый, — дорога кончилась, — ответила она.

— Понял, не дурак, — сказал Шустрый и поковылял к двери.

— Куда он? — спросила Катерина.

— Тараканов кормить, — проворчал Олег Константинович. Был он теперь, как всегда, невозмутим и сдержан.

Шустрый с трудом обернулся.

— Я тебя жду, художник, — сказал Ивану Семёновичу, и уже небрежно: — А ты, слышь-ка, забор художнику поставь. Нехорошо.

— Тоже мне указчик, — буркнул Олег Константинович.

На другой день с шести утра те же парни с бульдозера молча и деловито поставили Ивану Семёновичу новый забор, вместо вывороченной ели посадили новую, хоть и поменьше, но зато голубую. Когда часов в десять Кис пришёл на дачу, он не узнал её: всё было выметено, забор покрашен, дорожка посыпана песком. Рок прогуливался возле их калитки, заложив руки за спину.

На даче начал собираться народ. Пришла Лерочка, очень взрослая и суровая, на соседа — ни полвзгляда. Лёшка с Серёжкой встали позади отца, намереваясь защищать и его, и сад. Катерина, женщина неконфликтная, открыв калитку, пригласила буднично, словно ничего и не случилось:

— Давайте завтракать, ребята. Заходи, Константиныч, хватит землю ногами мерить.

— А то он намеряет! — громко сказал Серёжка, Олег Константинович не услышал.

Чай пили под голубой ёлкой, тут меньше пахло свежей масляной краской от забора. Сидели не как свои — как чужие. Рок не шутил, не поучал — смотрел в свою любимую громадную чашку, машинально ел варенье, которое подкладывала ему Катерина. Раза два говорил: «Ну, я пойду», а сам не уходил, хоть никто его не останавливал. Наконец всё-таки поднялся, побрёл на свою пустую дачу. Кис с ребятами уселся на скамейку под навесом, куда тут же явились приятели: домашний ёжик, приبلудный пёс, ничейный кот, все полезли к рукам и коленям хозяина. Кот, грязная морда, норовил забраться ему на шею.

— Ну ты даёшь, — укоризненно проворчал Иван Семёнович, и кот устроился на его руках.

Имён зверью Кис не придумывал: пускай будут, как природой положено — Кот да Пёс. Ещё под полом проживал уж, про которого мужчины не говорили женщинам, чтобы не пугать. Так и сидели они в тишине,

слушая брезгливое мурлыканье кота, который понимал, что не котово это дело, но ради хозяина чего не сотворишь. Изредка Иван Семёнович поглядывал на особняк соседа — там как вымерли.

Нет, не вымерли. Заскрипела калитка, которую Катерина никак не смажет, по дорожке прямо к Кису, как-то бочком, опустив голову, шёл Рок, рубаха вылезла, пузо посвечивает.

— Ну? — глуховато спросил, подойдя. — Собираешься? Нет? Ты ещё в галошах? А время — час, пора тараканов рисовать.

Иван Семёнович молча смотрел на соседа. Олег Константинович за эти часы опал с лица, плечи его опустились, руки лежали на коленях.

— В общем, в больнице наш Шустрый. Сотрясение там или ещё что-то нашли. Пропали твои тараканы.

— А твои?

— Мои? Мои давно сдохли... И я скоро... Для кого жить-то...

— Много должен? — не про то спросил Иван Семёнович, и Рок досадливо поморщился:

— Деньги — мелочь. Заработать их можно. Кто мне покой вернёт?

К ним, улыбаясь, шла Катерина. Хмуро смотрел на неё Олег Константинович: довольный вид её не отвечал погребальному настрою Рока. Ему хотелось, чтобы пожалели, а ещё больше нужен был совет: что же делать и как жить.

В мастерской Киса заиграла музыка.

— Лерочка новый танец разучивает, — не удержалась Катерина. — В Москве выступает, так волнуется... У Вани договор с издательством — сказки иллюстрирует. Я буклет выпустила к юбилею района.

— Значит, как я понял, у вас всё в порядке, — хрипловато проговорил Рок, глядя под ноги. — И насчёт других всем наплевать. Счастливые других не замечают, им не до обделённых. Думаете, я суда боюсь? — уже почти кричал он. — Я себя боюсь, я чуть себя не потерял, слышите, люди!

— Успокойся, Олег, — попыталась утихомирить его Катерина. — Всё наладится.

— А может, его водичкой? — сказал неожиданное Лёшка, которого частенько так «охлаждали» раньше, когда очень расхотелся.

— Лучше мокрое полотенце на морду, — влез Серёжка.

Олег Константинович смотрел на ребят, раздувая ноздри породистого носа. Захрустел песок под его ногами, Рок почти бежал к калитке, а так как никогда ни от кого он не бегал, то получалось это у него смешно и нелепо. И до позднего часа не засветились окна его особняка.

— Ничего, — сказала мудрая Катерина. — Пускай остынет, подумает — ему полезно. А что с ним такое, Вань?

— Волнуется... Парень-то в больнице, как там у него?..

Было тёплое летнее утро. Синело небо, зеленели деревья. В мире стреляли и ругались, в Думе делили портфели, районные власти готовились к юбилею, Катерина писала очередной репортаж. Иван Семёнович с папкой в одной руке и целлофановым пакетом в другой шёл к местной больнице. В палате на три койки две пустовали, на третьей лежал, закрыв глаза, Шустрый. Голова его была забинтована. На тумбочке стоял только графин с водой, и Кис мысленно похвалил догадливую жену, выкладывая апельсины, яблоки и соки. Присел на табуретку:

— Как ты?

— Башка гремит, как телега по бульжникам. Ты чего пришёл?

Иван Семёнович, пожав плечами, протянул яблоко:

— Тебе полезно.

— Жевать больно, — скривился Шустрый, — дай сочку.

Глотнул и немного ожил.

— Да! — вспомнил Кис и вытащил из папки рисунок: хорёк, очень похожий на Шустрого, улыбался ему.

— Ой! — привстал и снова повалился парень. Долго любовался картинкой, даже порозовел от удовольствия. Спросил вдруг: — А тараканов-то мне нарисуешь? — Иван Семёнович нахмурился. — Зря ты кривишься, художник. Я ведь их, чертей, развожу, для бегов. В Москве их с руками отрывают. Я тебе их покажу, у меня ребята шустрые. Ты их полюбишь.

Любить тараканов Кис не собирался. Сидеть молча было нехорошо. О чём же говорят с больными?

— Как ты?

— Уже спрашивал! — рассердился Шустрый. — Ты мне сразу ответь: нарисуешь?

— Ладно, попробую, — опрометчиво сказал Кис и был вынужден час слушать восторженный рассказ про «этих животных», с которыми человек ведёт долгую и пустую войну. Узнал Кис про наших и заморских «усатых пацанов», про их хитрости и повадки, про то, как их разводят и обучают, как многие имеют с этого миллионы. Только без рекламы не раскрутятся. Нужны красивые, большие звери, чтобы все любовались.

Неожиданно Шустрый замолк. В палату вошёл бледный Олег Константинович: видно, больничные запахи так подействовали на него, никогда не болевшего. Табуретка была одна, и Рок уселся на край кровати, покосившись на весёлого хорька.

— Хорош? — через силу улыбнулся Шустрый. — Вот как рисовать надо.

— Где уж нам уж, — пробормотал Олег Константинович, выкладывая из сумки яблоки, соки и апельсины.

— Вы что, сговорились — мне и за год не слопать, — ворчал Шустрый, глядя на довольного Рока, который, казалось, долго решал и наконец решил какую-то трудную задачу.

Художники долго молчали, не зная, о чём говорить — не о тараканах же! Шустрый заметно устал, но как будто ждал ещё чего-то. Ждал и не дождался. Спросил вдруг:

— Вы ко мне зачем пришли-то?

— Да просто так, — сказал Иван Семёнович.

Шустрый осторожно потрогал бинт, на котором проступало багровое пятно.

— Просто так, ни за чем разве теперь ходят? Чудной вы народ, художники. Инопланетные какие-то. Ладно, валяйте, мне спать хочется.

Они поговорили с врачом, которого Олег Константинович называл «доктор», подчёркивая глубокое к нему уважение. Спрашивали про нужные лекарства, которые они могут достать. Потом они брели по дорожке мимо больничных скамеек и чахлых ёлок, два художника из одной хрущёвки.

— Я вот сюда приволокся, можно сказать, себя ломая, — обиженно проворчал Рок. — К кому пришёл — к мелюзге паршивой. Фрукты притащил. И что же? Ни «спасибо», ни «извини». Забыл народ эти слова.

«Нам бы самим их вспомнить», — подумал Кис.

Дорожка делилась надвое, и они остановились. Олег Константинович не глядел на соседа. Иван Семёнович, загребая ногой первые жёлтые листья, очень бодро сказал:

— Пошли, что ли, инопланетный народ, выпьем вина.

КОЛОМЕНСКАЯ ПРАВДА

«Коломенской правде» — 90 лет!

10 ноября 2007 года газета «Коломенская правда» отметит свой юбилейный день рождения. Девяносто лет назад вышел в свет первый номер газеты, которая в то время называлась «Известиями Коломенского Совета рабочих и солдатских депутатов». Газета родилась в непростое время и на всём протяжении своей истории оперативно отражала и анализировала самое важное, что происходило и происходит в жизни Коломны и района.

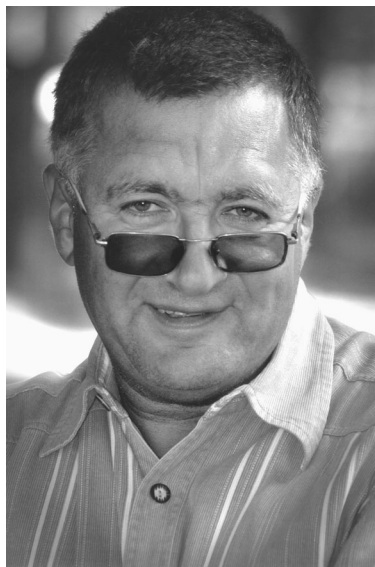
По праву «Коломенская правда» признана летописью новейшей истории Коломенского края, старейшиной городской прессы. Имена её журналистов знакомы многим читателям альманаха: это Анатолий Кузовкин, Вероника Ушакова, Галина Горчакова, Юрий Имханицкий, Лев Авдеев.

За свою 90-летнюю историю газета неоднократно менялась, оставаясь верной однажды выбранному курсу — объективно и взвешенно отражать жизнь нашего общества. Хочется пожелать, чтобы и впредь активная гражданская позиция, искренность, высокое мастерство журналистов и кропотливый труд всего коллектива редакции уверенно вели за собой коломенцев, обеспечивая одно из основных прав гражданина — право свободы слова, способствовали развитию и процветанию нашего края.

Изданию, завоевавшему авторитет у строгих и внимательных читателей, остаётся пожелать только одного: не сдавать завоеванных рубежей, оставаться таким же объективным, живым, наполненным актуальными и деловыми материалами.

Желаем сотрудникам «Коломенской правды» вдохновения, творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Редколлегия



*В старинном городе Коломне начался литературный путь **Виктора Семёновича Мельникова**, хотя жизненные дороги будущего писателя охватили огромное пространство — от Казахстана до Риги. Несмотря на все испытания, соблазны и крушение иллюзий, он сохранил веру в Россию и человека, традиционную для русской культуры сердечную теплоту, порядочность и искренность, определившие его голос в русской литературе.*

Виктор Мельников — интеллигент-труженик, издатель, объединивший литературные силы древнего подмосковного города вокруг «Коломенского альманаха».

РАССКАЗ

Виктор МЕЛЬНИКОВ

ГДЕ-ТО В СИБИРИ...

*Посвящается моей младшей
сестрёнке Стасии*

*Счастливая, счастливая,
невозвратимая пора детства.
Как не любить, не лелеять
воспоминаний о ней.*

Лев Толстой

1

Клавдия собралась гладить гору высохшего на осеннем ветру белья. Набрала в рот воды из маленькой алюминиевой кружки и брызнула широким веером на разложенный по столу цветастый пододеяльник. Раскалённый чугунный утюг, словно крохотный пароходик, послушно заскользил по ткани. И вдруг в коридоре что-то грохнуло и в комнату без стука как вихрь ворвалась соседка. С трудом переводя дух и прижимая руку к груди, выпалила почти на крике:

— Клаш! Гришка твой в смолу врюхался! — И прикачнулась к дверному косяку. — Аж по сих вот пор, — и полоснула рукой по горлу.

— Как в смолу?! — Клавдия отставила утюг и, не сразу всё осознав, смотрела растерянно.

— Да в котёл упал. Видать, берёзовая смола кончилась, так он за битумом полез. Жуют, будто коровы... Вот его там и затынуло. Одна голова торчит!

Клавдия, шлёпая тапками, кинулась вон, на улицу. Соседка еле поспевала за ней, выкрикивая на бегу:

— Жуть-то какая!.. Живьём в смоле!..

Клавдия бежала как оглашенная, соседка — следом. И ещё успевала успокаивать:

— Да не реви ты!.. Ничего с ним не случится. Битум холодный. Костёр, кажись, со вчерашнего дня не разжигали.

Они бежали к новому четырёхэтажному дому, который строился неподалёку, за их бараками. Рабочие занимались кровлей и по ночам варили в огромном котле битум для промазки. И туда, к костру, как магнитом тянуло дворовую ребятню. Клавдия и сама знала, что сын её с соседскими мальчишками до поздней ночи сидит у яркого костра, любясь кипящей смолой, которая пузырится и булькает, как манная каша в кастрюле.

Новый дом строили ссыльные из Прибалтики. Латыши, литовцы, эстонцы... Но для сибирских ребят, да и для взрослых тоже, все они были на одно лицо. Бывшие враги. И потому имя всем было тоже одно: Гансы. В городке так все их и называли. Гансы были люди не злобные. Хотя ходили слухи, что в войну они в Прибалтике прислуживали фашистам и воевали против Советской власти. Однако ссыльные вели себя по-доброму. Даже дарили ребятишкам берестяные туески, которые с усердием плели после работы. И главное, ничего не просили взамен.

Кровлю нового дома клала бригада литовцев. Обычно, сидя у костра, они любили рассказывать о своей земле. Будто у них вдоль проезжих дорог растут яблони и плоды с них может срывать каждый. И притом сколько захочется. И их даже не обязательно рвать. Они просто лежат под деревьями, ковром устилают траву, и ими лакомятся захожие свиньи. Сибирским ребятам такие вести были в диковинку.

— Мам, а Ганс не врёт? — спрашивал иногда Гришка у матери. — Неужто правда так жирно живут, что аж яблоки свиньям скармливают?

— Может, сынок, и правда. У них же климат теплее... — И добавляла не без гордости: — Зато у них нет кедровых шишек. И такой тайги нет, как у нас. Да и хариус такой не водится, как в нашей речке. — И почему-то с любовью гладила по голове русоволосого сына, словно что-то не договаривала.

Гришка жил с матерью в бараке. У отца была другая семья. Мальчишка тайно от матери берёг несколько отцовских фотографий. И часто, когда матери не было дома, мальчик раскрывал тетрадку, в которой они хранились, и вслух разговаривал с заветными карточками. То хвастался отцу чем-нибудь, то жаловался, а иногда просил совета. Уж очень не доставало ему отцовской заботы, мужского плеча. И потому в конце таких бесед Гришка всегда вздыхал: «Плохо мне без тебя, папка!»

Наконец Клавдия, задыхаясь, влетела на стройплощадку. Из котла действительно торчала голова сына. Совершенно чёрная, словно чертёнок варился в котле. Утонуть Гришка, конечно, не мог, потому что котёл был не выше его роста. Но густая чёрная жидкость крепко держала пленника в своей вязкой массе. Мальчишка стоял у высокого борта и, цепляясь за край чёрными пальцами, всё пытался выкарабкаться из жуткого омота. Но сил не хватало. Всё тело сковывала вязкая смола. А в выпланных глазах уже стоял ужас безысходности, хотя на губах порой проступала жалкая улыбка.

Вокруг охали-стонали сердобольные соседские женщины, поочередно пытаясь перепачканными по локоть руками вытащить мальчишку наружу.

— Может, котёл опрокинуть, пока он тёплый? А то ведь в смоле совсем застынет. Тогда уж не вытащить!

Клавдия, как в беспамятстве, схватила сына за голову:

— Гриша!.. Гришенька!.. Потерпи!.. Сейчас... Сейчас...

А из дверей нового дома уже спешил к ним какой-то ссыльный Ганс. Он бежал неловко: мешала широкая доска в руках. Добежав, он с размаху бросил её поверх, на края котла. Молча отстранив Клавдию, притулился к лестнице и, поднявшись, шагнул на хлипкий мосток. Тот слегка прогнулся под его ногами.

Теперь мужчина возвышался над окружавшей толпой. Крепкий, здоровый, могучий. Светлые глаза щурились под сдвинутыми бровями. Ганс живо нагнулся, бормоча что-то по-своему, схватил чумазого мальчонку под мышки и потянул вверх с такой силой, будто хотел поднять Гришку вместе с котлом.

Народ вокруг притих, замер. Было слышно, как похрустывает доска под ногами литовца. А он всё тащил и тащил вверх чёрно блестящее тело огольца, за которым тягуче волочились мягкие ленты смолы. На шее мужчины надулись вены. Челюсти были крепко стиснуты, на щеках обозначились желваки. Тело юного разбойника медленно возносилось над котлом. Густо-чёрные нити битума, скручиваясь и обрываясь, шлепками падали вниз, в тёмную пасть котла.

Ганс опустил мальчишку на ноги возле котла и сам спрыгнул на землю. Толпа облегчённо вздохнула.

— Ну чисто негритёнок! — зашумели вокруг бабы. — Вот наука так наука. Не будешь лазить куда не надо.

— Ты, Клавка, может, в Африке бывала? Откуда такого чернущего привезла? — соседки чесали языки на радостях кто как мог.

А Гришка стоял оторопело и молча. Его брючины слиплись и не давали даже шагнуть ни вправо, ни влево. А так хотелось быстрее рвануть отсюда домой! Ведь дёру от мамки не миновать. Но сейчас у паренька было такое ощущение, будто его заковали в железную трубу.

— Снимай брюки! — наконец строго скомандовала мать.

Липкими непослушными пальцами неудачливый искатель приключений стал медленно стягивать задубевшую ткань. Поодаль соседские девчонки засмеялись-захихикали. Наконец твёрдые отяжелевшие штаны комом упали на землю. И тут мать не выдержала и, чуть не плача — то ли от радости, то ли от отступившего напряжения, — с удовольствием отнесла сыну по голой заднице пару крепких шлепков.

— А ну марш домой!

Но удары, в общем-то, были формальной частью, скорее всего — для публики, и Гришка обрадовался: гнев матери шёл на убыль. Самое страшное осталось позади. Как и чёрные, бесформенные брюки, лежащие теперь на пыльной земле.

И вот уже они шагали домой по деревянному тротуару, рядышком, — счастливая мать и спасённый сын. А за ними — вся толпа: весёлая ребятня и охающие, гомонящие бабы. И только литовец остался стоять у котла, старательно сдирая с рук застывающую густую смолу.

2

Гришку отмывали всем миром — всем барачным двором. Соседи принесли столько тряпок и столько бутылок с керосином, что хватило бы отмыть не только Гришку, но и весь котёл. Наконец пришёл и литовец, спаситель, — неожиданно, на удивление всем, принёс Гришкины брю-

ки, отстиранные в бензине. Но Клавдия встретила его, молчаливого, почему-то не шибко приветливо:

— Тебя чего нелёгкая принесла? Или магарыч какой хочешь?

Но бабы не одобрили, зашикали на неё:

— Ну чего ты на человека набросилась? Он как-никак мальчишку спас.

— Может, мне ещё в ножки ему поклониться? За котёл их, брошенный без присмотра? — Но брюки, пахнущие бензином, всё-таки приняла и развесила на заборе.

А сына своего она драила, как старый самовар. Мальчишка стоял в стиральном корыте и, зажмурившись, мужественно переносил адские муки. Ему было больно, кожа горела, но он не плакал: вокруг толпилась ребятня и, конечно, соседские девчонки, которые с лукавым состраданием смотрели на обнажённого Гришку.

— Ну чего, бесстыжие, тараштесь? — прогоняла их мать. А те, любопытные, отбежав немного, продолжали смотреть.

Время шло. И в конце концов во дворе остались трое: Клавдия с сыном, а поодаль — ссыльный литовец. Мальчонок от усталости и напряжения еле держался на ногах. Зато когда с кожи наконец была отодрана последняя полоса смолы, мать с облегчением вздохнула и неожиданно разрешила сыну отправляться на речку — окончательно отмываться в проточных струях.

И вот почти счастливый Гришка уже бултыхался в нагретой за день воде, сверкая голым задом, рыча и фыркая от удовольствия, как водяной зверёк.

А на берегу...

На берегу спокойно сидели два взрослых человека — он и она — и о чём-то неспешно беседовали. Сидели среди привядшей, примятой травы, подёрнутой уже неяркой осенней ржавью.

— А вы правда воевать ходил? — неторопливо спрашивал Клавдию литовец, с твёрдым, отдельным акцентом, путая и ударения, и слова.

— А ты с чего взял? — Клавдия посмотрела на него удивлённо. — Или слышал чего?

— Ваш сын сказать мне... — По-русски ссыльный говорил неумело. Нужно было догадываться, о чём он спрашивает.

Женщина рассмеялась:

— Как смешно говоришь...

— Плохо?

— Чудно. — Клавдия натянула платье до щиколоток, обхватила руками колени.

— Да... Извините мой русский... Я ещё плохо рассказываю... по-русски. А вы живёте один?

Клавдия снова рассмеялась. Смех был мягкий, приятный.

— Во-первых, не «один», а «одна». А во-вторых, вдвоём с Гришкой. — Она поглядела с любовью на купающегося вдали сына. — Слушай, Ганс, а чего это ты такой вопрошливый?

Литовец насупился. Хлопнул себя по карману брюк, вытащил потёртую трубку, мешочек с махоркой. И, ловко сделав набивку, закурил. Спросил, глядя вдаль:

— А где муж... ваш?

— У него другая семья, — просто ответила Клава. — Давно уже.

Ганс поджал губы:

— Плохо, — и выпустил облачко дыма.

— А тебе-то зачем это? — не глядела на него женщина.

Но он не ответил. Потом, после некоторого молчания, снова повторил свой вопрос:

— Вы всё-таки... был на войне?

— Во дотошный, — вздохнула Клавдия. — Была, была... Будь она проклята...

Литовец затаился глубоко, до кашля. Молча внимательно поглядел на Клавдию. А вечер стал уже тёмным, плотным. И уже почти не видно было бултыхающегося в реке Гришку. Только слышались всплески воды, фырканье да порой мальчишечьи вскрики.

А Клавдия вдруг разоткровенничалась:

— Со своим-то я в Берлине познакомилась... Тогда он был такой бравый лейтенантик... А после победы увёз меня к себе — сюда, в Сибирь. Только вот счастье оказалось коротким. Как солнышко в дождь: улыбнулось и спряталось... Оказалось, здесь и без меня у него подружек девать некуда. Конечно, парень бравый, вся грудь в орденах. Кинулись на него, как пчёлы на цвет. Я, в общем, лишней оказалась... К тому времени уже и Гришка родился... Но его это не остановило. Ушёл жить к другой. А нас оставил у своей матери...

Они помолчали. Потом ссыльный спросил, выбивая трубку:

— А почему на бараке живёшь? Бедно.

Она передёрнула плечами, посмотрела вызывающе, вдруг засмеялась. И резко:

— А я сама ушла от свекрови. Не век же мне с ними жить. Я ещё молодая. Может, ещё найду счастье...

Литовец кивнул.

А она осторожно спросила:

— Ну, а тебя-то за что... завезли сюда из твоей Балтики?

Он засунул трубку в карман. Признался:

— С «лесными братьями» был... Они меня в лес увели, уговорили — надо, мол, землю литовскую освобождать... От чужих... От русских оккупантов...

Шла первая послевоенная весна. Снег в том году стаял рано, и семья Балюнасов готовилась к весенней вспашке. Но та роковая ночь словно оборвала начавшуюся мирную жизнь, и вместо Юстаса Балюнаса словно другой человек стал жить на земле.

...Они ввалились и наполнили дом запахами пота, леса и дыма. По-хозяйски протопали к столу, расселись по лавкам. А главный, Кабан, сел в торце стола, у самого окна.

— Одевайся! — бросил он Юстасу и со стуком положил автомат на стол.

Вышел отец, в одном белом, исподнем.

— Куда это вы его?

Кабан посуровел:

— Нечего тут в тепле отсиживаться. Пора нацию свою защищать.

Отец ответил резонно:

— У тебя, Слуцкис, всё аппетит растёт. Сперва тебе нужны были хлеб наш и сало. А теперь и сын мой понадобился?

Кабан хлопнул ладонью по столу:

— Так время требует!

Тут Юстас тихо спросил:

— А если не пойду?

Кабан усмехнулся криво:

— Пойдёшь. Куда ты денешься? Иначе хутор спалим.

Юстас молчал. Отец, не глядя на пришельцев, горько усмехнулся:

— И за какую нацию вы боретесь? В войну столько литовцев не погибло, сколько сейчас. — Опять вздохнул: — Скоро на земле ни одного литовца не останется. Всех перережете! Кто пахать будет? Вы?!

— Молчи, старый... — вдруг пробурчал один из «лесных братьев». — Ты свою задницу сперва кому подставляял?.. Полякам. А потом кому? Немцам. А сейчас приготовился и русским? — Глазами озлобился. — Хватит предавать Родину! Настал в Литве час расплаты!

...В лес они уходили гуськом. След в след. Юстас был поставлен в середине цепи. И он послушно и тяжело шагал по сырой траве, чувствуя за спиной чужое дыхание.

3

На речном берегу было тихо.

— Выходит, вроде как ты враг? — донёсся до сознания Юстаса голос Клавдии. — И чего я тогда с тобой тут сижу?

Она даже чуть отодвинулась.

— Не уходите, — сказал литовец. — Очень прошу. Всё это сложно. Не надо друг друга судить. Это правда... Литовцы очень хотели быть свободными...

Клавдия смотрела на полутёмную реку. Потом привстала и крикнула:

— Гришка!.. Вылазь!..

Мальчик выбрался на берег посиневший и съёжившийся от холода. Зубы выбивали мелкую дробь, но глаза сияли радостью. Мать подошла, накинула на сына полотенце и прижала его к своему тёплому материнскому телу.

— Ох и несёт же от тебя бензином! Как от худого мотоцикла! — И рассмеялась. Потом обернулась к литовцу: — Ладно, Ганс. Иди уж. Тебе тоже пора! Не ровён час искать кинутся. У вас же свои порядки.

— Да, да, — словно опомнившись, живо поднялся литовец. — А зовут меня не Гансом... Я Юстас... Юстас Балюнас.

— Красивое имя, — поглядывая на него издали и вытирая сына, оценила Клавдия.

Юстас улыбнулся:

— Можно, я к вам буду... ходить... гостить?

— Заходи, коль охота, — разрешила Клавдия и с сочувствием взглянула на рослого чужеземца.

4

А Юстас и правда пожаловал в гости уже на следующий день. В комнату он вошёл вместе с Гришкой, держа мальчика за руку.

— Мам! — с порога закричал Клавдин сын. — А дядя Юстас машинку принёс. Смотри!

— Что ещё за машинка? — едва кивнув гостю, всполошилась хозяйка.

— Ну такая... Волосы стричь, — горячо объяснял сын. — Ты ж сама вчераш говорила... Волосы легче отстричь, чем от смолы отмыть.

Клавдия улыбнулась со сдержанной радостью.

Гость развернул матерчатый свёрток и извлёк из него блестящую металлическую машинку. Вскинув, ловко пощёлкал ею по воздуху. Точь-в-точь как делал в городской парикмахерской старый еврей Сеня.

— Что ж, стричь так стричь, — согласилась Клавдия. — Скоро в школу. Всё меньше расходов будет.

И вот уже посреди комнаты поставлен табурет, Гришка обмотан простыней. И началось священнодействие. Длинные волосы мальчика, ещё кое-где склеенные смолой, падали на пол и на худые, острые Гришкины колени. Юстас работал умело... «Чик-чик», — жужжала машинка. А мальчик собирал с колен волосы и аккуратно складывал в ладонку.

— Ну вот... Готово! — сказал наконец Юстас и отступил в сторону, продувая машинку.

Клавдия засмеялась:

— Не голова, а прямо глобус. Осталось только контурными картами обклеить.

А сын сиял:

— Зато теперь мыть не надо.

В этот день в окне Клавдии до позднего вечера горел свет. Потом она вышла проводить гостя за порог, а Гришка так и уснул, не дождавшись возвращения матери.

С этого дня литовец стал приходить к ним почти каждый вечер. А вскоре Гришка заметил, что дядя Юстас перестал называть мать на «вы» и вообще по-русски стал говорить хорошо.

5

Однажды Балюнас пришёл к ним с большим бумажным пакетом. Чего в нём только не было! И шоколадные пряники, и пахучая колбаса, и сыр с крупными дырками, и конфеты в золотистых обёртках. И даже лимонад был! А из кармана брюк торчала бутылка вина.

— Это по какому же поводу гость будет угощать нас? — осторожно спросила Клавдия.

Юстас прямо взглянул ей в глаза.

— Сегодня у меня разговор будет... трудный, — ответил он. И потом, улыбнувшись, добавил: — Нелёгкий...

— Ты, наверно, хотел сказать — серьёзный? — поправила Клавдия.

Балюнас одобрительно закивал головой.

Женщина усмехнулась.

— Худа беседа... без соли, без хлеба? — И велела сыну: — А ну, Гриша, выдь!

— Ну, мам... — заканючил тот, подозревая, что его хотят лишить редкого угощения.

Но Юстас возразил:

— Не гони его. Давайте посидим вместе.

И Клавдия вся засветилась радостью. Мальчик смотрел на мать и думал, что никогда не видел её такой молодой и красивой.

А гость между тем рассургучил бутылку и разлил в два стакана красное вино. Гришке налил золотистого лимонада.

Они уютно сидели втроём за праздничным столом.

— Ну, за что пьём? — подняла стакан хозяйка и прищурилась, разглядывая рубиновый цвет вина. — Что за торжество?

А гость вдруг предложил, говоря, как всегда, с акцентом:

— Выпьем за котёл... За тот котёл... За то, что он нас познакомил...

Мать и сын переглянулись, а Гришка от такого тоста только поморщился. Нет, всё-таки странные люди эти взрослые. Принести такое царское угощение, а выпивать за какой-то котёл! В котором варят смолу. Ну, за любовь — куда ни шло, но чтоб за грязный котёл — такого он ещё не слыхивал...

Когда всё-таки выпили, Гришка решил спросить:

— Дядя Юстас, а почему ваша Литва так называется?

Гость улыбнулся.

— У нас погода приморская. Всё больше дожди да туманы. Солнца мало. Но когда появляется, оно такое ласковое... Вот от слова «лить», наверно, и назвали наш край.

— Гнилушка какая-то, — саркастически ухмыльнулся Гришка. — Если у вас так хмуро, как же там растут яблоки?

— Ещё как растут! — оживился литовец. — У нас самые богатые яблоки. Литовские сахарные... Осеннее полосатое... Папировка... Вот вырастешь, обязательно съездим...

— А как по-вашему «дождь»? — не унимался мальчик.

— Летос.

— А «здравствуйте»?

— Лабас ритас.

— А «дорога»?

— Кялес.

Гришка задумался.

— А «хлеб»?

— Дуона.

И мальчик, уплетая вкуснятину за обе щёки, с удовольствием повторял: «Летос... Лабас... Кялес...»

После выпитого вина Юстас закурил трубку. Спросил Клавдию:

— Может, ещё по одной? — и протянул руку к бутылке.

— Себе наливай, — не возразила женщина. — А мне ещё стирка предстоит. Вон накопилось сколько. Не успеваю.

И тут Гришка вдруг выпалил:

— Дядя Юстас, у нас косу называют литовкой. Может, она тоже из Литвы? — Его любознательности не было предела.

Балюнас глотнул вина.

— А что... может, жили когда-то давно и здесь... литовцы...

Клавдия рассмеялась:

— Ой уж, сочинители! От вашей болтовни скоро голова заболит! А что касается литовки, то, думаю, она никакого отношения ни к литовцам, ни к литовкам не имеет. Это просто русская большая коса. А называется так потому, что литая, цельнолитая. А то, я смотрю, вы скоро договоритесь и до того, что Сибирь — родина литваков. И что приехал дядя Юстас не в ссылку, а отдыхать на родину своих предков.

Балюнас тоже смеялся — свободно, заразительно. Словно забыл о печальном. Словно он и не ссыльный. Словно у себя дома.

А хозяйка скомандовала:

— Бери, Гришка, пряники — и марш на улицу!

Мальчишка только этого и ждал. Схватил в обе ладошки — и в дверь.

Юстас и Клавдия остались одни.

— Ну, выкладывай, — сказала женщина, когда за сыном захлопнулась дверь. — Что за праздник такой у тебя? Уж не домой ли вас отпускают?

Юстас затушил большим пальцем трубку, положил на стол.

— До дома мне пока далеко, — усмехнулся он. — Про другой дом с тобой говорить пришёл. — И, помолчав, тихо добавил: — Выходи за меня замуж!

Клавдия, вскинув взгляд, так и застыла-окаменела: вот так да!

А гость продолжал, подыскивая слова:

— Я как в первый раз тебя увидел, подумал... Ты... особенная... Особенная женщина... Я такой не встречал... Да, наверно, лучше и в природе нет...

Клавдия потупилась, вспыхнула... А он спросил настойчиво, по-мужски:

— Ну как?.. Примешь литовское сердце?

Клавдия молчала. Всё было так неожиданно. И так серьёзно.

— Не знаю, как ты... А я тебя полюбил... очень... — тихо говорил Юстас. — Как тебя увидел... сразу же понял... что для меня началась новая жизнь. Ну, скажи что-нибудь... Не молчи...

— Даже и не знаю, — словно опомнившись, сказала Клавдия. — Мужик ты деловой и вроде хороший, детей любишь... но ведь ты ж... ссыльный. И эти... «братья», вроде бы как фашисты... — Она тяжело вздохнула.

— О, Езус-Мария! — Юстас резко поднялся из-за стола. — Ну какой я фашист? Я же говорил: мы не за немцев были, а воевали против сталинского режима!

Клавдия холодно отозвалась:

— Хрен редьки не слаще. Когда мы освобождали вашу Литву, столько русских солдатиков полегло. У вас одни приветствовали наши войска, а другие в спину стреляли...

Он потупился:

— А я не стрелял ни в кого! Вот тебе святой крест! — И перекрестился.

Она развела руками.

— А за что же тогда тебя сослали? У нас зря не судят!

Он нахмурился.

— Там особенно не разбирались. Нас просто выселяли из родной земли.

А Клавдия добавила осуждающе:

— Бандитский лес ты называешь родной землёй?

— Этот лес — тоже частица родины, — он сказал это спокойно и твёрдо, как никогда. Даже с каким-то пафосом, в общем-то ему не свойственным.

Их небольшой хутор находился в живописнейшем месте, на слиянии двух красивейших рек — Сваля и Левус. Далее серебристое брюхо уже единой реки, словно накормленная лошадь, с новой силой бежало мимо зелёных кустарников и перелесков. И устремлялось вдаль, за высокий лесистый холм. Хозяйство Балюнасов было ладным и крепким. Днём ок-

ругу оглашало мычанье коров и блянье овец. Тонкими голосами повизгивали и хрюкали на скотном дворе свиньи и поросята. Со всем этим немалым хозяйством в основном справлялись мать и отец Юстаса. Сам же он любил заниматься рыбалкой. У него была хорошая лодка и знатные, на зависть всем, сети. Без рыбы с реки он обычно не возвращался. Юстас сам чистил её. Свой улов он обычно солил или коптил. Его хватало и семье, и на продажу. Раз в неделю Юстас возил рыбу на старенькой бричке в город. Там, в Пасвалесе, жили две его старшие сестры. Они-то и торговали этим немалым добром на базаре. А за работу брат получал обычно наличными да в придачу бутылками с «горючим». И частенько Юстас возвращался домой к вечеру навеселе. Впрочем, почему бы не пропустить пару «губастеньких» с родственниками? Тем более что мужья сестёр — народ заводской, и Юстасу всегда было интересно с ними потолковать.

На хутор же, слегка погоняя лошадей, он возвращался обычно с песнями. Протяжными, тихими. И отец, стоявший у ворот, слышал стук брички приближающегося сына. Вдвоём они разгружали кладь, распрягали коней. Кони были добротными и сильными. Любовно вскормленными на сытных луговых травах, вспоенными свежей речной водой.

6

— Ну чего пригорюнился? Чего молчишь? — понизила голос Клавдия, машинально поправляя на затылке заколотую в пучок косу.

Юстас вылил оставшееся вино в стакан и выпил.

— Мне кажется, мы не о том говорим. Теперь неважно, как жили мы раньше. Для нас с тобой... теперь новая жизнь, — заглянул ей в глаза. — Так ты согласна стать мне женой?

Она посмотрела на него в сомнении.

— Не знаю, Юстас. Страшно сказать тебе «да».

— А ты не бойся! — оживился он. — У нас семья будет хорошая. Я знаю. Я всё для этого сделаю. А когда срок мой закончится — уедем вместе в Литву. Увидишь настоящую сытую жизнь.

— О-о, — вдруг засмеялась она. — Вот уж что-что, а к вам я никогда не поеду! Дома и солома едома, а в чужом месте, как в тёмном лесу. Страшно.

— Ну ладно, ладно, — успокоил Юстас. Он впервые испугался её отказа. — Это потом всё. Потом.

Клавдия принялась убирать со стола посуду.

— Так что ты мне ответишь? — опять спросил Юстас.

Она вздохнула:

— На всякое хотенье есть терпенье... Не торопи. Дай всё хорошенько обдумать.

Гость посерьёзnel:

— Ладно. Я буду ждать... Время есть.

Когда Балюнас уже стоял у порога, хозяйка окликнула по-домашнему:

— Юстас, ты трубку забыл...

Он живо вернулся, взял со стола трубку, сунул в карман. Опустив взгляд, постоял в нерешительности, словно хотел что-то сказать. Но, махнув рукой, твёрдым шагом вышел за дверь.

Дня через два Клавдия всё рассказала сыну. Было это перед самым сном.

— А фото отца со стенки не снимешь? — Гришка испуганно глядел из-под одеяла.

Но мать со счастливым лицом вдруг спросила:

— Так ты что, не против, если я замуж выйду?

Сын пробурчал, натягивая одеяло к подбородку:

— Сама решай... Только «папкой» я его звать не буду. Ни за что. «Дядя Юстас», и всё!

Мать присела на край кровати:

— На сердитых воду возят, а на дутых — кирпичи... — Склоняясь, она прижалась к сыну, потом погладила по голове. — Вылитый отец! Колючий, как ёжик... Ершистый.

Глаза мальчика потеплели.

Но мать опять за своё:

— Он тебе хоть нравится?

Гришка отрицательно повертел головой:

— Нисколько. Больно лобастый. Об его лоб только поросят бить. — Помолчал. — А может, мы будем с тобой жить вдвоём? — В глазах светилась надежда. — Пусть он к нам так, в гости ходит. А то на улице начнут дразнить...

Мать вздохнула и пожаловалась сыну, как взрослому:

— Тяжело мне одной тебя растить. Так — всё же семья... А если замуж выйду, нам в новом доме дадут не двухкомнатную, а трёхкомнатную квартиру. У тебя будет отдельная комната. Разве плохо? Да и, Бог даст, братик у тебя появится. А что? Плохо разве?

Гришка резко сел.

— Ты что?.. Литовец, что ли?.. Не надо мне таких братиков!.. Вот если бы это был папкин...

Мать улыбнулась:

— Ладно, ладно. Не кипятись, спи давай. Завтра в школу рано вставать.

А на другой день Гришка, зайдя после школы на автобазу, жаловался отцу:

— Мамка решила замуж выйти. Я её отговаривал. Но не знаю, послушает ли... Конечно, тяжело ей одной. — Он вздохнул. — Жаль, что я ещё маленький. А то пошёл бы работать. Тогда было бы всё по-другому. Только она ведь не станет ждать, пока я вырасту. — Взглянул на отца. — Ещё говорила про братика... А на кой он мне... Правда, трёхкомнатную квартиру тогда дадут. Лебеда... Вот, папка, такие у нас дела...

Они сидели в машине отца, и обоим было неловко и неудобно смотреть друг другу в глаза. И у взрослого, и у ребёнка теперь была уже своя семья и своя отдельная жизнь. И каждый остро чувствовал это и потому неловко молчал.

Свадьба у Клавдии с Юстасом была скромная. Пришли соседи Клавдии, кое-кто из больницы, где она работала, и несколько друзей Юс-

таса. Стол накрыли по-литовски. Сибиряки с удивлением ели сытную гороховую кашу, картофель с жареным свиным мясом. А рядом, на большом блюде, высокой горкой белели длинные вареники из тёртого сырого картофеля, начинённые творогом. Всем пришлось по вкусу и самодельная колбаса из свиного мяса, которую новобрачный несколько дней коптил в печной трубе. Когда все уже изрядно захмелели, запели, как всюду заведено, песни. Вначале — литовскую. И запевал сам Юстас:

Эх, пил я пиво и песню пел.
Кто ж разукрасил лицо мне?
Кто ж разукрасил лицо мне?
Хмельёк весёлый, хмельёк весёлый —
так разукрасил лицо мне.
Так разукрасил лицо мне.

А друзья его громко подхватывали известный мотив:

Что густо вьёшься?
Что в высь стремишься?
Тот, кто разукрасил лицо мне,
тот, кто разукрасил...

Тогда сибиряки, как бы в ответ, затянули чистыми голосами свою знаменитую «Ой, мороз, мороз, не морозь меня...». Потом спели озорные «Валенки», а потом опять душевную, протяжную «Белым снегом...». Им подпевали и ссыльные литовцы, уже выучившие эти песни. Говорили шумно, рассказывали весёлые истории, и, словно сговорившись, никто на свадьбе не вспоминал войну. Будто и не пережили её совсем недавно.

Высокий и сильный Балюнас сидел во главе стола в белой рубашке. Он оглядывал всех весёлым взглядом и каждому подходящему не отказывал чокнуться и выпить с ним. Его душу переполняла любовь к этой ладной, красивой женщине, сидящей рядом, переполняло ощущение предстоящей новой жизни.

Клавдия же, наоборот, особой радостью не светилась. Она ощущала даже смятение: что будет? Что ждёт её впереди? Не поспешила ли, не ошиблась ли? Товарки перешёптывались: «Сидят рядом, а глядят что-то врозь».

Но вот свадьба закончилась, и стала Клавдия — мать Григория — второму женой. А бывшая свекровь, заглянувшая к концу праздника «на огонёк», тихо сказала ей в кухне, уже уходя:

— Разной вы веры, Клавушка. Неужто русских-то не нашлось? Не жилец дятел в гнезде синицы. — Вздохнула. — Только Гришеньку не обижай. Без матки пчёлки — пропащие детки. Ну, а будет лишним — отдай нам. Я уж как-нибудь выращу... — И ушла, не поцеловав, не обняв, не сказав добрых слов, как на свадьбе полагается.

9

Вместо обещанного братика Клавдия родила девочку. Случилось это пятого сентября 1956 года.

Этот день в жизни Гришки ознаменовался ещё одним событием — он получил первую свою оценку. И не какую-нибудь, а пятёрку. Жирную такую, словно её специально откармливали для первоклассника. Конечно, не терпелось показать маме, которая лежала в роддоме. Вот обрадуется! Мальчишка вбежал в больничный двор и изо всех сил стал звать маму. Та испуганно выглянула в окно. Гришка вытащил из ранца свою драгоценную тетрадку, начал тыкать пальцем в красную цифру и ещё в придачу кричать: «Я пятёрку получил!» Клавдия понимающе закивала головой, а потом вдруг исчезла и через минуту появилась снова, но уже с каким-то свёртком в руках. По знакомому одеялу Гришка догадался, что это ребёнок. «У тебя сестричка родилась!» — крикнула в форточку мама.

Гришка возвращался домой и не мог понять: чему ему больше радоваться — первой пятёрке или рождению сестрёнки?

Девочку назвали литовским именем — Кристина. Кристина Балюнайте. А мать Гриши после свадьбы стала Клавдией Балюнене. Отчим был Юстас Балюнас. И только один Гришка оставался русским — Григорием Ермаковым. Он наотрез отказался менять отцовскую фамилию. Ну какой он литовец? Какой иностранец? Курам на смех...

С появлением сестрёнки для Гришки кончилась и жизнь спокойная, и спокойные сны. Живой, розовый, тёплый комочек с двумя пуговками серых глаз ревел и днём и по ночам, как иерихонская труба. Правда, Гришка не вскакивал к качалке, как это делала мать, а лежал и с горькой досадой наблюдал эту постоянную канитель со своей кровати. Мать электричества не включала, но в свете серебристой полной луны её усталое лицо было отчётливо видно. Были заметны и мельканье во тьме обручального кольца на её пальце, и даже округлая грудь матери, приоткрывавшаяся при кормлении малышки. Мальчик от этой обнажённости замирал и жмурился. Умолкала и сестрёнка Кристина. И в лунной тишине было слышно лишь сладкое чмокание. Потом мать осторожно укладывала девочку в качалку и начинала шёпотом напевать: «Жили у бабуся два весёлых гуся, один серый, другой белый, два весёлых гуся...» Под эту песню, которую мать пела когда-то и самому Гришке (словно это было в другой жизни), мальчик и сам засыпал.

А вскоре наступили такие дни, когда Гришка уже со всех ног бежал из школы домой. Наспех мыл руки и живо подсаживался к детской кроватке. Ласково разговаривал с крохой Кристиной, гладил и целовал её пухленькие ручки и вообще зачастую не отходил от неё до вечера. Мать не могла нарадоваться, глядя на них.

В школе Гришка учился хорошо. Неожиданно у него обнаружили немалые способности к рисованию. К тому же одним из первых в классе его приняли в пионеры. Гришка важничал, гордился этим и даже перекалывал свой пионерский значок со школьной формы на домашнюю одежду. По вечерам мальчишка бегал с друзьями по соседским дворам и собирал для школы макулатуру — выброшенные книги и газеты. Собирал и железный лом: старые железяки, жестянки, негодные кастрюли и даже проржавевшие кровати.

На всё это отчим однажды сказал:

— Дурачьё вы наивное. Отнесли бы лучше собранное утильщику. Он хоть цветных карандашей бы дал. А то и альбом. Или мяч. Всё не у матери бы просил...

Гришка спор с отчимом не затевал, отмалчивался, но продолжал жить так, как ему нравилось.

А вскоре в новом доме, возле которого Гришка когда-то чуть не утонул в котле со смолой, им дали трёхкомнатную квартиру. Старый же барак, который столько лет был приютом для многих семей, снесли бульдозером. С этого часа Гришка почувствовал, как оборвалась навсегда ниточка, связывающая его с детством...

10

Клавдии завидовали все бабы в доме. Работящий Юстас построил около дома дощатую стайку*. Утеплить её опилками, глиной, и они обратились хозяйством: купили поросёнка, цыплят. И вскоре у них, как в деревне, захрюкала свинка, стали нести яйца куры. Юстас в квартире под полом ещё выкопал и погреб, построил кладовку, и круглый год на крючках там висели копчёные окорока, а в бочонках хранились крупные, с ладонь, грузди и капуста с мочёными яблочками.

Гришка тоже старался не отставать от отчима, во всём ему помогал. И воды наносит в кадку, и дров наколет, и лучин жаровых настругает на растопку. А уж про живность и говорить нечего. Только он один за курами и свиньями и ухаживал. Завидев своего кормильца с ведром, поросёнка хрюкали, тычась в дощатую перегородку. Гришка аккуратно разливал поило по всей длине корыта, но они всегда толкались и громко чавкали только в одном углу. Словно там были самые лучшие куски.

— И чего вы такие глупые? — весело смеялся Гришка, почёсывая их за ушами. Он любил скотину, он вообще был сочувственным, сердечным парнишкой.

Как и было заведено — к октябрьским праздникам и к Новому году свиней обычно забивали. Эти дни были у Гришки самыми страшными. Он убегал со двора и возвращался только к позднему вечеру. И не потому, что он боялся крови, которую дядя Юстас пил из кружки ещё горячую. Просто за целый год Гришка настолько привыкал к животным, что у него не хватало сил слышать их предсмертный крик. «Пусть думают, — утешал он себя, — что меня нет рядом. Что не могу помочь».

На некоторое время в стайке становилось пусто и грустно. Но потом появлялись новые поросёнка, и всё начиналось снова.

11

Солнце скатывалось к краю неба, оставляя за собой пышные, прирумяненные с одного бока облака. Но Гришка не видит всей этой красоты. Его внимание сосредоточено на литровой банке с парным молоком. Обеими руками прижав её к груди, он несёт молоко домой для крохи Кристи. Но так хочется самому отпить из банки хоть один глоточек! Гришка старается не смотреть на банку. Но скулы сводит так, что терпению нет. Наконец, не выдержав, он останавливается и отпивает маленький глоточек. Молоко пахнет лесом и свежескошенной травой. Потом, через не-

* Стайка — так в Сибири называют сарай для дров или скота.

сколько шагов, к этому глоточку Гришка прибавляет ещё три. «Ну, вот ещё этот, последний, — и всё», — уговаривает он сам себя. Глоток получился короткий и ласковый, как поцелуй малышки Кристины. Гришка даже услышал, как молоко булькнуло у него в горле. Он решительно отстраняет губы от банки и плотней закрывает крышку. Но всё равно видно, что банка уже не полная.

Дома был один отчим. Гришка замылся у порога, хотел спрятать банку за спину и незаметно поставить на угол стола.

— Чего прячешь? Ставь на стол! — велел отчим.

На столе Гришкин грех выявился сразу. Высокий лоб отчима от такой картины наморщился, а залысины покраснели.

— Та-ак... — Голос не предвещал ничего хорошего. — Ты что же это делаешь?.. У сестры крадёшь?..

— Я случайно, — стал оправдываться Гришка. — Я чуть-чуть... — Он даже захныкал.

— Ты что, голодный, что ли? — вдруг закричал дядя Юстас. — Тебя что, не кормят?

Таким злым Гришка его никогда не видел. Но он решил не сдаваться и даже перейти в наступление. «Подумаешь, какое-то молоко дурацкое».

— А вы на меня не кричите! — с вызовом заявил он и даже как-то выпрямился. — Я не ваш сын! — И сжал свои кулачки. — Я не ваш! Она вон — ваша! — Голос звучал пискляво, но задиристо, с чувством собственного достоинства.

— Ах ты, пашенок! — Отчим схватил Гришку за шиворот, словно овцу, и, сунув его голову между колен, стал шлёпать по заднице. Гришке было так больно, что казалось, будто били его не ладонью, а лопатой. Мальчик вцепился руками в ноги отчима, пытаясь вырваться, но они были как каменные. Оставалось терпеть. И Гришка терпел, стиснув зубы. Терпел и клятвенно твердил себе, что, когда вырастет, обязательно отомстит этому Юстасу. И никогда не простит его, фашиста проклятого! «Ничего-ничего, — твердил он себе. — Волк ловит, да и его ловят».

В кровати заревела-вспугнулась сестрёнка. Дядя Юстас разжал колени, и Гришка, вырвавшись из его клешей, выскочил на улицу.

Домой он вернулся лишь поздно вечером с твёрдым решением: «Завтра же убегу. Пусть мать поищет, пусть по родному сыночку поплачет. Ведь, кроме Кристины, ещё и я у неё есть... А может, я и матери, как и отцу, не нужен?»

12

Гришку разбудил яркий луч раннего солнца. Мальчишку словно подбросило: надо уходить! Тихо, дыша через раз, он оделся и бесшумным шагом прокрался на кухню. С собой Гришка захватил спрятанный с вечера школьный ранец. Только вместо учебников в ранце лежали перочинный нож с четырьмя лезвиями, спички, увеличительное стекло, компас, потрёпанная карта края, где, обведённый красным кружочком, притаился его родной городок. Не забыл и книжку Н.Островского «Как закалялась сталь», которую накануне подарила ему мать, и свои накопления — пять с полтиной мелочью, сэкономленные на школьных обедах.

На кухне мальчик сунул в ранец коробку с рыболовными крючками, початый батон и два огурца.

Взял химический карандаш, послонявил его и на тетрадном листе написал: «Мама я вам никому не нужен. Я ухожу из дома». Потом задумался, поскрёб макушку и после слова «мама» поставил запятую.

Положил записку на стол, а на бумагу — свой ключ от входной двери. И тихо, на цыпочках, вышел на улицу.

Маленький беглец шёл быстро. Вот уже за спиной остались и дом, и родная улица с четырёхэтажной школой. Потянулись чужие дома, строения и хозяйства. Сигналили, обгоняя Гришку, проезжие машины. Вот и окраина. И скоро город скрылся... Вокруг ни души — только он да зелень полей, тёплый осенний воздух и темнеющие на горизонте леса...

Мальчонка вдруг вспомнил, что сегодня в школе у них контрольная, и обрадовался, что он здесь, а не там, в классе, где все трясутся сейчас, ожидая рокового звонка. Он даже обернулся и показал язык. Кому? Наверное, и отчиму с матерью, и учительнице, а может, и всей школе.

Но теперь, когда Гришка подумал о своём классе, о своих друзьях, у него так защемило сердце от внезапной тоски, что он остановился и стоял так долго, а потом пошёл, но его шаги стали куда короче и неувереннее.

Это что ж получается? Значит, он теперь свой класс никогда не увидит? Выходит, так... Конечно, совсем без обид и драк не обошлось, но в общем-то он со всеми дружил. Всё про всех знал: кто где жил, кто кем хотел стать...

Веснушчатый Серёжка Кравцов хотел быть лётчиком, голубоглазая Тамарка Калинина — даже певицей. Толстый Витька Стрелков говорил, что станет милиционером, а большеглазая и строгая Людка Панасюк собиралась в учительницы. Тихий и задумчивый Валерка Малых готовил себя в художники. Он брал из школьной библиотеки книжки по искусству, тщательно изучал их и, кроме того, был обладателем большого набора настоящих цветных художественных карандашей. Этими карандашами он сделал копию с репродукции Левитана «Золотая осень», да так, что от картины почти не отличишь. Но Гришке не нравятся яркие цвета. У него любимый цвет — чёрный. Мальчик как-то в тайге наткнулся на агатовый омут. И когда дома попробовал его написать, он весь получился какой-то грязный. Наверное, нет такой яркой чёрной краски, решил юный художник. Но цвет этот у Гришки так в глазах и стоит. Может, когда-нибудь и получится нарисовать. Учительница в школе говорит, что есть такая краска — битумная. Она настолько яркая, что в ней даже лицо человека отражается. Выходит, не зря он тогда провалился в этот котёл с чёрной смолой. Человек свой цвет искал, а его ещё и высекли за это! Ничего, он ещё найдёт эту краску! Обязательно найдёт. И напишет этот омут. И будет висеть его картина в самой знатной галерее. Он даже сказал об этом Валерке, и друзья договорились пойти вместе в изокружок Дома пионеров.

А теперь вдруг получалось, что не только Дом пионеров, а вся жизнь наперекосяк. И он не только не узнает, кто из его друзей кем станет, но и вообще никогда не увидит их.

Душа Гришки разрывалась от жалости к самому себе. «Куда я теперь, что со мной будет? — думал мальчуган, глядя на пыльную дорогу, на увядающую осеннюю красоту. — Уйду в беспризорники; придётся жить на вокзалах, деньги у прохожих тырить. А может, к цыганам податься?»

От всех этих невесёлых мыслей, от суровой и величественной природы, в которой внезапно затерялась его малость, от острой жалости расставания слёзы выступили у мальчика на глазах. И Гришка брёл, утирая глаза кулаком.

Расстроенный своими думами, оголец не обратил внимания на рокот за спиной. И когда рядом проехала машина, он шархнулся в сторону и едва не угодил в кювет. Гришке показалось, что грузовик едва не сшиб его. Грузовик свернул к обочине и тормознул так, что поднялось жёлтое облако пыли. Машина была точь-в-точь как у отца. Может, его дома уже хватились? Может, мать побежала к отцу и они, помирившись, кинулись вдвоём искать его? И вот догнали и, наверно, обрадовались...

И Гришка со всех ног бросился к машине. С «пассажиурской» стороны дверца вдруг распахнулась, и на землю сошла вовсе не мать, а мужчина в ослепительно белой рубашке. Она казалась непонятно-торжественной и странной тут, на пыльной дороге. В глаза Гришке било солнце, и он остановился, зажмурившись, подслеповато улыбаясь. И когда всё-таки удалось разглядеть того человека, ноги стали будто чужими. Перед ним стоял отчим. Но он был теперь не тем страшным и гневным, от которого убежал Гришка, а совсем другим — с озабоченным, но добрым, обрадованным лицом!

Мальчик сжался, готовый сигануть в придорожные кусты, а там и в лес, но тон, каким его окликнули, остановил паренька. У мальчугана словно что-то переломилось и потеплело внутри.

— Гришка! Сынок!.. — И столько было в этих двух словах скрытой боли и радостного облегчения, что юный беглец невольно подался вперёд. — Ну что же ты? Мы с матерью с ног сбились! Всё уже обегали, обыскались...

Отчим наклонился к пареньку, схватил его за плечи, обнял. И Гришка увидел, как повлажнили его светлые глаза. Это было так необычно для всегда сдержанного «ганса», что мальчик как-то стеснительно и неловко улыбнулся ему.

— Кто же так делает? Ведь я... люблю тебя. Ну разве чужого я стал бы лупить? Ты для меня свой. Сын... Кристинка мне родная, но она девчонка. А ты, как это... свой брат. Может, я вчера и погорячился. Ты уж прости. Поехали домой...

От машины и отчима сладко пахло бензином. Гришка виновато вздохнул и пошёл к грузовику. Дядя Юстас подхватил, помог забраться в кабину. За рулём сидел вихрастый рыжий парень. Он озорно подмигнул Гришке и, когда отчим захлопнул дверь, весело спросил:

— Ну что, путешественник, домой вернёмся? Или дальше поедем?

И Гришка согласно кивнул: «Домой!»

Мальчишка сидел, прижатый к коробке передач, и рука рыжего шофёра при переключении скоростей то и дело стучала его по острой коленке.

— Ну ты и ходок! — продолжал говорить рыжий. — Вон куда утопал! Мы уж думали, бензина не хватит тебя догнать. Шороху ты навёл, конечно, на весь город. Девчонки теперь тебя любить будут. Герой!

Отчим держал дорогую пропажу за плечо, крепко и ласково.

— Убегать от проблем — это не мужское дело, — успокаивающим тоном говорил он. — Если взглянуть по-твоему, так у меня больше причин бежать.

Гришка поглядел на него удивлённо.

— Вам-то зачем?

— Эх... Не знаю, поймёшь ли меня... Хотя должен. Понимаешь, вот если бы меня вдруг отпустили, я бы пешком по шпалам ушёл до Литвы. Без отца, конечно, плохо, но без родины жить ещё больней. — Вздыхнул. — Но это было вчера. Сегодня я поступить так уже не могу. — Гришка плечом почувствовал, как сжалась ладонь дяди Юстаса. — Теперь у меня здесь семья. У мужчины есть свои обязанности... Понимаешь?

Гришка кивнул и продолжал слушать.

— Человек должен заботиться о семье, защищать близких. Дело своё должно быть у каждого. Ты вот, например, кем хочешь стать?

— Художником... — оробел Гришка.

— Художником? — Юстас удивлённо поглядел на него и добавил очень серьёзно: — Нет, тут, брат, я с тобой не согласен. Профессия должна быть такой, чтобы она кормила, а не ты её. Вот я, например, могу работать и плотником, и каменщиком. Сам могу дом построить!

Рыжий не выдержал и тоже приобшился к разговору.

— Шофёр тоже профессия неплохая. Всегда при деньгах. Отец дело тебе говорит. Ну что за профессия такая — художник! Баловство одно. Разве на неё семью прокормишь?

— Всё равно буду художником! — упрямо оборвал обоих Гришка.

— Это очень важно — верить в свою мечту, — одобрил отчим. — Если ты в этом уверен, я тебе помогу.

Сквозь лобовое стекло было видно, как быстро надвигался, возвращался к Гришке его родной городок. Счастье переполняло мальчишеское сердце. Он даже старался не ёрзать, не шевелить плечом, чтобы дядя Юстас не убрал своей большой тёплой руки. Такой надёжной и верной.

13

Гришку разбудил яркий луч раннего солнца. Мальчишку словно подбросило: надо уходить! Тихо, дыша через раз, он оделся и бесшумным шагом прокрался на кухню. С собой Гришка захватил спрятанный с вечера школьный ранец. Только вместо учебников в ранце лежали перочинный нож с четырьмя лезвиями, спички, увеличительное стекло, компас, потрёпанная карта края, где, обведённый красным кружочком, притаился его родной городок. Не забыл и книжку Н.Островского «Как закалялась сталь», которую накануне подарила ему мать, и свои накопления — пять с полтиной мелочью, сэкономленные на школьных обедах.

На кухне мальчик сунул в ранец коробку с рыболовными крючками, початый батон и два огурца.

Взял химический карандаш, послынявил его и на тетрадном листке написал: «Мама я вам никому не нужен. Я уйду из дома». Потом задумался, поскрёб макушку и после слова «мама» поставил запятую.

Положил записку на стол, а на бумагу — свой ключ от входной двери. И тихо, на цыпочках, вышел на улицу.

Маленький беглец шёл быстро. Вот уже за спиной остались и дом, и родная улица с четырёхэтажной школой. Потянулись чужие дома, строения и хозяйства. Сигналили, обгоняя Гришку, проезжие машины. Вот и окраина. И скоро город скрылся... Вокруг ни души — только он да зелень полей, тёплый осенний воздух и темнеющие на горизонте леса...

Мальчонка вдруг вспомнил, что сегодня в школе у них контрольная, и обрадовался, что он здесь, а не там, в классе, где все трясутся сейчас, ожидая рокового звонка. Он даже обернулся и показал язык. Кому? Наверное, и отчиму с матерью, и учительнице, а может, и всей школе.

Но теперь, когда Гришка подумал о своём классе, о своих друзьях, у него так защемило сердце от внезапной тоски, что он остановился и стоял так долго, а потом пошёл, но его шаги стали куда короче и неувереннее.

Это что ж получается? Значит, он теперь свой класс никогда не увидит? Выходит, так... Конечно, совсем без обид и драк не обходилось, но в общем-то он со всеми дружил. Всё про всех знал: кто где жил, кто кем хотел стать...

Веснушчатый Серёжка Кравцов хотел быть лётчиком, голубоглазая Тамарка Калинина — даже певицей. Толстый Витька Стрелков говорил, что станет милиционером, а большеглазая и строга Людка Панасюк собиралась в учительницы. Тихий и задумчивый Валерка Малых готовил себя в художники. Он брал из школьной библиотеки книжки по искусству, тщательно изучал их и, кроме того, был обладателем большого набора настоящих цветных художественных карандашей. Этими карандашами он сделал копию с репродукции Левитана «Золотая осень», да так, что от картины почти не отличишь. Но Гришке не нравятся яркие цвета. У него любимый цвет — чёрный. Мальчик как-то в тайге наткнулся на ага-товый омут. И когда дома попробовал его написать, он весь получился какой-то грязный. Наверное, нет такой яркой чёрной краски. Но цвет этот у Гришки так в глазах и стоит. Может, когда-нибудь и получится нарисовать? Учительница в школе говорит, что есть такая краска — битумная. Она настолько яркая, что в ней даже лицо человека отражается. Выходит, не зря он тогда провалился в этот котёл с чёрной смолой. Человек свой цвет искал, а его ещё и высекли за это! Ничего, он ещё найдёт эту краску! Обязательно найдёт. И напишет этот омут. И будет висеть его картина в самой знатной галерее. Он даже сказал об этом Валерке, и друзья договорились пойти вместе в изокружок Дома пионеров.

А теперь вдруг получалось, что не только Дом пионеров, а вся жизнь наперекосяк. И он не только не узнает, кто из его друзей кем станет, но и вообще никогда не увидит их.

Душа Гришки разрывалась от жалости к самому себе. «Куда я теперь, что со мной будет? — думал мальчуган, глядя на пыльную дорогу, на увядающую осеннюю красоту. — Уйду в беспризорники; придётся жить на вокзалах, деньги у прохожих тырить. А может, к цыганам податься?»

От всех этих невесёлых мыслей, от суровой и величественной природы, в которой внезапно затерялась его малость, от острой жалости расставания слёзы выступили у мальчика на глазах. И Гришка брёл, утирая глаза кулаком.

Расстроенный своими думами, оголец не обратил внимания на рокот за спиной. И когда рядом проехала машина, он шарахнулся в сторону и едва не угодил в кювет. Гришке показалось, что грузовик едва не сшиб его. Грузовик свернул к обочине и тормознул так, что поднялось жёлтое облако пыли. Машина была точь-в-точь как у отца. Может, его дома уже хватились? Может, мать побежала к отцу и они, помирившись, кинулись вдвоём искать его? И вот догнали и, наверно, обрадовались...

Гришка стоял и ждал чуда, опасаясь, что оно может не произойти. Это длилось до тех пор, пока дверца кабины не распахнулась и на дорогу не прыгнул мужчина в выцветшей на солнце и ветру военной гимнастёрке.

— Папка!!!

Гришка, не чуя под собой ног, кинулся навстречу самому дорогому на этой земле человеку. Отец с лёта подхватил сына под мышки и взметнул над собой. Подержал так несколько секунд, громко радуясь и смеясь, потом опустил на землю и, обняв за голову, прижал к себе. Щека Гришки упёрлась в пряжку отцовского ремня.

— Папка... родной... Как здорово, что это ты меня нашёл, — всхлипывал мальчишка. — Кабы знал, я бы раньше убежал из дома! — Он поднял голову. Глаза его блестели и светились от слёз.

— Ну что ты такое говоришь, — дрогнувшим голосом отозвался отец, помогая мальчишке снимать со спины ранец.

— А как ты узнал, что я здесь? — не переставая радоваться, спросил Гришка.

Отец слегка удивился:

— Как узнал? Мать поутру прибежала. Я ещё на работу не успел уйти. Всех ты переполошил... Сначала мы с ней к парому помчались. Но дед Василий сказал, что тебя не видел. Ну, я тогда на автобазу побежал за машиной...

Гришка взял отца за ладонь.

— Мамка тебе больше ничего не говорила?

— Ты про литовца, что ли?

Гришка кивнул.

— Он у меня ещё ответит за это! — мрачно пообещал отец. — Я ему ещё руки-ноги-то повыдёргиваю. Тоже мне, герой. Тьфу! — Отец зло сплюнул на землю.

Мальчишка ещё крепче вцепился в руку отца.

— Не трогай ты его... Я сам виноват. Не надо было мне их молоко пить...

Отец удивился:

— Что у вас там за порядки в доме? Небось каждый кусок хлеба подписываете?

Гришка улыбнулся.

— Никто не подписывает. Просто это молоко я для Кристины нёс...

— Ничего... Я с ним всё равно поговорю... Фашист недобитый...

— Я тогда никуда не поеду! — вдруг резко, не по-детски заявил Гришка и высвободил руку. — Возвращайся один. А я лучше дальше пойду.

Отец нахмурился:

— Ничего не пойму. То бежишь от него, то защищаешь... Должна быть какая-то одна правда... Ладно, не глупи, залазь в машину.

— А пообещаешь, что ты его не тронешь? — Гришка даже отступил на один шаг.

— Бог с ним, пусть живёт, — согласился отец и швырнул ранец в кабину. — Лезь!

Гришка недоверчиво взглянул на него и послушно вскарабкался на подножку. Перелезая через руль, нечаянно надавил на сигнал, и машина заревела, как одичавший лось.

Разворачивались молча. Отец резко крутил баранку, и по его лицу было видно, что он ещё сердится. Гришка молчал, не зная, с чего начать разговор. Потом вдруг спросил:

— Папка, а почему в твоей новой семье нет детей?

Отец от такого вопроса даже остановил машину. Повернулся всем корпусом к сыну.

— Наташка родить не может, — как взрослому ответил он.

— Зачем тогда от мамки ушёл? Вон она — раз, и родила Кристину! И тебе родит, если вернёшься. Она тебя любит...

— А ты почём знаешь?

— Знаю. Ведь сколько живём, ни одного дурного слова про тебя не сказала. И портрет твой висит у нас в доме... Над моей кроватью...

Отец вздохнул.

— Эх, Гришка... В жизни всё не так просто. Иногда такого напутаешь, что на три жизни хватит распутывать.

Гришка снял обувь и подобрал под себя ноги. Увидев портрет Сталина, приклеенный над лобовым стеклом, сказал:

— Совсем потёрся... А у меня дома цветной есть. Я его из «Огонька» вырезал. Хочешь, подарю?

— А сам как?

— Тебе нужнее. Ты всё-таки воевал...

— Добрая у тебя душа, сынок... Отчим тебя высек, а ты за него заступаешься. — И вдруг спросил: — Слушай, а перебирайся ко мне... Я тебя машине научу. Вместе на рыбалку ходить будем. Когда ты родился, я так рад был, что у меня сын.

— Чего же тогда ушёл?

— Не понять тебе сейчас. Мал ещё. Ну так как?

— Не знаю... А мамка как? Её жалко. Ты бросил... я уйду... А она ведь хорошая... Ну, чего мы стоим? Поехали!

Отец улыбнулся и тронул машину. Гришка повернулся к окну и, растопырив пальцы, подставил ладошку навстречу тёплому ветру. Везде, куда ни глянь, висело над ними синее, словно ситец, широкое небо.

— Ну так как? — настойчиво переспросил отец. — Перейдёшь ко мне жить?

Гришка ответил не сразу.

— Поздно уже переходить... Вот если бы ты это раньше сказал. А сейчас и у тебя семья, и у меня...

Отец улыбнулся.

— Ну какая у тебя семья? Ты там как горох при дороге... А хочешь, перейдём жить к моей матери? — неожиданно предложил отец.

— А как же тётя Наташа? — растерялся Гришка и взглянул на отца. И, не дождавшись ответа, сказал: — Её тоже жалко...

Отец, поражённый совсем не детской рассудительностью своего сына, долго молчал. Потом наконец сказал:

— Я очень виноват перед тобой, сын... и перед матерью тоже... — Он почувствовал, как слёзы пошли внутрь. — Особенно перед ней. Ведь мы любили друг друга. Куда всё делось? — с упрёком самому себе признался отец. — Вот такие, брат, дела...

Впереди уже показался бревенчатый мост над железной дорогой, за которым замаячили первые домишки родного Гришкиного города. Он вытягивал от нетерпения шею, вглядываясь в город, будто не был в нём много лет.

— Может, заедем ко мне? Чайку попьём? — предложил отец.

Гришка решительно мотнул головой.

— Нет, вези меня к дому. Мамка небось ждёт, переживает. Из-за меня, наверно, и на работу не пошла.

Отец въехал прямо во двор дома. Гришка увидел, как метнулась в окне тень матери. Он открыл дверцу и спустился на подножку.

— Погоди, — раздался за спиной голос отца.

Обернувшись, Гришка увидел, как отец торопливо снимает со своей руки часы.

— Вот, бери... — произнёс он немного хриплым голосом. — Это тебе, бери... — повторил он. — Часы немецкие, трофейные... Пусть теперь они твоё время отсчитывают. А теперь беги. Вон, мать уже у порога ждёт. Будь здоров!

Отец перегнулся, всунул Гришке в руки часы и, не дав сыну опомниться, сам закрыл дверцу. Машина тронулась, едва мальчишка соскочил на землю.

* * *

Больше Гришка отца никогда не видел. Он разбился на машине, пьяным врезавшись в столб.

От тоски по родине, так и не дождавшись окончания ссылки, повесился на дочериной скакалке Балюнас.



Олегу Кочеткову — 60!

Снова солнце вскипает весной,
И поля покоряет разлив,
И звенят золотою казною
Соловиные россыпи рифм.
Под крылатыми пальцами снова
На ветру раскрывается том.
Словно звучной строкой Кочеткова,
Грянул вешний коломенский гром!
И ликующе-светоносен
Древний край, что прославил поэт!

Шестьдесят ослепительных вёсен —
Половодье коломенских лет!

Роман Славацкий

Редколлегия альманаха, авторы и читатели бесконечно рады поздравить своего талантливого земляка Олега Кочеткова с днём рождения. Пусть даже он сегодня шестидесятый по счёту — не беда!

Главное, что твои стихи читают и любят все, кто любит поэзию, кто нуждается в ней и верен ей. Главное, что ты в свои шестьдесят лет сумел сохранить молодость, энергию и душевную красоту. Ещё мы тебя любим за то, что ты в свои шестьдесят, в наше нелёгкое время, остался честным и порядочным человеком.

От лица коломенской интеллигенции поздравляем тебя с солидным юбилеем. Пусть никогда не разорвётся от боли твоё справедливое сердце! Пусть твой талант, как и прежде, остаётся светочем русскому человеку. Доброго тебе здоровья, плодотворного труда и долгих лет жизни.

Редколлегия



Сергей Вацлавович Малицкий родился в Иркутской области в октябре 1962 года. С 1983 года живёт в Коломне. Работал телеграфистом, агентом по снабжению, милиционером, дознавателем, инструктором горкома комсомола, руководителем молодёжного центра, редактором маленького кабельного телевидения, предпринимателем, менеджером.

В 2000 году вышла первая книга рассказов — «Легко». Произведения печатались в журналах «Меридиан» (Германия), «Москва», а также в художественных изданиях других городов (Киев, Харьков, Саранск). В настоящее время готовится вторая книга писателя в издательской группе АСТ.

РАССКАЗЫ

Сергей МАЛИЦКИЙ

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Деревенский киберпанк

Глеб Баранкин упал в картофелеуборочный комбайн. С утра хлебнул беленькой, споткнулся и спланировал в барабан. Робот Мишка, который в отдалении занимался ремонтом сеялки, примчался через секунду и сунул в зубчатый механизм правый манипулятор. Действительно, чего ему? Роботы боли не чувствуют. Сплющил себе пару металлических суставов — и всё. На МТС у Шукина Васьки ремонта на пару часов. Да и Баранкин почти не пострадал. Ну, сломал три ребра, ногу вывихнул — мелочь, одним словом. Однако на чадающем планероллере примчался участковый Крынкин и составил протокол. А ещё через день на всех, даже отдалённых хозяйствах захрипели факсы, и из них полезли предупреждения и угрозы.

— Техосмотр! Агтестация! — разволновались фермеры. — Лучше бы закупку на картофель подняли!

На следующее утро справный мужик Макар Разливахин поцеловал в тёплую лопатку спящую жену, поправил одеяло на кровати розовощёкого пацана, крикнул с крыльца Прохора, дал указания насчёт полевых работ, оседлал механического таракана и умчался в посёлок. А уже к обеду с пакетом апельсинов заявился к Баранкину. Глеб почесал забинтованный бок, буркнул недовольно:

— Ты бы ещё клубники приволок!

— Ты лучше скажи, как это тебя угораздило? — чихнул Макар, выставляя на стол поллитру. — Жили не тужили, картоху выращивали, и на тебе. Какого лешего ты на комбайн полез?

— А хрен его знает, — с досадой звякнул об стол стаканами Глеб. — Что-то Миш-

ке пытался доказать. Я как выпью, всегда на рожон лезу. Пару раз даже драться с Мишкой пытался!

— Ну и кто кого? — сглотнул водку Макар.

— А никто! — махнул рукой Глеб. — Мишка с дураками не связывается. Парень что надо!

— Подставил ты своего Мишку, — плюнул в сердцах на пол Макар. — И меня, и всех. И себя. Да ещё Крынкин — дурень, в протоколе упомянул, что Мишка тебе жизнь спас. У самого же на усадьбе трое роботов вкальвают! Абзац нашим роботам. Размагнитят к ядрёной фене весь личный состав!

— Это как же размагнитят? — удивился Глеб. — Мишка у меня испокон веку. Он же из лесу пришёл!

— Это мы с тобой, Глеб, здесь испокон веку! — плеснул ещё водки Макар. — А роботы все пришлые. Беглые они. Когда эти техосмотры на материке ввели, они к нам и подались. Их немерено в болотах утопло. Да и те, что дошли, только благодаря Щукинской МТС функционируют. Но без них мы тут загнёмся!

— Знамо дело, загнёмся, — осторожно потрогал сломанные рёбра Глеб. — Макар! А не хрен ли с этим техосмотром? Посмотри на Мишку! Железяка хоть куда! Я узнавал у Крынкина, наши роботы в розыске не числятся. Их списали давно. Ну, поставят новые операционки. И что?

— Операционки! — встал Макар. — Вот и будет у тебя в хозяйстве не Мишка — робот-универсал, а операционка. Нет в твоей операционке никаких сельских функций!

— Погодь, — нахмурился Глеб. — А кто ж технику обслуживать будет? У меня десять гектар бульбы. Кто жука будет собирать? Навоз таскать? Сурепку компостить? Мне чего ж? Самому пуп рвать?

— Рви! — кивнул Макар. — А хочешь, специальную программу покупай. В министерстве. Только она тебе обойдётся в два урожая. На каждый твой агрегат — отдельная программа. Лопату в манипуляторах держать — и то программа будет нужна!

— Чего ж делать-то? — растерялся Глеб.

— Не знаю, — нахмурился Макар. — Я к Щукину пойду. Если Васька ничего не придумает, прямо хоть на болотах скрываюсь.

— В трясине?! — расстроился грузный Глеб. — Утопну я.

— То-то и оно! — выругался Макар. — Лучше бы ты на болота спьяну ходил, а не на комбайн лазил.

До фермы Макара инспекция дошла через неделю. Геликоптер притащил камеру, сбросил ее у плетня, затем исторг из кабины чиновника.

— Клюев! — представился тот, вытирая пот со лба.

— Разливахин, — ответил Макар и спросил, как бы не догадываясь: — А вы, собственно, кто?

— Из министерства я, — не оценил шутку чиновник. — Дерьмо ваше приехал разгребать.

— Можно, — кивнул Макар. — Только его сначала на поле надо вывезти, а потом уже и лопатить.

— Вывезем, — успокоил фермера Клюев. — Инструкции получили?

— Ну? — прищурился Макар. — А если я с ними не согласен?

— А согласия как раз и не требуется! — повысил голос Клюев. — Постановление правительства и без согласия работает. А то развели тут, понимаешь! В округе полтыщи бесхозных роботов!

— Отчего же бесхозных? — не понял Макар. — Все при деле.

— Это ваш? — резко спросил Клюев, ткнув пальцем в младшего Разливахина, пытающегося заглянуть в окна камеры.

— Вроде, — кивнул Макар.

— А не боитесь, что ребёнок среди роботов гуляет? — раздражённо раздавил комара у себя на лбу чиновник.

— Вы это... — Макар поморщился. — Бросьте. Оно понятно, железка железке рознь, но у нас такого не бывает. Народ здесь мирный. И роботы мирные. И вообще, шли бы вы за мной на терраску. Супруга чай заварила с липой, посидим, мож я чего и уразумею. Всё одно роботы с поля только через час вернутся. А то нас тут комары пожрут.

Чиновник поперхнулся, прикончил ещё одного комара и согласился. Разговор заладил не сразу. Однако после чашки ароматного чая Клюев немного оттаял.

— Не глянулся я местному населению, — пожаловался он. — Словно я не на перепрограммирование роботов гоню, а под пресс! Камеру — душегубкой прозвали! Про нарушения авторского права вообще не говорю!

— Какое право? — насторожился Макар. — В ваших рассылках прописано, что операционка устанавливается бесплатно!

— А драйверы? — поднял брови Клюев. — Землекопательный, навозоубирательный, разбрасывательный? Прополочный? Поливочный? Да мало ли! Я уж не вспоминаю про тракторный! И ни копыя!

— Погодь, — поднял руку Макар. — Не устанавливаем мы никаких драйверов! Ни поливочных, ни протирочных. За что платить?

— Не устанавливаете? — усмехнулся чиновник. — Только не надо мне ботву на уши вешать! В качестве бесплатной опции и в старой операционке, и в новой — только переноска тяжестей и штабелирование. Всё остальное — платное. А у вас роботы, я сам видел, только что уроки у детей не проверяют.

— И уроки проверяют, — озадачился Макар и окликнул жену: — Маша! Слышь-ка? Принеси-ка нам бутылочку, а то без поллитры не разберёшься.

Под бутылку разговор пошёл легче. А под вторую собеседники плавно перешли на «ты». Клюев навалился на стол грудью и, гоня по тарелке вилкой маринованный маслёнок, терпеливо объяснял тоже порядком захламлённому Макару:

— Пойми! Вот ты говоришь, что драйверы вы не используете, поскольку сами роботов обучаете.

— Ну, — согласился Макар.

— Вот! — хрюкнул чиновник, отчаявшись управиться вилкой и засосав маслёнка прямо с тарелки. — И это самое страшное! Ты думаешь, так нужны все эти техосмотры? Э, брат! Тут всё очень хитро! Мера вынужденная! Раньше ведь как? Загрузили в робота программу, потом ещё одну. Память добавили. Оперативку. Он и служит. А теперь изволь раз в год всё это потереть и заново загрузить! Ты понимаешь, железки эти за два-три года начинают зачатки искусственного интеллекта проявлять! У них привычки появляются, увлечения, пожелания! Сначала пожелания, а потом требования! А там, глядишь, дойдёт до избирательного права! Отдельного жилья!

— С чего бы в них этим зачаткам появляться? — не понял Макар. — Брак, что ль, какой в программах ваших? У нас ведь как в фермерстве: если картошку в землю не бросишь, то ботва из гряды не полезет, разве только сорняк!

— То-то и дело, что сорняк! — стукнул по столешнице стопкой Клюев. — Я точно не знаю, засекречено это все, но слухи ходили разные. То ли

военные что намудрили, то ли аура такая заразная у человечества. Только всякий робот на хозяина своего очень смахивает!

— А и то верно, — задумался Макар. — Вот у Глеба Баранкина — Мишка! Копия хозяина! То пашет как трактор, технику старую восстанавливает, а то, смотришь, сидит на завалинке и в небо пялится! Хорошо хоть не пьёт!

— Был копией хозяина! — хихикнул Клюев. — Размагнитил я его. Теперь он зазря в небо пялится не будет!

— Однако он Глебу жизнь спас! — нахмурился Макар.

— Спасение жизни человеку, если в программе это спасение не предусмотрено, является опасным фактором, который угрожает существованию человечества! — погрозил пальцем чиновник. — А то затеяли тут спасательство, ёшкин кот. Именно с этих правил робототехники вся эта петрушка и заварилась!

Прохор привёл бригаду роботов с поля после обеда. Покачиваясь от выпитого, Клюев их пересчитал, сверился с записями, удовлетворённо хмыкнул и приказал загружаться в камеру. Роботы нестройно повернулись и направились к душегубке. Когда последний залез внутрь, Прохор обернулся и вопросительно направил окуляры на Макара. Разливахин расстроено махнул рукой.

— Куда ты, Прохорушко? — заголосила со двора жена.

— Дядя Прохор! — закричал пацан.

Прохор замер на мгновение, затем решительно поставил железную ногу на порог душегубки, поднялся внутрь и захлопнул за собой дверь.

— Активация! — заплетающимся языком пробормотал Клюев, выуживая из кармана пульт и нажимая на красную кнопку. — Через десять минут они будут невинны как младенцы!

Геликоптер вернулся за Клеуевым к вечеру. Роботы идеальной шеренгой стояли во дворе. Чиновник бродил вокруг них с тестером и удовлетворённо кивал.

— Отлично! Смотри-ка, а программа легла как надо! Теперь загружай что хочешь и пользуйся. Министерство распространяет программы для труженников сельского хозяйства со скидкой десять процентов!

— Понятно, — кивнул Макар. — Только уж мы как-нибудь по старинке. Обучим!

— Обучайте, — ухмыльнулся Клюев и, уже садясь в геликоптер, крикнул: — Только через год я опять к вам в гости!

Едва летательный аппарат пошёл к лесу, как из-за посадки раздался топот и верхом на механическом таракане появился Шукин Василий. Спрыгнув, он бросился к роботам и принялся резво вытаскивать из них аналитические блоки.

— Ничего не перепутал? — тревожно спросил Макар.

— Нет, — торопливо ответил Васька. — Хотя условия, конечно, полевые. Ничего. К следующему году у меня запасных блоков не пять десятков будет, а на каждого робота в округе. На, обратно сам вставишь. Только не перепутай. Я написал на каждом, кто где.

— Слышь, Васька, — Макар нахмурился. — Интересно, что они там испытали, в этой душегубке?

— Не знаю, — развёл руками Шукин. — Я ж всё больше по технике, программы пользую постольку-поскольку. Но думаю, что это вроде как смерть.

Их же там проникающим магнитным шарашат, потом только перезагружают. Хрен его знает, Макар. Только они всё одно этого не вспомнят. Я когда из них блоки в обед на поле вытаскивал, они в буфер себе по минимуму слили, чтобы до душегубки дойти, но чувствовали всё по-настоящему. Ну, я поехал! Надо до темноты в посёлок успеть, чтобы разнюхать, куда наш инквизитор завтра отправится! Спасибо за таракана, только я его притор-можу у себя на недельку: гиropодвеску надо отладить, все кишки вытряс!

Макар проводил взглядом Шукина, выбрал из кучи блок с надписью «Прохор», вставил его в приёмное устройство, щёлкнул крышкой. Робот вздрогнул, медленно сфокусировал окуляры, пригляделся к Макару, спросил:

— Кто ты, человек?

— Да ты что?! — побелел Разливахин. — Ты что, Прохор?!

— А ничего, — издал рокочущий звук робот. — Шучу я, Макар!

— Дядя Прохор! — бросился с крыльца пацан.

— Ты, это, — Макар присел, разбирая остальные блоки. — Ты, Прохор, зла на людей не держи. Сложно всё. Понимаешь?

— Пытаюсь, — признался Прохор, наклонившись, чтобы ребёнок мог взобраться на его широкие плечи. — Одного я только не пойму: когда же ты своё обещание выполнишь? Уж месяц как грозился новые обои для ремонта моего домика привезти! Деньги я тебе заплатил, замечаний ко мне нет, чего завтраками кормишь?

— Ну, так это... — с досадой почесал лоб Макар. — Подожди ещё пару дней. Вот только проруха эта уедет да Шукин таракана вернёт. Вот те крест!

Окно

Что может быть лучше окна? Когда вырвешься из аудитории, где собственный голос ежесекундно рождает коллективную тоску, перебежишь раскалённую солнцем площадь, завернёшь несколько спиралей подземки, затем ещё столько же — хоботом эскалатора и, наконец, выйдешь в каменное ущелье улицы, чтобы через секунду опять нырнуть в стерильность и пустоту, взлететь на лифте на сто пятый этаж, крикнуть двери «настежь» и оказаться в одиночестве на шестидесяти четырёх квадратных метрах, — что может быть лучше окна?

Деревянная рама в облупившейся краске, шпингалет открывается с трудом, цепляясь за выпадающий шуруп, а за окном — и ветка цветущей вишни, и лай цепного пса-добряка, и гомон кур, и запах дождя, и голос мамы.

Что может быть лучше окна?

— Море, — уверенно говорит Васька-сосед, забегая глотнуть пивка и удостовериться в собственной состоятельности на фоне моей чудаковатости.

— Море — это хорошо, — соглашаюсь я.

— Зачем тебе окно? — спрашивает Васька. — Что ты там увидишь? У тебя двадцать четыре квадратных метра внешней стены. Выбери любой пейзаж, запусти программу запахов, шумов, ветра. Вот тебе и окно! Это лучше окна!

— Лучше.

Я оглядываю комнату. Стена, которая служит экраном в тысячах подобных блоках, заставлена книжными шкафами и завешена картинами. Так же, как и остальные стены. Оставлено место только для будущего окна. Даже прибит под потолком затейливый карниз, и обыкновенные шторы спускаются к безумно дорогому дощатому полу.

— На что ты тратишь деньги! — раздражённо качает головой Васька, берёт книгу, брезгливо листает жёлтые страницы.

— Это моя работа, — замечаю я.

— Знаю-знаю, — машет рукой Васька. — Литература двадцатого века. Утопический реализм. Самоидентификация человечества. Предвиденье и психологизм. Но зачем тебе эта рухлядь?!

— Я должен держать книгу в руках.

Смотрит на меня как на больного.

— Пойдём, — подталкивает в спину. — Пойдём ко мне, я покажу, как надо тратить деньги.

Васька живёт этажом выше. Он требует, чтобы я разулся, открывает дверь и торжествующе отходит в сторону. Я ступаю внутрь. Под ногами шуршит песок. Вперёд и в стороны, до горизонта — море. Тёплые волны накачивают на берег, касаются пальцев. Влажный воздух обволакивает лицо. Чайки с криком взмывают в голубое небо. На горизонте — парус. Васька сбрасывает одежду и с торжествующим рёвом забегает в воду.

— Интерьер DX! Настоящий! — Он стоит по пояс в воде, чертит руками по волнам, орёт, захлёбываясь от восторга.

— Не может быть, — я щёлкаю блокфайлом, нахожу справку. — Интерьер DX. До семи пользователей одновременно. Двести тысяч единиц! И это только цена интерьера! Ты же накопил всего шестьдесят! А тройная защита физиопроектора? Автономное питание? Ты обокрал банк?

— Плевать на защиту! — ржёт Васька. — И на автономное питание! И на страховку! Мы с тобой пять лет соседствуем, хоть раз была авария на линии? Я ломаную версию нашёл. За пятьдесят тысяч. Правда, только на четырёх пользователей, но куда больше? Я, ты, Людка моя. Попрошу, она подружку приведёт. Жить надо сегодня. Понимаешь?

— Ломаная? — я с сомнением чешу затылок. — Опасно.

— Опасно, — кивает Васька, расплываясь в улыбке. — Если язык за зубами не держать. Ты что? Плавать не умеешь?

— Умею. В бассейне.

— Ну и хрен с тобой, — плюёт в воду Васька. — Сколько тебе не хватает на окно? Пять тысяч? Сегодня же сброшу на карточку. Вставляй! Но поплавать приходи! С пивком. Это, кстати, только часть интерьера, знал бы ты, какие под водой кораллы!

Назавтра я перечислил деньги в строительную фирму. Бригада прибыла ближе к вечеру. Моложавый мастер поправил усы, посмотрел на меня с сомнением.

— Зачем вам окно?

— За деньги, — огрызнулся я. — Разрешение получено. Оплата произведена. Вставляйте.

— Вставим, не сомневайтесь, — буркнул мастер, расцехляя лазер.

Рабочие накрыли пол защитной тканью, распаковали блеснувшую чистыми стёклами мечту. Загудел резак.

— Не волнуйтесь, — успокоил меня мастер, когда свет начал мигать. — Тут стены просто нашпигованы коммуникациями. Ничего страшного. Отвыкли от перебоев? Сейчас сработает авторегенерация, освещение восстановится.

Он крикнул и обрушил на пол тонкий пласт внешней стены. Естественный свет проник в комнату, и на мгновение она показалась голой и неудобной. Заморгали, восстанавливая освещение, светильники. Загудели пылесосы. Я шагнул к отверстию, посмотрел вниз и метнулся к двери.

Васька лежал на тротуаре плашмя. В лапах он напоминал раздавленную розовую лягушку. Голова вывернулась в сторону, но разглядеть лицо через покрытое сеткой трещин стекло не удалось. Маска была наполнена кровью.

— Ну? — мастер торжествующе хлопнул пластиковыми створками, покрутил шпингалеты, вытер салфеткой следы пальцев. — Как?

Я подошёл к окну. Глухая стена высоты напротив. Полоска белёсого неба над ней. И всё.

— Антимоскитную сетку заказывать будете?

— Сколько стоит?

— Две тысячи.

— Не буду.

Старьёвщик

Я работаю старьёвщиком.

Покупаю старые вещи.

Осязаемые отпечатки времени.

Это не значит, что по утрам мне приходится выкатывать из подъезда скрипящую металлическую тележку и объезжать окрестные помойки. Как и в каждом бизнесе, у старьёвщиков есть своя элита, высший разряд, закрытая каста. А есть и особые специалисты, о которых мало кому известно.

Я работаю на дому.

Мои клиенты свое «старьё» приносят сами. Они не чужды любопытства. «Зачем вам это?» — спрашивают они. «Куда вы это деваете» или «Что вы с этим делаете» — их следующий вопрос. Я улыбаюсь и называю цену. Обычно после этого вопросы исчезают. И всё же, если вас интересует, зачем мне весь этот хлам, отвечу. Я его уничтожаю. И получаю за это от работодателя хорошие деньги.

Больше всего люблю фотографии и старые письма. С ними проще разбираться. Их можно сжечь. Мой дом старой постройки, в клозете стоит высокий титан. В нижней части дореволюционного монстра есть закопчённая дверца. Чтобы помыться в пожелтевшей ванной, нужно бросать в топку маленькие берёзовые чурбачки. Я кладу туда скомканные письма, конверты, фотографии и жду, пока письменные свидетельства чужой жизни согреют воду. Иногда сжигаю книги с дарственными надписями. Почётные грамоты. Приветственные адреса. Но никогда тряпки. Тряпок приносят довольно много, но среди них все чаще попадаетея синтетика. Она горит плохо и издаёт неприятный запах. Тряпки я рву на части, режу на мелкие лоскуты.

Раз в неделю на автофургоне приезжает мой работодатель. Два молчаливых грузчика выносят к подъезду плоды нелегкого труда. Жестяное ведро с пеплом сожжённых писем и фотографий. Холщовые мешки с ветошью из разрезанных платьев и другого тряпичного барахла. Баки из оцинковки с разбитой на мелкие осколки посудой. Отдельно — смятые алюминиевые кастрюли, раздавленные самовары и испорченные электроприборы. В последнюю очередь — разобранную на части старую мебель. Работодатель придирчиво осматривает качество порезки ткани и величину осколков посуды. Жесткие нормативы должны быть соблюдены. Например, мебель разбирается полностью. То есть ткань сдирается, металлические части гнутся и расплющиваются, деревянные — вымазываются масляной

краской. Если на частях мебели имеются какие-то пометки или выдавленные знаки, они уничтожаются. Самое удивительное, что мебель именно с этими знаками стоит дороже.

Ранее некоторые неудобства мне доставляли драгоценности, медали, ордена, монеты и значки. Работодатель требовал стачивания их напильником в порошок. Дело это было хлопотным. Даже тяжёлые тиски не облегчали работу. Поэтому однажды я оставил слесарные опыты. Выскользнув из дома на недолгое время, положил безделушки под колёса громящего трамвая. Результат превзошёл ожидания. Теперь мои бывшие проблемы регулярно превращаются в металлические блинчики. Что говорить о камнях, если даже хваленые алмазы крошатся в пыль! Всего-то и остается переплавить мягкие металлы в домашнем тигле с помощью газовой горелки в небольшой металлический брусок.

Работодатель подбрасывает его на ладони, удовлетворенно кивает и наконец берет коробку, в которой находится пепел финансового отчета. Дело в том, что недельных посетителей я заносу в специальную опись, где указываю их имена, что они мне сдали и сколько я им за это заплатил. Когда неделя заканчивается, сжигаю отчет, а вместе с ним и остаток выделенных на неделю средств. Я не имею права оставить его на следующую неделю. Следующая неделя — это новая жизнь, новая опись и новые деньги. Иногда я смотрю на скручивающиеся в огне зеленоватые купюры и смеюсь. Меня эти деньги не волнуют.

Работодатель открывает коробку, втягивает носом запах пепла, слюнявит палец, тыкает его в дно, лижет и довольно улыбается. «Всё точно», — говорит он и неуловимым движением высыпает пепел в собственный карман. Вслед за этим выдаёт пачку денег на следующую неделю, заставляет тщательно пересчитать, а перед уходом вручает с маслянистой улыбкой мою зарплату за неделю прошедшую. Это хорошие деньги. Квартира, в которой я принимаю клиентов, когда-то была огромной коммуналкой. Что вы скажете о моей зарплате, если я сообщу, что теперь живу в ней один?

Только одного не могу понять: как меня находят клиенты? Они звонят несколько раз в день, при этом никогда не сталкиваются друг с другом и никогда не ошибаются дверью. Иногда приходят не единожды. Приносят вещи и предметы. Изредка затаскивают на мой второй этаж мебель. Их дрожащие или равнодушные пальцы достают принесённые ценности и кладут на стол.

Я внимательно выслушиваю просителей, рассматриваю их предметы и объясняю, что цена вещей определяется ценностью именно для них. Но её размер как специалист измеряю я. Что я делаю это особым безменом. И мебель поднимаю тоже, цепляя её за левый лицевой угол. Нет, я не знаю заранее, сколько будет стоить та или иная вещь. Хорошо, я не буду протыкать фотографию. Я приклею её к безмену скотчем. Так. Сколько там? О! Почти тысяча долларов! Поздравляю! Эта фотография тянет на девятьсот пятьдесят долларов! Ах, это дорогое вашему сердцу событие? И последняя фотография вашего мужа? И вашего сына? Нет, из-за одной фотографии вы не забудете об их существовании! Вы забудете только об этом событии. Ну что вы! Считайте, что его не было никогда. Да. Пересчитайте, пожалуйста. Ну, если вы принесете все свои фотоальбомы, то забудете обо всех событиях и лицах, которые в них запечатлены. Да. Нелегко. Но вы станете богаты и сможете начать жизнь заново! Ах, вам уже поздно? Ну смотрите. Да, жизнь стала очень трудна. И об этом визите вы забудете тоже. Как меня найти вновь? Не знаю. Вероятно, нужно захотеть.

Они продают через меня самое дорогое.

Ничего. Я уже привык. Каждый торгует тем, что готов продать. Был бы покупатель. Меня не беспокоят чужие проблемы. Единственное, что иногда бросается в глаза, — невысокая светловолосая женщина, которая изредка с маленькой девочкой приходит к нашему дому и сидит вместе с нею на скамье. Она смотрит в моё окно или наблюдает, как я выскакиваю из подъезда и раскладываю на рельсах металлические безделушки. Она показывает на меня пальцем и что-то говорит.

Почему она ничего не продаёт?

Дом моей мечты

— Хом! Ты где пропадаешь? Я понимаю, свалившаяся на голову свобода способна опьянить даже такого основательного лентяя, как ты, но мог бы и предупредить, где шляешься! Я тут освободился, можно сказать, впервые за месяц! Прикатываю, а тебя опять нет на месте!

— Привет, Билд! Прости, но обстоятельства сложились самым чудесным образом. С утра пораньше в связи с ожидающимся возвращением моих с курорта решил смотаться на профилактику, всё сделал, но на обратной дороге увидел такую виллу!

— Какую? Хом! Да их тут сотни! Тысячи! Что по Северной улице, что по Центральной!

— По Южной, Билд, по Южной! Новенькая! На участке у озера. Я едва мимо не пролетел, затормозил так, что впору обратно на профилактику ехать! Стою тут уже два часа, рассматриваю и не могу оторваться.

— Ничего себе, ты даёшь крюки! Опять через лес решил проехать? Птичек послушать? Да знаю я эти твои виллы! Блеснёт новенькая крыша — тут же готов слететь на обочину!

— Нет, Билд! Поверь мне — это дом моей мечты!

— Ладно, еду! Конец связи!

Вилла действительно оказалась прекрасной. Стены были облицованы обыкновенным пластиком, но безупречные формы здания, его особенное изящество заставили бы замереть всякого наблюдателя. Два лёгких прозрачных эркера на два этажа каждый образовывали что-то вроде невесомого портика, объединённого поверху козырьком мягкой травяной кровли, приглушающей дождь и снабжающей внутренние помещения кислородом. Стрельчатые арки окон и дверей зрительно делали виллу ещё стройнее и выше. Сквозь прозрачную стену между эркерами угадывалась лёгкая витая лестница. Затейливый флюгер подрагивал на незаметном ветерке. Манящая садовая дорожка упиралась в мраморные ступени и, раздваиваясь, облизывала виллу узкими лентами по бокам.

— А что зади? — неожиданно охрипнув, прошептал Билд.

— Веранда, — скупно обронил Хом и, выдержав паузу, томно добавил: — Во всю стену! Из углепластика! Уровень прозрачности — сто двадцать! Первый этаж — кухня. Второй — зимний сад!

— Сто двадцать! Зимний сад! — как эхо повторил Билд. — А внутри?

— Полный пакет! — прошептал Хом. — Возможность трансформации — не менее восьмидесяти процентов! Дигитальная архитектура! Живой интерьер! Апартамент — люкс! Интуитивный дизайн! Все удобства! Звукоизоляция — абсолют. Бассейн в цоколе! Вода на всех этажах, включая чердак!

— Чердак! — воскликнул Билд. — Знакомиться не пробовал?
— Ты что? — возмутился Хом. — В такую рань? А правила приличия? Да и... сам понимаешь...

— Какие правила приличия? — едва не закричал Билд. — Уведут, как пить дать уведут! Забыл виллу на Северной? Так же ведь стоял, слюни пускал. И где она теперь? Размазня ты, братец!

— Плевать, — огрызнулся Хом. — По сравнению с этой та вилла обыкновенный сарай!

— Сам ты сарай. Отличная была вилла. Пусть и не так хороша, как эта. Сам знаешь, красота дома — это важное качество, но не решающее.

— Не решающее, — согласился Хом, — но необходимое.

Билд посмотрел на приятеля. Тот стоял на обочине неподвижно, но именно в этой неподвижности угадывалось непоколебимое упрямство и бурное отчаяние рядового сельского мечтателя.

— Как ты оцениваешь мои шансы? — трагически прошептал Хом.

— Я не оценщик, чтобы оценивать шансы, — нервно шевельнулся Билд. — В любом случае, пока твои не вернутся с моря, никаких серьёзных шагов ты предпринять не сможешь. Любая сделка, если до неё, конечно, дойдёт, требует непременно участия всех членов семьи.

— Везёт тебе, — заметил Хом. — У тебя всего один член семьи, да и тот почти всегда пьян.

— Эх, Линда! — горько выдохнул Билд. — Не пожелал бы я тебе такого. Ждать несколько лет появления детей, а вместе этого беспомощно наблюдать, как твоя хозяйка понемногу спивается.

— Детей... — мечтательно прошептал Хом. — Билд. Скажи мне. Только честно. Вот если взять архитектуру этой виллы и умножить ее на мою надёжность, вкус, уют. Что получится? Хороший домик?

— Скандал и блокировка! — зло бросил Билд. — Мало, что ли, было подобных случаев? Хорошо ещё, хоть в этом порядок навели. Вам, молодым, только дай волю, наплюёте не только на проекты, но и на правила застройки! Хватит глазеть, поехали!

— Подожди, Билд, — попросил Хом. — Ещё пару минут!

Два стандартных мобильных коттеджа разных серий проторчали на обочине пустынного шоссе ещё два часа, пока сигнальная система «Номе-232» не выдала предупреждение о возвращении его хозяев. Коттеджи выкатили на дорогу и помчались в сторону поселка. «Build-017» безнадежно отставал.

— Что с тобой, Билд? — оглянулся Хом. — Не мог бы ты ехать чуть быстрее? Мало того, что я должен успеть к приезду хозяев, надо же и порядок в помещениях навести.

— Прости, Хом, — извинился Билд. — Но я старше тебя на десять лет и не так резв. К тому же Линда опять приползла с какой-то вечеринки под утро в свинячьем состоянии и сейчас спит на втором этаже. Я не могу рисковать здоровьем хозяйки!

— В таком случае — извини, — сказал Хом. — Я должен спешить.

«Номе-232» увеличил скорость и вскоре скрылся за поворотом. «Build-017» проехал для приличия ещё пару километров, развернулся и заторопился обратно. Остановившись напротив новенькой виллы, он плавно съехал на обочину и, вытянув кабели, вежливо хлопнул дверьми.

— Простите, мадам. Меня зовут Билд. Могу я узнать ваше имя?



Роман Владимович Славацкий родился в Коломне в 1957 году. По образованию историк (окончил Коломенский педагогический институт). Член Союза писателей России. Его перу принадлежат повесть «Пожарник», стихотворные сборники «Баллада Маринкиной башни», «Самоцветные чётки», «Посадский венок». Издал свыше десятка краеведческих исследований и буклетов, посвящённых родному городу.

Заместитель председателя творческого объединения профессиональных писателей г. Коломны.

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Роман СЛАВАЦКИЙ

МЕМОРИАЛ

Битва у лагеря

Стрела вонзилась коню в голову. Там, где начиналась грива, в самом темени, застряло пернатое древко, бронзовый наконечник пробежал череп и погрузился в мозг. Конь захрапел, поднялся на дыбы, забился в судорогах. Остальные лошади в страхе начали рваться в разные стороны. Колесница остановилась.

— Это Парис! — в отчаянии заревел Нестор. — Я видел, как этот ублюдок нас выцеливал! О, проклятие!

Ахейцы бежали. Только Нестор остался позади всех. Старик спрыгнул с колесницы и побежал отпрягать раненую лошадь, но никак не мог справиться: кони метались, а руки его дрожали.

— Одиссей, Одиссей! — кричал Диомед. — Стой, царь, что спину троянцам показываешь?! Остановись, поможем старику!

Лаэртид не слышал: грохот колёс заглушил слова.

— Не бросать же его! — воскликнул сын Тидея, и вот уже колесница остановилась возле Нестора. — Иди ко мне возницей, басилевс! Мы отобьёмся, пока наши возничие разберутся с твоей упряжкой!

— Дело! — бросил в ответ старик-геренец и, мгновенно приняв вожжи, вступил в повозку. Хлестнул Нестор коней, и они помчались, оставив Сфенела с Эвримедоном отвязывать павшую лошадь. И вовремя! Гектор, тёмный, как туча, нёсся на свежую кровь.

— Давай наперерез! — скомандовал Диомед.

Грохоча, колесницы разъехались, и оба противника успели метнуть копьё.

— Жив? — спросил Нестор, кашляя от пыли.

— Пронесло! Рядом просвистело.

— А что Гектор?

— Я ему, кажется, возницу сбил, — Тидид оглянулся. — Точно, вон — валяется на земле. Теперь гони к стану, старик! Твою колесницу уже отогнали.

— Берегись! — Нестор отбил щитом стрелу и крикнул: — Почему все бегут?

— Они рассекли наш строй! — закричал в ответ сын Тидея. — А в ближнем бою с ними трудно драться. Пригнись!

Дротик пронёсся выше, никого не задев.

— Надо же что-то сделать, собраться! Так можно и до самого стана бежать, — бросал слова Нестор сквозь пыль и грохот.

— Что сделаешь, если Зевс мечет в нас молнии?! Не болтай, гони, гони!

— Прав оказался Калхас-гадатель, будь он проклят!

— А? — не расслышал Диомед.

— Ладно, потом! — ответил старик и ещё раз хлестнул коней.

Бегство стало всеобщим. Поле заволокло пылью, и сквозь её зыбкие облака пробивались жалящие копыта Солнца. Ахейское войско, разорванное на несколько отрядов, сползало к лагерю. Некоторые пытались огрызаться; да и в самом деле — некуда уже отступить: вот он — стан, а за станом — только море и корабли. Но уже было ясно, что сегодня троянцы победили. Вся долина была усыпана трупами лошадей, а среди них то тут, то там виднелись убитые воины. С кого-то уже успели содрать драгоценные доспехи, а некоторые ещё лежали неограбленными, и сверкали на солнце их начищенные бронзовые латы, а руки сжимали копье или меч. Кто-то ещё держал щит, а у кого-то он выпал из рук и валялся рядом. Лица воинов были закрыты глухой бронзой шлемов: их маски глядели спокойно и равнодушно-величественно — так, должно быть, глядят боги. Но у тех, с кого шлемы были сорваны, лица ещё хранили отпечаток того мгновения, когда наступила смерть.

Кто-то в ярости скалил зубы, у другого лицо было искажено болью, у иного — отчаянием. Но у большинства судорога схватки уже прошла, и мёртвые люди лежали на земле, будто спали, и только смертная бледность расходилась на лбу и щеках. Разлитая кровь уже не походила на кровь — она мгновенно впитывалась в сухую землю, свёртывалась и оставляла просто бурые пятна, а на трупах и оружии засыхала тонкой ржавой коростой.

Пройдёт несколько часов — и над землёй повеет сладковатый запах гниющей плоти, под жарким взглядом Гелиоса тела начнут чернеть, распахать и разлагаться, пока спасительный костёр не сожжёт останки и земля не укроет погребальный уголь.

Если бы троянцы могли собраться вместе, сосредоточить удар — участь ахейцев решилась бы уже сегодня. Но их войско тоже было разбросано — разбилось на мелкие схватки и не успевало соединиться. И пока шёл этот мутный, вскипающий то здесь, то там бой, основные силы греков проходили сквозь ворота среди частоккола к себе в лагерь. На счастье, убитых насчитывалось не так много, как можно было бы ожидать. Но раненых даже исчислить казалось невозможным.

Ахейские укрепления начинались скопом — неглубокий ров опоясывал весь лагерь. Пешим воинам его ещё можно было пересечь, но от всадников и уж тем более от колесниц ров защищал надёжно.

Дальше бугрился не слишком высокий вал — да и зачем было его насыпать выше? — никто не предполагал, что дело может так обернуться. Поверху шла боевая площадка, с внешней стороны её прикрывали отёсанные брёвна — частокол. Не сказать, чтобы чересчур мощные укрепления — но с налёта не возьмёшь: надо заранее готовить лестницы для приступа и хворост — засыпать ров.

Но главное, конечно же, не в частоколе и рве, а в тех воинах, что стоят на валу. У них в руках — страшные, далеко разящие луки. Даже подойти к стене — задача не из лёгких, а ведь наверху есть ещё отточенные жала мечей и копий.

Хорошая крепость — но только когда ворота закрыты и всё готово к обороне. А сейчас — створы распахнуты настежь, и нельзя их сомкнуть: снаружи ещё остаются свои.

— ЛАДАС!

«Кто это? — подумал он. — Кто это меня зовёт?»

Ладас оглянулся. Рядом никого не было. Бой продолжался, но никто из воинов не мог говорить так близко. Ладас один стоял, и солнце жгло его, пронизывая латы, и ветер, горячий ветер трепал волосы, выбивающиеся из-под шлема, и вскидывал боевой плащ. Ладас входил в боевой отряд сопровождения, шёл за колесницами, но коня под ним давно ранили, и сейчас животное издыхало где-то неподалёку.

Воин направлялся ко входу в лагерь, а вокруг мчались отступающие колесницы — и неожиданно он оказался в задних рядах, в тылу бегущих ахейцев.

Большая часть войска уже, кажется, скрылась от преследования, но кое-где ещё продолжался ожесточённый, лишённый стратегического смысла бой.

Ладас уже готов был сделать несколько десятков последних шагов, когда голос остановил его.

«Кто же это?»

Ратник снова оглянулся. Он увидел, как в отдалении мчатся ахейские всадники и пехотинцы, а трояне перехватывают их, не дают бежать.

Уже пора было закрывать ворота — враги наседали! Но защитники вала всё медлили, ждали, пока соберутся остальные.

И Ладас понял, что остановило его. Внутренний зов! И это он сам обращался к себе, или нет, не он, а его совесть.

Что случилось? А вот что: ему стыдно отступить! Надо было задержаться у ворот и остановить, хотя бы на несколько мгновений задержать рвущихся к воротам троянцев, чтобы дать возможность десятку-другому ахейян укрыться за частоколом.

Но это была верная смерть.

«Что же? — подумал он. — Кажется, надо умереть? Да, это конец».

Впрочем, тут стало не до размышлений. Он увидел, как бежит к нему знакомый ахеец, возница. Он позабыл его имя, все называли его Рыжий. Видать, выбило бедолагу из повозки при столкновении, а может, убили броненосца или перерезали лошадей. Шлем он потерял, полусорванный холщовый панцирь болтался, рыжая негустая борода растрепалась. Воин бежал прихрамывая, а за ним летел чёрный пыльный столб.

Задыхаясь, боец подбежал, повернулся, и они стали плечом к плечу.

Грохот приближался.

«Вот, сейчас, — пронеслось в мозгу. — Достаточно пары стрел — и всё!». Но никто не стрелял.

— А! У них колчаны пустые! — вскричал ахеец.

— Погоди радоваться, — осклабился сосед.

И тут же враги навалились.

Ладас изготовился, товарищ его тоже, и, едва колесница приблизилась, оба метнули дротики. Сосед промахнулся, но и враг не успел бросить точно: копьё ударило в щит, пробило его и застряло.

Ладас не стал смотреть, как его товарищ вытаскивает копьё, — он глядел на троянцев. Он видел, что попал. Попал! С первого раза!

Ближняя колесница шатнулась и боком стала отходить: возница осторожно отгонял её и оглядывался. Илионский латник еле держался, наваливаясь на него всем телом.

Но следом уже летели ещё две повозки. Соратник его вскрикнул. Ладас увидел, как Рыжего швырнуло на землю; из горла торчало древко, он бился и хрипел.

Ладас едва успел уклониться: копьё просвистело, чиркнув по шлему. Кони неслись прямо на него, но ратник не стал отступать, он метнул второе копьё — в створ меж лошадей, и поразил возницу — легковооружённого. Острое жало пронзило панцирь в середине груди, лошади метнулись и пошли стороной. Другая колесница промчалась справа, а впереди близились ещё две.

Ладас вырвал вражеское копьё из земли, встряхнул, примеряя его к руке. Потом сделал вид, что бежит налево, и, едва возница переложил вожжи, метнулся направо. Повозка прогрохотала мимо. Сокрушающий удар вражеского меча обрушился на его щит и пробил медный покров, отхватив большой кусок щита, но убить ахейца не удалось — колесница миновала, и Ладас, размахнувшись, метнул копьё вслед, быстро и страшно вонзив наточенный наконечник в пояс врага, на уровне почек. Воин с ужасным рёвом повалился в пыль.

Крик веселья и радости вырвался у ахейца. Ещё несколько братьев по оружию проскользнули в лагерь, пока он дрался у ворот. А страха уже не было, настолько выросло ожесточение боя. Всё тело кипело растворённой злобой и жаждой схватки.словно в пророческом сне, воин снова изготовился навстречу врагу. И тут он ощутил такую боль, что небо почернело в глазах.

«В спину», — подумал он и почувствовал, что падает. Свет и тьма вспыхивали, словно молнии мелькали перед ним. Боль вдруг ушла, она словно вытекла из него с огромной быстротой. Стало легко, как бывает только во сне или в минуты совершенного счастья.

Сознание вернулось, и Ладас понял, что стоит на прежнем месте. Перед ним копошилось несколько троянцев, они снимали доспехи с того рыжего убитого ахейца и ещё с какого-то воина, который лежал рядом с ним. Ненависть снова вскипела, точно вода в медном котле. Ладас рванулся и со всей силой ударил одного из врагов в затылок. Удар должен был оглушить троянца. Но произошло нечто совсем иное.

С невероятным изумлением Ладас увидел свой кулак, проходящий сквозь врага. Тут он заметил, что кто-то бежит ему навстречу, и еле успел изготовиться. Противник ударил. Ладас отразил, но... Это какой-то сон? Сила удара не ощущалась. Рука нападающего прошла сквозь него. Они застыли оба как вкопанные, растерянно глядя перед собой. И тут рядом, справа, ахеец увидел ещё кого-то. Это был его товарищ. И Ладас

никак не мог понять — как же это он приближается, когда его только что убили?

И тут, когда троянцы расступились, он увидел ещё кого-то знакомого, лежащего на земле. Этот широкий лоб, подбородок со шрамом... И Ладас вдруг понял, что видит себя самого, мёртвого, лежащего без брони на выжженной земле.

«Это что же, значит, меня убили? — подумал воин. — А я, и этот троянец, и Рыжий — мы только души?».

Ладас глянул ещё раз на свой труп. Вся земля за его спиной сплошь залита была кровью, только она уже не походила на кровь, она уже успела впитаться в землю, а на теле — быстро высыхала, свёртываясь и превращаясь в бурю коросту. И ветер шевелил волосы мертвеца.

И Ладас вдруг с удивлением понял, что ему совсем не жаль этого тела, не хочется возвращения боли, ярости, звериной жестокости мира...

Лёгкость, лёгкость — и ничего не нужно делать... Он парил, ничего не чувствуя. Нестерпимый жар, пыль, судорога боя — всё это в несколько мгновений потеряло реальность и стало меркнуть и туманиться.

Ладас ощутил, как его поднимает какая-то невидимая сила. И он начал движение — точно тихая вода несла его медленно и незаметно. Над полем боя будто повисла огромная воздушная воронка, и она медленно вращалась, втягивая в себя парящие тени. Ладас видел, как рядом с ним и чуть поодаль плыли другие души, десятки других теней...

Там, внизу, клубилась пыль, металось и бурлило что-то ненужное, нелепое, а души восходили ввысь, точно облака, и поток подхватывал их, неся от краёв к центру, к невысокой горе.

Не было воли, не было свободы... Но зачем и кому нужна была эта свобода? Ничего, ничего не хотелось... Покой...

На вершине горы, в походном кресле, сидел некто, окутанный чёрным плащом. Ветер играл складками плаща. Молодой человек в чёрном, с изящной бородкой, радушно улыбался толпе теней. Ладас встал перед ним, и тот заметил его и дружески подмигнул:

— Молодец. Хорошо сражался.

Потом сказал, обращаясь ко всем:

— Подождём ещё минуту, друзья. Бой уже закончился. Дождёмся, пока соберутся все остальные.

Ладас оглянулся вокруг. Они стояли плечом к плечу: ахейцы, троянцы, вглядываясь друг в друга, и у кого-то глаза были полны отчаянием, у кого-то — беспредельным удивлением, но большинство стояли спокойно, точно отдыхая после тяжёлого труда.

Смеркалось. Догорал бой, с запада подступала темнота.

— Ничего интересного уже не будет, — сказал сидящий, и глаза его сверкнули, точно камни, меняющие цвет. — Пора.

Поле исчезло. Исчезли небо и пространство, словно его вывернуло наизнанку, остался только поток, спокойно несущий тени в глубокое и тёмное ущелье, и чем дальше, тем становилось темнее.

А потом из темноты стал пробиваться свет.

Ночь в Трое

Вызвездило: ночь была как-то по-особенному, не по-здешнему холодна и прозрачна.

Страшно, ослепительно и беспредельно горела Селена, и в её кипящем смертном сверкании нереальным казался огонёк глиняной лампы. Горела она в левой руке великого Гектора — правой он поддерживал Приама. И две тени ложились на каменную спираль узкой улицы, на тяжёлые сплочённые валуны; высокая львиная тень воина и низкая, сгорбленная летами — старика. Царь постучал своим кипарисовым посохом в тяжёлую деревянную дверь каменной кельи.

— Кто у входа? — раздался сильный женский голос (почти красивый, но трещинка едва заметной сорванности его портила).

— Я привёл царя, Кассандра, как и обещал.

Заняла дверь.

— Заходите.

Гектору при входе пришлось сильно пригнуться.

— Ты бы хоть петли смазала, сестра.

— Не учи меня, Гектор. Может быть, я хочу, чтобы они скрипели.

— Да к чему бы?

— А ты подумай.

— Странная ты девушка. Ну хоть лампу ещё одну зажги.

— И очага хватит. Мне хватает света очага, хватит и вам. В нашем деле не надо много света. Что стоишь, царь? Садись.

— Куда?

— А вон лавка со светлой шкурой. Садись и ты с ним, Гектор.

Помолчали. Еле-еле потрескивал фитиль лампы, утверждённой Гектором в каменной нише у входа, шептали уголья в очаге, над которым кипел потихоньку котелок с травами. Дурмящий запах расходился по маленькой келье, круглой и гулкой, точно морская раковина, пропитываемая и пронизываемая её. Может быть, от этого запаха расширились и бродили безумием виноградные глаза Кассандры.

— Ну, что ты теперь скажешь, богоравный Приам? Теперь тебе верится?

С ужасной усталостью провёл царь по лицу рукой, склонил среброволосую голову, схваченную сверкающим золотым обручем, и по-старчески вздохнул.

— Я понял твой вопрос, колдунья, — прозвучал его ветхий голос. — И мне тяжело на него отвечать. Но я отвечаю на него с бесконечной болью. Да, Кассандра, теперь я тебе верю.

Гектор с недоумением взглянул на него.

— В чём? В чём ты ей веришь?

— Мы уже встречались, Гектор, — ответил старик.

— Это я уже понял.

— Она предсказала падение Трои.

— Бред какой-то...

— Помолчи, Гектор. Ты ничего не понимаешь. Итак, я тебе верю, дочь моя. Что дальше?

— А это зависит от тебя, отче, — странно улыбнулась девушка. — Что ты хочешь узнать?

— Мне трудно вымолвить. Думаю, ты сама ведаешь. Не так ли?

— Я догадываюсь. Ты, наверное, хочешь узнать, что будет потом? И это тебе очень скорбно, потому что тебя тогда уже не будет.

— Да! — вскричал царь, ударил себя рукой по колену и стукнул в сердцах посохом оземь, так что тот загудел, точно боевое копьё. Гектор с изумлением глянул на своего соседа, и мгновенно мелькнуло перед ним

видение — представил он молодого и грозного Приама, созывающего воинов на битву.

— Да! — вскричал царь, неизвестно откуда ощущая в голосе чистоту и полнозвучие. — И горько мне, девушка, ибо я уже стар и не могу умереть в бою! А жаль... — Он глянул вперёд, точно прицеливаясь. — Ну да ладно. Вот о чём я хотел спросить тебя, Кассандра. Как сделать, чтобы священная Троя не прошла бесплодно? Страшно подумать о том, сколько поколений создавало могущество этой крепости; и что же — всё прахом? Неужели в каждом из нас нет хотя бы частицы божественного? А если это так и если в каждом троянце есть зерно бессмертия, как сделать, чтобы Троя не развеялась горсткой песка, а продолжила своё существование? Ведь есть же у каждого человека своя цель! Своя цель есть даже у муравья. Так неужели этот город, этот божественный каменный муравейник, должен стать бесследной жертвой слепому Хроносу? Скажи мне, колдунья, был ли какой-то логос, какое-то значение и смысл в строительстве наших стен? И если такой смысл существовал — суждено ли ему сохраниться? А если да — то что мы можем сделать, чтобы Троя осталась в прозрачном теле Памяти, а ещё лучше — в делах человеческих?

Кассандра надолго задумалась, а потом сказала:

— Я поняла тебя, царь. Подожди немного, я поразмыслю.

Встала, порылась в тёмном углу, вытащила к очагу ворох деревянных, костяных и металлических табличек, сплошь исчерченных странными значками. Кассандра уселась на пол у очага и, близоруко поднося дощечки к глазам, стала что-то бормотать про себя.

— Жизнь, смерть, жизнь... Нет, не то... Манес... Ночь священная, прорицающая... А, вот!.. Роши Ферсефонейи...

— Что она делает? — зашептал Гектор, и видно было, что ему не по себе от этого зловещего красного света и дощечек и зачем-то перебирающей их безумной девушки с чёрными распущенными волосами, в диадеме из волчьих клыков.

Приам жестом запретил ему говорить.

Колдунья поднялась и, подойдя, наклонилась к Гектору с улыбкой, внимательно вглядываясь ему в глаза:

— Ты устал, воин. Завтра тебе предстоит большая борьба. Нужно отдохнуть. Усни... Усни.

Лицо Гектора стало странно спокойным, веки вдруг сомкнулись, руки его упали, голова запрокинулась. А Кассандра подложила ему подушку, чтобы удобнее было спать — не упираясь затылком в каменную стену. Приам с удивлением и даже со страхом наблюдал, как слабая, похожая на тень девушка повергла в бесчувствие огромного воина.

— Я прошу тебя сесть в это кресло, царь.

Приам встал и, повинувшись указанию колдуньи, подошёл ближе к огню и сел в высокое удобное кресло. Принял от неё чашу с питьём и выпил горький, жидкий чёрный настой.

— Сегодня, царь, я освобожу твой дух... Ты будешь находиться здесь, точнее — твоё тело будет здесь, а душа твоя отправится в путешествие. Возьми-ка вот этот перстень.

Приам надел на левую руку простой полированный перстень с большим плоским изумрудом, исчерченным тайными знаками.

— Слушай меня внимательно, отец. Сначала ты попадёшь в тёмное ущелье и пойдёшь навстречу свету. И в конце концов ты увидишь пре-

красный Дом Аида. Справа будет источник. Рядом с ним стоит белый кипарис. К этому источнику даже близко не подходи. Ты понял? Иначе не будет обратного пути.

— Понял, — прошептал Приам. — Не буду подходить.

— Слушай дальше. Ты пройдёшь по тропинке мимо источника и увидишь озеро Мнемосины. Там тебя встретят стражи. Если они спросят, зачем ты спустился в Аид, скажи, что хочешь видеть Владыку Тайн, и покажи им перстень. Тебя пропустят. У Владыки и спросишь, как спасти Трою будущего.

— Кто этот Владыка Тайн?

— Орфей.

— Орфей?! — в ужасе воскликнул Приам.

— Ничего не бойся. Сосредоточься, царь. Ответь мне — видишь ли ты ущелье?

— Да... Что-то смутно...

— Всмотрись... Теперь видишь?

Это была невыразимо мрачная глубокая лощина, заросшая орешником. Что-то вроде обрыва с круто уходящими вниз несколькими тропинками. На краю оврага сидел молодой мужчина, лет тридцати пяти, с бородкой, в тёмном хитоне, с великолепно развитым телом, очень красивым лицом и мерцающими глазами неопределённого цвета. Перед ним расстелена была скатерть, похожая на развёрнутую котомку, на которой лежали: хлеб с куском поджаренного мяса, фрукты и глиняная фляжка с вином. Незнакомец закусывал с видимым удовольствием. Но ради Приама отвлёкся, обернулся к нему, как будто именно царя и ожидал.

— Мир тебе! Чего ищешь, старина?

Приам замешкался, не зная, какую тропинку выбрать.

— Где-то здесь ущелье должно быть...

— А, ущелье! — обрадовался тот. — Да чего искать — спускайся смело в овраг, вон той крайней тропкой, так выйдет длиннее, но зато здесь путь более пологий и удобный. Тебя проводить?

— Нет, я сам доберусь, не буду отвлекать тебя от трапезы. Прощай, будь здоров.

— Тебе здравия и благоволения богов, — кивнул незнакомец и вернулся к еде.

А Приам начал спускаться по указанной тропинке, думая про себя, что это за любезный молодой человек встретился ему по дороге. Но вскоре мысли эти улетучились, не до того стало, ибо овраг странным образом превратился в ущелье, и, чем глубже спускался царь, тем шире и выше становилось ущелье. И — удивительное дело! — вместо темноты, которая вроде бы должна была наступить, забрезжил из самой глубины свет. Правда, не походил он на обычный, солнечный. Что-то поразительное, пугающее было в нём; и только теперь Приам понял, что спустился в преисподнюю. Но воротиться уже было нельзя: неудержимая сила тащила его вниз, и дорога-то вроде не так чтобы уж слишком крутая, но Приам чувствовал, что бежит или даже — не странно ли? — будто летит. И в то же время какой-то особой усталости царь не чувствовал, всё шло очень легко и без времени.

И вот ДОМ АИДА увидел он. Словно друза — причудливая груда кристаллов — громоздился он, вытесанный из белого известняка или

мрамора. Нет, всё-таки это был известняк, потому что огромный дворец не поблёскивал, а как-то молочно светился... Уж не из этого ли дворца и доносился тот самый свет, который заливал страну мёртвых? А дальше, справа, там, где шла широкая мощёная дорога, увидел царь огромный кипарис — неестественно белый... И около него виднелся большой, выложенный камнем источник. Увидел Приам, и содрогнулся, и с ужасом почувствовал, что ноги сами туда идут. Сжав кулаки, Приам остановился и ударил посохом так, что искры вылетели из-под медного наконечника. И сразу полегчало — вспомнил молодость, шум боя — и воля окрепла. Царь стал искать пути в обход слева, еле рассмотрел тропинку и понял, что это его путь.

Тропинка уходила в рощу, вернее — тянулась меж несколькими рощицами. Невысокие разлапистые деревья то сочетались в негустую толпу, то расходились и стояли свободно, поодиночке. Они были похожи на обычные деревья, вроде оливы, но что-то жуткое было в их серебристой листве... Наконец Приам понял, что ни один листок на крутых ветвях не шевелился, мёртвый покой обнимал крутые кроны. И когда царь присмотрелся, то увидел (и от этого мороз пронизал его до костей), что деревья сплошь заплетены прозрачной паутиной: белёсые покрывала окутывали все ветви, налегая сверху и серебристыми потоками спадая, клубясь у корней. Приам шёл, и травы, странные какие-то травы, касались его ног, точно неживые, засохшие, — и шуршали, сминаемые царскими сандалиями, их расшитой полустёртой позолотой. Медленно, в такт шагам, плыл огромный Аидов дворец, мерцающая сквозь кроны деревьев.

Тропинка вдруг расширилась, превратилась в плотно утопанную дорогу, и увидел Приам бесконечное чёрное озеро, на берегу которого сидели два воина.

Один из них был старше, другой походил на юношу-кёрбоса. Сначала царь подивился невероятно тонкой работе подземных мастеров, которые украсили озеро бронзовыми статуями. Но вдруг изваяния, глухо гремя латами, поднялись, и Приам, содрогнувшись, услышал бронзовый голос старшего:

— Что тебе нужно, о смертный, в безрадостном царстве Аида?

— Я хочу... Я хочу видеть Владыку Тайн, — тихо ответил царь и показал им перстень.

Тихо и неподвижно смотрели они на переливающийся камень, который в полутьме горел своим внутренним светом.

— Ступай вдоль берега, — сказал седой латник. — Увидишь большой грот. Там он тебя встретит, если захочет.

Стражи снова сели на каменный берег, точно в сон погрузились; поклонился им Приам (они не ответили) и пошёл, куда было указано. Шёл, казалось, недолго, ибо время давно уже исчезло, он перестал ощущать его.

И открылся грот, чёрный, высокий, сенью нависающий, — и точно пар какой-то шёл из него и вился у входа... На свет, изливающийся из озера Мнемосины, вышел некто, одетый во всё фригийское: причудливую рубаху, штаны и какой-то ветхий колпак. На царя глянуло вечно молодое лицо, обрамлённое витьём волос; огромные глаза словно пронизывали Приама, проникали в самую душу его, в самую суть.

— Владыка Орфей... — прошептал царь и упал на колени.

— Ну-ну, вставай, старик... — Что-то сладостно-странное было в этом голосе. — Негоже держать своего земляка на коленях. Знаю, зачем ты пришёл. Поднимайся.

Он сел на гранитный валун, горящийся, точно кресло, а Приаму кивнул на соседний камень напротив.

— Что Кассандра сама не пришла, а пригнала тебя, старика? Клото присмотрела бы за ней на время её прогулки в наших краях.

— Клото? Это её старуха нянька? Она умерла дней десять назад.

— Да? А я и не знал. Впрочем, это всё равно. Итак, ты пришёл узнать судьбу Трои?

— Кассандра мне сказала... Но я хотел бы...

— Не бойся, спрашивай.

— Как сделать... вернее — что сделать, чтобы Троя не исчезла бесследно? Есть же колос — в оправдание зерна? Как сделать, чтобы троянское зерно не пропало?

— Я понял тебя, Приам. — Орфей поднял руку, и от его непринуждённого жеста движение воздуха прошло окрест и даже мёртвое озеро на мгновение ожило и плеснуло бесшумной волной. — И я могу успокоить тебя. Троя останется, причём сразу в двух потоках. Первый из них — река Памяти. Троя никогда не исчезнет из сердца людей. Бедные смертные думают, что они существуют, а Троя им лишь снится. А на самом деле — это они сами себе сняты и проходят, как утренний пар. А Троя вечно стоит, закаятая бронёй слова. И бессмертное слово будет передаваться из уст в уста, до того Слова, Которое воплотится в Великом Городе. Будет оно звучать и после Него, до последнего Слова, Которое будет в конце мира и времени.

— А этот мир будет иметь конец?

— Мир преходящ. Но печати сознания — души — они не исчезают. Вообще ничто земное не исчезает, особенно слово. Запомни, старик: самое надёжное в земном мире обращается самым призрачным. Казалось бы — что бесплотнее слова и что прочнее камня? Но камень разрушается, а память поколений не угасает.

Есть и второй поток. Это мир вещей, призрачный мир, который только кажется настоящим, но именно он тебя беспокоит.

Ты спрашиваешь, сохранится ли троянское зерно? Да, сохранится. Поверь мне: после гибели Трои ещё многие и многие поколения сменятся на твоей земле, Приам, и многие люди будут приходить к Илиону на поклонение, когда город исчезнет с лица земли. Я скажу тебе, что зёрна Трои разойдутся по всей ойкумене, они отзовутся новыми ростками не на илионской земле. Где — я не стану тебе рассказывать. Это дело слишком далёкого будущего. Но вот что тебе нужно запомнить. Золото святого Илиона необходимо спасти. У вас есть тайная связь с морем — вывозите святое золото в Египет.

— В Египет?!

— Да. И не откладывайте. На днях к вам должен приехать посланник оттуда, которого вы ждали. С ним и договоритесь. Отбирайте сокровища. Кассандра тебе поможет.

Теперь, старик, давай прощаться. Тебе нельзя засиживаться здесь. Воздух Аидеса властителен... Ступай в земные пределы. Впрочем, мы всё равно вскоре увидимся. Когда оставишь свою оболочку, не забудь прийти ко мне, побеседуем. А то, знаешь ли, вечность — скучная вещь. Странное дело: пока живы — всем нужен Орфей, а после перехода взгляд

меняется. Это ведь сейчас тебя волнует Илион, а после смерти, боюсь, ты о нём и не вспомнишь.

— Я приду.

— Это хорошо. Прощай же. Ну?

Приам встал и поклонился ему до земли.

— Прощай, Владыка...

Орфей улыбнулся и кивнул старику.

Тяжело, нехотя возвращалась душа в царское тело. Снова, постепенно, вернулось ощущение плоти, а с ним — дряхлости и болезни... Сквозь полуприкрытые веки пробился красный цвет очага.

— Смело открой глаза. Ты уже здесь, царь, — услышал он голос Кассандры.

— Какой странный сон я видел...

— Кого ты встретил в ущелье?

— У оврага. Ущелье началось потом. У оврага сидел эфеб...

— В чёрном плаще и длинной такой дорожной шляпе?

— Нет, плащ он положил на землю, а шляпа... да, она лежала рядом.

— Ещё глаза у него были непонятного цвета. Так?

— Да, пожалуй. Очень любезно предложил меня проводить, но он закусывал, и я не стал его беспокоить, сказал, что сам дойду.

— Да, он может быть удивительно любезен... Хорошо, что ты отказался от его сопровождения. Допустили тебя?

— Да, я видел Орфея...

— Что Он сказал тебе?

— Сказал, что зерно Трои взойдёт в иных землях. И главное — приказал собрать священное илионское золото, и чтобы ты помогла мне в сборах, а потом переправить его в Египет.

— Когда вы ждёте посланника?

— Вот-вот. Вообще-то он должен был уже прибыть. Я боюсь — не перехватили бы его данайцы.

— Не перехватят, — усмехнулась колдунья и протянула ему другую чашу. — Теперь выпей это. Питьё укрепит тебя.

Царь почувствовал, как рассеивается туман в голове, улетучивается какой-то сонный дым, уходит вместе с глотками пряного и терпкого настоя. Он увидел, как подошла Кассандра к спящему Гектору и очень мягко, глядя его рукой по волосам, произнесла:

— Проснись, Гектор... Ты достаточно отдохнул, и завтра мышцы твои будут по-особенному сильны, а сердце — радостно и исполнено смелости. Открой глаза.

Гектор потянулся, разминая и как бы заново ощущая железные мышцы свои, разморённые сном.

— Ну, герой, проснулся? — рассмеялась Кассандра. — Вставай, пора тебе царя провожать.

Гектор поднялся. Встал и Приам.

— Я не прощаюсь с тобой, Кассандра. Скоро увидимся. Как освобожусь — пошлю за тобою.

— Буду ждать.

— Прощай, сестра, — кивнул Гектор, и они вышли в ночь, освещивая своей лампой, в которой почти не осталось масла.

В илионском акрополе небо виднелось, будто из каменного колодца. Почти со страхом глянул Гектор наверх, туда, где двигались прозрачные

сферы, усеянные алмазной пылью звёзд. Всё это жило, мерцало, дышало холодным сквозняком бесконечности. Вдруг шорох нарушил их мерное движение по замощённому двору: мелькнул огонь на галерее, потом ещё и ещё — с другой стороны.

Они увидели быстро идущего человека с лампой. Гектор схватился было за меч, но человек был не вооружён, и тут же они узнали старого царского управляющего.

— Мы сбились с ног, тебя искавши, царь, уж и не знали, что подумать!

— Что случилось?

— Только-только прибыл посланник из Египта. Мы впустили его через тайный ход.



РОМАНУ СЛАВАЦКОМУ — 50!

Ну что, Роман Вадимович, пришла пора подводить некоторые итоги? Откровенно говоря — есть что вспомнить и что исчислить. Изданы несколько крепких поэтических книг, повесть, написана мощная поэма в прозе — «Мемориал». А уж о том, сколько исторических очерков опубликовано, и говорить нечего. Ты, наверное, и сам их количества не упомнишь.

А в каких цифрах измеришь скрытую, неизвестную большинству читателей редакторскую работу в «Коломенском альманахе»? И какими единицами определишь накал страстей, бушующих порой на нашей издательской «кухне»?..

Есть и ещё одна — потаённая — часть писательского бытия нашего юбиляра, о которой мало кто догадывается. Суть в том, что основная часть его работ ещё не издана: ещё «вылёживаются» и ждут своего часа страницы прозы и поэтические сборники.

Роман Вадимович! Дай тебе Бог здоровья и сил не только создавать новые произведения, но и дожидаться публикации уже написанного! Многая лета!

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ



***Виктория Александровна Нечаева** родилась и живет в Коломне. Окончила Московское Высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. Печаталась в газетах «Грань», «Ять», «Московский комсомолец», в «Коломенском альманахе». Член Союза журналистов России. В настоящее время — выпускающий редактор газеты «Региональные вести — Юго-Восток».*

Золотой мальчик

— У меня золотой мальчик, — говорила Таисия Григорьевна. — Золотой!

Таисия Григорьевна работала товароведом в горторге — обеспеченной, в общем, была женщиной. Это сейчас товаровед кроме зарплаты да премиальных ни черта не имеет, а в прежние времена — очень даже икорная была должность. Икорная — в смысле, что не только на хлеб с маслом, а и на икру вполне хватало.

Муж Таисии Григорьевны служил партийным чиновником — тоже не последний человек в городе. Но были чины и повыше. И угораздило его связаться с секретаршей одного из самых высоких — страшно даже и сказать, которого. В общем, партбилет отобрали, должности лишили, а для острастки отправили куда-то за Урал — на стыдное понижение. До Урала, однако, бывший партиец не доехал — сгинул где-то по дороге. Всяко люди говорили: кто — что деньги большие в портмоне вез да попал на глаза лихим разбойникам, кто — что у проводницы прижился, — только больше вестей от мужа Таисия Григорьевна не получала.

Она, конечно, за мужем не поехала — это ж полной дурой надо быть, чтобы такую должность, трёхкомнатную в центре и разными способами раздобытые связи бросить. А Таисия Григорьевна дурой никогда не была.

Тем более — подрастал сыночек, кроvinочка: беленький, лупоглазенький, мамкина отрада. Куда ж его — за Урал-то? Ему, родненькому, другая судьба уготована: институт столичный, карьера, должности, — а уж о прочем мамка позаботится.

И позаботилась. К окончанию школы (не с отличием, конечно — не все учителя выгоду свою понимают — но вполне прилично) подарила Таисия Григорьев-

на сыночку Лёнечке новенькую «Волгу». Лёнечка скукислся: «Зачем мне этот членовоз? Ты б лучше восьмёрку достала!» Но с «Жигулями» были сложности, и пришлось ему пару месяцев на «Волге» покататься.

Пока Лёнечка катался, Таисия Григорьевна устроила его в самый престижный столичный институт. Чего ей это стоило, никому и никогда не рассказывала — даже закадычной подружке Зинке, фасовщице местного мясокомбината, а прежде — всегдашней соседке Таисии Григорьевны по парте.

В общагу поехал Лёнечка уже на «Жигулях», с полным багажником снеди в заграничных упаковках, с десятью (на всякий случай) комплектами дорогого белья и с мамкиными слезами на прощание — первый раз отпустила она «кровиночку» так надолго.

Неделя — на выходные мальчик должен был возвращаться — тянулась, как старая электричка по ржавым рельсам. Таисия Григорьевна даже не обратила внимания на дефицитные финские костюмы, пришедшие в торг крохотной партией для закрытой продажи. Спыхватилась только через месяц, а поздно — разошлись костюмы с обычной скоростью. Пришлось самой ехать в главк, задабривать секретаршу Главного — дебелую Марью — и переплачивать значительно. Но вышло даже и лучше — костюм ей достался не синий, как те, что ушли из-под носа, а жемчужно-серый с переливами. Выглядела в нем Таисия Григорьевна на зависть молодое и совсем по-нездешнему элегантно.

В субботу вернулся из столицы Лёнечка — показалось, похудевший и осунувшийся. Много матери не рассказывал, только сетовал, что в общаге поселён с тремя полными дебилами с третьего курса, которые играют круглые сутки в преферанс, водят отвязных девок и выгоняют его по ночам в читалку.

Таисия Григорьевна пришла в ужас. Она немедленно позвонила бывшей однокурснице из Плешки и выяснила, где и как можно быстро снять квартиру. Во что обойдётся проживание, она тоже узнала, но особой роли это не играло — не было такой суммы, которую не отдала бы Таисия Григорьевна ради спокойствия своего мальчика.

Через пару дней Лёнечка съехал из общаги в небольшую квартирку неподалёку от института и больше никогда не вспоминал своих буйных соседей.

Учился сынок неважно — чуть не каждый экзамен он благополучно заваливал, и Таисии Григорьевне приходилось ехать в столицу, разыскивать в шумной сессионной толчее преподавателей и устраивать Лёнечкины дела. Очень скоро отпала необходимость и в этих визитах: профессорско-преподавательский состав, прознав о фантастических возможностях Таисии Григорьевны, стал вызывать Лёнечку на экзаменах последним, чтобы, оставшись наедине с ним в аудитории, получить желанный презент и выставить в зачётке удобную оценку. Деньгами брали редко — в стране в те времена было достаточно дефицита, чтобы удовлетворить любую кафедру.

Пока сынок обзаводился высшим образованием, Таисия Григорьевна вступила от его имени в кооператив, и вместе с дипломом Лёнечка получил ключи от новенькой «двушки» в центре, полностью обставленной, с телефоном и двумя балконами. Мать устроила его на престижную, непыльную, с хорошим окладом работу и наконец перевела дух.

Она, конечно, скучала по своей кровиночке, особенно долгими зимними вечерами, но, как женщина весьма неглупая, понимала, что сы-

нок — уже давно не мальчик, а молодой интересный мужчина, да к тому же завидный жених. Пора было Лёнечке устраивать личную жизнь, а с маменькой под боком это довольно сложно сделать.

И он устраивал. Самые-самые девушки — а городок их небольшой, все барышни (особенно которые на выданье) на виду — вились вокруг Лёнечки хороводом. Блондинки, брюнетки и других непонятных мастей красавицы готовы были на всё — лишь бы заполучить штамп в паспорте с его фамилией. В экстренных случаях вмешивалась Таисия Григорьевна — договаривалась с родителями барышень, оплачивала аборт, откупалась дорогими подарками.

Лёнечка наслаждался жизнью — ни в чём себе не отказывая, ни на что не оглядываясь. Если не хватало на развлечения солидного оклада, шёл к матери — она финансировала своего мальчика щедро и с удовольствием. И лишних вопросов не задавала — молодой, ему и жить на полную катушку.

Бывало, правда, приходил Лёнечка каким-то тормознутым, бледным, с лихорадочным блеском в глазах. Тогда Таисия Григорьевна озабоченно щупала его лоб, напихивала в карманы импортных лекарств и причитала, что здоровье надо беречь смолоду. Он вяло отталкивал материны руки, старался поскорее взять деньги и уйти.

Всерьёз озаботилась она Лёнечкиным здоровьем, когда узнала нечаянно, что тот вторую неделю не показывается на работе. А ведь вчера только был — да, бледненький, но не сказал, что на больничном, взял, по обыкновению, деньги и быстро ушёл. Таисия Григорьевна позвонила сыну — трубку никто не брал. Не размышляя более, она собрала кое-какие вкусности — а вдруг мальчик голоден? — и отправилась к Лёнечке.

Прихватила в кухне пакет с мусором — выбросить по дороге. Закрыла дверь на оба замка, вызвала лифт, открыла железную пасть мусоропровода и застыла: в грязной его коробке валялись дорогие импортные лекарства, заботливо засунутые вчера её собственными руками в карман Лёнечкиной куртки. «Да что же это?» — растерялась Таисия Григорьевна. Выйдя из прострации, она ринулась к лестнице, забыв о поджидающем лифте.

Пробежав три квартала, перешла на быстрый шаг и обнаружила в руке мешок с мусором, так и не выброшенный в мусоропровод. Запихнув мешок в ближайшую урну, Таисия Григорьевна побежала дальше, мучимая одышкой и страшной неизвестностью.

На звонок никто за Лёнечкиной дверью не отреагировал, и она быстро похвалила себя за предусмотрительность: один комплект ключей от сыночкиной квартиры Таисия Григорьевна ещё тогда оставила себе — на всякий случай.

Лихорадочно перебирая ключи, с трудом попадая в замочные скважины, через несколько казавшихся бесконечными минут она наконец открыла дверь. Запах, вывалившийся ей навстречу, перехватил дыхание: в нос ударил спёртый воздух давно не проветриваемого помещения, насыщенный чем-то кислым или тухлым, сыростью, плесенью и ещё какой-то душной дрянью. Оправившись от первой волны вони, дыша мелкими, короткими глотками, Таисия Григорьевна прошла в комнату.

Она даже оглянулась — туда ли попала? Потому что квартира, в которой она очутилась, даже приблизительно не напоминала аккуратное Лёнечкино гнёздышко: ободранные, висящие неряшливыми лоскутами на стенах обои, пустой крючок на потолке вместо дефицитной люстры чешского стекла, голые, кое-где заклеенные газетами окна. Мебели не

было — в углу валялся грязный, в нескольких местах разодранный, с торчащими из дыр клоками нечистой ваты матрас. Рядом стояла устаревшего вида электроплитка с перекрученным, обгоревшим шнуром.

На матрасе, подтянув к самому подбородку худые ноги, лежал Лёничка. То ли спал, то ли просто дремал — Таисия Григорьевна не определила. Сынок болезненно дёргался и постанывал, морщась при каждом движении. По лицу его — бледному, с синюшными мешками под глазами, ползли липкие дорожки пота, волосы безобразной мокрой аппликацией приклеились к щекам, ко лбу, к шее. «Господи, сыночка...» — запричитала Таисия Григорьевна и кинулась к телефону — вызывать врача. Но аппарат молчал. «Не работает... Да что ж это?» — она растеряно застыла посреди комнаты.

«Лёнчик!» — раздался из прихожей визгливый женский голос. — Ты здесь, Лёнчик?» В комнату ввалилась весьма сомнительного вида девица в каком-то подобии платья, с синяком под правым глазом и грязными растрёпанными волосами. «Ой... — девица увидела Таисию Григорьевну и остановилась, с трудом пытаясь удержать равновесие. — Ой... Тась Григорь...» — она так и не смогла справиться с языком и выговорить отчество. Что-то знакомое мелькнуло в изрядно помятой физиономии: «Катя?» — неуверенно предположила мать. «Ага...» — ответила, как-то даже стушевавшись, девица.

Катя была одной из тех барышень, кого сначала приглубил, а потом отверг Лёничка. Таисия Григорьевна уже не помнила, что конкретно с ней приключилось — пришлось ли делать аборт, или какие ещё были неприятности, — но Катя ей нравилась: из хорошей семьи, воспитанна, образованна, и было тогда очень досадно, что сынок так неосмотрительно отказался от такой славной девочки.

Теперь, разглядывая существо, в которое превратилась благополучная прежде Катюша, Таисия Григорьевна вдруг поняла, что это не последнее потрясение сегодня и что ждёт её ещё нечто невообразимо ужасное, чему даже её стойкий организм не умеет сопротивляться. Ей вдруг сделалось нехорошо: в глазах потемнело, руки и ноги враз застыли, как на лютном морозе, а под левую лопатку вонзилась острая раскалённая спица. Таисия Григорьевна ойкнула и неловко рухнула на пол. Она не слышала, как заверещала на весь подъезд Катя, не видела, как приехала «скорая», не почувствовала, как её отяжелевшее тело погрузили в машину, как рядом — прямо на пол — положили Лёничку и как ехали под тревожный рёв сирены через весь город — на красный свет и по встречной.

* * *

Похоронили их вместе и даже в один день. За гробами шла немногочисленная процессия, состоящая в основном из соседских Таисии Григорьевне старушек. Товарки из торгового ограничили жиденьким веночком, а люди нужные оказались очень заняты.

Старушки тихонько выли, как в таких грустных случаях полагается, и обсуждали шёпотом предстоящие поминки. Искренне плакала только Зинка — давно уж Зинаида Петровна. Она плохо представляла, как теперь — без Таськи — будут проходить её скучные вечера и к кому теперь обращаться, если вдруг что.

Зинаида Петровна шла, опираясь на руку какой-то оборванной нечёсаной девицы, невесть как оказавшейся рядом, и все рассказывала ей свою с Таськой жизнь:

— Золотая была женщина. Просто золотая! Сыночка одна подняла. Вырастила, в институте выучила, на работу пристроила. Такой хороший был мальчик... Наркота сгубила... Господи! И где нашёл-то он эту отраву?! Ведь всё потерял — машину продал, квартиру, мебель всю... А Таська так и не узнала... и слава Богу. Всю душу она в Лёнечку-то вложила! Какой умненький был, красивый... Узнала бы ту сволочь, что мальчика нашего на иглу посадила, — голыми руками порвала бы!

Зинаида Петровна бессвязно изливала свое горе нечаянной слушательнице до самого кладбища — там девица отошла к ограде, а как закапывать стали, и вовсе пропала.

* * *

— За всё вам! За сыночка моего нерождённого... за мамину инвалидность... за папин инсульт... за иглу эту сволочную... За всё! — закричала отчаянно Катя оставленному за спиной погосту.

По щекам катились неудержимые, мучительные слёзы, и было ей страшно и горько, и не становилось легче оттого, что вот теперь всё по справедливости. А изнутри рвалась горячая, острая боль, и выдержать это не было никакой возможности.

Она опустилась на колени прямо у кладбищенских ворот — попала худыми косточками в мутную, грязную лужу, но даже не заметила этого — и, закрыв ладонями мокрое лицо, прошептала:

— Простите меня...

Редкий вид

— Как же я *его* хочу! Ну как же я *его* хочу! Никогда в жизни ничего и никого не хотела так, как хочу *его*! Ну зачем я пошла на эту чёртову вечеринку? Не видела бы, не знала бы, и жила бы себе припеваючи. И не было бы этой изнуряющей бессонницы, этой подлой дрожи в руках при одной только мысли о *нем*. Обладать *им* безраздельно — вот предел моих мечтаний, вот полное, абсолютное счастье, неземное блаженство. Я умру, если *он* не станет моим! Я сойду с ума!..

* * *

— Ло, дорогая, ты слышала, что случилось со Смитами?

— Со Смитами? С какими Смитами? У которых такой отвратительный розовый дом на Сиреновой улице? А что с ними случилось?

— Да нет же! С теми Смитами, что живут в самом начале Зелёной. У которых вместо изгороди прелестный белый шиповник. Знаешь, дорогая, это так необычно! Причём цветёт он с ранней весны до поздней осени и так чудесно пахнет! А когда появляются ягоды, как красные капли среди белых цветов, это так...

— Так что приключилось с этими ароматными Смитами? — Лору совершенно не интересовал шиповник Смитов, а Долли, увлёкшись шиповником, похоже, уже совсем забыла, о чём собиралась сообщить.

— О, милая, это такой ужас! Они все сгорели!

— Сгорели?!

— Да! Это такой кошмар! От дома ничего не осталось, совсем ничего! Одни головёшки! Ах, бедняжка Сью! Она была такая милая! Несколько толстовата для тридцати пяти, но очень милая. А Роджер...

— Что — сгорели в собственном доме?

— В доме! — Долли неожиданно заплакала. — Какая ужасная смерть! — Она промокнула глаза скомканной салфеткой и шумно высморкалась. — Представляешь, как это страшно — сгореть заживо в собственном доме! Бедная, бедная Сью!.. Конечно, она была не особенно обходительна, да и Роджер был грубоват... Но они не заслужили такой ужасной смерти! — Долли рухнула в кресло и разрыдалась.

— Кому известно, что мы заслужили?.. — Лора сделала очередной глоток кофе и принялась внимательно изучать состояние маникюра на длинных пальчиках. — Никому не известно.

— Тебе что, совсем их не жалко? — Долли оборвала рыдания на полувсхлипе и уставилась на соседку мокрыми изумлёнными глазами.

— Жалко. Мне всех жалко. — Ло вытянула руку и ещё раз полюбовалась, склонив к плечу хорошенькую головку, на маникюр. — Мне жалко всех. Но ведь Смитам уже не поможешь, верно?

* * *

Дом Роджера и Сьюзен Смит стоял в самом начале Зелёной улицы. Когда-то на его месте был дом отца Сьюзен, Дика Д.Макковски, а ещё раньше — дом прапрадеда жены Дика, Эвелин Спенсер. Спенсеры приехали в Рейнтаун с первыми поселенцами, и история страны причудливо выписала историю этого семейства. Менялись поколения и политические пристрастия, не единожды перестраивался дом, одно было неизменно: изгородь из белого шиповника, привезённого сюда рыжей Салли Спенсер.

Чахлый росток в керамическом горшке с отбитым краем — горшок передавался из поколения в поколение, как самая ценная семейная реликвия — символизировал оставленную навсегда родину. Юная Салли Спенсер, тогда ещё совсем девочка, всю дорогу нежно прижимала к груди горшок, наполненный родной землёй, и молилась только о том, чтобы эта земля помогла ей довести её сокровище. Веточку белого шиповника она сорвала с огромного куста, росшего у дома белокурого Энди Клайма — соседского мальчика, который однажды взял её за руку и сказал: «Какая ты красавица, Салли Спенсер!». Никогда и никто не говорил таких слов рыжей Салли, никогда и никто, ни до, ни после. Потому что Салли была на редкость некрасива.

Помогла ли родная земля или слёзы, которыми Салли обильно поливала едва живой росток, но он выжил. А когда на новом месте он был заботливо пересажен всё той же Салли в щедро унавоженную почву под её окном, быстро и буйно разросся в большой благоухающий куст. К тому времени девушка уже основательно подзабыла белокурого Энди, а куст загораживал её окно, отчего даже в самый солнечный день в комнате было темно. И тогда Салли выкопала куст, разделила его на несколько небольших кустиков и высадила вдоль ограды — так началась история знаменитой изгороди Спенсеров, изгороди из белого шиповника.

Шли годы и десятилетия, менялись поколения и имена, ветшали дома и на их месте строились новые, но белый шиповник, как и керамический горшок с отбитым краем, казалось, вечны: ни за чем в доме Спенсеров—Макковски—Смит так тщательно не ухаживали, ничто так не берегли, как эти бесценные реликвии.

Однако в настоящем времени, в том времени, когда впечатлительная Долли рассказывала соседке Ло о несчастье Смитов, будущность изгороди из белого шиповника оказалась под вопросом — кто знает, захотят ли наследники, дальние родственники, строиться на пепелище, скорее просто продадут участок. А горшок погиб в огне. Из всего имущества Смитов за знаменитой изгородью остался лишь полуобгоревший сарай да небольшая, почти совсем разрушенная пожарными в суеде, оранжерея. Шиповник тоже изрядно пострадал: часть кустов была вырублена, часть — затоптана, остались только небольшие кусочки былого великолепия — закопчённые гарью белые ароматные цветы и яркие красные ягоды. Как кровь. Впрочем, цветы теперь тоже пахли гарью — казалось, запах пропитал всю округу.

* * *

— Ло, дорогая! Ты не представляешь, что говорят!

— И что же говорят? Что следующим президентом будет женщина?

— Ха-ха-ха! — Долли так же охотно смеялась, как и плакала, и делала это всегда искренне, наивно радуясь самой глупой шутке. — Ну что ты говоришь, Ло! Этого просто не может быть! Это же даже представить невозможно! Возьми, например, речь при инаугурации...

— Так что говорят, Долли?

— Ах, да... Говорят... — Долли, прерванная на середине фразы, не сразу сообразила, о чём её спрашивает Лора. — Ах, да! Говорят, что... Помнишь, я рассказывала тебе о Смидах? Ну которые сгорели в собственном доме? Помнишь?

— Они опять сгорели?

— Фу, Ло, это очень плохая шутка! Не надо так шутить, Ло. Со смертью нельзя шутить. Это грех — шутить со смертью! — Глаза Долли стремительно наполнялись ужасом пополам со слезами.

— Ну хорошо, хорошо, не буду. Так что Смиты?

— Нехорошо это, Ло. Ой, как это нехорошо...

— Ну хватит, ну извини. Ну извини меня, дорогая, я не подумала. Ты хотела сказать о Смидах...

— Да! Представляешь, оказывается, они не задохнулись в дыму — их убили!

— Как это — убили?

— Убили! А потом подожгли дом, чтобы скрыть следы. Бедная, бедная Сью! Ей перерезали горло, когда она спала. Ты представляешь — проснуться оттого, что заглываешься собственной кровью! Ужас! Она не могла даже кричать!

— Перерезали горло? Но она же сгорела!

— Сгорела, нашли одни обгоревшие кости. Подумать только, ещё вечером была жива, готовила индейку, а утром — одни обгоревшие кости...

— Индейку?

— Да. Нашли ещё косточки индейки. Или перья — я точно не знаю. Но вот от бедной Сью остались одни чёрные страшные кости... — Долли уже опять готова была заплакать.

— Тогда почему ты так уверена, что ей перерезали горло?

— Ах, Ло, я в этом ничего не понимаю! Какие-то экспертизы, какие-то доказательства... А бедному Роджеру проломили чем-то голову: пожарные нашли его череп с огромной дырой во лбу.

— Так, может, его застрелили?

— Да нет же — ему проломили голову!

— Ну тогда должна быть вмятина или трещина, или что-то в этом роде.

— Я не знаю, Ло! — Долли все-таки разрыдалась. — Я знаю, что бедному Роджеру проломили голову и что в его обгоревшем черепе большая дыра. И больше я ничего не знаю. — Долли уткнулась в розовую, отделанную кружевом салфетку и отдалась слезам, всхлипывая и подвывая.

— Ну ладно, ладно. Проломили так проломили. — Лора поправила волосы и сожалением посмотрела на сотрясающуюся в рыданиях соседку.

* * *

Сьюзен Смит была обычной женщиной: она любила вкусно поесть, поболтать о погоде, любила по субботам делать покупки в супермаркете. Когда-то давно, будучи ещё молоденькой, вполне заурядной барышней, сносно учившейся в школе и мечтающей об удачном замужестве, она отчаянно завидовала местным красоткам, на лбах которых было будто написано блестящее будущее и богатейший выбор женихов. Как назло, в её выпуске оказалось очень много красивых и просто хороших девушек, и почти все они сразу после школы повыскакивали замуж, уводя из-под носа Сью Макковски самых перспективных мужчин. В холостяках задержались лишь сорокалетний вдовец Дж. Бэкер да коротышка Роджер Смит из её класса. Роджер был ниже Сью на полголовы и поэтому никак не годился в женихи, а Бэкер, по мнению родителей Сью, был просто слишком стар для нее. Возможно, возраст вдовца и не стал бы помехой, но поговаривали, что он лично посодействовал скорой смерти жены. Отдать дочь человеку с такой сомнительной репутацией Дик Д.Макковски никак не мог.

В отсутствии женихов Сью оставалось только терпеливо ждать и надеяться на счастливый случай. Но случая все не представлялось. Промыкавшись в ожидании до двадцати лет, она решила, что больше ждать не имеет смысла. Тем более что последний из потенциальных женихов, коротышка Смит, начал уже заглядываться на подрастающих красоток и вроде бы даже положил глаз на хорошенькую Лоретту, дочку шерифа. Во всяком случае, однажды он подарил ей букетик фиалок, и тому были свидетели. Сью, напуганная перспективой грядущего одиночества, пригласила Роджера на вечеринку, устроенную в доме Макковски по какому-то незначительному поводу, затащила, подпоив, в свою комнату, быстренько уложила его в постель, разделась и легла рядом. Через неделю она стала миссис Сьюзен Смит.

Роджер оказался неплохим мужем: спокойным, работающим и заботливым. Правда, заботился он больше о своих цветах — Роджер обожал цветы и отдавал им всё свободное время. Нет, пока они оба были моло-

ды и жаждали продолжения рода, он своё внимание отдавал Сьюзи и только Сьюзи. Он был внимателен с ней и ночью, и днём, и даже утром мог вдруг оставить завтрак, чтобы приласкать свою дорогую женушку. Но детей всё не было. Начались и очень долго продолжались изнурительные безрезультатные походы по врачам. Роджер оставил надежду о наследнице и посвятил себя цветам. Он даже выстроил в саду небольшую оранжерею, где выращивал и ублажал самые диковинные растения со всех концов света. Изредка его внимание перепадало и Сью. Но очень изредка и теперь только по ночам.

Сью много плакала, ругала мужа, родителей, родителей мужа, но к тридцати годам смирилась со своей участью и немного успокоилась. Она пристрастилась к выпечке и могла целый день проторчать в кухне ради того, чтобы подать к ужину новый пирог. Рецепты стали страстью Сью: она покупала кучу кулинарных журналов, не пропускала ни одной телепередачи, в которой хоть что-то говорилось о булочках и пирожках, и даже на радио нашла одну программу, где по вторникам диктовались рецепты от какой-то Элен.

На выпечке Сью Смиты скоро раздобрили, как-то остепенились и вели очень спокойную, размеренную жизнь, не помышляя уже ни о детях, ни о каких бы то ни было переменах.

* * *

— Ло, дорогая! Можешь себе представить — этот Смит был, оказывается, почти учёным!

— Каким учёным, Долли, ты о чём?

— Ну не настоящим, конечно, но почти!

— Это как — почти? Ты же говорила, что он всего лишь мелкий лавочник.

— Лавочник, да. Но при этом — почти учёный! Оказывается, он выращивал какие-то необыкновенные цветы, то ли розовые, то ли голубые... В общем, в природе таких не бывает.

— Долли, милочка, как можно выращивать цветы, которых не бывает в природе?

— Ну Ло, ну я в этом абсолютно ничего не понимаю! Может быть, какой-то очень редкий вид или ещё что-то в этом духе. Я только знаю, что он вырастил что-то необыкновенное и даже устроил по этому поводу вечеринку. Все были в восторге!

— От вечеринки?

— Ха-ха-ха, — Долли оценила шутку и смеялась до слёз. — Ло, какая ты прелесть! Ах, мне бы твоё остроумие!

— Зачем тебе? Но, впрочем, ладно. И что «учёный» Смит?

— А ничего. Просто любопытно: лавочник Смит — и вдруг учёный. К нему даже академик приезжал незадолго до пожара — говорят, хотел эти его необыкновенные цветы забрать в... Ой, не помню... Куда-то вроде большой государственной оранжереи.

— Не говори глупостей, Долли, большой государственной оранжереи не существует.

— Ну не знаю. Говорю же, не помню. Знаю, что хотел забрать и приезжал договариваться о цене и дате. А на следующий день, вернее — ночь, всё сгорело.

— И оранжерея?

— Нет, оранжерея не сгорела, но её сломали пожарные, когда тушили огонь. Никто же не знал, что Смиты там уже мёртвые, да и дом хотели спасти, не до цветочков было. Потом опять академик приезжал, да ничего не нашёл — то ли затоптали, то ли ещё что... Не знаю. Но что Смит был учёным — это точно.

— Не нашли голубых цветов?

— Не нашли. Да и не искали толком. Кому они нужны? Академику только если. Так он поздно приехал, недели через две — уже прибрали всё...

— Вот и хорошо, что не искали, — лукаво улыбнувшись, прошептала Ло.

— Что ты говоришь? Я не расслышала.

— А убийц тоже не нашли?

— Не нашли. Да и как их найдешь — все сгорело. Говорят, шериф три дня по пожарищу ползал и только в саже вымазался с головы до ног. Всё сгорело... Что ты там опять бормочешь себе под нос, Ло? Говори громче, я не слышу!

— Ничего, дорогая, ничего. Говорю, что мне пора одеваться — самолёт ждать не будет.

— Как жаль, что ты уезжаешь! Мне будет грустно без тебя...

— Не стоит так убиваться, милая, приедет ещё кто-нибудь. Попроси хозяйку, чтобы подобрала жильцов поспокойней.

— Ах, Ло! Тебя мне никто не заменит! — Долли всхлипнула и полезла в карман за платком.

— Гуд бай, Долли!

84

* * *

— Нет, сэр, ничего нового, — шериф Трумэн нервно теребил шнур телефона. — Да, сэр, я опросил весь город — никто ничего не видел и не слышал. Но, сэр, дом Смитов стоял в самом начале улицы, ближайший к нему дом уже месяца три как пустует — естественно, что никто ничего не видел. Мы и пожар-то заметили, когда он уже полыхал вовсю. Нет, сэр, соседей Смитов никто не убивал, они уехали в Чикаго, и дом выставлен на продажу. Нет, сэр, алиби нет ни у кого, потому что подозреваемых тоже нет. Нет, сэр, у меня тоже нет алиби, потому что я в ту ночь спал дома. Да, сэр, моя жена с удовольствием подтвердит это. Что, сэр? Ах, вы пошутили... Ха-ха-ха!.. Это было смешно, сэр! Что? Да, сэр. До свидания, сэр...

— Он принимает меня за полного идиота! — Шериф швырнул трубку на рычаг и витиевато выругался. — Я закрываю это дело, Ларри. Я закрываю это чёртово дело, и пусть он сам попробует найти этих чёртовых убийц, если такой умный! Пусть попробует сам найти этих чёртовых убийц! Я закрываю это чёртово дело!

Шериф Трумэн был вообще-то очень сдержанным человеком. Возможно оттого, что в Рейнтауне за всю его жизнь никогда не случалось двойных убийств с поджогами. Бывали убийства случайные, когда, например, Билли Коккер уронил бревно на голову своего брата, бывали непреднамеренные, когда Люси Бэрнет проломила своему благоверному голову пивной кружкой — кто ж мог предположить, что у громилы Бэрнета такая хрупкая голова? А вот двойных убийств с поджогами ещё не случалось.

Сначала Трумэн думал, что Смиты по собственной неосторожности подошли к дому и не успели выбраться — ведь пожар случился ночью, и они вполне могли задохнуться в дыму. Это всё его помощник, Ларри — это он заметил дырку в черепе Роджера и царапину на обгоревшем шейном позвонке Сью.

Из-за этого чёртова Ларри пришлось облазить пожарище вдоль и поперёк — шериф Трумэн потом неделю не мог отмыться от гари, а миссис Трумэн выказывала крайнее недовольство, стирая его форму — и всё бесполезно. Этот чёртов убийца или чертовски умён, или ему сказочно повезло: ни орудия убийств, ни единого следа, не говоря уж об отпечатках пальцев, — все сожрал этот чёртов огонь. А теперь шерифу Трумэну чуть не ежедневно звонил чёртов мэр и требовал немедленного раскрытия этого чёртова дела. А всё этот умник Ларри!

Очень сдержанный и обычно равнодушный ко всему на свете шериф Трумэн был в последнее время чертовски раздражителен.

— Я закрываю это чёртово дело! Ларри, возьми бумагу и напечатай постановление о закрытии этого чёртова дела!

— Но шериф, были же ещё цветы! Вы сами говорили, что...

— К чёрту цветы! Опять искать неизвестно что неизвестно где — мы даже не знаем, как они выглядели! Этот чёртов Смит не догадался даже сфотографировать свои чёртовы цветы! Всё, Ларри, мне чертовски надоело это дело — я закрываю его.

— Но шериф!..

— Ларри, я сказал — всё! Я закрываю это дело. И будь прокляты эти чёртовы Смиты с их чёртовым пожаром!

* * *

Я знала, что *его* не будут искать. Я всё рассчитала правильно. Я так хотела *его*, я так *его* ждала, что просто не могла, не имела права ошибиться.

Если бы я только могла подумать, чем закончится эта вечеринка у Смитов!.. Вечеринка в честь выведения Роджером Смитом нового вида *phalaenopsis* — с голубой губой. Все цвета, кроме голубого: ни одному селекционеру в мире не удавалось вывести *phalaenopsis* с голубой губой*, — все цвета, кроме голубого. А тут какой-то debil Смит из провинциального Рейнтауна произвёл это чудо, эту драгоценность! Какой-то недоумок Смит любовался каждый день на это совершенство, трогал его нежные корни толстыми грязными пальцами! Разве я могла смириться?

Снежно-белый *phalaenopsis* с голубой губой — сказочный сон моего детства. Когда я впервые увидела *phalaenopsis* — орхидею-бабочку, я была так потрясена, что добрых полночи ворочалась в постели. А когда наконец заснула, мне приснился его длинный упругий цветонос, усыпанный огромными белыми бабочками цветков с голубыми губами. Я всегда была слегка помешана на растениях, но орхидеи произвели на меня ни с чем не сравнимое впечатление. Утром я помчалась в книжную лавку и скупилась всё, что там было, об орхидеях, а уже днём горько плакала над очередной книгой — я прочла, что голубых *phalaenopsis* не бывает. Все цвета,

* Губа — средний лепесток венчика цветка орхидеи; образует воронкообразную или трубчатую, часто несколько расплюснутую губу, обычно роскошно раскрашенную (см.: Франк Рельке. Орхидеи).

кроме голубого. Я похоронила свою мечту и поставила ей памятник — витрину из орхидей. Я нежно ухаживаю за ними и всюду вожу их с собой — я люблю свои цветы. Я всегда думала, что люблю их так, как любят своих детей. Но когда на этой дурацкой вечеринке — я и идти-то не хотела, Кайл затащил, я и знать не знала, в честь чего вечеринка — увидела *его*, цветок моей детской мечты, *phalaenopsis* с голубой губой, я поняла, что люблю свои цветы, как любят не своего — приёмного ребёнка. И тогда я решила, что *он* будет моим. Моим и только моим. Чего бы это мне не стоило.

Я обошла дом — во время вечеринки это несложно, похвалила тортик этой дуры Сью, договорилась, что зайду как-нибудь за рецептом, и тихонько смылась. Сначала я хотела их отравить и уже даже начала воплощать свой план, как вдруг возник этот чёртов академик, и появилась реальная опасность потерять *его* навсегда: придурок Смит очень хотел прославиться, а заодно заработать кругленькую сумму на моей мечте. И он бы продал всё академику — всё! В тот же вечер он разболтал эту новость газетчикам. У меня не было выбора.

Бритва — очень удобное орудие убийства: легко прячется в любой сумочке. Эта дура Сью с трудом вспомнила меня, но при одном только упоминании названия торта с восторгом принялась рассказывать о своих пирожках и плюшках, показывать специи и приправы. Она была так счастлива и благодарна внимательной собеседнице, что когда я сзади одним движением перерезала её горло, только удивлённо хрюкнула. Наивная Долли! Эта толстая свинья Сью умерла не в постели! Она истекла своей поганой кровью за кухонным столом, в окружении ванили и корицы.

«Полдела, — подумала я и позвала: — Мистер Смит!». Этот дебил Роджер копался в оранжерее, и я обливалась холодным потом от одной только мысли, что именно сейчас он трогает *мою* драгоценность. Он вошёл не торопясь, степенно и спокойно: «А, это вы, мисс?..» А дальше его тупой лоб встретил стальную колотушку для мяса.

Мне осталось только переодеться — не идти же по улице в заляпанном кровью платье, поджечь дом, взять моё сокровище и уйти. Бритву с молотком я выбросила в реку за две мили от Рейнтауна — кому придёт в голову искать там орудия убийства? Да и меня — кому придёт в голову искать? Нигде и никогда, кроме той вечеринки, я со Смитам не встречалась, ни разу не звонила им по телефону, пришла к ним поздно, было уже очень темно, и никто меня не видел. А что домой вернулась под утро — так к этому все давно привыкли.

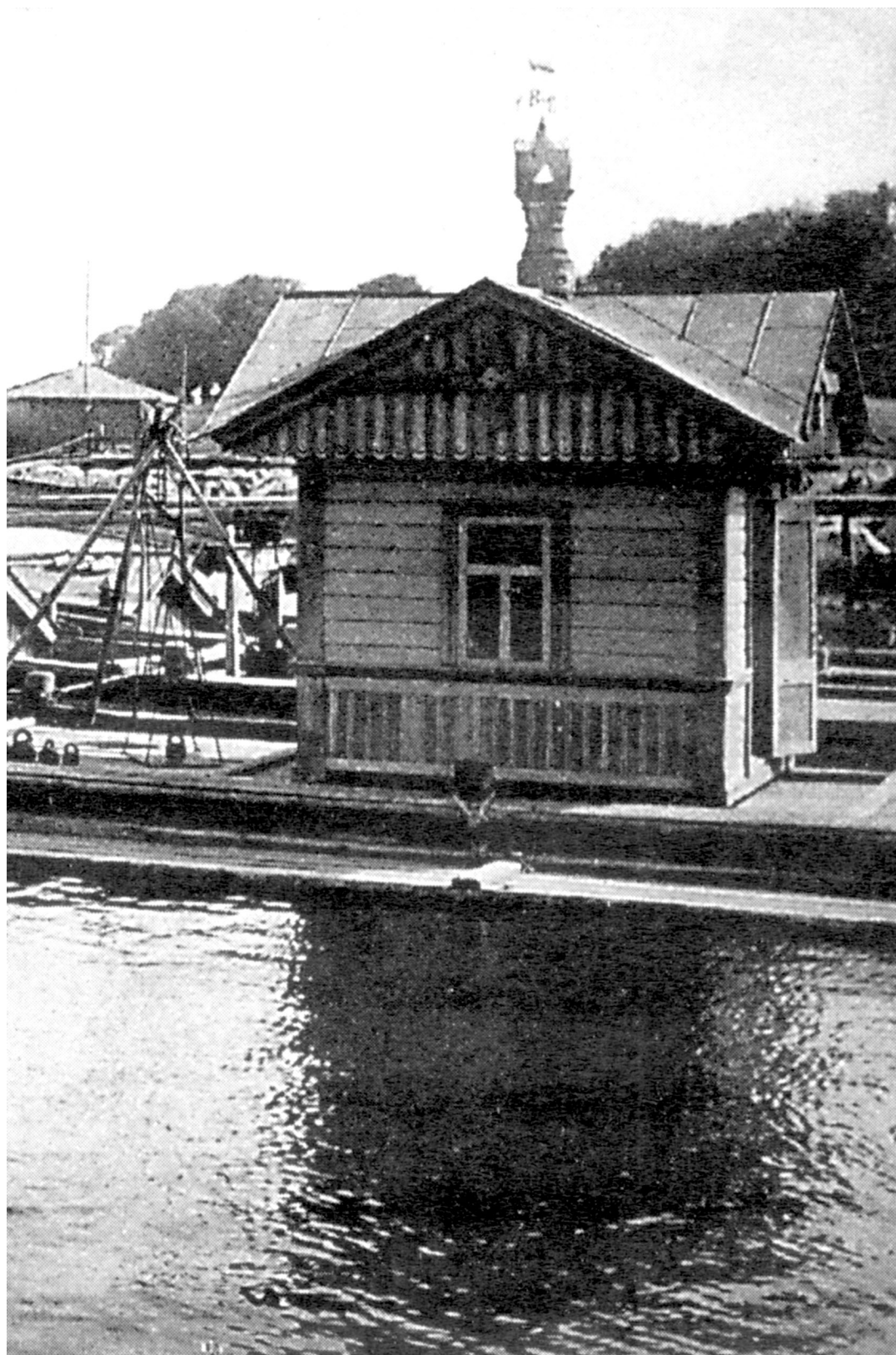
Конечно, *его* можно было просто украсть*, и я, признаться, в первую же секунду подумала именно об этом. Но тогда стали бы искать цветок, да и скрыть следы было бы практически невозможно. Теперь же ищут убийцу. И пусть ищут. Потому что не найдут никогда.

А я улетаю на маленький сказочный остров, где всегда тепло и где будет хорошо мне и моему избраннику. Все мои орхидеи, мои бывшие дети, проданы через подставных лиц на самых престижных аукционах — я получила очень хорошие деньги. И теперь мы с моим голубогубым *phalaenopsis* будем жить в любви и согласии там, на маленьком тёплом острове. Где никто и никогда и не подумает искать нас.

* Украденное растение приживается быстрее и растет лучше, чем купленное или подаренное, — народная примета.

ПОЭЗИЯ





Москва-река и пристань



Евгений Юрьевич Юшин родился в 1955 году в городе Озёры. Жил на Рязаницине, в Коломне (Шурово), в Забайкалье. Окончил Бурятский педагогический институт в Улан-Удэ. Член Союза писателей России.

Автор семи поэтических книг. Лауреат премии имени А.Т. Твардовского (1998 г.), лауреат Всероссийского поэтического конкурса имени А.С. Пушкина (1999 г.), лауреат Литературной премии имени Александра Невского (2002 г.).

Живёт в Москве. Главный редактор журнала «Молодая гвардия».

РАЗГОВОР С ТУМАНОМ

* * *

У нас тут липы пахнут мёдом,
И лужа в небо влюблена,
И за соседским огородом
Растёт на яблоне луна.

Ты приезжай. Забот не стоят
Увивы кухонь городских.
У нас в бору кукушка стонет
О кукушоночках своих.

А жизнь такая, жизнь сякая.
Она медова и страшна;
Ежесекундно утекая,
Прекрасна всё-таки она.

И только здесь, где поля — вволю,
Душа, страдая, познаёт
И липы голос колокольный,
И взгляд старухи у ворот.

* * *

Когда под вечер медленное стадо,
Пыля на пруд, бредёт вдоль яблонь сада,
Лягушки смотрят взглядом пастухов

На тёплый сок, из вымени текущий,
 На чудища рогатые, на кущи
 Огромных лопухих лопухов.

И раздувают щёки от восторга,
 Что сумрак приближается с востока
 И можно петь во славу первых звёзд.
 Любуются извивами дорожек,
 Дробинками качающихся мошек
 И синими шурупами стрекоз.

Раскрыты ворота, и понемногу
 Уже редееет стадо на дороге.
 Луна на воду бросила слюду.
 И тёплый ветер обдувает сено,
 А овцы в жарких шубах по колено —
 С того, видать, и хохот на пруду.

Густы луга, и облака упруги,
 И росы разбегаются в испуге,
 Когда иду с туманом говорить.
 И тихо начинается беседа.
 И так тут неуместна сигарета,
 Но только очень хочется курить.

Осела даль на красную дорогу.
 Теперь мы ближе и к себе, и к Богу —
 Раздумий час, закатный ровный час.
 Зажгли фонарь. Хотя, конечно, рано.
 Перебираю подвиги и раны
 И вспоминаю всех, кто любит нас.

* * *

Предосенней паутиной
 Вьётся август у дорог.
 Подосиновиков иней,
 Ежевики холодок.

Так пустынно стало в мире,
 Покаянно, тихо так,
 Чтобы люди полюбили
 Осветлённый березняк,

Чтоб заметили, услыша
 Жестяную песнь осин,
 Как прохладно солнце лижет
 Подмороженную синь,

Чтоб успели насладиться
Перед мёртвою зимой
Одинокой, дальней птицей
Над смиренною землёй.

* * *

Снег нагринул, как старый знакомый:
— Вы не ждали? А я вот скучал. —
И пошёл мимо каждого дома,
Фонари, словно звёзды, качал.

Становились деревья воздушней,
Уровнялись щербины дорог.
Даже пса одинокую душу
Первый снег за собою повлёл.

И хотелось свистеть, словно птаха,
И хотелось брести и брести
Мимо сосен в тяжёлых папахах,
Мимо рек, потерявших пути.

Мимо всех молчаливых печалей,
Мимо всех никчемных обид.
Что за небо! А снег над плечами —
Словно тысячи звёздных орбит.

Словно вынесло душу на волю
За неласковый, дрёмовый день.
Я ступаю по чистому полю
Мимо синих дымков деревень.

* * *

Машеньке

Вечер соломенный, тёплая тайна,
Розовый воздух, а вдалеке
Свист перепёлки — голос случайный,
Белые гуси на красной реке.

Липа томится заревом сладким,
В жилах гудят молодые меды,
И лягушонок пляшет вприсядку,
И оседает небо в сады.

Так уже было, так ещё будет...
Песни залётной тающий миг,

Вздохи, мечтания и у запруды
Хохот и плески купаний ночных.

Вот и опять частоколят цикады.
Чей-то веснушчатый, вздёрнутый нос,
Чьи-то признания. И у ограды
Ветер целует серёжки берёз.

* * *

Я старомоден, как двадцатый век,
И не люблю компьютеров и клипов,
Но радуюсь, когда мерцает снег
И синева оттаивает в липах.

Зима-гулёна шубу распахнёт,
Продышит солнце луговую кочку
И потечёт по крышам первый мёд,
И выйдет поле примерять сорочку.

А я и рад, уставший человек,
Что нету ни звонков, ни Интернета,
Что мне в окно, слегка замедлив бег,
Сирень бросает росные букеты.

Волна качнёт упавшую сосну,
Её омочит нежно и заплачет.
Я до утра, наверно, не усну,
Такое видеть что-нибудь да значит.

И не хочу иного на веку:
Кружил бы лист рассветную поляну,
Где шмель усердно молится цветку
И соловьи пьянеют от тумана.



*Григорий Иванович Вихров родился в 1961 году в Коломне. Служил в армии, работал в Сургуте. Учился на историческом факультете Иркутского государственного университета. Участник IX Всесоюзного фестиваля поэзии в Бельгии (Льеж, 1990). Автор книг «Мои дороги» (1988), «Страстная неделя прошла» (1993) и других. Член Союза писателей. Окончил Высшие литературные курсы.
Живёт в Туле.*

ИЗ МОЛИТВЫ МАТЕРИ

* * *

Я из молитвы матери иду,
Слова забыв, к великому стыду,
В каком году отплачу, отпирую,
Освобожу сорочку роковую.
Освобожу, а ближе не найду.

Никто не знает по моей вине
Твоей судьбы, доверенной стерне
Осеннего тускнеющего луга.
Ты — кровь моя, советчица, подруга —
Пойди назад, вернись, поведай мне
Молитву сильной матери моей,
Однажды победившей страх распада
И вынесшей из голоса людей
Молитвою разбуженное чадо.

* * *

Под насыпью, во рву некошеном...

А.Блок

Увидел ночи предстоящие,
и сны терзают небывалые.
Восторги жгучие, таящие
и слёзы скорбные, немалые.

Резвятся русские испаночки,
духами дразнят, душат потом.
Автомобили, дровни, саночки
теряются за поворотом.

На перекрёстке дней торжественных
пою, один из неприкаянных.
Слежу толпу мальчишек женственных,
ревущих глоткой войн окраинных.

Стальное кружево. — Нет... крошево.
Судьба моя образовалась.
— Где ж Родина? — спрошу прохожего. —
Куда исчезла, подевалася?

Земляк в костюмчике поношенном
Твердит, на чудо уповая:
«Под насыпью, во рву некошеном,
Лежит и смотрит, как живая».

ПИР НАСЛЕДНИКА

Проходи, герой ли, трус ли.
Наши хлебы остывают.
На небе играют гусли.
Гуслям тихо подпевают.

В полночь оживают руны.
(Мир цветению и праху.)
Помнишь, прежде эти струны
Рокотаху, рокотаху.

Вспомнишь ты, и вздрогнут внуки
На дороге, на привале.
Чьи же искренние руки
Душу нежную соткали?

И, подхваченные светом,
Поднялись, ища приюта.
Помнишь, прошлым, долгим летом
Умер я? Родилась смута.

Все порубленные рати
За небесный пир в ответе,
Все погубленные дети...
Ты ещё нас помнишь, Мати?



Михаил Викторович Мещеряков родился в 1963 году в Коломне. Окончил Рязанский медицинский институт. Работает врачом. Стихи пишет с юношеских лет. Посещал занятия литературного объединения «Рязания». Печатался в областных и районных газетах. Победитель городских поэтических конкурсов.

Постоянный автор «Коломенского альманаха». Выпустил две книги стихов — «Пустынное бесцумье» и «Тысячелистник», тепло встреченных коломенским читателем.

Некоторые стихи, переложенные на музыку и исполняемые автором, перешли в жанр авторской песни.

ИЗ ЭПИГРАФОВ

О КРАСОТЕ

Ажурное письмо тончайших жил...

К.Петросов

**Ажурное письмо тончайших жил
Напоминает мне прикосновенье —
Из физики — к природе слабых сил,
Как шум дождя иль ветра дуновенье.**

**Смертелен яд, но может и лечить.
Есть в этом списке место и поэзии.
Космические радиолучи
Губительны, но всё-таки полезны.**

**Мир был спасён из вечной мерзлоты,
И выйдет он и из других коллизий,
А механизм влиянья красоты
Я относил бы к сфере тонких физик.**

**Из физики я помню только то,
Что силы те — в земле и в поднебесье.
Они не так чувствительны, как ток,
Но держат мир в спокойном равновесии.**

ВРЕМЯ

Я человек века. Я веком ранен.
Всю его современность ношу, как бремя.
Я не привык часы забывать в кармане.
Я привык знать, какое сейчас время.

Ах, как было бы сладко забыть время!
Ах, как было бы просто — не знать, сколько.
Разве что мерным маятником в гостиной.
Нет его. И — уткнуться лицом в подушки.

Но никуда не деться. Оно повсюду.
Тикает. Билом бьёт из окна в темя.
Так же вот и в стихах, подавив рифму,
Ритм побороть пытался — не получилось.

Эра. Эпоха. Век. Битый час. Минута.
Маятник. Жизнь и смерть. Божий дар и плата.
Видимо, он не выпустит нас отсюда,
Круг жестяной казённого циферблата.

МАЛЬЧИК И РАКОВИНЫ

Родиону

А в чём-то мы — одинаковые,
но ты был наивно-нежным,
отыскивая раковины
среди камней прибрежных.

А после на берег складывал,
не нарушая цельность,
и перламутр разглядывал,
как высшую драгоценность.

Открыть свои великие
ты сделал, найдя ракушки;
готов был, словно реликвии,
обменивать их на дружбу.

С речными двумя скорлупками
наивен ты был. Позднее
узнаешь — они хрупкие,
а дружба — всего ценнее.

И надо бы без надменности
сказать: мы с тобой похожи —
мифические ценности
и я охраняю тоже.

Пускай не такие хрупкости,
грубее чуть-чуть. К примеру:
старинные свои глупости,
наивную свою веру.

Не бойся. Ведь мы одинаковые.
Страшись не потерь, не хруста,
а бойся пустую раковину.
Откроешь, а там пусто.

СТАРЫЙ ДОМ

Духом свят, но телом нищ.
Люди, судьбы, те же лица...
Но от ветхости жилищ
Глаз усталый тяжелится.

Но черёд иных времён
Наступил вперёд шедевра:
В доме сделали ремонт,
Не простой ремонт, а евро.

Это вам не пыль в глаза:
Мол, платили, мол, давали...
Лестницею на леса
Быстро лезут молдаване,

Как солдаты на редут.
И обшарпанные стены
Вид роскошный обретут
(Ну а лестницы — степенный).

Я б несколько не винил
Тех, кто умными руками
На какой-нибудь винил
Сменит дерево и камень.

Дом готов. Сданы ключи.
Можно любоваться домом,
И не слышно, как кричит
Пустота за гипскартоном.

ЦЕРКОВЬ В ЗИМАРОВЕ

Солнца лампада усталого
Еле в тумане видна.
Белая церковь в Зимарове
В марево погружена.
Спит византийское детище,
Спят под туманом поля —
Как в покаянное вретище,
Белым одета земля.
Вспомните имя и отчество,
Лба лишь коснувшись перстом:
Здесь Евдокия с Иосифом
Спят под могильным крестом.
Тише, должно быть, погоста вам
В целой земле не сыскать,
Но попросите у Господа
Сыну теперь благодать.
Спите у разных обителей,
Встретитесь среди звёзд,
Но до могилы родителей
Триста охотничьих вёрст.
Боже, прости ему, грешному,
Что не сумел донести
Жизни лампаду по свежему
Снежному полю-пути.
Скоро вы, милые, встретитесь.
Скоро отыщется вам.
На Рождество и на Сретенье
В белый заглянете храм.
Лошадь спокойную, умную
В сани мы вам запряжём,
Чтобы повозку бесшумную
Тихо вела большаком.
Господи, самое малое —
Дай мне одну благодать:
Словно пчела запоздалая,
Тихо над садом витать.
Все мы когда-нибудь, Господи,
В царствии будем Твоём.
Дай же хоть малою горсткою
Отчей земли чернозём.
И растворяется в мареве,
И отражается в нём
Белая церковь в Зимарове,
Старое кладбище, дом...



Нина Борисовна Соловьёва родилась в Донецке. Там же получила университетское образование по специальности «математика». Сейчас живёт в Коломне. Работала программистом, оператором, счетоводом.

Лауреат двух конкурсов «Поэтическая Коломна». Стихи печатались в журнале «Юность», в «Коломенском альманахе». В 2006 году в Коломне вышла книга рассказов «Вспомни обо мне».

СУМЕРКАМИ ЗИМНИМИ

* * *

Когда автомобиль вильнёт огнями
и алый след в тумане догорает,
туман клубком катается по следу;
он для того, кто шепчет: «Где ты? Где ты?» —
пускается в напрасные старанья,
два световых пятна соединяя...

Любимый голос слышится повсюду,
свет обвисает паутиной эха —
и принимаешь без сопротивленья:
навечный жар — как вешнюю простуду,
могильный холод — как дыханье снега
и чёрный дым войны — как тень сомненья.

Покинутые звери прозорливы —
вот рыжий кот с худой ершистой шеей,
он не подходит к сытым понапрасну,
боится правых, жмётся от счастливых.
Он тычет морду в рукава кашея,
надеясь там найти тепло и ласку.

Но ты и кошки обогреть не можешь.
Не оттого, что нет гроша в кармане,
ни молока, ни огонька в дому, —

ты просто отменён, смертельно брошен,
и видишь след огней в ночном тумане,
как взор слепца, летящего во тьму...

* * *

Придётся сумерками зимними
шептать, уставясь на окно,
что пешеходы с лимузинами
уже не мирятся давно.

А всё же загорится изредка,
хоть чужестранным огоньком,
окно, похожее на призрака, —
недостижимо далеко...

Страшнее летняя заброшенность,
таксомоторная тоска,
и лунный ломтик замороженный,
и чёрный дым без огонька.

Когда они летают парами,
сливаясь с пьяным ветром ночи,
над всеми ценностями старыми
сама Вселенная хохочет.

О, этот старый дом бревенчатый,
с мержкой тощие кровати,
и мальчика с душой изменчивой
цветное фото на серванте.

Ничуть не уязвлён неправдою,
давно уж безучастен к боли,
теперь живёт одной отрадою —
автодорожной буйной волей.

И в лучший текст внося сумятицу,
собьётся с бега зебра строчек...
А он цыганским бубном катится
за гоночным восторгом ночи.

* * *

Когда темно и лишь сквозной
фонарик, склянкой корвалола,
желтеет, прячась за колонной,
бросая ответ на окно, —

тогда для ждущих у дверей
приходит самый час свиданий —
шептать над милыми следами:
«Вернись, пожалуйста, скорей!»

Но возвращается всегда
согласно смете и маршруту.
Не так, как раньше на минуту
порой приходят поезда.
Или грачей в чужой земле
настигнет грусть чужого края —
и полетят домой вне правил,
весну почуяв в феврале.

* * *

Ни живой, ни мёртвый не поможет.
По росе иду тебя встречать.
Совесть ли постылая заглохнет,
изведёт ли смертная печаль...

Что я маюсь запоздалой встречей?
Что блуждаю в лабиринтах слов?
Мой любимый, кто тебя излечит?
Кто вернёт под опустевший кров?

Видно, мне не выдержать разрыва,
и дыханья не хватает в ночь,
и палач, до ярости счастливый,
лёгкой пылью быть сметает прочь.

Знать бы мне, что станешь ты здоровым,
стоит мне погибнуть — я пойду
в чисто поле под раскаты грома,
в штормовое море на плоту.

Ну а если, каждый день сжигая,
нужно жить, чтобы тебя держать
в злом бреду, с неверными шагами,
на микрон от лезвия ножа?

В чём былой души найдётся малость —
в жизни? В смерти? В ноше на плечах?
Нет ответа. Мне одно осталось:
по росе идти тебя встречать.

* * *

О чём говорить? Мы в объятых полуночной мглы.
Не знаю, туман или дым в переулках клубится...
Фонарик тоски то осветит размытые лица,
то гаснет опять, понапрасну обшарив углы.

И где же искать? В золотой круговерти продаж?
А может, за серым забором в пыли придорожной?
Раздор двуединства, где бедность влетается в роскошь
и роскошь колёсами давит извечный багаж.
Но есть ведь двойник, чтоб хотел прогуляться пешком
по старому городу в лёгкой ветровке двухцветной,
чтоб воздух сгущался твоею улыбкой ответной
и волосы гладил твоей невесомой рукой.

Чего ещё ждать? Порывая все связи с землёй,
учиться, как ветер, в окошко украдкой врываться,
крылатой тоскою, обрывком старинного вальса,
эфирной волной за тобой устремляясь в полёт.

Во многом согласные, разными стали вдали —
мы, вечною дружбой всерьёз упоённые дети,
почти что чужие!.. Вот только морщинки легли
на лицах усталых такую похожую сетью.

* * *

Прозреньё на изломе лет —
от всех моих молитв:
что я — лишенец. И поэт.
И что не отболит
вовек болящая душа
от сотен тысяч «нет»:

Что за душой нет ни гроша.
Что нет огня в окне.
Что нет ключа, что нет ружья.
Что нет своих ребят.
Что нет гонца в твой края.
Что долго нет тебя.

И ляжет птицей на крыльцо
и пылью между плит —
прозрение — перед концом —
от всех моих молитв.



Юрий Валентинович Горбатов родился в 1951 году в городе Гусь-Хрустальный, расположенном в древних лесах Мещёрского заповедника. С детства знает и любит природу лесного края.

После окончания Владимирского политехнического института с 1974 года живёт и работает в Коломне.

Окружение истинно русской культуры отражается в стихах поэта — в его жизненной позиции, оценках российского бытия на перепутье двух веков.

По профессии — авиационный инженер. В 2005 году вышла книга стихов «Успеть сказать».

УСПЕТЬ СКАЗАТЬ

* * *

**Коломна, колокол, Ока...
Чьим потаённым произволом
Звучат небесным перезвоном
Земные город и река?**

**Святые эти берега
Могли назваться по-иному.
Какая — случаю слепому —
Была поводырём рука?**

**Звенит во времени строка.
Быть может, прозвенит и снова,
После пришествия Второго —
Коломна, колокол, Ока?..**

* * *

**В моём окне —
Излучина Оки,
Чуть ближе —
Монастырь Старо-Голутвин.
Ревущие внизу
Грузовики,**

И поездов
Прощальные гудки
Не заглушают
Колокол заутрень.

Сначала —
Низкий, одиночный звон,
Потом —
Удары чаще, тоном выше...
Оживший
Православный камертон
Под одобрительные
Выкрики ворон
Уносит вдаль —
«Имеющий да слышит...».

МОЛИТВА

Да просто мы
Молиться не умеем.
Умеем — кланчить,
Требовать, просить,
Пустить слезу,
Да и лизнуть сумеем,
Лишь не умеем главного —
Молить.

Ты можешь быть
И нищим и богатым,
В расцвете сил
Или в конце пути,
Но ты не можешь быть
Невиноватым.
Молитва —
Это если каждый атом
В тебе
Воскликнет:
«Господи, прости!»

* * *

Они не выбились в столицы,
Не вознеслись до городов —
Всё та же улочка кривится
Вдоль огородов и садов.

Лесными чащами укрыты,
Приткнулись в поле на ветру.
Немолоды, незнамениты,
Двором своим — не ко двору.

Здесь до сих пор не забывают,
Как топится дровами печь,
И разных смыслов не вплетают
В одну-единственную речь.

Как небогатые сестрицы
Растили в складчину — саму
Гремящую вдали столицу...
Гремящую лишь потому,

Что на своих стоянках древних
Живут разгулом и тоской
Простые русские деревни
Между Рязанью и Москвой.

ПОСЛЕДНИЕ ЖУРАВЛИ

Они взлетели на рассвете,
Пейзаж бесцветный торопил.
Лишь северный попутный ветер
Догнал и стаю проводил.

От опустевшего порога
Их погнала совсем не блажь —
Ведь скроет родину надолго
Куда бесцветнее пейзаж.

Зима своей палитры строгой
Не пожалеет для страны —
И, как огромную берлогу,
Замаскирует до весны.

На Северном полярном круге
Пунктир метелью заметёт...
...Но вряд ли на прекрасном юге
Их кто-то, как подарок, ждёт.

Вожак заоблачным мессией
Вёл в небе белоснежный клин.
Уж он-то знал, что из России
Россия улетала с ним...

* * *

Придёт черёд, и на рассвете
Другим отпущенного дня
Уже не ляжет на планете
Тень, так любившая меня.

Хотя дышать и перестану,
Но это не конец судьбе —
Отныне сам планетой стану
И понесу вас на себе.
Живите, радуйтесь, тоскуйте,
Мой мир по-своему ценя,
И ошибаясь, пореже плюйте
Под ноги, то есть на меня.

Гостей незваных не проспите —
Конь бледный, рыжий, вороной...
И вместе с жизнью сберегите
Всех нас, кто стал для вас Землёй.

...Летит куда-то лист по ветру,
Не зная, что там — впереди...
До Вечности всего два метра
Одностороннего пути.

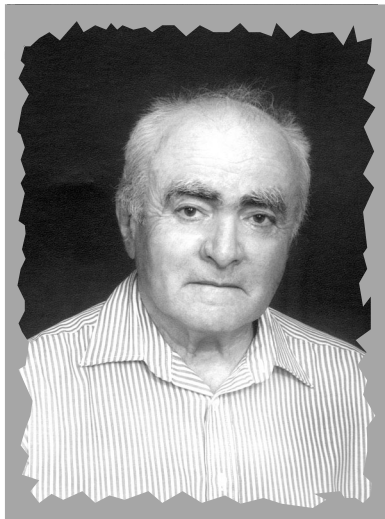
* * *

Среди языческих болот,
В ночной дремучей круговерти
Всё так же водят хоровод
Неунывающие черти.

Где царствует зелёный цвет
Зимой и летом — сосны, ели.
Вот потому-то с детских лет
Глаза мои позеленели...

Когда последний срок придёт,
Бесследно — не хочу, не сгину.
И *та* — с косою — не оборвёт
Сыновней связи пуповину

С лесною родиной моей,
Где в вышине глухого бора
Я растворюсь среди ветвей
Чуть слышным шорохом:
«Ме-щё-ра...»



Леонид Александрович Косс родился в Одессе в 1933 году. Окончил Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе в Ленинграде и Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Служил на Тихоокеанском флоте. В 1984 году уволен в запас и поселился в Коломне. Работал в Коломенском педагогическом институте, в краеведческом музее и во Всесоюзном научно-исследовательском тепловозном институте (ВНИТИ).

Печатал свои стихи в газете «Коломенская правда» и в трёх поэтических сборниках. Стихотворения «Поклонитесь могилам солдатским» и «Никто не забыт и ничто не забыто» опубликованы в Красной «Книге памяти» по Коломенскому району.

МОЯ ТРУДНАЯ РОДИНА

ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЁ

Святые смотрели сурово и строго
 На скромное наше житьё,
 На то, как смиренно молила ты Бога:
 «Да святится имя Твоё».

Молила о том, чтоб прошло лихоletье,
 Вернулись с войны сыновья.
 И шёпотом в грозные звуки столетья
 Вливалась молитва твоя.

Задёрнув в избе занавеской окошко,
 Да так, чтоб не быть у людей на виду,
 Ты ставила к ужину хлеб и картошку,
 Нехитрую нашу еду.

А в полночь, поправив на мне одеяло
 И в лампе убавив огня,
 С молитвой опять перед Богом стояла,
 От зла ограждая меня.

И тёмные лики со старой иконы
 Сходили ко мне в забытьё,

И медленно гасло в сознании сонном:
«Да святится имя Твоё».

Давно я по воле могущего Бога
В заботах ношусь по стране,
Но тянется нить от родного порога,
Звенит и не рвётся во мне.

И помню я, долгие годы разлуки
Священную память храня,
Как в трудные дни твои добрые руки
Теплом согревали меня.

И, глядя на крест над твоею могилой,
На старой ограды литье,
Шепчу я молитву, как ты научила:
«Да святится имя твоё».

* * *

Я в дом войду. И мы начнём беседу.
Поговорим как добрые друзья.
Хозяйка нам накроет стол к обеду
И что-нибудь отыщет для питья.

Она скромна, она несуетлива,
Она мила — во всём тебе под стать.
Как мало надо, чтобы быть счастливым,
И как легко всё это потерять.

Осенний дождь стучит, как забияка.
А за стеной в предчувствии потерь
Так жалобно скулит моя собака
И тычет мордой в запертую дверь.

Впустите пса, ему так одиноко,
Он тоже любит ласку и тепло.
Впустите пса. Мы с ним уйдём далёко,
Когда минет девятое число.

Мы с ним уйдём. Никто не станет плакать.
Но если в сердце стронется засов,
Ищите нас под знаком Зодиака,
Ищите нас в созвездии Весов.

* * *

Я люблю тебя даже в пороке,
Моя трудная родина — Русь.
По душе ли тебе эти строки,
Ты прости, я судить не берусь.
Я не тешу себя за целковый
По одной лишь причине простой:
Я — твой сын, пусть не самый толковый,
Но, надеюсь, не самый пустой.
Для меня ты одна во вселенной,
Так позволь же быть рядом с тобой,
И с твоей красотой несравненной,
И с твоею нелёгкой судьбой.

* * *

Я знаю о России очень мало,
Моя Россия — небо и вода,
Непройденные мили до причала
И створ огней, горящих, как звезда.

Но эта малость в сердце мне стучится,
И за мерцаньем створного огня
Живут ещё события и лица,
И нет без них России и меня.

* * *

Иные, вгрызаясь в задачу,
И в стоге находят иглу.
Иные решают иначе
И ищут лишь в светлом углу.

Иные на диком Памире
Нелёгкий печатают след.
Иные — в уютной квартире,
Вдали от волнений и бед.

Иным предназначено роком,
Дай Бог им о том не забыть,
Бороться со злом и пороком.
Иным же — порочными быть.

Иному засветит удача
И выпадет лучший билет.
Иной ковыляет, как кляча,
Без продыху множество лет.

Но все мы, от негра до йога,
Живущие в зле и любви,
Мы — дети единого Бога.
И я тебе — брат по крови.

* * *

Есть две подруги у любви,
Одна зовёт себя — разлука.
Её зови иль не зови —
Она тебе протянет руку.

Другая — кровная сестра —
Она зовёт себя измена.
Она коварна и хитра,
И до цинизма откровенна.

И этот тройственный союз,
Казалось бы, такой порочный,
Скреплён навеки цепью прочной —
Прочнее самых крепких уз.

Но если я сказал «люблю»,
То я готов принять, как муку,
Сестёр измену и разлуку,
Благословив любовь свою.

Телеграмма в номер

«Москве» — 50 лет!

Сердечно поздравляем дорогой для всех коломенцев журнал русской культуры с юбилеем! Коломенские авторы считают большой честью быть опубликованными на страницах «Москвы» в кругу лучших писателей, поэтов и публицистов нашей страны — её постоянных авторов.

Особая, сердечная признательность редакции журнала — за плодотворное долголетнее сотрудничество в выпуске нашего альманаха.

Желаем «Москве» неиссякаемой энергии в духовном просвещении читателей, в стоянии за русский народ и за возрождение России!

Редколлегия



Вадим Николаевич Квашнин родился и живёт в деревне Лукерьино Коломенского района Московской области. Окончил заочно сельскохозяйственный институт. Работал трактористом, агрономом.

Участник VI Общественного совещания молодых писателей.

Стихи печатались в альманахе «Истоки», в журналах «Сельская молодёжь» и «Юность», коллективном сборнике «Радонеж». Отдельные издания — «Русское поле» (1991), «Доставшийся путь» (2001).

На конкурсе «Илья-премия 2001» отмечен специальным призом «Рождение крестьянина».

Член Союза писателей России. Постоянный автор «Коломенского альманаха».

ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ ГОДА

ЗНАМЯ И СЛОВО

Широкая длань тяжело выбирает орало.

Над русской равниной

когтисто кружит вороньё.

На русской равнине призывно труба прокричала

И стяги взметнулись — за древнюю волю её.

Они наплывают — литые кровавые зори,

И лик светозарный

под яростным ветром распят.

Вся нечисть сбежалась,

беснуется в бешеном оре,

Кривые мечи о святые хоругви звенят!

Очнись и откликнись на голос священного зова,

Литавры, и бубны, и гусли, играйте «поход»,

Рыданьем и кликом певучее русское слово

Тебя, как и прежде, под эти знамёна зовёт!

* * *

Спокойно! Не всё проиграли —

Одну из нечислимых битв.

Держава в обломках из стали
В огне поражения горит.

Отчизны родные обломки
Мы вновь переплавим в штыки.
Спокойно, собрали котомки —
Взвода, батальоны, полки!

А грозно глядит исподлобья
Востока и Запада рать.
Уткнулись в свои неудобья,
И некуда нам отступать.

И мы — под угрозой вторженья.
Эпоха вторженьем грозит.
Но сердце на дне поражения
Спокойно и сильно стучит!

* * *

Когда устанешь от земли...

Анатолий Передреев

Когда устанешь от земли,
Потянет камнем в воду.
Очнись, глаза свои протри
Навстречу небосводу.
Земля в немое забытьё
Теплом прохладным дышит.
Как ты от тяжести её,
Она тебя не слышит.
Струит к плотам осенних туч
Волнистое мерцанье.
И воздух тонок и пахуч
От тёплого дыханья.
Молчи, замри и не дыши;
Вода землёй согрета
И отражает камыши —
Сухие стебли лета.
И загорается светло,
И ты горюшь без стога.
Свое последнее тепло
Струит земное лоно.

* * *

То-то ночи темны и метелями
Всё играютя синими елями,
Забавляются ими, скрипучими,

А лиловыми, рваными тучами,
Разметая предельной усталостью,
Поминают, что в страхе и старости,
В стороне от дорог и прогресса,
Дом пустой на окраине леса,
Дом пустой свою жизнь вспоминает.
А венцы в нём гниют, догнивают.
...Но он помнит резное крыльцо
И хозяйки счастливой лицо,
Но он помнит амбары и клетки,
У хозяйки — весёлые дети.
И хозяина в тёплом кафтане —
Запряжёт свои быстрые сани
(Солнце яростно на небе светит!),
За покупками в город уедет.
А вернётся — гудит самовар,
От печи — нестихаемый жар.
Занесёт неподъёмный баул.
Дети спят, а кому не уснул,
Цыкнет строго: «Чего вам не спится?»
Завтре утром раздам по гостинцу,
Никому не покажется мало.
Ну-ка, все с головой в одеяла!»
А хозяйка по кухне витает,
Поздний ужин на стол накрывает.
Тихо льётся живой разговор:
«Скот накормлен, и вычищен двор,
И воды натаскали из речки,
И от снега отбили крылечки,
А ещё растопили мне печь».
Тихо льётся спокойная речь.
Свет задули, уснули в истоме,
И покойно, и радостно в доме...
Нынче ночи темны и метелями
Там играют синими елями,
Разметая предельной усталостью,
Поминают о страхе и старости.
Зимний ветер и воет, и стонет,
Но живёт, доживает и помнит
Жизнь иную, вдали от прогресса, —
Дом большой на окраине леса.

МОИМ СОБАКАМ РОЙЕ И ШАРИКУ

Вот и настали они —
Чёрные дни без просвета.

Горько, остались одни.
Шарик, ты веришь ли в это?

Горько, остались вдвоём.
«Двери в больничной палате.
Слы-ши-те, ти-хо вой-дём».
В чёрном и белом халате

Тихо вошли, а она
Тонким чутьём не узнала.
Будто мы свет из окна —
Сунула нос в одеяло.

Шарик свернулся у ног,
Ройя слезу уронила.
Господи! Если Ты — Бог!
Господи! Если Ты — сила!

Силу и злобность возьми,
Влажными молим очами.
Только продли её дни,
Только — оставь её с нами...

* * *

*Под вечер ненастного дня
ты мне стала казаться женой.*

И.Бунин

Мы молчим при свечах у камина.
Где огонь беснуется, клубясь,
Я любил тебя нетрудно и несильно,
Ни утратить, ни покинуть не боясь.

Ты молчишь, притихла под рукою.
Я целую с грустью нежный локон.
За спиной тоска стоит с тоскою
У резных, высоких, тёмных окон.

За спиною алыми губами
Допивает свой глоток закат.
Обо всём, о том, что было с нами,
Мрак зияет горечью утрат.

Посидим без грусти, молчаливо.
Пусть вокруг тоска стоит стеною.
При высоких свечах у камина
Стань моей женою.



Екатерина Валерьевна Устинова родилась в 1984 году в Ярославле. Стихи пишет с детства, ещё школьницей печаталась в газете «Коломенская правда». Окончила филологический факультет Коломенского государственного педагогического института, поступила в аспирантуру. Работает в Центре информации для молодёжи корреспондентом и корректором.

Победительница многих городских поэтических конкурсов. Постоянный автор «Коломенского альманаха».

СНЕЖНОЕ РУКОДЕЛИЕ

* * *

Я поднимаю глаза в небеса.
Я опускаю их медленно долу.
Если душа поднебесно чиста,
Значит, рассудок подземно расколот.

О, не считай сих мистических ран!
Тихо — и ладно. Спокойно, дремотно...
Да не узнаю я, кем ты был дан.
Да не узнаю, и кем будешь отнят.

* * *

Я отсчитываю по нитям бисера линии твоей судьбы.
Каждый раз, когда ты уходил, я начинала нанизывать новую.
Я слышу, как в дальнем лесу переговариваются между собой дубы.
Твои руки, твои глаза не говорят со мной — они заколдованы.

Я отсчитываю молитвы, как светлые капли утреннего дождя.
Со мной говорит водосток, он рассказывает, как плакала ночь,
расставаясь с вечером.

Я прошу показать мне ту, что так полюбила тебя.
Вместо вечной небесной любви пусть получит земное молчание вечное.

* * *

Сегодня свадьба моей бессонницы,
Моей ночной немоты,
И пусть жених ото всех хоронится,
Я знаю, что это ты.

Сегодня гости заполнят комнаты,
Поднимут бокалов звон.
Сегодня вы обо мне не вспомните —
Непамятлив, кто влюблён.

И ночь покажется странно долгою,
А после будет гроза,
И ты под её вуалью шёлковой
Увидишь мои глаза.

* * *

То не ветки в стекла бьются —
Руки в танце расстаются,
В танце тел,
И дел,
И сил,
И полуночных светил.

То не птицы в роще спелись —
Это души разлетелись
По погостам,
По церквам,
По полуночным углам.

То не искры тихо пали —
Это любящих разъяли,
Разлучили,
Развели,
Да по всем концам земли!

Дыма струйка тихо вьётся —
Тело с духом расстаётся.
Врозь дыханья.
Врозь сердца —

Конец начала.
Начало конца.

ЕЛАБУЖСКОЕ

Привет всем балкам потолочным
И всем забитым в них гвоздям!
Она ушла сегодня ночью,
Она простила всех заочно —
Не мне на радость, может, вам...

Она взяла с собой немного
С Горы отвесности пологой,
От страсти бешеной к страстям...

И из вместилищ сих убогих
Привет всем дрогам и дорогам,
Всем покосившимся крестам!

* * *

Ветер шелестит травой во дворе.
Стынет твой апрель в моём ноябре.
Гребень то и дело выпадает из рук.
Сколько зубьев выломанных, столько разлук.

За стеною — осень, за окнами — дым.
Бисер на пол сыплется с треском глухим.
Столько его будет, сколько стерпят глаза.
Буду нити долгие ночами низать.

Всё, о чём мечтал ты, сегодня сбылось.
Будет полной бисера жадная горсть.
Кто не помнит радости, не помнит и ран.
Я за новый гребень и сердце отдам.

* * *

Заходи, мой брат, во Господень дом
Да поставь свечу за меня.
Я повенчана со святым огнём,
Я боюсь земного огня.

* * *

Время кончилось.
Время стало.
Время зверем легло у ног.
Только света полоска пала.
Бог не там, где порог...

Счёт оплачен.
Не надо сдачи.
Ты и к этому был готов.
Слышишь, каменный ангел плачет,
Там, посреди крестов?

Отзовись...
И хоть раз приснишь мне!
Я прекращаю бег.
Там, где раньше желтели листья, —
Белый Господень снег.

* * *

Тише, тише.
Не пытка — пыточка.
Даже время идёт на цыпочках,
Да качаются сосны тёмные —
Ночь бездонная над Коломною.

Выше, выше.
Бредут скитальцами
Во бору, во Полянах Ларцевых
Духи, месяцем полонённые, —
Ночь бессонная над Коломною.

Ближе, ближе.
Все клятвы — ложные.
Травы спят по дорогам хоженным,
Бредят травы луной бездомною —
Ночь плывёт над моей Коломною.

Слышишь, слышишь:
Я знаю истину —
Всё обман в полумгле таинственной,
Только сосны качают кронами —
Ночь поёт над моей Коломною.



Евгений Владимирович Захарченко родился в городе Курске в 1960 году.

Окончил в 1982 году Ленинградский военный инженерный строительный университет, расположенный в районе Таврического дворца. Прекрасный историко-архитектурный и садово-парковый ландшафт города на Неве, где всё дышало именами великих поэтов, писателей, мыслителей, незаметно привёл Евгения в мир поэзии.

Первые поэтические пробы состоялись именно в это время. Затем на протяжении многих лет он периодически брался за перо, повинаясь неосознанному голосу внутри себя.

Первая публикация автора состоялась в «Коломенском альманахе» в прошлом году.

ОДИНОКИЙ СТРАННИК

* * *

Промозглая осень гудит листопадом,
Пожухлой травой под ногами шурша.
И мысли, кочуя, проносятся рядом,
И будто бы ждёт обновленья душа.

Жалеет о прошлом и певчею птицей
Всё рвётся в холодный осенний простор.
Нахмурились неба сырые глазницы,
Чернеет под дождиком сумрачный бор.

Промозглая осень, неслышно ступая,
Крадётся к моей одинокой судьбе.
Печалится сердце, её принимая, —
И всё-таки, осень, спасибо тебе!

Спасибо за радость прощальной рябины,
За рокот высоких твоих журавлей.
Стою под дождём — и не прячу седины,
Согретый улыбкой приветной твоей.

* * *

Покой души. Сердечная беседа.
Глоток вина да лунный блеск в окне.
Ещё б друзей, что заблудились где-то,
В такой далёкой школьной стороне.

Искристый смех. Манящий свет улыбок,
И — выпускной... Внезапный вешний
дождь...

Раскаянье от сделанных ошибок
Ты лишь теперь душой осознаёшь.

Вставал закат, неожиданный и упрямый,
Гасил шальные искорки в глазах,
А ты всё шёл — до встречи главной самой,
Так нужных слов кому-то — не сказав.

Благослови же то, что ты изведал,
И не бросай глухой укор судьбе...
Глоток вина, сердечная беседа, —
Вот всё, что нужно в старости тебе.

* * *

В том краю, где туман и дождь,
Где улыбки встречной не ждёшь, —
Одинокий странник в пути
Замаячит вдруг впереди.

Этот странник виден всегда
Тем, кто верит в устои добра.
Он ведёт за собой корабли
До своей сокровенной земли.

Соткан плащ из капель дождя,
А глаза — как звёзды, глядят,
Вьются кудри, как сизый дым, —
Отступает беда пред ним.

Осчастливь меня верой своей,
Обсуши, вдохнови, обогрей!
Затерялся в толпе людской
Призрак счастья... Пойду за тобой,
Одинокий странник в пути...

Почему мне тебя — не найти?

* * *

Подари мне лунный свет, подари! —
Зажигается улыбка зари.
Пусть сияет и манит твой привет
В карусели нерастраченных лет.
Говори мне о любви, говори...
Подари мне лунный свет, подари...

Подари мне лунный свет, подари!
Дочка выросла в тебя — посмотри,
А за нею — хрупким деревцем — сын.
Я своих не замечаю морщин,
Нежно руки целую твои.
Подари мне лунный свет, подари...

Подари мне лунный свет, подари...
Тусклы в сумрачной дали фонари.
Снег холодный долетит до звезды,
Занесёт с тобою наши следы.
Подари мне лунный свет, подари...
Над судьбою — как закат, снегири.

* * *

На асфальте — фантазии детства.
Никуда от рисунков не деться.
Солнечный зайчик играет
У львёнка того на спине.
Краски пленительно свежи,
Несётся кораблик надежды, —
Сказка не кончится, верьте,
В нарисованной чудной стране!

А рисунки раскрасило солнце,
И серый асфальт смеётся,
Будто песня незримая льётся
О нашей забытой мечте.
Кораблик стремительно мчится,
Кого-то кусает волчица,
И детство всё длится и длится
На асфальтовом чудном холсте.

* * *

Душой прикоснулся к широкому полю,
К его обезлюдевшим, горьким просторам,

И вспомнил раздольную русскую волю,
Хранимую в говоре дедов нескором.

Не хлебом ржаным — и травой лебедюю
То поле людей в лихолетье спасало...
Он встретился взглядом с отжившей избою,
И так на душе его муторно стало.

И денно и ночью трудилась деревня,
Собою Россию от бед закрывая.
Одно лишь осталось — родные деревья.
О, как потянулась к ним память живая!

До той вон берёзы сейчас добежать бы,
Потом искупаться в разливе черёмух...
Он вспомнил весенние шумные свадьбы,
Рябину да взгляды подружек смышлёных.

Он видел стога, аромат сенокоса,
Лесное приволье, закатную дрёму,
Как будто на тройке весёлой пронёсся
Родною деревнею — в город, как в омут...

* * *

Здравствуй, город знакомый,
Здравствуй, город зелёный! —
Я иду по перрону
С душой обновлённой.

По заснеженным тропам
Прохожу не спеша я,
И друзей, что далёко,
Сейчас вспоминаю.

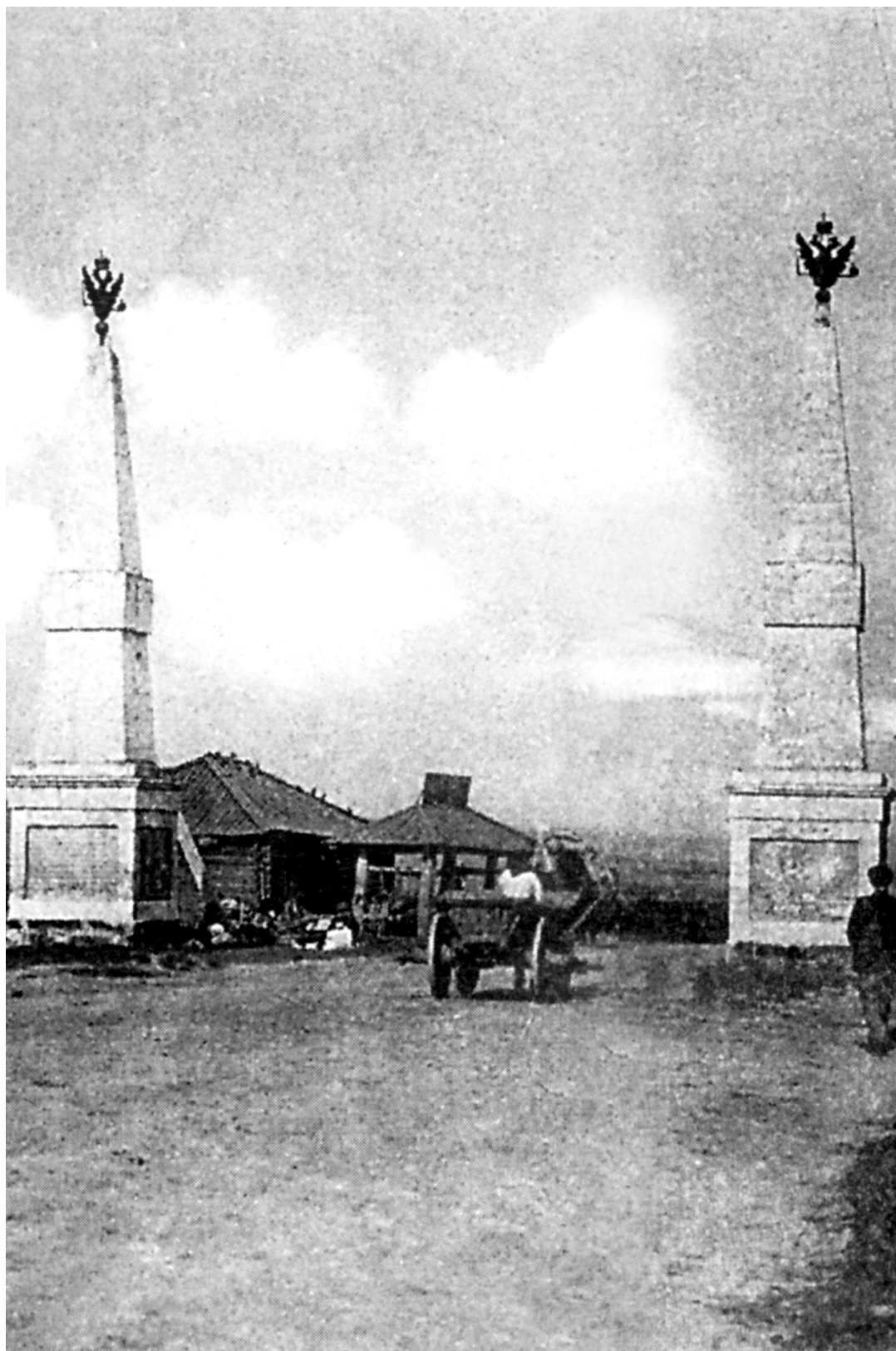
Помню шалости детства,
Подхожу к нашей школе,
И волнуется сердце,
Сжимаясь до боли.

Вот, забросивши книжки,
На футбол убегаю.
Вот, совсем я — мальчишка, —
От боли рыдаю.

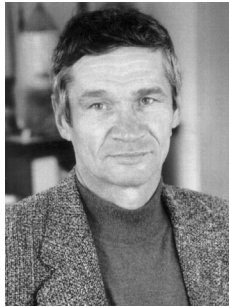
Нет друзей, и не встретят:
Разлетелись упрямо...
Мне над городом светит
Колыбельная мамы.

НАШЕ
НАСЛЕДИЕ

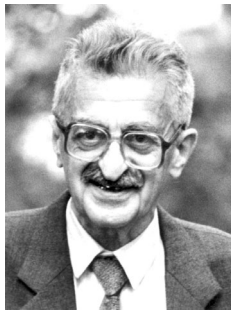




Московская застава у парка в Запрудях



Александр Евгеньевич Денисов родился в Коломне в 1950 году. По образованию — спортивный педагог. Редактор краеведческого альманаха «Край Коломенский» и информационного издания «Коломенский краевед». Автор более двадцати брошюр и книг по истории Коломенского края.



Константин Григорьевич Петросов (1920–2001) родился в Ереване. Окончил филологический факультет Азербайджанского государственного университета. С 1954 года вёл курсы истории русской литературы и теории литературы в Коломенском пединституте. Доктор филологических наук, профессор. Автор свыше восьмидесяти научных работ: статей, глав учебников, монографий, краеведческих работ.

Александр ДЕНИСОВ,
Константин ПЕТРОСОВ

«ЭТО БЫЛ СЛАВНЫЙ ГОРОДОК»

КОЛОМЕНСКИЕ МОТИВЫ
И ОБРАЗЫ В ПОВЕСТИ А.В. ЧАЯНОВА

Александр Васильевич Чаянов (1888, Москва — 1937, Алма-Ата) — выдающийся русский учёный, экономист-аграрник, получивший широкое признание как в России, так и далеко за её пределами благодаря трудам, посвящённым организации крестьянского хозяйства, теории и практике сельской кооперации, путям и перспективам развития русской деревни.

В двадцать пять лет Чаянову было присуждено звание доцента, а с 1918 года он — профессор Петровской (Тимирязевской) академии. Помимо агрономических трудов, принёсших Чаянову мировую славу и переведённых уже в 20-е годы на языки стран Запада и Востока (Япония), он автор работ, посвящённых истории Москвы и Подмосковья, градостроительству («История Миусской площади», «Петровское-Разумовское в его прошлом и настоящем» и др.). Чаянов был знатоком искусства и страстным коллекционером, собиравшим иконы, гравюры, редкие книги (его библиотека была одним из замечательных частных собраний). Перу Чаянова принадлежат статьи и брошюры по истории русской и зарубежной живописи, гравюры. Не случайно он — член-учредитель русского общества друзей книги. Владевший европейскими языками, Чаянов неоднократно выезжал за границу (Италия, Германия, Англия, Франция, Бельгия, Швейцария), был делегатом 1-й международной Генуэзской конференции.

В 1917 году Чаянов — товарищ министра земледелия во Временном правительстве. В 1919–1920 гг. — председатель Совета

Сельхозсоюза, с 1922 года — директор основанного им Научно-исследовательского института сельскохозяйственной экономики при академии им. Тимирязева. Научную и организаторскую работу Чаянов совмещал с педагогической деятельностью (Кооперативный институт, МГУ и др.). Принимал активное участие в работе Госплана, занимал ответственные посты в центральном аппарате Народного комиссариата земледелия.

С приближением коллективизации неудачи в сельском хозяйстве всё чаще стали объяснять вредительством. В декабре 1929 года на конференции аграрников-марксистов Чаянов был обвинён в стремлении к реставрации капитализма в России. В июле 1930 года арестован прямо на заседании президиума ВАСХНИЛ, а затем (январь 1932 г.) вместе с группой коллег (Н.Д. Кондратьев и др.) осуждён и выслан в Казахстан. Здесь работал в сельскохозяйственном институте. В 1937 году ему предъявлены новые политические обвинения. Последовал арест, а 3 октября 1937 года Чаянова приговорили к расстрелу. В тот же день приговор был приведён в исполнение. Лишь 16 июля 1987 года А.В. Чаянов вместе с группой учёных-аграрников был реабилитирован. Постепенно в печати стали появляться научные труды и художественные произведения А.В. Чаянова, работы, посвящённые его научной и литературной деятельности.

Чаянов известен не только как учёный, но и как художник слова, заявивший о себе в поэзии («Лёлина книжка»), драматургии (пьеса «Обманщики») и прозе. Среди прозаических произведений особое место занимает «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», выпущенное Госиздатом (1920) тиражом 20 тысяч экземпляров. Особенность «Путешествия...», действие которого перенесено в 1984 год, заключается в стремлении автора, опираясь на собственные гипотезы, предугадать возможный путь развития русской деревни, её облик и место в обществе будущего.

Особо следует выделить пять романтических повестей, написанных Чаяновым в 1918—1928 годах. Они выходили в издании автора под псевдонимом «Московский ботаник X». Тираж каждой оригинально оформленной книжечки не превышал в ту пору тысячи экземпляров. (Знаменательно, что в 1990-е годы эти повести издавались тиражами в 100 и даже 200 тысяч экземпляров.) При всём различии сюжетных ситуаций и художественно-событийного времени (от конца XVIII до начала XX века) повести Чаянова роднит романтическая тональность и стилистика. Вторжение в повествование невероятных, фантастических событий сочетается с предельно достоверным изображением деталей быта, топографии Москвы и других городов.

Нас интересует первая из этих повестей — «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.». Она увидела свет в Москве в бурном 1918 году и посвящена «памяти великого мастера Эрнеста Теодора Амадея Гофмана». В первых её главах действие из Москвы переносится в Коломну и возникают интересующие нас мотивы и образы. «Коломна, — пишет Чаянов, — некогда славная твердыня, охранявшая окский берег от степных татарских набегов, а после — крупнейший центр хлебной торговли, в наши дни жила жизнью тихого провинциального города. Вековое молчание её кремля нарушалось стоном гудков окрестных фабрик. Гармоника загулявшего мастерового изредка оглашала её полусонные улицы. Но всё же это был славный городок». Глав-

ный герой повести, московский архитектор М., видит Коломну мирную, ещё не потревоженную событиями Первой мировой войны и революции. Сразу же возникает вопрос: а бывал ли Александр Чайнов в Коломне? Документальных подтверждений пока не обнаружено. Чтобы пролить свет на этот вопрос, попробуем проанализировать первые главы повести.

«Неуклюжий извозчик долго стучал и звонил у подъезда “Большой гостиницы” Ивана Шварева...»

В Коломне самой большой гостиницей была так называемая Фроловская, располагавшаяся на Астраханской улице (ныне улица Октябрьской Революции, сейчас там размещается отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Коломне) и выходявшая фасадом на Житную (ныне Двух Революций) площадь. Был в Коломне и Шварев, который владел трактиром, располагавшимся недалеко от Фроловской гостиницы.

«...По мостовой громыхала извозчичья пролётка...»

Улицы в Коломне действительно были мощены булыжником.

«...Городская площадь показалась ему немного более грязной, чем это бы хотелось, зато пожарную каланчу он нашёл построенную в строго выдержанном николаевском стиле, а двух гимназисток в белых чулках и козых полусапожках весьма свежими и занятыми».

Центральной площадью Коломны была Житная, на которой располагались торговые ряды и многочисленные торговые палатки и павильоны. В дни проведения торговых ярмарок на этой площади размещались крестьянские телеги. Окна Фроловской гостиницы выходили как раз на Житную площадь.

Недалеко от Фроловской гостиницы, на пересечении Коломенской и Каширской (ныне Третьего Интернационала) улиц, располагалась пожарная часть с каланчёй, подобной описанной в повести.

В Коломне было две гимназии — мужская и женская. У гимназистов и гимназисток была своя гимназическая форма.

«...Посидев полчаса у лимонадного павильона городского сада, весьма запылённого, но открывающего прекрасную речную панораму, Владимир узнал от полногрудой дамы, разливавшей лимонад, все городские новости и, получив практические советы, отправился осматривать город».

В Коломне было два сада, в которых любили отдыхать горожане: сад коммерческого собрания и Сазоновский сад. Коммерческое собрание располагалось в доме на Астраханской улице (сейчас в этом здании находится Коломенский авиаспортклуб им. Водопьянова), недалеко от Фроловской гостиницы. Сад располагался за зданием коммерческого собрания и выходил на Поповскую (ныне Гражданскую) улицу. Сазоновский сад располагался на месте, где сейчас находится стадион «Старт» завода «Текстильмаш» (в настоящее время это территория Михайловского артиллерийского училища).

«...Прошёл сквозь Пятницкие ворота... посетил храм Воскресения, начал уже зевать, но заметно оживился, заметя стройных монашек Брусенецкого монастыря...»

Вдруг он остановился как вкопанный... Перед ним была “Большая Московская парикмахерская...”»

Есть в Коломенском кремле Пятницкие ворота, есть храм Воскресения, есть Брусенский (в тексте — Брусенецкий) монастырь. Была перед Пятницкими воротами парикмахерская Ф.Н. Соколова.

Итак, историко-бытовая и культурная топография Коломны запечатлена в повести с такой конкретностью, что трудно не признать: детальные и предельно точные описания могли опираться только на личные впечатления автора.

Одна из характерных особенностей Чаянова-беллетриста заключается в стремлении топографически достоверно воспроизвести маршруты своих блуждающих в разных городах необычайных героев. В этом смысле не составляет исключения и «бесцельное фланёрство» по городу архитектора М. Попытаемся, опираясь на предшествующий реальный комментарий, представить, как могла протекать воображаемая прогулка по городу героя повести, Владимира.

Выйдя из Фроловской гостиницы, он увидел Житную площадь. Поставив немного на ней, Владимир пошёл вверх по Астраханской улице в сторону Рязанской заставы. Справа в створе Каширской улицы он увидел пожарную каланчу (не сохранившуюся до наших дней). Пройдя два квартала до Репинской (ныне Комсомольской) улицы, Владимир повернул направо, оказался в саду коммерческого собрания (до недавнего времени — Коломенский городской сад), где испил лимонад, узнал все городские новости и отправился дальше гулять по городу. Путь его пролегал вниз по Репинской улице. Далее до Пятницкой (ныне — Пушкина) улице мимо женской гимназии он прошёл к Пятницким воротам. Пройдя сквозь них, он пошёл по Успенской (ныне Лазарева) улице до церкви Воскресения. Посетил её. После этого, пройдя через Соборную площадь, Владимир оказался у Блюдечка, откуда ему открылась «прекрасная речная панорама» с видом на древний Бобрёвский монастырь. Полюбовавшись живописными окрестностями Коломны, он продолжил свой путь по Брусенской (ныне — Лажечникова) улице мимо Брусенского монастыря. Здесь он заметил молодую даму. Попытавшись завязать с ней знакомство и получив отказ, Владимир в почтительном отдалении последовал за ней вдоль торговых рядов в сторону Владимирской улицы. Не доходя до Пятницких ворот, он увидел парикмахерскую Ф.Н. Соколова.

Вот таким мог быть один из вариантов прогулки героя повести Чаянова по Коломне. Как мы уже заметили, в первых главах повести присутствуют реалии Коломны, которые можно столь живо увидеть и описать только при непосредственном визуальном восприятии.

В то же время следует помнить, что Чаянов создавал художественные произведения, в которых свободно заявляли о себе и субъективный авторский стиль, и право на вымысел. Чаяновской иронией окрашены многие картины повествования: здесь и заспанный швейцар «Большой гостиницы», который «провёл посетителя в “роскошный” номер с зелёным бархатным диваном и кроватью за деревянной перегородкой», и «баритональный бас», где-то на задах матерно и со вкусом ругающий какого-то Ваньку, и комедия господина Чехова «Медведь», исполняемая в городском саду г.г. любителями «в пользу вольно-пожарного общества на фонд приобретения пожарной кишки». Возможные реалии и художественный вымысел, причудливо сплетаясь, позволили автору с особой выразительностью воссоздать типические черты жизни провинциального города.

Примечательна шутивная сцена, в которой завязанный ловелас архитектор М. получает от стройной дамы благодарность за помощь и решитель-

ный отказ от продолжения дальнейшего содействия, а вскоре узнаёт от лавочника, что незнакомку «зовут Евгения Николаевна Клирикова, что она жена ветеринарного врача, играет на гитаре и поёт малороссийские песни». Не менее характерна другая сцена: «Вдруг он остановился как вкопанный. Знакомое чувство приближения волнующей страсти содрогнуло всё его существо. Перед ним была “Большая Московская парикмахерская мастера Тютиня”, сквозь тусклое стекло большого окна которой на него глядела рыжеволосая восковая кукла».

Создавая занимательные и эффектные картины, придумывая броские названия вывесок, заменяя в ряде случаев реальные фамилии на колоритные вымышленные, писатель преследует различные цели и неизменно обнаруживает живое воображение, тонкое чувство стиля и слова. При этом Чайнов помнит, что действие происходит в Коломне. Не случайно, Владимир находит в шкафу «Ледяной дом» Лажечникова, «повествование, вполне подходящее к жажде провинциальных впечатлений». К удачно найденной локальной (связанной с культурой города) детали Чайнов возвращается при изображении отъезда Владимира из Коломны, придав описанию шутивно-иронический оттенок: герой упихивает со всех сторон восковой портрет поразившей его женщины «ворохом газет и страницами, вырванными из недочитанного “Ледяного дома”, сочинённого господином Лажечниковым». По существу, ту же художественную роль исполняют два эпиграфа ко второй главе — «Коломна»: «А с того времени в оном никаких достойных примечания происшествий не случилось» и «Коломна славится своею пастилой».

ПРОГУЛКА ВЛАДИМИРА М. ПО КОЛОМНЕ



«Центральной площадью Коломны была Житная»



«Окна Фроловской гостиницы выходили как раз на Житную площадь»

130

АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВ, КОНСТАНТИН ПЕТРОСОВ



«...расположилась пожарная часть с каланчёр...»



«Прошёл сквозь Пятницкие ворота...»



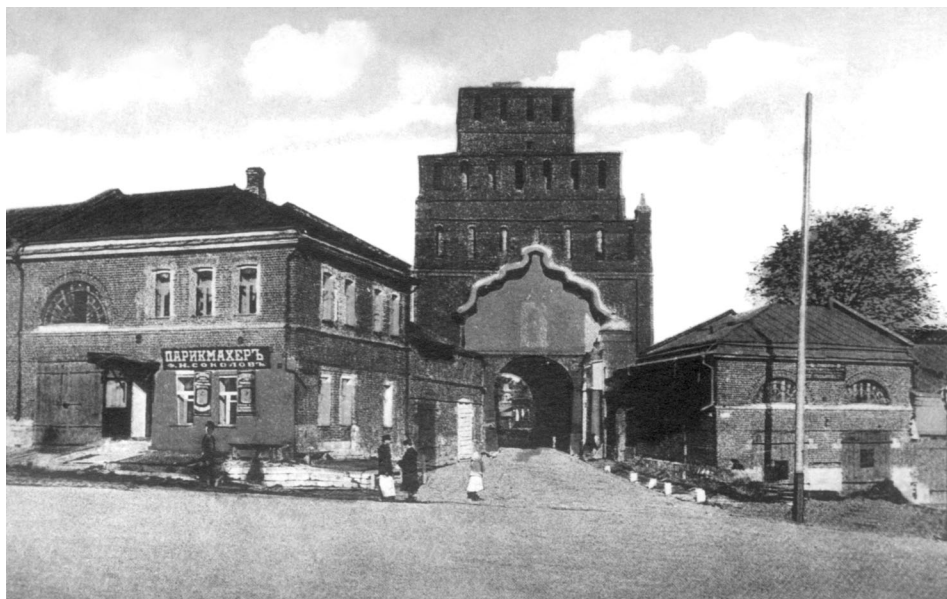
«Пройдя через Соборную площадь...»



«Пройдя сквозь них, он пошёл по Успенской (ныне Лазарева) улице...»

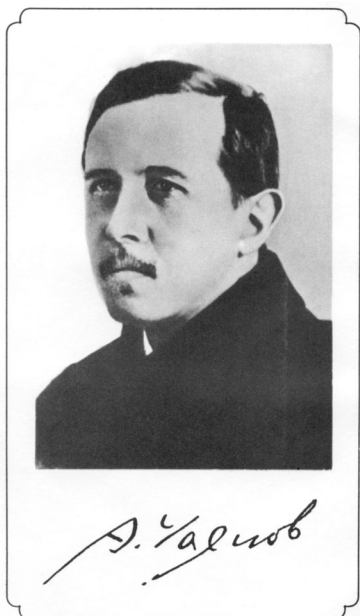


«...продолжил свой путь по Брусенской (ныне Лажечникова) улице...»



«Не доходя до Пятницких ворот, он увидел парикмахерскую Ф.Н. Соколова»

Александр ЧАЯНОВ



Александр Васильевич Чаянов (1888–1937) — советский экономист-аграрник с мировым именем, литератор. Родился в Москве.

Был главой организационно-производственной школы, исследовавшей проблемы крестьянской экономики. Основатель первого в СССР Института сельскохозяйственной экономики, его директор в 1922–1928 гг. Профессор Московской сельскохозяйственной академии. В 1930 г. арестован, после четырёх лет тюрьмы — ссылка в Алма-Ату; 1937 г. — второй арест и расстрел. Посмертно реабилитирован.

Автор трудов по истории науки, истории Москвы, искусствоведению. Был оригинальным писателем-беллетристом, написал несколько социально-философских, фантастических и романтических повестей.

ИСТОРИЯ ПАРИКМАХЕРСКОЙ КУКЛЫ, ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МОСКОВСКОГО АРХИТЕКТОРА М.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ,
НАПИСАННАЯ БОТАНИКОМ Х.
И ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
АНТРОПОЛОГОМ А.

И. Пролог

*Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора.*
А. Пушкин

Московский архитектор М., строитель одного из наиболее посещаемых московских кафе, известный в московских кругах более всего событиями своей личной жизни в стиле мемуаров Казановы, однажды, проходя мимо кофейной Тверского бульвара, почувствовал, что он уже стар.

Кофейная, некогда претворённая в одной из картин Юона, вечерняя фланирующая толпа и жёлтые ленты московских осенних бульваров, обычно столь радостные и бодрые, погасли в его душе. Осенняя сутолока города, автомобили Страстной площади, трамвайные звонки, вереницы проституток и мальчишки, продающие цветы, оставляли его безучастным.

Но замыслы, только что волновавшие его сердце, показались ему банальными, утомительно повторенными сотни раз, и даже вечерняя встреча, которой он доби-

вался столько месяцев и которая должна была составить новое крупное событие в анналах его жизни, вдруг показалась ненужной и нудной. Одни только осенние листья, падающие с деревьев и ложившиеся под ноги вечерних прохожих, глубоко проникали в его душу какой-то горестной печалью.

Он постоял минуту в нерешительности, машинально купил вечернюю газету, затем быстрыми шагами повернул на Тверскую и, дойдя до цветочного магазина Степанова и Крутова, послал огромный букет багряных роз той, чьё сегодняшнее падение должно было вплести новые лавры в венок московского Казановы.

Ему не хотелось возвращаться домой, не хотелось снова видеть кресла красного дерева, елисаветинский диван, с которым связано столько имён и подвигов любви, ставших теперь ненужными; гобеленов, эротических рисунков уже безумного Врубеля, с таким восторгом купленных когда-то, фарфора, и новгородских икон — словом, всего, что радовало и согревало жизнь.

Владимиру, его звали так, захотелось раствориться в кипящем котле жизни великого города. Он спустился на Петровку и привычными шагами, не отдавая себе отчёта, зашёл в маленькое артистическое кафе, кивнул знакомой барышне и спросил себе чёрного кофе с ватрушкой.

Кругом за столиками и в проходах толкались десятки знакомых лиц в смокингах, шёлковых платьях, бархатных куртках и демократических пиджаках. Ему улыбались, но он, может быть, в первый раз оставался безучастным и, машинально слушая звуки скрипок, смешанные со звоном посуды, был захвачен потоком своих мыслей.

Двигающиеся перед ним люди казались ему картонными и давили его мозг безысходной тоской, и когда на эстраде появился изящный конфетансье, с трудом установивший тишину и объявивший начало конкурсу поэтов, Владимир не мог долее сдержаться и вышел из яркого кафе в темноту московских улиц.

Город с его ночью жизнью, ночные прохожие, полусосвещённые окна, огни притонов и чёткий в ночной тишине стук копыт запоздалого извозчика душили Владимира своей известностью, своей до конца испитой знакомостью. Он окидывал тоскующим взором знакомые контуры ночных улиц столицы и, решившись испытать последнее средство против душившей его меланхолии, спустился к Трубной площади и в одном из переулков нашёл знакомый ему китайский притон опиоманов.

Однако через несколько минут он уже бежал оттуда, ещё более гонимый тоской.

«Извозчик, на Казанский!» — крикнул Владимир, вскакивая в пролётку.

После второго звонка он подбежал к билетной кассе, и в 12.10 ночной поезд унёс его в Коломну. Владимир искал в провинциальной глуши собраться с мыслями.

II. Коломна

А с того времени в оном никаких достойных примечания происшествий не случилось.

*Коломенская историческая хроника
Коломна славится своею пастилой.*

Современный путеводитель

Коломна, некогда славная твердыня, охранявшая окский берег от степных татарских набегов, а после — крупнейший центр хлебной тор-

говли, в наши дни жила сонной жизнью тихого провинциального города. Вековое молчание её кремля нарушалось стоном гудков окрестных фабрик. Гармоника загулявшего мастерового изредка оглашала её полусонные улицы. Но всё же это был славный городок.

Ночной поезд с грохотом уносился на степной берег, оставив на тёмном перроне Владимира и каких-то двух озабоченных коммивояжёров.

Неуклюжий извозчик долго стучал и звонил у подъезда «Большой гостиницы» Ивана Шварева, пока заспанный швейцар не отворил дверей и провёл посетителя в «роскошный» номер с зелёным бархатным диваном и кроватью за деревянной перегородкой. Коридорный сообщил, что, кроме ветчины и пива, достать ночью ничего невозможно.

Через несколько минут, поставив на стол обещанный ужин, он удалился. Стало тихо. Бесконечно тихо. На столе мерцали две свечи, отсвечивая на стекле стакана, жёлтой калинкинской бутылке и озаряя белый судочек с хреном и горчицей, традиционно поданный к ветчине.

Владимир молча ходил по ковру, и свежесть провинциальной ночи понемногу просветляла его сознание.

Наедине с собою он чувствовал до ужаса отчётливо, что он уже стар, что всё, что заполняло его жизнь в течение многих лет, изжито им до конца, знакомо до пресыщенности.

Ему хотелось простых слов, провинциальной наивности, кисейных занавесок и герани.

В шкафу, куда повесил своё пальто, нашёл он книгу, разорванную и забытую кем-либо из его предшественников. Это был «Ледяной дом» Лажечникова, повествование, вполне подходящее к жажде провинциальных впечатлений.

Владимир отрезал большой кусок ветчины, налил себе пива и начал пожирать страницу за страницей, запивая калинкинской влагой походения сподвижников Петра.

Уже светало и давно пели петухи, когда он потушил свечи и лёг спать.

III. Романтические встречи

*У Гальони иль Кальони
Закажи себе в Твери
С пармезаном макарони
Иль яичницу сvari.*

А. Пушкин

Было одиннадцать часов, когда Владимир проснулся и с изумлением оглянулся кругом.

По мостовой громыхала извозчичья пролётка на железном ходу, где-то на задах баритональный бас матерно и со смаком ругал какого-то Ваньку, и осеннее солнце просачивалось сквозь опущенные тяжёлые шторы.

С трудом поняв случившееся и почувствовав себя ещё более подавленным какой-то внутренней пустотой, Владимир нехотя поднялся, позвонил коридорного, приказал ему сбегать за мылом, зубной щёткой и где-нибудь раздобыть полотенце, а заодно принести самовар и калач с икрой, и начал одеваться.

Постепенно новизна положения начала его заинтересовывать, и через час, сидя за чаем, откусывая горячий калач и читая поданную ему афишу, из которой явствовало, что сегодня вечером в городском саду

г.г. любителями будет исполнено в пользу вольно-пожарного общества на фонд приобретения моторной кишки комедия господина А.Чехова «Медведь» и будут петь госпожа Н.И***, он уже чувствовал себя заметно освежённым от московской тоски.

Городская площадь показалась ему немного более грязной, чем этого бы хотелось, зато пожарную каланчу он нашёл построенною в строго выдержанном николаевском стиле, а двух гимназисток в белых чулках и козых полусапожках весьма свежими и занятыми.

Посидев полчаса у лимонадного павильона городского сада, весьма запылённого, но открывающего прекрасную речную панораму, Владимир узнал от полногрудой дамы, разливавшей лимонад, все городские новости и, получив практические советы, отправился осматривать город.

Прошёл сквозь Пятницкие ворота, с которых князь Григорий Волхонский громил когда-то гетмана Сагайдачного, посетил храм Воскресения, начал уже зевать, но заметно оживился, заметя стройных монашек Бруснецкого монастыря. Вскоре, однако, его бесцельному фланёрству был положен конец молодой незнакомкой в жёлтых ботинках, оранжевом платье, плотно облегающем стройный стан, и зелёной шляпе с пером.

Нагруженная покупками и защищающаяся от палящих солнечных лучей красным парасолем, она обронила продолговатый свёрток и силилась поднять его, не разроняв другие.

Владимир поспешил на помощь и, получив благодарность и решительный отказ на предложение дальнейшего содействия, стал следовать в почтительном отдалении вплоть до маленького деревянного домика с террасой, увитой плющом, окнами, занавешенными кисейной занавеской, и очаровательной геранью в банках на деревянных оконных скамейках.

От лавочника напротив он узнал, что её зовут Евгения Николаевна Клирикова, что она жена ветеринарного врача, играет на гитаре и поёт малороссийские песни.

Часы показывали три. Пора было возвращаться в гостиницу, к заказанной стерляжьей солянке и гусю с капустой.

Размышления о начатом сентиментальном романе с ветеринаршей занимали мысли Владимира, когда он возвращался по уже знакомым улицам городка.

Вдруг он остановился как вкопанный. Знакомое чувство приближения волнующей страсти содрогнуло всё его существо. Перед ним была «Большая московская парикмахерская мастера Тютина», сквозь тусклое стекло большого окна которой на него глядела рыжеволосая восковая кукла.

IV. Восковая кукла

*Родившийся под знаком Рыб должен
опасаться рыжеволосой женщины.*

Гороскоп

Это была удивительная восковая кукла.

Густые змеи рыжих, почти бронзовых волос окаймляли бледное, с зеленоватым опаловым отливом лицо, горящее румянцем и алыми губами и в своей композиции укреплённое огромными чёрными глазами.

Несмотря на несколько грубое мастерство, во всём просвечивало портретное сходство. Было совершенно очевидно, что у этого воскового изваяния был живой оригинал, дивный, чудесный.

Все мечты Владимира о конечном женственном, о том, к чему все пройденные женщины были только отдалённым приближением, казалось, были вложены в это лицо. Коломна, госпожа Клирикова, монахини Брусенецкого монастыря и гостиничная солянка из стерляди — всё было забыто в одно мгновение.

Аким Ипатович Тютин, пожилой уже мастер, когда-то работавший у Рулье на Арбате и там изучивший сложную науку куафера, весьма охотно согласился продать за 500 рублей свою рекламную куклу, доставшуюся ему за бесценок, и сообщил всё, что мог, о происхождении воскового изваяния.

Месяца полтора назад в Коломну приезжал большой паноптикум «Всемирная панорама», где вместе с умирающим на поле брани офицером, невестой льва Клеопатрой, знаменитым убийцей Джеком Потрошителем показывались какие-то знаменитые сёстры-близнецы, фамилию которых Тютин запамятовал.

Поразившая Владимира кукла и была одною из этих сестёр, попавшей на витрину «Большой московской парикмахерской» нижеследующим образом.

Жозеф Шантрэн, поджарый бельгиец, содержатель паноптикума, жил и столовался у Тютина. Дела паноптикума, вначале оживлённые, шли неважно. Шантрэн, снявши обильный урожай, не сумел уехать вовремя. Задержался какой-то романтической историей и увяз в долгах. Интерес к паноптикуму упал до нуля, случайные посетители приносили гроши, и в конце концов несчастному бельгийцу пришлось ликвидировать свои дела продажей нескольких фигур.

«Клеопатру» купил за хорошие деньги для украшения гостиной недавно разбогатевший пароходовладелец К., а Тютин, пополам с зятем, державшим парикмахерскую в Серпухове, приобрели, в зачёт долгов Шантрэновых, сестёр-близнецов и, разъединив их лобзиком, украсили окна своих заведений.

По сведениям Акима Ипатовича, Шантрэн со всем своим скарбом отправился из Коломны в Москву.

Вечером того же дня, отдав должное гусю с брусникой, Владимир бережно укладывал в ящик восковой портрет поразившей его женщины, упихивая его со всех сторон ворохом газет и страницами, вырванными из недочитанного «Ледяного дома», сочинённого господином Лажечниковым.

Перед отходом поезда на перроне, среди дачной и гуляющей толпы, мелькнуло оранжевое платье и красный зонтик госпожи Клириковой. Владимир вспомнил о своём милом сентиментальном коломенском романе и при отходе поезда послал воздушный поцелуй, чем неприятно поразил кооперативного инструктора-счетовода Сахарова, с большим правом считавшего госпожу Клирикову близкой к себе особой, чем мог это сделать московский архитектор.

V. Поиски начинаются

Аменофис в тот же час плывёт к Кипру.

Госпожа де Фонтен

Владимиру М., воспрянувшему духом и вернувшемуся к жизни, потребовалось немало времени и усилий, чтобы найти Шантрэна.

Его швейцар Григорий успел два раза съездить в Серпухов и купить у предприимчивого Тютинова зятя Королькова вторую рыжую куклу за 1500 рублей.

Серпуховской парикмахер, предупреждённый Тютиным, считал, что тесть продешевил, и взял «настоящую» цену, не подозревая, конечно, что М. заплатил бы и пять и шесть тысяч за необходимого ему воскового манекена.

Серпуховская голова, испорченная немного Корольковым, который продел ей в уши серьги, была ещё красивее. Но в ней было меньше того женственного начала, которое так поразило Владимира в Коломне.

Поиски Шантрена, на которые были снаряжены несколько красных шапок, подвигались медленно.

В адресном столе он числился выбывшим в Коломну, в полиции на него лежал исполнительный лист московского купца Шаблыкина, а в профессиональном союзе артистов Варьете и Цирка Владимиру показали два корешка квитанционной книжки, свидетельствовавшие, что Шантрен два года платил членский взнос вполне исправно, сказали также, что как будто года три назад он выступал как шпагоглотатель у Никитина, и больше ничего сообщить не могли.

Непреодолимое чувство тем временем разрасталось в его душе. Он затворился в своём кабинете, где рядом с пузатым шкафчиком александровской эпохи, на фоне старой французской шпалеры, стояли две восковые головы.

Рука М., водимая страстью, рисовала черты поразившего его лица в десятках всё новых и новых поворотов. Поиски продолжались.

Владимир уже начал терять надежду, как вдруг ему пришла в голову гениальная мысль поместить публикацию в газетах.

Через три дня он уплатил по сто рублей пяти посетителям, указавшим ему местопребывание Шантрена, а на пятый день самолётский пароход «Глинка» доставил его в Корчеву, где на высоком берегу Волги белели палатки Шантренова паноптикума.

VI. Паноптикум «Всемирная панорама»

Не мадам, а я те дам.

Провинциальный разговор

Пожилая дама, продававшая билеты, объяснила, что господина содержателя в паноптикуме не находится, и продала за рубль оранжевый билет с правом входа в «физиологический зал», куда «дамы допускались отдельно от 2 до 3 часов ежедневно».

Ища убить минуты ожидания, Владимир углубился в рассмотрение выставленных фигур. Ему, казалось, испытывшему всё на свете, ни разу не случалось бывать в паноптикуме, и он с любопытством новизны рассматривал наивные фантомы.

Его поразила «Юлия Пастрана, родившаяся в 1842 году и жившая вся покрытая волосами подобно зверю до смерти», «Венера в сидячем положении» и длинный ряд восковых портретов бледных знаменитостей, начиная Джеком Потрошителем, кончая Бисмарком и президентом Феликсом Фором. Он опустил гривенник в какое-то отверстие и тем заставил мрачного самоубийцу увидеть в зеркале освещённое изображение изменившей ему невесты.

Шустрый малец сообщил ему, что «Осада Вердена» испортилась, но зато действуют «Туалет парижанки» и «Охота на крокодилов». Пожертвовав ещё гривенник и повертев ручку стереокинематографа, Владимир, к

своему стыду, заметил в себе некоторый интерес ко всей этой выставленной чепухе, подавляя который он отправился к кассирше узнавать, когда же вернётся господин Жозеф Шантрэн.

Пожилая дама, услышав от незнакомца имя своего патрона, пришла в ещё большее замешательство и сообщила неуверенным голосом, что господин Шантрэн уехал неизвестно куда и не сказал, когда вернётся.

По тону голоса было ясно, что она врёт и что бельгиец, напуганный газетными публикациями о нём и имевший, наверное, немало поводов опасаться госпожи Немезиды, просто скрывается. Однако добиться чего-либо от бестолковой тётки было очевидно невозможным.

Пришлось действовать окольными путями, расспросить обывателей, где живёт содержатель кукол, ввалиться в тот дом, где он квартировал, и снова столкнуться лицом к лицу с мадам Сухозадовой, которая продавала в паноптикуме билеты.

Пелагея Ивановна была вдова корчевского мещанина Сухозадова, обитала в небольшом домике на Калязинской улице, оставшемся ей от мужа, промышляла варкой варенья, ввиду чего состояла многолетней подписчицей «Русских ведомостей», почитая бумагу этой газеты наиболее перед всеми прочими бумагами подходящей для завязывания банок с произведениями её труда.

Владимир М., сидя в просторной горнице с божницей икон палеховского письма, украшенных венчиками из бумажных цветов, с половиками на чисто вымытом крашеном полу, с кроватью, покрытой лоскутным одеялом в клетку, вдыхал запах розмарина и комнатных жасминов, стоящих на окнах, и старательно убеждал Пелагею Ивановну, что он вовсе не Шаблыкин и никакой иной купец или неприятель мусье Жозефа, а просто художник, желающий приобрести великолепную статую «Мари Стюарт, несчастной королевы Шотландской, входящей на эшафот», которая украшала собою паноптикум.

После двухчасового убеждения и документа за подписью управляющего государственным банком Пелагея Ивановна со вздохом взялась наконец «попробовать» передать господину Жозефу письмо от господина художника.

Вечером Шантрэн заходил в номер паршивой гостиницы, где остановился М., где пахло щами и пивом и где щёлкали бильярдные шары, сопровождаемые тяжёлыми шутками партнёров.

Бельгиец не мог рассказать ничего путного, сообщил только адрес той гейдельбергской фабрики, где он купил партию последних фигур, и продал за пятьдесят целковых счёт с бланком фирмы «Папенгут и сын в Гейдельберге», из которого явствовало, что за фигуру близнецов некогда было заплачено 300 марок.

Вечером же в рубке «Мусоргского» Владимир угощал себя и случайно встретившегося ему на пароходе литератора Ш. шампанским и был радостен, как никогда в жизни. Нить была найдена.

VII. Отъезд

*Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слёз, ни пени.*

А. Пушкин

12 октября на перроне Александровского вокзала небольшая группа друзей, посвящённых в перипетии нового романа московского Казановы, провожала Владимира с норд-экспрессом.

Швейцар Григорий вместе с несессерами, саками и двумя чемоданами глобтроттер привёз аккуратно упакованный ящик с восковыми кра-савицами. За несколько минут до отхода поезда запыхавшийся мальчик от Ноева передал букет, завёрнутый в бумагу, и записку с настоятель-ной просьбой распечатать его после отхода поезда.

Друзья в стихах и прозе желали Владимиру влить горячую кровь в восковые жилы, и над Москвою уже раскрывалась ночь, когда поезд медленно отошёл, оставляя за собой Ходынку, Пресню, Дорогомило-во, Фили.

Пройдя по мягкому коридору международного вагона в своё купе, Владимир распечатал загадочный пакет. На подушки дивана рассыпа-лись сухие розы того букета, который он послал единственной отдавшей-ся ему, но им не взятой женщины в памятный вечер, когда неведомое чувство толкнуло его в Коломну.

Он улыбнулся, выбрал один из цветов, остальные выбросил в окно. Сел и стал смотреть на убегающие дали. В Можайске прошёлся два раза по перрону, велел подать себе в купе стакан кофе и лёг спать.

VIII. Тайна понемногу разъясняется

*Тайна подобна замку,
ключ от которого потерян.*

Эдгар По

Директор-распорядитель фирмы «Папенгут и сын в Гейдельберге» оказался откормленным немцем лет на сорок пять и держался весьма важно и снисходительно.

Владимиру пришлось выслушать ряд сентенций о значении восковой скульптуры, о «Флоре» Леонардо да Винчи, хранящейся в Берлине в Кай-зерфридрихмузеуме и стоящей на торговой марке фирмы Папенгут, о педагогическом значении паноптикума, столь мало оцениваемом государ-ственными деятелями Европы, и только в конце концов ему было сказа-но, что, судя по предъявленному счёту, Жозефу Шантрону была продана бракованная партия, так как в счёте не проставлены номера моделей, и что для определения содержания изображения необходимо представить саму «скульптуру». На этом аудиенция окончилась, и на другое утро к воротам фабрики «Папенгут и сын в Гейдельберге» стремительный так-сомотор, шурша по гравию шоссе, привёз Владимира с его драгоценным ящиком.

Освобождённые от бумаги рыжеволосые медузы горгоны блеснули на солнце своими бронзовыми косами, и глубокий взор снова упал в самую глубину души московского архитектора.

Воцарилось молчание. Казалось, сам директор был поражён изде-лиями своей фабрики. Он надавил кнопку звонка и велел вошедше-му груму позвать мистера Пингса, заведующего монтажной мастер-ской.

«Ведь это — те самые, мистер Пингс?» — обратился директор к вошед-шему сухопарому американцу.

«Да, несомненно, те самые, шеф», — ответил Пингс и открыл книгу заказов, которую директор передал Владимиру.

«Сёстры Генрихсон, близнецы из Роттердама, 18 лет, показаны во многих цирках Старого и Нового света. В Париже в Цирк де Пари, в

Лондоне в Пикадилли-Музик-Холл, сняты скульптурным мастером Ван Хооте в Гейдельберге».

Директор дал Владимиру списать в блокнот написанное и, закрыв книгу, добавил:

«Благодаря этой скульптуре мы лишились лучшего из наших мастеров. Когда нам стал известен этот феномен и его содержатель, будучи в Гейдельберге, предложил нашей фирме исключительное право репродукций за две тысячи марок, то мы, ценя экстраординарность феномена, согласились заплатить означенную сумму и послали для съёмки лучшего своего мастера — Ван Хооте.

Однако несчастный голландец, не имевший достаточной уравновешенности, воспытал неестественной страстью к одной из сестёр Генрихсон и, окончив скульптуру, повесился».

Когда Владимир спускался по лестнице из конторы фирмы «Папенгут и сын в Гейдельберге», у него кружилась голова.

IX. В поисках рыжеволосой Афродиты

Сердце моё билось...

Карамзин

Ни скудные указания конторы «Папенгут и сын в Гейдельберге», ни другие источники не могли дать Владимиру сведений сколько-нибудь точных о дальнейшей судьбе «сестёр Генрихсон».

Было известно, что после трагической смерти Ван Хооте они поспешно покинули Гейдельберг, имели два выхода в цирке Шульце в Майнце, и это всё. Далее нить терялась, и всего вероятнее было предположить, что сёстры покинули Германию или переменили своё театральное имя.

Публикации в самых распространённых газетах мира не дали никаких результатов, несмотря на значительность обещанных наград за какое-либо указание на местонахождение сестёр-близнецов.

Три интернациональные бюро вырезок потрошили тысячи газет и театральных изданий на *двадцати семи* важнейших языках мира, опустошая хронику зрелищ, но не могли принести ни единой строчки, посвящённой «сёстрам Генрихсон».

Правда, имя «Генрихсон» было обычно в цирковых афишах, но в большинстве случаев под этим наименованием выступали укротители тигров, и ни разу терпеливым ножницам классификаторш не встречалось упоминание о загадочных сёстрах.

Зато вырезки из старых газет содержали немало материала, правда, весьма однообразного. Владимир мог проследить всё течение их карьеры. Имя сестёр впервые появилось 15 мая 19.. года на афише кафешантана в маленьком бельгийском курорте Спа, затерявшемся в Арденнских горах, славном своей добродетельной скукой, водами, игрою в *petits chevaux* и «ликёром Спа».

Далее сёстры выступали в Льеже и Намюре; после чего их «открыл» талантливый антрепренёр Гочкорс, и имя «сестёр Генрихсон» украсило собою видное место афиш Пикадилли-Музик-Холла, парижских цирков и варьете крупнейших городов Старого и Нового света; они побывали даже на арене цирка Соломонского в Москве, но после своего майнцского выхода пропадают бесследно.

За три протекшие года на цирковой арене вообще не появлялось аналогичных номеров, и многие полагали, что сёстры в силу какого-либо неблагоприятного стечения обстоятельств потеряли солидных антрепренёров и были вынуждены выступать в третьеразрядных цирках и паноптикумах, не имеющих печатных афиш и не помещающих газетных публикаций.

Разочаровавшись в систематических поисках и поручив их продолжение «Парижской конторе справок всякого рода, под фирмой “Исполнитель”», Владимир принялся рыскать наудачу по всем европейским городам, большим и малым, веря в своё счастье и надеясь найти следы исчезнувших сестёр.

Он сделался завсегдатаем цирка и паноптикума, в которые ранее не заглядывал.

Часами наблюдал, как на песке арены чередовались разодетая в зелёный шёлк негритянка, с визгом пляшущая на канате, велосипедист, делающий мёртвые петли, наездница, летающая в бешеных сальто-мортале над мерно галопирующими лошадьми, глупейшие пантомимы и остроумных клоунов, великолепного Пишеля и эффектную Монтегрю. Научился отличать талантливую акробата от бездарности, начал понимать совершенство выдержанного циркового стиля и тонкое искусство композиции цирковых программ.

Полюбил старинную цирковую традицию и неприятно воспринимал проявления циркового модернизма.

Познакомился с выдающимися артистами арены, с директорами цирков, встретил многих, выдавших когда-то «сестёр Генрихсон» и подтверждавших их очарование и полное сходство с восковыми бюстами, всегда сопутствующими М. в его путешествиях; однако никто из них не мог добавить ни одной новой строчки к собранным уже ранее материалам.

Только однажды, в Антверпене, ему блеснула улыбка загадочной незнакомки.

Только что мелькнул в ослепительном блеске электрических ламп белый круп лошади, и мадемуазель Монтегрю, раскланиваясь, послала прощальные поцелуи налево и направо, [как] на арену выбежала рыжеволосая девушка, упавшая в зелёных оборках, и стала извиваться в трудном номере «Женщина-змея», перегибаясь махровым цветком на бирюзовом ковре, резким пятном брошенном на красный песок арены.

Сердце Владимира учащённо забилося, настолько велико было сходство артистки с восковым изваянием, но тщательное рассмотрение в бинокль установило и черты различия, и прежде всего — голубые глаза.

«Хороша, очень хороша, — произнёс вслух его сосед — пожилой полковник, — но всё же далеко ей до Китти Генрихсон!».

Нужно ли говорить, с каким жаром Владимир принялся расспрашивать полковника, о какой «Китти Генрихсон» он говорит, как безумно был рад он встретить почитателя своих сестёр.

Почти всю ночь просидели они перед восковыми куклами в уютном номере «Библи-отель», и Владимир в упоении слушал длинные рассказы полковника о задумчивой Китти и бойкой Берте Генрихсон, таких умных и развитых, несмотря на своё уродство, столь различных и столь любящих друг друга. Полковник, четыре года потерявший их из виду, почитал их умершими или путём операции разъединёнными и начавшими новую жизнь на скопленные своим уродством деньги.

Перед рассветом они расстались, и Владимир не сомкнул глаз в эту счастливую для него ночь.

Х. Неудача

*Отрадно улетать в стремительном вагоне
От северных безумств на родину Гольдони...*

М.Кузмин

Прошло полгода. Владимир не подвинулся ни на шаг в своих поисках. Безумные затраты, им производимые, расшатали его материальное благосостояние, а письма друзей увещевали бросить безумные бредни и возвратиться в Москву, где он найдёт много нового и много новых.

Осунувшийся и постаревший, он снова ощутил, как-то гуляя по аллеям Пратера, старую московскую тоску, посмотрел грустными глазами вокруг и, со свойственной ему решительностью, отрёкся от своей страсти и перед возвращением домой решил поехать на месяц отдохнуть в Венецию, посмотреть Джорджоне, Тициана, старшего Пальму, портреты Морето и плафоны Тьеполо, покормить голубей на площади Святого Марка и вспомнить далёкие дни своей первой любви, раскрывшейся ему в переливах горячего венецианского солнца.

XI. Венецианская встреча

*Ты — читатель своей жизни, не писец:
Неизвестен тебе повести конец.*

М.Кузмин

Задержавшийся в снегах около Понтебо, венский экспресс только на закате спустился на марчито и рисовые поля, орошаемые мутными водами реки По, и после полуночи прибыл на перрон венецианского вокзала.

Два американские паровоза тяжело дышали, вздрагивая всем своим металлическим телом и выпуская пары. Суетились путешественники, забирая свои портпледы, спокойно и деловито сновали носильщики. Агенты гостиниц выкрикивали названия своих отелей: «Палас-отель», «Мажестик», «Альби», «Савой-отель»

Владимир хотел остановиться обязательно в той гостинице, куда он двадцать лет назад прямо из рождественской Москвы привёз Валентину, закутанную в зимнюю шубку, как будто ещё всю запорошенную снежинками Петровского парка, по которому они катались перед отходом поезда.

Он, сколько ни силился, не мог припомнить названия отеля, пока перед его глазами не мелькнул ливрейный картуз с надписью «Ливорно-отель».

Несомненно, это был именно «Ливорно-отель», а комната была № 24.

Через минуту гондола уносила его по чёрным водам каналов великого города масок, призрачных зеркал, молчаливых дождей, героев Гольдони, персонажей Гоцци и великих венецианских живописцев.

Была пасмурная ночь, и тем более уютной показалась небольшая комната с пушистым ковром, кувшином воды, огромной кроватью, старинным венецианским зеркалом и чашкою горячего какао перед мягкой кроватью.

Несмотря на вереницы всплывших вдруг воспоминаний, усталость брала своё, и Владимир, едва успев проглотить горячий напиток, сомкнул утомлённые глаза.

Когда он проснулся, было уже поздно. Где-то ворковали голуби, доносились всплески вод канала, оклики гондольеров и крики уличных продавцов.

Яркие солнечные блики просачивались сквозь закрытые жалюзи и плыли в сладкой истоме по полу, наполняя солнечным туманом всю комнату.

Владимир блаженно потянулся, высвободился из одеяла, спустил ноги на ковёр, быстро подошёл к окну и поднял жалюзи.

Горячий венецианский полдень пахнул ему навстречу, и он чуть не вскрикнул от удивления. На противоположной стороне канала стоял огромный балаган, а на нём красовалась огромная золотая вывеска:

**Паноптикум-Американ. Ново! Чудо природы! Ново!
Поразительный феномен! Сёстры Генрихсон!**

ХII. Сёстры Генрихсон

Тут весь театр осветился площадками, и зрители захлопали в знак удовольствия.

Карамзин

Когда Владимир подходил к пёстро размалёванному входу «Паноптикум-Американ», для него уже не могло быть более никаких сомнений. На огромном белом плакате кричали яркими красками написанные две головы диковинных красавиц, живо напоминавшие ему давно знакомые черты.

Оживлённая толпа волновалась у билетных касс. Женщины в чёрных кружевных накидках, солдаты в голубых мундирах, солдаты в чёрном, берсальеры, мальчишки, две русские экскурсантки, очевидно, учительницы из Елабуги, ищущие в паноптикуме сильных ощущений, два-три рабочих с длинейшими шарфами, замотанными кругом шеи, немецкое семейство и прочие персонажи венецианской толпы.

На широком помосте два скарамуша били в барабан, а краснощёкая Коломбина делала глазки бравому унтеру.

Представление было в полном разгаре, когда Владимир вошёл в переполненный зрительный зал. Фокусник-китаец, только что вынудивший из своего пустого барабана *двенадцать* тарелок с горячими макаронами и несколько бутылок Дольче-Спуманте, налил две стеклянные тарелки водою, обвязал верёвкой и широким взмахом пустил их вертеться кругами вокруг себя, сопровождая их свистящий полёт гортанным криком.

Владимир чувствовал, как учащённо билось его сердце, и знакомое чувство волнующей страсти, подобное тому, какое испытал он в Коломне при первом взгляде на восковую куклу, пронизывало всё его существо.

Имя сестёр Генрихсон стояло в программе непосредственно за китайцем Ти-Фан-Тай, и Владимир в сладостной истоме и с каким-то затаённым страхом ждал окончания изысканной китайской программы.

Китаец, захватывая одно за другим блестящие блюда на кончики тростинок, заставлял их кружиться в быстром вращении, управляя трепетным бегом целого десятка тростей. Мерное вращение блюдца, под рокот струи

несложного оркестра, заставило Владимира закрыть глаза во избежание головокружения.

Взрыв аплодисментов заставил его очнуться. Китаец кончил и уходил, прижимая руки к груди.

Молчаливые лакеи собрали его принадлежности и поставили на сцену двойной трон, сделанный в подражание египетскому стилю, и тотчас задвинули его ширмами с изображением ибиса, сфинксов и колоннами иероглифов.

За ширмами послышались шаги, и сбоку вышел маленький арабчонок в оромной белой чалме и бирюзовых шароварах и выразительно приложил палец к губам. «Тсс... Тсс...» — послышалось со всех сторон, и понемногу воцарилась тишина. За ширмами раздались звуки струн, и арабчонок быстро сложил створки.

Владимир, впившийся руками в ручки кресел, почувствовал, как участились удары его сердца и холодный пот выступил на лбу. Перед его глазами мелькнули два обнажённых тела, едва прикрытые нагрудниками и поясами египетских танцовщиц.

Знакомые змеи бронзовых волос ниспадали на роскошные формы зеленоватого опалового тела, чёрные глаза Берты растворили его душу, а красный рот дышал сладострастной улыбкой.

Он не видел, что, собственно, исполняли сёстры, он не понимал даже, где он, все образы самого пылкого его воображения, самые смелые догадки были превзойдены действительностью.

Густые змеи рыжих, почти бронзовых волос окаймляли бледное, с зеленоватым отливом лицо, горящее румянцем и алыми губами и в своей композиции укреплённое огромными чёрными глазами, линии плеч, бёдер и живота струились подобно изгибам тела диковинной Венеры великого Сандро.

Все мечты Владимира о конечном женственном, о том, к чему все пройденные женщины были только отдалённым приближением, казалось, были вложены в это тело.

Арабчонок задёрнул ширмы. Сёстры пропали. Толпа неистовствовала.

Владимир встал и с удивлением посмотрел на кричащих людей.

«Зачем здесь эти хари! Подите вон! Убирайтесь!» — хотелось крикнуть, но он удержался и почти шатаясь направился к выходу.

ХIII. Рыжеволосая Афродита

*На диване лежал корсет, доказательство
её тонкого стана, чепчик с розовыми лентами
и черепаховый гребень.*

Карамзин

Вечером того же дня Станислав Подгурский, содержатель паноптикума, австрийский поляк родом из Закопане, познакомил Владимира с «сёстрами Генрихсон».

Голландки весьма чисто говорили по-немецки. Были любезны и очень скромно одеты в белое с пятнышками платье. На стене их комнаты висела какая-то выцветшая фотография семейной группы и мастерски, по-цорновски писанный масляный портрет. На стене тускло блестел медный кофейник.

Разговор вначале не клеился. Владимиру хотелось скорее созерцать, чем рассказывать. Однако нужно было говорить.

Вскоре терпкий контраalto Берты втянул его в оживлённый разговор о цирковых знаменитостях.

Берта — та, чьё восковое изображение так поразило Владимира в Коломне — была немного худее своей сестры, типичной немецкой красавицы. Её лицо было даже менее красиво, чем спокойное классическое лицо Китти. Но какая-то пряность, какая-то недосказанная тайна пропитывала всё её существо.

Казалось, будто всё, что она говорит и делает, было не настоящим, нарочным, произносимым только из учтивости к собеседнику и мало интересным ей самой.

Её кажущаяся оживлённость была холодна, и огромные глаза часто заволакивались тусклым свинцовым блеском. Казалось, что где-то там, вне наблюдения собеседника, у неё была иная жизнь, завлекательная, глубокая своим содержанием.

Впрочем, всё это не мешало ей быть увлекательной собеседницей, а родинка на её щеке лучше всяких слов говорила о том, какая славная женщина была сестрой добродушной Китти.

Владимир, вначале смущённый неестественной близостью близнецов, вскоре перестал замечать её и рассказывал о своих поисках. Удивил сестёр своим напряжённым к ним интересом.

Расстались они друзьями. Уходя, Владимир узнал, что портрет на стене, писанный в цорновской манере, изображает скульптора Ван Хооте.

XIV. Зарницы

*Под сенью пурпурных завес
Блится ложе золотое.*

А.Пушкин

Всю ночь Владимира душили кошмары. Он задышался в змейных объятиях бронзовых кос. Влажные русалочьи руки обвивали его горящую шею, и терпкие, пьяные поцелуи впивались в его тело, оставляя следы укусов вампирьих зубов.

Утром он уже отнёс сёстрам пучок магнолий и застал их, весёлых и улыбающихся, за утренним кофе. Они задержали его у себя. Вечером он катал их в гондоле по Большому каналу. На другой день он снова был у них, чем вызвал видимое недовольство Подгурского.

Терпкий голос Берты, её наивные песенки овладели им всецело и до конца. Они были единственная реальность, существующая для него, всё остальное был дым.

Он опустошил антикварные лавки, украшая ожерельями зеленоватое тело и вплетая драгоценности чинквеченто в бронзовые косы.

Неестественная связь сестёр и вынужденное постоянное присутствие Китти сначала смущали его. Но вскоре опытным сердцем уловив, как начала разгораться тлевшая в душе его подруги диковинная страсть, он забыл о Китти. Порывы его чувства, казалось, покоряли обеих сестёр. И только однажды, когда он, забывшись, поцеловал обнажённое колено Берты, его глаза встретили полный ужаса взгляд Китти. Но это был только один миг. Вскоре весь мир потонул в бушующем океане страсти.

XV. Катастрофа

*Osculaque insetuit cupide
luctantia linguis
Lascivum femori
suppositiguae femur...*
P.Ovidius Naso*

XVI. Записки Китти

Разбитое зеркало означает смерть.
Примета

1 сентября. Венеция

Берта забылась в полусне.

Пользуюсь минутой записать чудовищное событие нашей жизни. Я никогда не думала быть писательницей, но события, окружающие меня, столь необычайны, дыхание смерти окружает нас со всех сторон, и роковая развязка, очевидно, приближается. Пусть же эти страницы послужат завещанием бедной Китти Ван Хооте, одной из несчастных «сестёр Генрихсон» цирковой арены.

Я и сестра Берта родились близнецами, сросшимися своими бёдрами, в зажиточной купеческой семье Ван Хооте в Роттердаме.

Роды матери были очень тяжелы, и отец, желая скрыть наше уродство и предполагая впоследствии разъединить нас операционным путём, отвёз нас к двоюродной сестре нашей матери.

Однако хирурги отказывались делать операцию, говоря, что она угрожает смертью одной из нас. Матушка не могла оправиться от родов и вскоре умерла. Отец, не желавший сделать себя посмешищем в глазах своих клиентов и биржевых приятелей, воспитывал нас весьма тщательно, ни разу, впрочем, не заехав посмотреть на нас.

Вскоре он женился вторично и умер от случайной вспышки чумы, занесённой вместе с пряностями с острова Явы одним из пароходов его компании.

Его вдова, родившая уже после смерти мужа мальчика, ничего, или почти ничего, не знала о нашем существовании. Нотариус отца переслал тётушке небольшую сумму денег, завещанных на наше воспитание.

Однако через несколько лет и этот скудный источник нашего пропитания иссяк. Мы уже были готовы познакомиться с ужасами нищеты, когда содержатель проезжего цирка предложил нам вступить в число артистов его труппы, своим уродством зарабатывать хлеб насущный. После минутного колебания и слёзных просьб тётушки мы, бывшие тогда тринадцатилетними девочками, согласились и через неделю уже появились под именем «сестёр Генрихсон» на подмостках кафешантана в Спа.

* *Жадно теснят языки в поцелуях друг друга,
И бедро, прижимаясь к бедру, разжигает страсть...*
Овидий Назон

Не буду описывать нашей цирковой жизни, она так однообразна, так утомительно тосклива, особенно для нас, прикованных своим уродством к замкнутой комнатной жизни.

Однако мы не роптали. Всегда умели создать в комнатах своей кочевой жизни тёплый семейный уют. Найти немногих преданных друзей. Я до сих пор вспоминаю антверпенского полковника, такого ласкового ко мне, с таким вниманием угадывавшего наши желания.

Мы не знали отцовской ласки, но он часто казался мне отцом. Я слышала, что и после он очень тепло отзывался о нас. Где-то он теперь, старый, добрый полковник Вотар! Иногда нас катали в коляске по тем городам, которые посещала наша труппа. Изредка посещали мы театры, забираясь в глубину ложи уже после открытия занавеса и уезжая до окончания спектакля.

Мы зарабатывали очень много и мечтали, скопив несколько десятков тысяч франков, навсегда покинуть арену и тихо, вдали от людей, окончить нашу жизнь.

Как вдруг, во время наших гастролей в Гейдельберге, крыло трагедии впервые развернулось над нами. Наш антрепренёр убедил нас предоставить за очень большие деньги право репродукции «феномена сестёр Генрихсон» фирме восковых кукол в Гейдельберге. Я забыла название этой фирмы.

Через два дня нам представили молодого скульптора, весьма умело и искусно занявшегося лепкой наших восковых изображений.

На беду, он очень понравился Берте, а песенки сестры окончательно свели его с ума.

Неестественная страсть художника к прекрасному уроду разгоралась подобно костру Ивановой ночи. Лихорадочный блеск в глазах сестры, учащённое биение её сердца открывали в ней новое, неизвестное для меня существо. Тягостным мраком заволакивались глаза художника.

Гроза приближалась.

Трагическая развязка

Берта просыпается. Кончаю.

3 сентября. Венеция

Продолжаю. Трагическая развязка оказалась более ужасной и более скорой, чем можно было думать.

Однажды вечером, когда атмосфера страсти сгустилась вокруг нас настолько, что я готова была, казалось, схватить топор нашего циркового плотника Жермена и, разрубив роковую связь свою с сестрой, выброситься в окно, — художник, которого мы звали просто «милый Проспер», сказал своё полное имя — «Проспер Ван Хооте».

Я не удержалась от крика. Двух вопросов было достаточно, чтобы всякие сомнения пропали. У наших ног лежал сын нашего отца, наш младший брат. Как безумный вскочил он на ноги и, схватившись за голову, выбежал за дверь.

Наутро мы узнали, что он повесился.

Сестра заболела нервной лихорадкой. По её выздоровлении мы, связанные контрактом, ещё два раза появились на арене в каком-то немецком городишке. Потом уехали сначала в Гент, а после в Брюгге, рассчитывая на свои сбережения прожить несколько лет спокойной, замкнутой жизнью.

Меланхолический перезвон брюггских колоколов, тишина улиц, почти безлюдных, и чёрные лебеди на тёмно-зелёной водной глади каналов стали для нас целительным бальзамом.

Первые месяцы мы сидели целыми днями у окна. Я перечитывала книги, а Берта безумными глазами смотрела на медленно плавающих лебедей и сотни раз повторяла четверостишие, когда-то написанное Проспером:

Чёрный лебедь плывёт над зелёной волной,
И качаются ветки магнолий,
Ты встречалась когда-то, я помню, со мной,
Но не помню, когда, и не помню, давно ли.

Так в небытии прошёл год, другой... Глаза Берты стали улыбаться, она принялась за рукоделье и не раз опускала свои тонкие пальцы на струны лютни. На третий год наши сбережения стали приходиться к концу, и пришлось подумать о «работе». Мы написали письмо одному старому другу.

Через неделю к нам явился человек в круглой шляпе, оказавшийся импресарио Подгурским, подготовлявшим турне по портовым городам Средиземного моря. Берта заинтересовалась. Мы подписали очень выгодный контракт. Были вместе с паноптикумом в Гелиополисе и Александрии, посетили Алжир, два месяца прожили в Барселоне, провели зиму в Палермо, и роковая судьба забросила нас в Венецию.

10 сентября. Венеция

Продолжаю. На третий день наших венецианских гастролей утром, причёсывая свои роскошные бронзовые волосы, Берта выронила и разбила круглое зеркало. Мы с ужасом посмотрели друг на друга. Из всех ужасных примет эта была наиболее верной. А вечером того же дня Подгурский привёл к нам московского архитектора Вольдемара М., давно уже искавшего познакомиться с нами.

Бледный, с чёрной ассирийской бородой, он казался человеком, продавшим свою душу дьяволу, а его говор, как и вообще у всех русских, говорящих по-немецки, был певуч и напоминал мне почему-то малагу, которую мы пили в Барселоне.

Отчётливо помню этот проклятый вечер и ночь, когда сердце Берты билось иначе, чем обычно, совсем как в памятные гейдельбергские дни.

Казалось, дух Проспера ожил в этом северянине, казалось, тайная власть почившего несчастного брата над душою Берты была кем-то вручена этому бледному человеку с кошачьими манерами. Напрасны были мои слова и предупреждения, бессонные ночи и общие слёзы, увлажнявшие общую подушку, и клятвы, даваемые на рассветах.

Страсть разгоралась, бурный поток увлекал всё, и даже я, прикованная уродством к своей сестре, была как-то странно подхвачена её волнами. Его слова, улыбки, прикосновения, как раскалённый металл, выжигали в нашем существе стигматы страсти. И вот однажды, когда я в бешенстве испуга впивалась зубами в подушку, Берта стала принадлежать ему.

Он бежал от нас среди ночи. Сестра пробыла три дня онемевшая, как камень. Потом очнулась. Гнала его прочь. Снова звала к себе. Он, бледный как смерть, лежал часами у её ног, потом убежал, пропал днями.

Потянулись месяцы бреда и сумасшествия. Мы почувствовали, что под сердцем Берты затеплилась новая жизнь. Цирк давно уехал. Вольдемар заплатил за нас огромную неустойку Подгурскому.

21 сентября. Венеция

Берта бредит вторую ночь. Доктора боятся тяжёлых родов. Говорят о нашем с сестрой операционном разделении. Вольдемар ходит как помешанный. Берта, когда просыпается, гонит его прочь. Ночью в бреду зовёт Проспера.

23 сентября

Сегодня я очнулась и вскрикнула. Берты не было рядом. Моя правая рука была совершенно свободна. Доктора говорят, что у Берты родилась девочка и она в другой палате.

29 сентября

Наконец мне рассказали всё. Уже неделя, как Берты нет в числе живых. Когда начались роды, нас разъединили. Опасались, что начавшийся сепсис будет смертелен и для меня. Боже! Дай мне пережить всё это.

30 сентября. Венеция

Я ещё так слаба. Сегодня мне показали мою маленькую красную всю племянницу. Говорят, когда началась агония, Берта прогнала Вольдемара и приказала уехать из города.

Я поняла её порыв и просила доктора, в случае, если Вольдемар вернётся, сказать ему, что мы умерли все, — и Берта, и я, и маленькая Жанета. Когда я поправлюсь, мы уедем далеко-далеко, и никто, никогда не расскажет Жанете о страшных призраках её происхождения.

XVII. Безумие

Агрономическая помощь населению была в Италии, быть может, нужнее, нежели в какой бы то ни было иной стране.

А.Чупров

Владимир М., исполняя предсмертное приказание Берты, почти качаясь от усталости, с безумными горящими глазами, побрёл на вокзал, сел в первый отходящий поезд, который куда-то его повёз.

Это был необычайный для него поезд. В нём не было иностранцев. Приземистые, коренастые культиваторы громко смеялись и разговаривали о суперфосфатах, о дисковых боронах Рандаля, ругали своего агронома, почтительно отзывались о каких-то Бицоццо, Луцатти и Поджо и поносили, сплёвывая на пол, породу рогатого скота, называя её бергомаско.

Поезд остановился в Пьяченце, земледельческом центре Итальянского севера.

Это была закулисная Италия. Та, которая составляет действительную нацию и которая совершенно неизвестна иностранцу.

Итальянцы любят мечтать о «Третьем Риме». Если первый был Римом античности, второй — Римом пап, то третий Рим будет Римом кооперации, усовершенствованной агрономии и национальной промышленности итальянской демократии.

Однако Владимиру М. до всего этого не было никакого дела, и он уныло бродил в Пьяченце по сельскохозяйственной выставке, смотря откормленных тучных быков, скользя глазами по пёстрым агрономиче-

ским плакатам и машинально слушая пылкие речи какого-то каноника о преимуществах английского дренажа для вечнозелёных марчито.

Наскучив однообразным и скучным зрелищем трудовой земледельческой культуры, Владимир переехал в Павию и близко около неё нашёл небольшой монастырь Чертоза, приспособленный для выделки ликёра.

Пышные барочные часовни, тонкие и лёгкие колоннады монастырских дворигов, розарии, полные благоухания, дали ему возможность собраться с мыслями.

Блуждающий взор приобрёл осмысленность, и через четыре дня он уже нашёл в себе силы вернуться в Венецию. С покорностью выслушал весть о смерти сестёр и своей дочери и, сразу сгорбившись и постарев, направился к вокзалу, не имея сил оставаться в городе, ставшем гробницей его счастья.

Когда чёрная гондола везла его по узким каналам — вечерело. Роскошная жизнь пенилась и звенела над Венецией.

XVIII. Снова в Москве

*В конце мая 1694 года госпожа Савинья
совершила последнее путешествие в Гриньян.
«Плутарх для девиц»*

Курьерский медленно подошёл к московским перронам. Мелькнули триумфальные ворота, дуги, Тверской бульвар. Владимир М. вернулся в свою старую квартиру в переулке между Арбатом и Пречистенкой.

Владимир с грустью посмотрел на кресла красного дерева, елисаветинский диван, с которым связано столько имён и подвигов любви, ставших теперь ненужными, на гобелены, эротические рисунки уже безумного Врубеля, с таким восторгом купленные когда-то фарфор и новгородские иконы, — словом, на всё то, что некогда радовало и согревало жизнь.

Его состояние, некогда значительное, было разрушено до основания.

Пришлось продать эротические гравюры, некоторую мебель и великолепного новгородского «Флора и Лавра» с красной по синему пробелкой и паразитическими пяточными горками.

Владимир чувствовал себя манекеном, марионеткой, которую невидимая рука дёргала за верёвку. Друзья его не узнавали. Он вёл замкнутый и нелюбимый образ жизни. Заказы, однако, он принимал, и этот последний период его деятельности подарил Москве несколько причудливых и странных зданий.

XIX. Призрак Афродиты

*Ты сладострастней, ты телесней
Живых, блистательная тень.
Баратынский*

Прошло более года. Владимир прогуливался по дорожкам Александровского сада. Следил безразличным взглядом весенние влюблённые пары и гимназистов, зубрящих к экзамену.

Поднял голову, посмотрел на полосу зубчатых Кремлёвских стен, озарённых заходящим солнцем, и всем существом своим почувствовал приближение смерти.

Ему болезненно захотелось ещё раз дышать горячими лучами венецианского солнца, услышать всплески весла в ночной воде канала.

Он мысленно подсчитал не оплаченные ещё долги и, махнув рукой, решил поехать в Венецию.

Когда венский экспресс, по обыкновению запоздавший, спускался в итальянскую долину, в марчито и рисовые поля, орошаемые мутными водами реки По, уже вечерело, и только после полуночи прибыл он на перрон венецианского вокзала.

Два американские паровоза, тяжело дыша, вздрагивали всем своим металлическим телом, суетились путешественники, спокойно и деловито сновали носильщики, перетаскивая портпледы и чемоданы. Агенты гостиниц выкрикивали названия своих отелей: «Палас-отель!» «Мажестик!» «Альби!» «Савой-отель!»

Всё было до ужаса повторно.

Владимир остановился в № 24 «Ливорно-отель».

Когда он проснулся, было уже поздно. Где-то ворковали голуби, доносились всплески вод канала, оклики гондольеров и крики уличных продавцов. Всё было зловеще повторно. Всё трепетало в какой-то саркастической улыбке Рока.

Владимир спустил ноги на ковёр и медленно подошёл к окну, поднял быстрыми движениями жалюзи и вздрогнул, содрогнувшись от ужаса.

Перед ним на противоположном берегу канала, там, где некогда стоял паноптикум, он увидел огромное витро роскошной парикмахерской, сквозь зеленоватое стекло которого на него смотрели восковые головы сестёр Генрихсон, забытые им когда-то во время бегства из Венеции.

Зловещие куклы смотрели в его опустошённую душу своими чёрными глазами, оттенёнными зеленоватым опалом тела и рыжими, почти бронзовыми змеями волос.

Владимир опустился на пол и, припав лбом к мраморному подоконнику, заплакал.

XX. Sic transit gloria mundi*

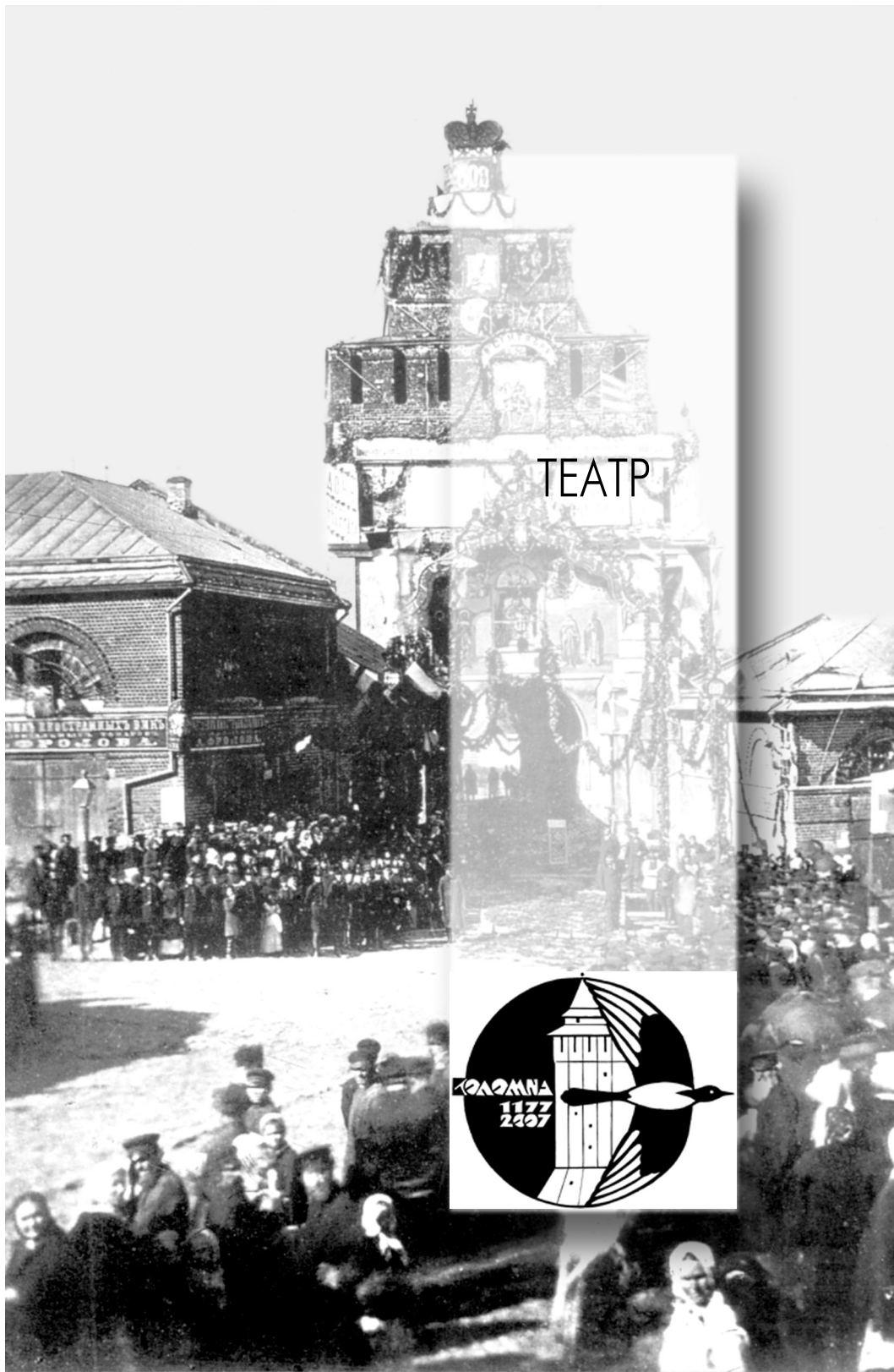
В московской квартире М. толстые слои пыли покрывали кресла красного дерева, елисаветинский диван, пузатые шкафчики александровской эпохи и два тома Паладио, забытые на диване.

Старая крыса наконец прогрызла плотную стенку письменного стола и принялась за пачку писем. Узкая шёлковая лента лопнула, и письма, набросанные тонким почерком женских рук, рассыпались по ящику. Крыса испугалась и убежала.

Вот и всё, господа.

*Барвиха на Москве-реке
Август 1918 г.*

* Так проходит земная слава (лат.).



ТЕАТР





Пятницкие ворота



Николай Николаевич Антонов родился в 1962 году в Казахстане. С 1966 года жил в Башкирии. В 2004 году переехал в Коломну, где и живёт в настоящее время.

Окончил Литературный институт им. Горького. Печатался в коллективных сборниках, в «Коломенском альманахе», в региональной периодике (Коломна, Уфа), в газете «Литературная Россия», в журнале «Москва».

В драматургии работает с 1992 года. Лауреат республиканского (Башкирия) конкурса пьес. В арсенале имеет 7 драматических произведений, в том числе для детей.

Пьеса «Трак» написана к годовщине революции, которой в этом году исполняется 90 лет. В основу произведения положены реальные события. Персонажи имеют реальные прототипы. Действие происходит в Москве.

Николай АНТОНОВ

ТРАК

ТРАГИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ С ЭПИЛОГОМ

Лица:

Тырышкин Афанасий Васильевич, купец, лет 40.

Варвара Михайловна, его жена.

Татьяна, его дочь от первого брака, девица.

Холодов Тимофей Саввич, сосед Тырышкиных, молодой человек лет 20–25.

Холодов Савва Тимофеевич, отец Тимофея, купец.

Щукин - отец, купец, лет 60–65.

Щукин - сын

Данила, слуга Тырышкиных, древний, но крепкий старик.

Прокламатор, студент, он же беглец.

1-й жандарм.

2-й жандарм.

Красильниковы, четыре брата, купцы.

Бахрунин - 1-й, купец.

Бахрунин - 2-й, купец.

Председатель, дворянин, выходец из купцов.

Министр.

Помощник министра.

Первый офицер.

Второй офицер.

Хлюдов, купец, красавец-мужчина лет 35.

Лола Чёрная, цыганка, любимица публики.

Мусортский, композитор.

Неизвестный, революционер.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Действие происходит в доме Тырышкина.

Кабинет Тырышкина. Стол, два стула. Справа входная дверь, по обе стороны от неё шкафы, книжный и платяной. Напротив — дверь в соседнюю комнату. Возле стены диван. В глубине кабинета рояль. За ним окна с видом на улицу.

За окном метель.

На диване Тырышкин. Лежит, заложив руки за голову. На спинке дивана газета. Купец берёт её, пробует читать, бросает. Садится на диване.

Тырышкин. Тоска! Метель! (*Встаёт.*) Метель, тоска... (*Подходит к окну.*) Зи-ма. «Зима. Что делать нам в деревне?» А что в Москве? Большая, но тоже деревня. (*Помолчав.*) Ещё одна зима, снег, метель. Ты старик, Тырышкин!

Оборачивается, видит рояль, идёт к нему.
Прикасается одним пальцем к клавишам, слышатся долгие, грустные звуки.
Входит Татьяна.

Татьяна (*удивлённо*). Папá, ты играешь?!
Тырышкин. Сыграл бы — и с каким удовольствием! — но, увы, не умею.
Татьяна. А хочешь, я сыграю?
Тырышкин. Спой лучше.
Татьяна (*подсев к роялю*). Романс?
Тырышкин. Хоть что... Что-нибудь.

Татьяна играет и поёт романс «Ямщик, не гони лошадей». Тырышкин слушает сдержанно, но видно, что всё его существо отзывается на каждый звук, на каждое слово.

Татьяна (*поёт*). Всё было лишь ложь и обман...

Входит Варвара Михайловна. Тырышкин не замечает её.

Варвара Михайловна. Bravo, bravo!

Обрывается голос Татьяны, музыка.

Играй-играй — и мне охота послушать.

Тырышкин хочет уйти, делает шаг, останавливается.

Играй же!

Татьяна. Мне расхотелось, мамá.
Варвара Михайловна. Помешала вам, значит?
Татьяна. Что вы! Просто я... просто мы...
Варвара Михайловна. Ну да... конечно... (*Уходит.*)
Тырышкин (*с досадой*). Вот так всегда, во всём.
Татьяна (*не расслышав*). Вы что-то сказали, папá?
Тырышкин. Метель, говорю, метель.
Татьяна. С самого утра метёт...
Тырышкин. С самого утра. С самого-самого!
Татьяна. О чём вы, папá?
Тырышкин. Так, ни о чём.

Тырышкин берёт газету, читает.

Татьяна. Папá, а, папá? Можно я вас спрошу?
Тырышкин. Спрашивай, если не знаешь.
Татьяна. А правда... революция скоро?
Тырышкин. Революция?... А тебе-то что?
Татьяна. Ничего. Только...
Тырышкин. Нашла о чём думать. И не будет никакой революции.
Враки это.
Татьяна. Не скажите, папá: Тимофей Саввич...

Ты рышкин. Ты его больше слушай — он ещё не то скажет. Что он, что его отец — хороши оба: когда ещё обещались сватов прислать, а где они, сваты те?.. Ну-ну, девица, не стыдись: пора тебе замуж, пора.

Татьяна. Я ничего, папá, только жених-то... знаешь...

Ты рышкин. Жених как жених, а что обеднели они, так то не сильно.

Татьяна. Вот ведь и дорогу нам продали...

Ты рышкин. И ничего: была бы дорога, а кто строил — дело десятое.

Татьяна. Так-то оно так...

Ты рышкин. О чём печаль-то? Приданое готово, дом вот купил.

Татьяна. Дом?! Где?!

Ты рышкин. В Антипьевском переулке, бывший Колымажный двор.

Татьяна. Особняк Оболенских?

Ты рышкин (*не без гордости*). Он самый. Но покамест об этом...

Татьяна. Не скажу, папá: ни Тимофей Саввичу, ни Савве Тимофеевичу.

Ты рышкин. Пускай сюрприз будет.

Татьяна. Пусть, пусть... Ой! Меня же Тимофей Саввич ждёт, вот память куриная! Я побегу, папá?

Ты рышкин. Беги, а то он там всю нашу библиотеку прочитает, и горе ему тогда — от ума.

Татьяна. Не успеет — я уже побежала.

Ты рышкин (*вслед*). Беги-беги, стрекоза... (*Берёт газету, читает.*) «Продаётся дом братьев Красильщиковых с садом на английский манер...» Англоамерикашки, а тоже, видать, перебираются из Замоскворечья да в дворянский район. Ехали б сразу за границу... Ехайте, братики, туда — там ваша родина. «Выстрелом из револьвера в упор убит в своём кабинете городской голова Алексеев Пётр Данилович...» У-бит...

Входит Данила.

Данила. Господин Щукин пожаловали-с.

Ты рышкин. Кому пожаловались?

Данила. Пришёл, говорю, господин Щукин.

Ты рышкин. Щукин?

Данила. Они-с.

Ты рышкин. Отец или сын?

Данила. Кто ж разберёт их! Сами-то не назвались.

Ты рышкин. Молодой? Старый?

Данила. По мне, так молодой ещё.

Ты рышкин. Сын, значит.

Данила. Может, и сын. Вам же в отцы годится.

Ты рышкин. Так то отец, значит.

Данила. Значит, отец.

Ты рышкин. Отец... сын... не разбери-пойми. Экий ты, право.

Данила. Не пускать, что ль?

Ты рышкин. Веди.

Данила уходит. Слышен мощный порыв ветра.

Ты рышкин. Да уймись ты, метель! Сколько можно!

Тырышкин (*про себя*). И чего старику не сидится? И метель нипочём.

Щукин. Здравствуйте, Афанасий Васильевич!

Тырышкин. Здоров, здоров... А как ваше здоровьице?

Щукин (*не расслышав*). Чего коровнице?

Тырышкин (*вполголоса*). Оглух, никак, старый. (*Очень громко.*) Здравствуйте, говорю, Иван Самсонович!

Щукин. Здравствуй, здравствуй, любезный!.. Что-то я глохнуть стал: едва-едва слышу.

Тырышкин. Это ничего, в нашем деле главное — голова.

Щукин. Вот, вот: слова, слова. Отдельные только слова и слышу. Где разумею, где нет. Ты уж не обессудь меня, старикашечку.

Тырышкин. Как можно! Да что вы!.. Присаживайтесь, пожалуйста.

Щукин. С делом я к вам — сидеть некогда. На том свете отдохну.

Тырышкин. Что за дело такое? Большой важности, нет?

Щукин. В театре...

Тырышкин (*тихо*). Ну, сейчас заведётся: театр да театр — не переслушать. (*Громко.*) Что, вы говорите, в театре?

Щукин. Не я в театре — рояль!

Тырышкин (*про себя*). Что он, что Данила: не разбери-пойми. (*Вслух.*) И хорошо, что рояль.

Щукин. Плохо, совсем плохо, — он ведь преставился, каюк!..

Тырышкин. Кто преставился?

Щукин. Да рояль этот.

Тырышкин. Этот? (*Показывает на свой рояль.*)

Щукин. Не ваш — который в театре.

Тырышкин. Ну. А я-то что?

Щукин. А ваш... не преставился, нет?

Тырышкин. Цел как будто. Давеча дочь играла, так ладно звучал.

Щукин. Вот и я говорю: ладный, видный у вас рояль, не соврал Холодов.

Тырышкин. Из самого Берлина. Старинной работы.

Щукин. Знатный, знатный рояль!.. Сколько попросите? (*Складно перебирает клавиши.*)

Тырышкин. Непродажный он.

Щукин садится к роялю.

Вы играете?!

Щукин. Играл когда-то. Думал, музыкантом, певцом стану. В заграницах учился.

Играет кого-то из итальянских композиторов, здорово, лихо играет.

Вот доиграл до конца.

Тырышкин (*с искренним восхищением*). Bravo, Иван Самсонович, bravo!

Щукин. Это что! Это я играю по памяти — слуха-то нет совсем. А вот в юности!.. А пел я как?! Лучше Карузо!

Тырышкин. Может, споёте?

Щукин. Что ты! Никак нельзя!.. Эх, редкостный был у меня тенор.

Тырышкин. Что ж вы певцом не сделались?

Щ у к и н. Трак у меня обнаружился... к сожалению. Или — к счастью.

Т ы р ы ш к и н. Брак?

Щ у к и н. Трак, потеря голоса от волнения. Так-то вот, любезный вы мой, так-то вот. (*Помолчав.*) Значит, не продадите рояль ваш? (*Встаёт.*)

Т ы р ы ш к и н (*не раздумывая*). Отчего ж не продать-то! Берите, хоть сейчас забирайте, даром отдам.

Щ у к и н. Значит, понимаете вы искусство...

Т ы р ы ш к и н. Может быть. Я ведь писательством бредил.

Щ у к и н. И что же не стали?

Т ы р ы ш к и н. «Стал»: дебит-кредит, убыль-прибыль... (*С горчайшей иронией.*) Поэзия!

Щ у к и н. Станете ещё, ежели талант имеете, — годы-то ваши какие. (*Направляется к выходу.*) Вчера в опере «Риголетто» давали. Так я в со-тый раз слушал. Слушал да и заснул прямо в ложе.

Т ы р ы ш к и н. Старость не радость.

Щ у к и н. Куда уж хуже!.. А как проснулся, так и понять не мог, где я: то ли в гробу, то ли на том свете, — тишина-то мёртвая была. Так бы и умер, наверно, в неведенье. Благо, тотчас аплодисменты посыпались да крики «браво». Вот ведь где смертный страх, а? В театре! Ну да пойду я. А за роялем завтра заеду. Спасибо вам, Афанасий Васильевич!

Выходит, за ним и Тырышкин. Сцена некоторое время пуста.

Слышится отдалённый смех — вначале из библиотеки, затем — громче — из проходной комнаты. Это Т а т ь я н а трунит над Т и м о ф е е м. Вот показалась она. Вот он.

Т а т ь я н а. Какой вы смешной, Тимофей Саввич.

Т и м о ф е й (*имея привычку нукать*). Ну... (*Тотчас же, запоздало поняв смысл фразы, с обидой.*) Я — смешной?

Т а т ь я н а. А то нет! (*Смеётся.*)

Т и м о ф е й. Ну вот: я же и смешной, оказывается.

Т а т ь я н а. Не обижайтесь, пожалуйста, Тимофей Саввич. Я хотела сказать: не везёт вам всегда — вечно в историю попадаете.

Т и м о ф е й. Ну, попадаю. Но разве ж я виноват?

Т а т ь я н а. Нет конечно же... Домой-то хоть хорошо доехали?

Т и м о ф е й. «Лучше и придумать нельзя»: расскажу, так опять смеяться будете.

Т а т ь я н а. Что, опять, что ли, история?

Т и м о ф е й. Ну. Это рок какой-то.

Т а т ь я н а. Ой, расскажите, а, Тимофей Саввич?

Т и м о ф е й. А смеяться не будете?

Т а т ь я н а. Не буду. Честное слово!

Т и м о ф е й. Слушайте тогда. (*Помолчав.*) Выхожу от Джельтмена, ну, сажусь на извозчика, едем. Джельтменова вилла — темно! — ей-ей «Чёрный лебедь»: мансарда-то шеей лебеда выгнулась, ну а флигеля с боков прям лебединые крылья. Только что не шипит... лебедь в гневе! Ну. Только отъехали — слышу, Лола Чёрная в спину поёт: «Ямщик, не гони лошадей». Мой и не гонит, а из-за угла — тройка. Ну, тройка и тройка...

Т а т ь я н а. Ну-ну, мало ли их...

Т и м о ф е й. Я уместился, как дома, воротник поднял, шапку на-двинул — подремлю, думаю, ну. А с тройки кричат: «Вон он, держи!»

Т а т ь я н а (*сдерживая улыбку*). Вам, что ли, кричат?

Т и м о ф е й. Ну. Ямщик мой за кнут и — хлесь! — лошадь. Та сразу в галоп. Шапка моя с головы долой да в снег. «Стой! — кричу ямщику. —

Шапка упала!» (*Татьяна сдерживает смех.*) А тот: «Пропадай шапка, барин: догонят — убьют!»

Т а т ь я н а. А что, и вправду убили бы?

Т и м о ф е й. Ну. Ямщик-то мой у того бабу увёл, жену то есть... Не переставая стегал от погони лошадь. Насилу ушли.

Т а т ь я н а (*растягивая от смеха слова*). Ну и подремали же вы, Тимофей Саввич!

Т и м о ф е й. Ну. (*Кидаясь в обиду.*) Опять смеётесь?

Т а т ь я н а (*прикрывая ладонью смеющийся рот*). Наоборот — жалею вас.

Т и м о ф е й. Я — что! Шапки жаль — хорошая была шапка... Опять смеётесь?

Т а т ь я н а. Это я романс вспомнила.

Т и м о ф е й. Какой романс? С какой стати?

Т а т ь я н а. Романс Лолы Чёрной, у Джентльмена...

Т и м о ф е й. Ну, пела цыганка, и что ж?

Т а т ь я н а. А то, что припев там... (*Прыкает смехом.*)

Т и м о ф е й. Ну, припев, и что в нём смешного?

Т а т ь я н а. А то, что слова там: «Ямщик, не гони лошадей», а ваш-то ямщик гнал, да так, что вы аж шапку потеряли... (*Смеётся открыто.*)

Т и м о ф е й. Ну, знаете!.. (*Хочет уйти.*)

Т а т ь я н а (*удерживает его за локоть*). Не уходите, простите!

Т и м о ф е й (*идёт к двери*). Прощайте!

Т а т ь я н а. Я прошу вас.

Т и м о ф е й. Увольте!

Т а т ь я н а. Я прошу вас.

Т и м о ф е й. Не желаю и слышать. (*Закрывает ладонями уши.*)

Т а т ь я н а. Я прошу вас!

Т и м о ф е й. Я не слышу. (*Берётся за ручку двери.*)

Т а т ь я н а. Я люблю вас!

Т и м о ф е й. Я не слышу. (*Без перехода.*) Что, что вы сказали?

Т а т ь я н а (*стыдясь своего нечаянного признания и делая вид, что его не было*). Я?! Когда?

Т и м о ф е й. Только что.

Т а т ь я н а. Только что?

Т и м о ф е й. Ну.

Т а т ь я н а. Только что я ничего не говорила. Молчала.

Т и м о ф е й. Ну, молчали. А тогда, когда...

Т а т ь я н а. Когда тогда?

Т и м о ф е й. Вы сказали, что любите меня. (*Татьяна прячет глаза.*)

Сказали-сказали — по глазам вижу. Так поцелуйте меня. (*Подставляет щёку.*) Целуйте, целуйте...

Т а т ь я н а. Нахал! Не желаю вас видеть... (*Хочет уйти.*)

Т и м о ф е й (*удерживает за локоть*). Не уходите, простите!

Т а т ь я н а. Прощайте! (*Спешит к двери.*)

Т и м о ф е й. Я прошу вас. (*Идёт рядом.*)

Т а т ь я н а. Увольте!

Т и м о ф е й. Я прошу вас.

Т а т ь я н а. Не желаю и слышать. (*Закрывает ладонями уши.*)

Т и м о ф е й. Я прошу вас.

Т а т ь я н а. Я не слышу. (*Берётся за ручку двери.*)

Т и м о ф е й. Я люблю вас.

Т а т ь я н а. Я не слышу.

Т и м о ф е й (*ещё громче*). Я люблю вас!

Т а т ь я н а. Я не слышу!
Т и м о ф е й (*совсем громко*). Я люблю вас!

Входит В а р в а р а М и х а й л о в н а.

Т а т ь я н а. Ой!
В а р в а р а М и х а й л о в н а. Ещё и сватов не было, а они...
Т и м о ф е й. Ну. То есть это... сценку мы репетируем.
Т а т ь я н а (*подхватив уловку, Тимофею*). А теперь пойте: «Я люблю вас, Ольга...» Пойте же, ну!
Т и м о ф е й (*поёт*). «Я лю...» (*Замолкает, стусевавшись.*)

Варвара Михайловна берёт из шкафа книгу и уходит со словами:
«Сценку они репетируют. У-гу».

Т а т ь я н а (*шёпотом*). Пойте. Она за дверью.
Т и м о ф е й (*поёт*). «Я люблю вас, Ольга... Я люблю вас, Ольга...»
(*Шёпотом.*) Дальше — не знаю...
Т а т ь я н а. И не беда — теперь уж не слышит... А вы молодец, не растерялись. Дайте я вас за это... Закройте глаза.
Т и м о ф е й (*закрывает и сразу же открывает глаза*). Опять насмеётесь?
Т а т ь я н а. Закройте, не бойтесь.

Тимофей подчиняется. Татьяна встаёт на цыпочки, тянется губами к его лицу, чтобы поцеловать.

Т и м о ф е й. Можно открыть?
Т а т ь я н а. Нельзя! (*Снова силится поцеловать и не смеет.*)
Т и м о ф е й. Всё?
Т а т ь я н а. Нет!
Т и м о ф е й. Фокус, что ли?
Т а т ь я н а. Нет. (*Тимофей открывает глаза.*) Фокус, фокус. (*Тимофей зажмуривается, улыгнувшись: понял.*) Наклонитесь немножко. (*Тимофей наклоняется.*) Ниже! Еще ниже!
Т и м о ф е й. Ну!..
Т а т ь я н а (*отчаявшись*). Не получается фокус.
Т и м о ф е й. А ну как у меня получится?
Т а т ь я н а. У вас?
Т и м о ф е й. Ну.
Т а т ь я н а. Мне закрыть глаза?
Т и м о ф е й. Ну. И — чур — не подглядывать.
Т а т ь я н а. Не буду, не буду.

Закрывает глаза, пытается к двери. Тимофей тянется к щеке Татьяны губами, та приоткрывает глаза.

Т и м о ф е й. Не подглядывать! Ну. (*Силится поцеловать и тоже не смеет.*)
Т а т ь я н а (*улыбаясь*). Что, не получается фокус? (*Кто-то торкнулся в дверь.*) Ой!

Входит В а р в а р а М и х а й л о в н а.

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Что же вы под дверью стоите?

Т а т ь я н а. Мы не стоим. (*Подмигнув Тимофею, импровизирует.*) Я выронила платок...

Т и м о ф е й (*продолжает*). Я — к платку...

В а р в а р а М и х а й л о в н а (*подхватывает*). А тут дверь?

Т и м о ф е й. Ну. Ага. Да.

И — шмыг за дверь, Татьяна за ним.

В а р в а р а М и х а й л о в н а (*кладёт книгу на место*). Платок они уронили... «Верю», «верю».

Входит Т ы р ы ш к и н.

О н. С кем это ты тут разговариваешь?

О н а. С кем? Сама с собой. С вами-то много не наговоришь.

О н. Полно тебе, Варвара. Ну чего ты, зачем?

Она хочет уйти.

Обожди, садись.

Усаживает за плечи. Та не садится.

Я спросить хочу.

О н а. Спросил уже. Наговорились.

О н. Ты прости меня...

О н а. Нечего! Да и ни к чему.

О н. Ты прости, что к тебе я так... Я ведь вижу, тяжело тебе. С нами. Со мной.

О н а. Поздно вспомнил.

О н. Ты о чём?

О н а. Ни о чём.

Входит Т а т ь я н а.

Т а т ь я н а. Папá, смотри! Что это? (*Подáёт какой-то листок.*)

Т ы р ы ш к и н (*взяв, взглянув*). Прокламация.

Т а т ь я н а (*читает*). «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Т ы р ы ш к и н (*комкая прокламацию*). Где взяла?

Т а т ь я н а. На воротах было наклеено. Тимофей Саввич снял. Он ещё не ушёл, я — к нему. (*Убегает.*)

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Скоро в дом полезут со своими листовками.

Т ы р ы ш к и н. А я их жду (*с усмешкой*): голодранцы всех краёв, геть до мене!

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Давай, давай... дозовись лешего... (*Без перехода.*) Шукин зачем приходил?

Т ы р ы ш к и н. Рояль нужен театру.

В а р в а р а М и х а й л о в н а. А нам, что ли, не нужен?!

Т ы р ы ш к и н. То мы, то — театр.

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Молодец, правильно: продавай всё — революция грядеши.

Т ы р ы ш к и н. Я за так, не за деньги.

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Ещё лучше! Молоток! Раздавай всё, пока не отняли.

Тырышкин. Варвара!
Варвара Михайловна (*ворчит*). Наживал добро, наживал...
Тырышкин. Татьяна я другой рояль куплю...
Варвара Михайловна. Продолжай в том же духе...
Тырышкин. Ну чего ты? И не будет никакой революции.
Варвара Михайловна. Как же! Забыли тебя спросить. (*С улицы доносится свист городского.*) Вон — прокламатора ловят, сейчас сюда забежит. Встречай. С хлебом-солью.

Вбегает Татьяна.

Татьяна (*задохнувшись от бега*). Папа! Мама! Там беглец какой-то!
Тырышкин. Кто?!
Татьяна. Беглец!

Все выбегают из комнаты. Какое-то время сцена пуста. Вот дверь распахивается.

Вбегают Беглец и Тырышкин.

Беглец дышит, как загнанная кляча, и время от времени кашляет.

Тырышкин. Прячьтесь! Скорей!
Беглец. Куда?!
Тырышкин. Куда-нибудь!

Беглец прячется за штору и кашляет, кашляет.

Тырышкин. Да не кашляйте вы!
Беглец. Не могу. Астма.
Тырышкин. Ноги, ноги видны! Выходите!

Беглец, выйдя, мечется на одном месте.

Идут!

Беглец лезет под стол.

Куда, дура!

Тот вылезает.

В шкаф! В шкаф! Скорей!

Слышатся шаги по коридору.

Беглец (*юркнув в растворённую дверцу*). Найдут, ей-богу, найдут!

Стук в дверь.

Тырышкин (*громко*). Сейчас! (*Беглец кашляет в шкафу. Беглецу, зверским шёпотом.*) Да умрите же, ну!

Тот замолкает. Стук повторяется.

Тырышкин открывает дверь.

Первый жандарм. От кого запираемся, господин Тырышкин?

Тырышкин. Ото всех — стихи сочиняю. Хотите послушать? (*Декламирует.*)

Когда от бури не останется следа
И, успокоившись, песчинки-человеки
Займут свои привычные места,
Как после бури входят в русло реки...

Как, ничего?

В т о р о й ж а н д а р м. Ни. Нэ Шевчинко. «Ревэ та стонэ Днипр широкий...» Бачите, гарно як?

Т ы р ы ш к и н. Ага. То ж Шевченко, не я. Конечно.

П е р в ы й ж а н д а р м. А буря у вас революцией пахнет...

Т ы р ы ш к и н. Нет, то не революция вовсе — апокалипсис.

Когда осядет мировая пыль,
Как в первый раз, рассеявшись по свету,
Еще одну беспмятную быль
Преподнеся песчинке-человеку...

Видите?

Из шкафа доносится кашель. Тырышкин делает вид, что это он кашляет.
Жандармы переглядываются.

В т о р о й ж а н д а р м. Смутьяна шукаем. Мабуть, к вам забиг. Ни?
Т ы р ы ш к и н. Если бы забег, я бы его, подлеца, сам в околоток доставил — нечего баламутить!

Снова кашель. Тырышкин подкашливает, жандармы озираются по сторонам.
Входит В а р в а р а М и х а й л о в н а с подносом в руках. На подносе две чарки водки, закуска.

164

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Откушайте, не побрезгуйте, господа хорошие!

П е р в ы й ж а н д а р м. Нельзя — служба.

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Замёрзли, поди, озябли. Выпейте...

Т ы р ы ш к и н. Для сугрева.

В т о р о й ж а н д а р м. Трохи нэ покаличит, ни... *(Берёт рюмку.)*

Штоб у хати всё було! *(Выпивает.)*

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Благодарствуйте! *(Подносит чарку другому.)*

П е р в ы й ж а н д а р м *(с рюмкой)*. Ваше здоровье! *(Выпивает.)*

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Закусите, пожалуйста!

Подставляет тарелку. Жандармы хрустят огурцом. Кашель слышится. Тырышкин опять подкашливает. Первый жандарм поворачивает к нему голову.

Т ы р ы ш к и н. Астма. Замучила прямо.

П е р в ы й ж а н д а р м. Странная астма. *(Глядит с подозрением.)*

Т ы р ы ш к и н. Вот и я говорю: странная, душит и душит. *(Кашляет для убедительности.)*

В т о р о й ж а н д а р м *(заглядывает под стол, затем — за шторину)*. Биглых у хати нимае?

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Что вы! Откуда!

В т о р о й ж а н д а р м *(заглянув в соседнюю комнату, первому)*. Нимаэ никого. Пидем на вулицу.

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Может, чаю попьёте?

П е р в ы й ж а н д а р м. Некогда. Служба.

Комната пустеет — Тырышкины провожают жандармов.

Из шкафа раздаётся кашель, показывается нос и снова прячется —
в коридоре шаги.

Дверь в комнату открывается.

Тырышкин (*войдя*). Революционер, говорите? (*Голосом второго жандарма*.) Вин самый. Щоб вин змерз, курва! (*Голосом первого*.) Листовки развешивал, смутьян, мятежник! (*Своим голосом*.) Что ж вы сразу не сказали? Здесь он, в шкафу сидит. (*Голосом второго*.) А ну выходи, бисово плимя! (*Голосом первого*.) Выходи, кому говорят! (*Своим голосом*.) В кандалы его! В Сибирь! (*Дверка открывается робко*.) Хай гние, нехай умрэ на морозци... (*Голосом первого*.) Спиной вперед марш! (*Показывается спина*.) Не оборачиваться! Руки за голову! (*Прокламатор подчиняется*.) К стене, живо! (*Голосом второго*.) Можэ, в расхид ево?

Беглец. Я больше не буду.

Тырышкин. Так тебе и поверили... (*Голосом второго*.) Дай наган. Скажем, побег — ну и стрельнули... (*Беглец начинает молиться*.) Ага, Бога вспомнил! Кру-гом!

Беглец обречённо поворачивается, ожидая выстрела, и оседает, лишаясь чувств.
Тырышкин подхватывает его под мышки.

Что ж ты пугливый такой! (*Тащит к дивану, кладёт, приводит в чувство*.)
А ещё революционер называешься...

Беглец (*придя в себя*). Я жив или умер?

Тырышкин. Поживешь ещё. Ну, очухался?

Беглец. Чуть не умер... Живой! Правда, живой!

Тырышкин. Ты мне вот что скажи: зачем тебе революция?

Беглец. Все туда, ну и я с ними.

Тырышкин. Кто это «все»?

Беглец. Студенты.

Тырышкин. Драть вас надо, да так, чтоб вы ни сесть, ни лечь не могли. Дурь-то вашу мигом бы вышибло. Сдать тебя, что ль?!

Беглец. Ой, не надо, я больше не буду.

Тырышкин. Тогда отвечай, зачем тебе революция?

Беглец. Соломон Ильич говорит... (*Кашляет*.)

Тырышкин. Кто такой? Чем занимается?

Беглец. Эсер. Листовки нам выдаёт. Не нужен нам, говорит, такой царь... (*Кашляет*.)

Тырышкин. От-т жидовская морда, «царь» Соломон!

Беглец. Свобода, говорит, будет, равенство, братство.

Тырышкин. «Свобода». А тюрьмы, расстрелы, французскую гильотину не хочешь?

Беглец. Упаси Бог!

Тырышкин. Ну так слово давай, что не будешь служить «царю» Соломону. Впредь и вовеки веков.

Беглец. Честное студенческое!

Тырышкин. Божьим словом клянись.

Беглец. Вот вам крест! (*Крестится*.)

Тырышкин. А теперь ступай. (*Напоследок*.) И больше не попадайся. Не отпускай!

Беглец. Не попадусь — вот и не отпустите. (*И — в дверь*.)

Тырышкин. Ах, ты... Эх, молодо-зелено!

Картина вторая

Действие происходит в зале для заседаний купеческого собрания.

За столом буквой «Т» двое: П р е д с е д а т е л ь (на своём месте)
и Т ы р ы ш к и н (на своём).

Из-за окон доносятся звуки метели. Входящие в зал в одежде отряхиваются от снега, растирают озябшие руки.

П р е д с е д а т е л ь (*посмотрев на карманные часы*). Уже без пяти, без пяти! (*Хватается за голову от отчаянья*.)

Т ы р ы ш к и н. Придут, Филимон Матвеевич, не беспокойтесь.

П р е д с е д а т е л ь. Ага. А ну как Аверинцев раньше явится, тогда что?!

Т ы р ы ш к и н. Аверинцев?

П р е д с е д а т е л ь. Аверинцев, Аверинцев, министр торговли.

Т ы р ы ш к и н. Так Одинцов же...

П р е д с е д а т е л ь. Аверинцев (*смотрит в бумажку*), Сергей Александрович.

Т ы р ы ш к и н. Это что ж, третий министр за полгода! Так получается?

П р е д с е д а т е л ь. Ага, «третий»... Четвёртый!

Т ы р ы ш к и н. Свистопляска какая-то. Чехарда.

Слышатся шаги, голоса.

Т ы р ы ш к и н. Идут, кажется.

П р е д с е д а т е л ь (*зажмурившись*). Только бы не он, только бы не он...

166

Входят Х о л о д о в, К р а с и л ь щ и к о в ы. Здравуются.

Т ы р ы ш к и н. Свои, Филимон Матвеевич!

П р е д с е д а т е л ь (*открывает глаза*). Слава Те, Господи, Царица Небесная!

Х о л о д о в (*подавая руку Тырышкину*). Чего это он, с какой нужды-радости?

Т ы р ы ш к и н. Министра ждёт, а зала пуста.

Х о л о д о в (*Тырышкину*). Так-так: боится из кресла вылететь? Что ж, поможем, встряхнём за шиворот.

Т ы р ы ш к и н. А надо ли?

Снова шаги, голоса в прихожей. Снова зажимается Председатель и молится себе под нос. Входят Б а х р у н и н - 1-й, Б а х р у н и н - 2-й.

Х о л о д о в (*Председателю*). Сыне мой, отверзи очи свои! (*Смеётся*.)

П р е д с е д а т е л ь (*с опаской открыв глаза*). Тебе бы, Холодов, всё шутки шутить. А ты сядь на мое место — тоже взмолишься.

Х о л о д о в. Мне и здесь хорошо. «Грязью играть — лишь руки марать».

Снова шаги, голоса.

П р е д с е д а т е л ь. Иисусе Христе, Пресвятая Богородица...

Входят Щ у к и н ы, отец и сын.

Щ у к и н - с ы н. Вы чего это, Филимон Матвеевич?

Х о л о д о в. О нас, грешных, молится. (*Смеётся*.) Моли Бога о нас, Филимон-угодник!

Смеётся, как и Тырышкин. Прочие улыбаются.

Председатель. Взмолишься тут: министр вот-вот придёт, а вас носит неизвестно где.

Щукин - сын. Так не пройти ж, не проехать по городу. Не Москва — осаждённая крепость. Жандармы, казаки кругом. Революционные элементы...

Председатель. А, чтоб им пусто было!

Красильщиков. Перевешать бы всех!..

Холодов. Тебя — первого.

Входят **Министр** с **Помощником**. Здравуются. Кто встаёт, кто нет.

Председатель (*рекомендует купцам*). Министр торговли и промышленности Одинцов... (*Министр улыбается*.) Простите... (*Смотрит в бумажку*.) Аверинцев Сергей Александрович. Прошу любить и жаловать. Уф! (*Плюхается в кресло, стирает пот со лба*.)

Министр (*всё ещё улыбаясь*). Любить — не обязательно, а вот на помощь вашу, господа купцы, очень рассчитываю. Прежде чем говорить о деле, давайте-ка познакомимся. Представьтесь, пожалуйста, господа.

Председатель (*вскочив, взглянув Министру в глаза*). Весь цвет купечества (*смотрит в бумажку*), Сергей Александрович. Все гильдии, Сергей Александрович: с первой по третью... Ну-с, с кого начнём, господа?

Холодов. С крайнего, господин председатель!

Председатель. Так. Кто у нас крайний? Бахрунин...

Бахрунин - 1-й. А почему я? Пускай вон...

Председатель (*строго*). Аркадий Петрович!

Бахрунин (*стоя, тушуясь*). Бахрунин-с, Аркадий Петрович, купец второй гильдии...

Холодов. А скупец первой!

Все смеются. Бахрунин конфузится и начинает тараторить бездумно.

Бахрунин. ...член городской управы, член Николаевского общества, член попечения семей лиц, ссылаемых в Сибирь, член...

Министр. Довольно, довольно! Член... простите... спасибо. (*Улыбается*.)

Бахрунин садится.

Бахрунин - 2-й. Бахрунин Прохор...

Министр. Братья?

Холодов. Ага! Сводные. (*Смеётся*.)

Бахрунин. Шутка. Однофамильцы мы. Я — Прохор Сергеевич. (*Чётко*.) Купец первой гильдии Бахрунин Прохор Сергеевич. Звания перечислять?

Министр. Ой, лучше не надо — наслушался.

Щукин - сын. Шукин. Сын.

Министр. Чей, говорите, сын?

Щукин - отец. Мой, господин министр... заумная голова. (*Отвешивает сыну оплеуху*.)

Председатель (*встав*). Это Щукины, отец и сын, господин министр. (*Показывает украдкой кулак Щукину-отцу*.)

Поочерёдно, по старшинству, представляются братья Краси́льщи́ковы.

— Краси́льщи́ков Виктор Бенедиктович, купец 1-й гильдии.

— Краси́льщи́ков Цеза́рь Бенедиктович, купец 2-й гильдии.

— Краси́льщи́ков Наполеон Бенедиктович, купец 3-й гильдии.

— Краси́льщи́ков Ипполи́т Бенедиктович, купец 4-й гильдии.

Министр. 4-й же не бывает! (*Все смеются.*)

Краси́льщи́ков - мла́дши́й. Простите, оговорился: купец 2-й гильдии.

Министр. «Цеза́рь», «Наполеон»... Как это?

Холодов. «Американцы» они!

Министр. Не русские, правда?

Краси́льщи́ков - ста́рши́й. Мать полячка, отец русский.

Министр. Отец и сыновья?

Холодов. Четыре брата-акробата.

Министр (*без тени улыбки*). Ну а вы, господин шутник, кто?

Холодов. Холодов, купец 1-й гильдии.

Министр. Фамилия вам подходит как нельзя лучше: морозный вы господин.

Холодов. Всяк человек ложь.

Министр (*Холодову*). Точно. (*Тырышкину.*) И, наконец?..

Тырышкин. Купец 1-й гильдии Тырышкин Афанасий Васильевич.

Министр. Очень приятно... Ну вот и познакомились, господа. Теперь — о деле. Министерство торговли и промышленности планирует...

где-нибудь через месяц созвать в Москве торгово-промышленный съезд. Мы хотим объединить две силы — купечество и промышленность — в одну.

Холодов. А надо ли?

Министр. Даже необходимо. В теперешней России, стоящей под угрозой революции, уже нет места ни прежней идеализации, ни вере. Руки интеллигенции беспомощно опускаются, народ обеднел и обнищал, доньшко казённого сундука показывается всё яснее и яснее, и вся огромная хранилища, которую представляет ныне наше Отечество, начинает расплзаться по швам...

Холодов. И расплзётся: гнилое дерево всё равно рухнет.

Председатель (*осаживает*). Холодов!

Холодов. Что «Холодов»? Пустая это затея, ненужная.

Тырышкин. Что от нас требуется — скажите.

Слышится громкий храп заснувшего за столом Шукина-отца.

Министр (*поглядев на спящего*). Я мог бы говорить много и долго, но вижу: не стоит. Скажу только следующее. Подумайте хорошенько и поддержите идею съезда. Со всеми предложениями обращайтесь к председателю вашего купеческого собрания или к нам, в министерство. Мы будем вам благодарны.

Уходит вместе с Помощником.

Председатель. Холодов, ты что, нарочно? Куражишься и куражишься.

Холодов. Твоё место занять хочу. По домам, что ли?

Некоторые встают, чтобы уйти.

Председатель. Еще минутку внимания! (*Все садятся.*) Английский банк принимает контрвалюту. (*Красильщики переглядываются, переищтываются.*) Из расчёта двенадцать рублей за фунт. Желающие могут таким образом застраховать себя от разорения революцией.

Тырышкин. Как бы сами там они не разорились!

Опять некоторые встают, чтобы уйти. Входят два Офицера.

Первый офицер. Господа купцы?..

Холодов (*подхватывает, передёргивая*). Вы арестованы! (*Смеётся.*)

Бахрунин-1-й и Красильщики — в замешательстве: уж не арест ли это и вправду?

Шукин-сын будит отца.

Шукин-отец (*спросонья*). Что, кончилась опера?

Холодов. Начинается.

Шукин-отец. Где оркестр? Где публика?

Шукин-сын (*громким шепотом*). Папбша, мы не в театре.

Ш-ш-ш...

Шукин-отец. На отца шикать?! Я тебе! (*Влепляет оплеуху.*)

Первый офицер. Господа купцы, Россия в опасности!

Холодов. Да ну? А мы и не знали.

Никто не смеётся.

Второй офицер (*Холодову*). Зря шутите, господин купец: всё очень серьёзно.

Председатель. Может, представите, господа офицеры?

Первый офицер. Командир чёрной сотни (*шум, гул*) ротмистр Коновалов.

Холодов. Тогда вы ошиблись адресом: евреев здесь нет, разве что один-два затесались, да и те православные.

Второй офицер. Не о них речь — о России. Выслушайте, пожалуйста.

Холодов (*с иронией*). Молчу, молчу...

Первый офицер. Мы ошельмованы. «Чёрная» сотня — не скопище антисемитов. Мы не погромщики. (*Холодову.*) Это я вам отвечаю...

Холодов. Мерси, мерси...

Первый офицер. ...Мы за Россию, за русский народ.

Тырышкин. А зачем же громите евреев?

Первый офицер. Это не мы. Это народ расправляется с ростовщиками. И правильно делает: дай им волю — они всех по миру пустят и Москву превратят в Житомир.

Бахрунин-1-й. А говорите: не антисемит.

Первый офицер. Помянете моё слово, когда оно сбудется.

Холодов. Он ещё и пророк, господа. (*Шум одобрения.*) Айда по домам!

Второй офицер (*Первому*). Давай я скажу? (*Тот уступает ему место оратора.*) Господа, зря вы смеётесь и зря нам не верите. Россия в опасности! Да-да, в опасности! И вот почему. Россия больна...

Выкрик. А вы доктора, что ли? (*Кто-то смеётся.*)

Второй офицер. Россия очень больна. Революция доконает её.

Тырышкин. Да не будет никакой революции...

Второй офицер. Мы люди военные и знаем наверное — будет. Сонм недругов сеет её днём и ночью. И посеют, уже посеяли. Полиция сбилась с ног. Правительство бездействует. Царь безмолвствует. И только чёрная сотня пытается что-то сделать.

Холодов *(с издёвкой)*. Благодетели вы наши, кланяемся до земли.

Второй офицер. Зря смеётесь, ой зря смеётесь: вспомните о нас, да поздно будет.

Тырышкин. Чего вы от нас хотите?

Холодов. Денег. Чего же ещё!

Второй офицер. Да, нам нужны деньги... *(Снова шум в зале.)*

Щукин-сын. Они нам тоже нужны...

Второй офицер. Нам нужны не для нас — для России. Мы поднимем народ, вооружим народ. Сотни чёрных сотен спасут мать-Россию... *(Все, кроме Председателя, встают и уходят.)* Господа, Россия в опасности! Господа... *(Жест отчаянья. Садится, трёт мучительно голову.)*

Председатель. Рад бы помочь — нечем.

Второй офицер. Погибла Россия.

Первый офицер. Погибла матушка-Русь.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина третья

Действие происходит в доме Тырышкина.

Столовая. В проёме двери виден рояль. Стол накрыт на три персоны. За столом Афанасий Васильевич, Варвара Михайловна, Татьяна. Прислуживает Данила: разливает по чашкам чай из начищенного до блеска самовара. Слышно, как булькает, наливаясь, кипяток, потом — как хрустит в щипчиках кусковой сахар.

Татьяна. Мама! Папа! Кто такой Джентльмен?

Варвара Михайловна. Человек с хорошими манерами.

Тырышкин. Благовоспитанный человек.

Татьяна. Это я знаю — не то. Кто он, у кого прозвище Джентльмен?

Тырышкин. А! Джентльмен!

Татьяна. Это у него вилла в Петровском парке?

Варвара Михайловна. У него. У кого же ещё! Другого такого пройдоху во всей Москве не сыскать. Дворянчик из обедневшей семьи, разбогатевший на картах. И виллу-то назвал как — «Чёрный лебедь».

Татьяна. Он, значит.

Варвара Михайловна. «Он», «значит»... Что ты хочешь сказать?

Татьяна. Говорят, Джентльмен проиграл в карты фабриканту... фамилию забыла, трудная такая фамилия...

Тырышкин. Бостанжогло.

Татьяна. Вот-вот — Бостанжогло... Миллион рублей проиграл.

Варвара Михайловна. Миллион рублей?!

Татьяна. За одну ночь.

Варвара Михайловна. Миллион рублей за одну ночь?! *(Татьяне.)* А ты от кого знаешь? От Холодова от Тимофея Саввича? *(Татьяна кивает.)* Ты с ним это... не больно-то откровенничай: знаешь пословицу? «Где кто отобедает, всё изведает».

Т а т ь я н а. Он хороший, мама.

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Все мы хорошие. До поры до времени. (*Смотрит на мужа.*) Налей-ка, Данила, еще чашечку, а потом ступай: справься в кухне, не готов ли пирог. Коль готов, то неси.

Данила, налив чаю, уходит. Все молчат.

Входит Д а н и л а.

Д а н и л а. Директор гимназии пожаловали-с.

Т ы р ы ш к и н. Скажи ему: не могу принять — занят.

Д а н и л а. Сказал-с, а они настаивают.

Т ы р ы ш к и н. Скажи, я болен.

Д а н и л а. И эдак им говорил — не верю.

В а р в а р а М и х а й л о в н а. То занят, то болен. Кто ж поверит — никто. У, бестолковщина!

Т ы р ы ш к и н (*Даниле*). Скажи: деньги дам. Завтра же. Сам привезу.

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Не много ли чести, Афанасий Васильевич?

Т ы р ы ш к и н. Иди, Данила, иди.

Д а н и л а. Так и сказать, барин?

Т ы р ы ш к и н. Так и скажи.

Данила уходит.

В а р в а р а М и х а й л о в н а (*мужу*). Не понимаю — зачем ты его держишь? От него проку — как с вороны перьев.

Т ы р ы ш к и н. «Верен раб — и господин ему рад». Знаешь?

В а р в а р а. Да-а? А это ты слышал? «Где правит раб господский дом, хозяин сам живёт рабом».

Т ы р ы ш к и н. Он служил у нас, Варвара Михайловна, когда у нас ещё... в общем, давно.

Т а т ь я н а. А я его столько же, сколько себя, помню. Я даже... смешно это... сперва думала, что он... мой отец.

Т ы р ы ш к и н. В ту пору я много работал. Капиталец-то мне от отца достался — одни слёзы. С того и...

Дверь распахивается. Входит Д а н и л а спиной вперёд, растопырив руки.

За ним Щ у к и н - с ы н, одетый в форменную шинель ведомства народного просвещения, с синими отворотами, обутый в сапоги «бутылками».

Д а н и л а (*пятясь от двери*). Господин, господин, извольте выйти! Извольте...

В а р в а р а М и х а й л о в н а (*с куском во рту*). Это же Щукин-сын! (*Зажимает ладонью рот, ужаснувшись произнесённому.*)

Щ у к и н - с ы н (*Даниле*). Да отвяжись ты, старый!

Т ы р ы ш к и н. Данила!

Д а н и л а (*посторонившись*). Слушаю, ваше степенство!

Т ы р ы ш к и н. Это же Щукин Пётр Иванович. Купец, сын купца, а ты... Что же ты?

Д а н и л а. А чего ж они как директор гимназии ходют. (*Щукину*.) Простите, ваше степенство. Да ежли б я знал, стал бы я нешто препятствовать! Да и силов нет гнаться за юношей, насилу выдюжил.

Т ы р ы ш к и н (*Щукину*). Вы уж простите его, Пётр Иванович. А ты, ты, Данила, снеси вниз... пальто Петра Иваныча.

Д а н и л а (*снимая шинель*). Нешто это пальто? Шинель, шинелишка... Я в эдакой-то ишо войной на турку хаживал. (*Уходит с шинелью в руках.*)

В а р в а р а М и х а й л о в н а (*Щукину*). Говорила я вам: одеваться следует сообразно сословию, и...

Т ы р ы ш к и н (*перебивает*). Варвара Михайловна... распорядитесь пойдите: чаю Петру Иванычу.

Щ у к и н. Благодарствуйте. Чаю не надо. Я сейчас же — обратно.

Варвара Михайловна всё равно уходит, за ней и Татьяна.

Т ы р ы ш к и н. Дело ко мне или как? (*Пододвигает гостю стул.*)

Щ у к и н (*садится*). И не то чтобы дело — просьбишка самая малая.

Т ы р ы ш к и н (*подсаживаясь поближе*). Слушаю.

Щ у к и н. Как это?.. словом... ну...

Т ы р ы ш к и н. Говорите как есть, Пётр Иванович: чем смогу — помогу.

Щ у к и н. Мой отец... знает...

Т ы р ы ш к и н. Он был у меня сегодня... Простите, что перебил...

Щ у к и н. Что ему нужно было? Если не секрет, конечно.

Т ы р ы ш к и н. Что вы! Какой секрет. Отец ваш просил продать ему рояль.

Щ у к и н. Рояль? Зачем он ему?

Т ы р ы ш к и н. Он не для себя — для театра. В театре рояль преставил-ся... ой! В общем, рояль нужен театру, а мой самый тот: старинный, немецкий, второго такого во всей Москве нет.

Щ у к и н. Рояль, театр... Повредился он на театре, что ли? Едва ходит уже, а сам одно твердит: театр, театр. Мало ему, видно, расходов на спектакли, где он больше спит по старости, нежели оперу слушает в своей ложе. Теперь вот рояль. Да что рояль! Завещание написал: завещаю всё моё имущество, движимое и недвижимое, Большому театру. А мы-то как же жить должны — я и все остальные?

Т ы р ы ш к и н. До чего сильна, гляди-ка, страсть человеческая! (*Помолчав.*) Завтра я увижусь с ним в управе. Собирается он туда или нет?

Щ у к и н. Обязательно будет — дело у него там какое-то. Если не захворает вдруг: на дворе метель, а он... И снег-то ему нипочём будто, и ветер.

Т ы р ы ш к и н. Не заболает, нет: порода не та.

Щ у к и н. Порода-то да, но годы, годы какие!

Т ы р ы ш к и н. В общем, поговорю я с ним, а там, как говорится, что Бог на душу положит.

Щ у к и н. Благодарствуйте, Афанасий Васильевич!

Т ы р ы ш к и н. Кланяйтесь от меня Ивану Самсоновичу.

Щ у к и н. До свидания!

Тырышкин провожает его до двери, затем возвращается к столу.

Входит В а р в а р а М и х а й л о в н а.

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Чего он припёрся-то? Одолжиться на одежонку по чину? Ха-ха! Молодец Данила, что не впускал его, — нечего. Пусть сперва уважительный вид займёт... Вот потеха: купца к купцу не пусти-и-ли...

Т ы р ы ш к и н. Смейся, смейся, Варвара, только гляди: как бы плакать потом не пришлось.

Варвара Михайловна. И поплачу — с меня не убудет, слёз не жалко. (*Садится к столу, трогает рукой самовар.*) Самовар остыл. Пей теперь чай холодный.

Тырышкин. И попою. (*Потрогав самовар.*) И не остыл он вовсе, зря говоришь.

Входит Татьяна, за ней Данила.

Данила. Холодов Савва Тимофеевич пожаловали-с.

Варвара Михайловна. Сказал — и стоит! (*Даниле.*) Беги вниз, встречай, веди! И чайный прибор не забудь смотри. Без пяти минут свёкор прибыл, а он стоит остолопом...

Тырышкин. «Свёкор»... Ну-ну.

Данила. Где уж мне бежать-то, Варвара Михайловна! И не стою я вовсе, иду уже.

Варвара Михайловна (*Даниле*). Много разговаривать стал. Смотри у меня!

Данила уходит. Входит Холодов - отец.

Холодов. Приветствую тебя, забытый уголок!

Варвара Михайловна (*Татьяне, вполголоса*). Иди понарядней оденься... (*Прихорашивается, глядится, как в зеркало, в самовар.*)

Холодов (*вслед Татьяне*). Куда это она?

Варвара Михайловна. Сейчас вернётся. Милости просим...

Тырышкин. Садись. Как раз чай пьём.

Холодов. А я бы водочки выпил — замёрз что-то.

Данила вносит и ставит на стол перед Холодовым чайный прибор, наливает чаю.

Тырышкин. Замёрзнуть немудрено: метель, зима.

Варвара Михайловна. Холодно.

Холодов. Холодову холодно. Каламбур, сосед и соседushка... Чё это у вас шкаф не на месте? (*Встаёт.*)

Тырышкин. Тяжеленный он, не сдвинешь, брось.

Холодов. Так уж и не сдвину... (*Ставит шкаф на место.*)

Варвара Михайловна. Ай да силища у вас, о-го-го!

Холодов. Я-то что? А вот прадед мой, говорят, вправду силён был. Идет берегом — мужики, четверо, корячатся: бревно от земли оторвать не могут, а баржа не ждёт, нет. «Отойдите, — говорит, — каракатицы». Те — отпрянули. Взялся-то, а и впрямь тяжело, неподъёмно прямо. Взлился на себя и — раз! — скovyрнул бревнище да на баржу кинул. Помер на второй день. Надорвался.

Варвара Михайловна. Зато нос утёр.

Холодов. Что-то я шёл рассказать вам... А! Расскажу — обхохочетесь. Приходит, значит, Бахрунин...

Варвара Михайловна. Это который же? Тот, что получил генеральский чин да отказался, простяк, от дворянства?

Холодов. Стал бы я над ним потешаться. Что вы, Варвара Михайловна! Сколько он добра Москве сделал! Ремесленное училище, дом бесплатных квартир...

Варвара Михайловна. Мы с вами тоже кое-что дали городу...

Холодов. Дали — да, но не столько же, нет? Так о чём я? А, байка моя!

Тырышкин. Байка?

Холодов. Быль, самая настоящая быль. Слушайте. Приходит, значит, этот, который «кажное воскресенье ходит на Сухаревку и торгуется там, как еврей», книги, видишь ли, собирает... чтоб ему пусто было! А тот в коридоре стоит.

Варвара Михайловна. Кто, в каком коридоре?

Холодов. Да Алексеев, городской голова наш!

Варвара Михайловна. А-а, понятно, кто.

Холодов. Вокруг, значит, люди, просители рядом. Бахрунин — к нему. Тебе, говорит, я слышал, деньги нужны на больницу для престарелых, я — дам. «Нужны, ой как нужны!» Это Алексеев ему, не скрывая своей нужды-радости. А тот, подлец, говорит: поклонись мне в ноженьки — пятьсот тыщ твои... Каково, а?

Варвара Михайловна. И что Алексеев, поклонился?

Холодов. Ябни за что, а Алексеев — да. И как? Как холоп своему барину.

Варвара Михайловна. Слюнтяй!

Холодов. Вот и я говорю: слыхано ли, чтоб столбовой дворянин да в ножки мешанину!..

Тырышкин. Э, не скажи. Алексеев-то не ради себя — ради общества. Молодец, я бы сказал.

Холодов. Даже и так — зря. Было бы перед кем: купчик-то так себе, поползень.

Тырышкин. Его уж и в живых нет.

Холодов. Как нет? С таких как с гуся вода.

Тырышкин. Не о Бахрушине я, об Алексееве. Убит выстрелом из револьвера в собственном кабинете.

Варвара Михайловна. А ты как знаешь, Афанасий Васильевич?

Тырышкин. Утром в газете прочитал.

Холодов. Да-а... А ведь прошло-то день или два.

Тырышкин. И кому помешал только? Хороший был человек.

Холодов. Все там будем.

Тырышкин. Эх, Москва, Москва...

Холодов. То ли ещё будет!

Варвара Михайловна. Революция будет.

Холодов. И пускай. Надоело всё.

Варвара Михайловна. А как отберут все движимое и недвижимое?

Тырышкин. Устанут отбирать!

Варвара Михайловна. И не спросят — отнимут.

Холодов. Я так и сам отдам. Заживём вровень: ни богатых, ни бедных — Божье царство, рай.

Варвара Михайловна. А как ад, а не рай?

Холодов. Пулю в лоб и — туда же.

Тырышкин. Я не ты. Мне богатство с неба не свалилось. Я на него жизнь положил. Не отдам!

Холодов. Революция — она, брат, не спросит.

Варвара Михайловна. Революция — смерч.

Тырышкин. Революция, революшин, революцион — к чёрту! Давайте о чём-нибудь другом разговаривать.

Холодов. Красильщикиковы на Пречистенку перебираются...

В а р в а р а М и х а й л о в н а. А мы в Антипь... (*Муж наступает ей под столом на ногу.*) в Антипьевском переулке... намердн... Хлудова видели: приценивался к Колымажному двору.

Х о л о д о в (*с недоверием*). Да-а? А я слышал, будто он остатнее пропивает, вот-вот по миру пойдёт. Трезвый был-то хоть?

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Трезвый... (*Тырышкин опять наступает ей на ногу, и опять с опозданием.*) Как стёклышко.

Х о л о д о в. Не знаю. Я его трезвым сто лет не видал. (*Смотрит испытующе.*)

В а р в а р а М и х а й л о в н а (*желая перевести разговор на другое*). Чего это вы, Савва Тимофеевич, эдак-то?

Х о л о д о в (*с недоумением*). Чего я «эдак-то»?

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Варенье, говорю, зачем сахарком посыпаете? Оно же и так сладким-сладкое.

Х о л о д о в. А, это! Привычка, знаете ли, с детства осталась. Отец мой, покойник, ещё жив был. Овдовел он, мне годов восемь было, вдругорядь женился, а мачеха... Мачеха нас, детей, чуть не голодом морила. Это — когда отца дома не было. Так мы с сёстрами при отце сахар-то впрок ели. Чтоб потом пустого чаю попить — всё слаще как будто... Когда ещё это было, а по сей день ем сахар, ем и никак наестся не могу. Такая вот «сахарная» история.

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Да, горько жить от мачехи пасынку, но ведь не сладко и мачехе от пасынка?

Х о л о д о в. Это я уж потом понял, когда поздно было.

Входит Т а т ь я н а.

175

Т а т ь я н а. Позвольте вас поприветствовать, Савва Тимофеевич! (*Отвешивает поклон.*)

Х о л о д о в. Здравствуй, здравствуй, красавица! А наряд-то какой, наряд: ой-ёй-ёй-ёй!.. Скоро сватов пришло, готовьтесь, сосед и соседушка.

В а р в а р а М и х а й л о в н а (*Татьяне*). Поиграй для Саввы Тимофеевича. (*Данила, жестом подозвав его к себе.*) Принеси-ка шампанского, быстро!

Данила уходит. Татьяна садится к роялю.

Х о л о д о в. Музыка я люблю. Вчерась только слушал одного композитора... Тимофей с улицы привёл... Фамилия не то Сорский, не то Мусорский, дрянь фамилия, а играет, я вам скажу, музыку сильную. Я так чуть не заплакал, слушая. Каково, а? И ведь ни гроша-то у него в кармане нет, у этого, не сомневайтесь, большого композитора. Дал ему сто рублей, пусть поест досыта — может, чего ещё стоящего напишет. Ну да... заболтался я. Давайте-ка Татьяну послушаем.

Короткий перебор, проба нот, и вот он — вальс Грибоедова.

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Какая милая музыка...

Т ы р ы ш к и н. Какая же страшная...

Наступает молчание. Вальс звучит дальше. До самого конца.

Х о л о д о в. Хороший вальс. И ведь поэт написал! Наверное, сказал что-то этой своей музыкой.

Тырышкин. Разве ж узнаешь, что.

Холодов. В том-то и прелесть вся, очарование. А знаете?.. (*С хитрой поглядывает на чету Тырышкиных.*) Он ведь бывал в Колымажном дворе. (*Тырышкин опускает голову, Варвара Михайловна не моргнула и глазом.*) Антипьевский переулок, дом номер четыре. Там в парадной прихожей лестница есть. Так возле неё-то он и задумал четвертую часть своего «Горя от ума».

Тырышкин. Хорошо сказано: своего горя от ума. Это — наше проклятие...

Данила приносит шампанское.

Варвара Михайловна. Ну, заговорились совсем. Давайте-ка выпьем шампанского.

Татьяна. Мама, я пойду? Можно?

Холодов. Ступай, конечно. Ты ж не тапёр — забавлять нас. (*Татьяна уходит.*) А шампанское, Варвара Михайловна, я не пью-с.

Варвара Михайловна. Как так, Сова... ой! Савва Тимофеевич?

Холодов. Не пью, и всё. Странно, да? А кто, скажите на милость, не имеет какой-либо странности? Вот ты, например, Афанасий Васильевич, говорил мне подшофе (*Тырышкин наступает ему под столом на ногу.*) в «Эрмитаже»... А чего ты стыдишься-то? Ничего тут зазорного нет... Говорил, что и дня не бывает, чтобы ты не отведал своего любимого лакомства — спаржи. Растеньице, я вам скажу, так себе, но вкусно, вкусно — спорить не стану. Только стоит ли того, чтоб ели его изо дня в день? Нет же? Нет. А вот мне не мешало бы испробовать твоего любимого кушанья. Может, угостишь, Афанасий Васильевич?

Тырышкин. Спаржа, батенька, кусается: пять рубликов фунт!

Возвращается Данила, ушедший было за водкой по приказанию Варвары Михайловны, сделанному меж разговорами. Приносит и пирог.

Варвара Михайловна. А вот и водка и пирог. Готовьте, Савва Тимофеевич, тост.

Холодов. Это мы запросто, сколько угодно.

Татьяна (*в дверном проёме*). Папá! Можно тебя на минутку?

Тырышкин (*уходя*). Я — сейчас.

Скрывается за дверью вместе с Татьяной.

Холодов. Знаете пословицу: кто где отобедает, всё изведает?

Варвара Михайловна. И что же вы узнали?

Холодов. Что всё у Тырышкиных хорошо, никто не в обиде.

Варвара Михайловна. Плохо ж вы смотрите... или у самого та же история. (*Встаёт, направляется к окну.*) Знаете, что я хочу?

Холодов. Догадываюсь примерно. (*Идёт за ней.*)

Варвара Михайловна. Вы думаете?!

Холодов. А может, и нет: женщина часто и сама не знает, чего ей хочется.

Варвара Михайловна. Я — знаю. (*Помолчав.*) Скинуть бы лишние годики да на бал. В Благородное собрание. Как бы я танцевала, эх! Ни одного бы танца не пропустила. Танцевала б и танцевала. Досыта, впрок!

Холодов. А я и вовсе танцевать не умею: ни польку, ни вальс — ничего. Мачехе не до нас было.

Варвара Михайловна. Время, время... Кто придумал тебя?

Холодов. Люди. Какой-то чудак, как вы или я.

Варвара Михайловна. И зачем родились мы, и зачем живём?

Холодов. Зачем-зачем... не знаю — зачем.

Варвара Михайловна. А я, кажется, начала понимать. Неправильно мы живём, не-пра-виль-но... Ой, снегири! Двое... (*Смотрит влюблённо на Холодова.*)

Холодов (*цитирует Державина*). «Что ты заводишь песню военну / Флейте подобно, милый снигирь?»

Варвара Михайловна. Я не то хотела сказать... Вы вот такой человек...

Холодов. «С кем мы пойдём войной на Гиену? / Кто теперь вождь? Кто богатырь?»

Варвара Михайловна (*приближаясь к Холодову вплотную*). Можно, я на вас посмотрю?

Холодов. «Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?..»

Варвара Михайловна. Вот вы какой, оказывается...

Холодов. «Полно петь песню военну, снигирь!»

Варвара Михайловна (*глядя в лицо*). Жизнь в глазах, сила и жизнь.

Холодов. Сила и жизнь, говорите? Ошибаетесь, милая вы моя. Это другое — смерть.

Варвара Михайловна (*испуганно*). Смерть?!

Холодов. Пустота это, скука и пустота... Смотрите, они улетают. И он... и она.

Варвара Михайловна. Он и она...

Входит Тырышкин.

Тырышкин. Что там такое... любопытное?

Холодов (*оглянувшись, с безразличием в голосе*). А! Жандармы кого-то волокут. Революционер, что ли. А может, и террорист.

Тырышкин. Где?! Покажите!

Холодов. Вон за тем домом скрылись. Не успел ты... (*Отходит от окна.*) Может быть, выпьем наконец?

Тырышкин. Какой он хоть из себя был? (*Жене.*) Не «наш», не тот?

Варвара Михайловна. Другой, старый совсем. (*Идёт к столу, благодарно взглядывая на Холодова.*)

Тырышкин (*сядась*). Когда из Таганрога гроб Александра Первого везли, так в толпе говорили, будто гроб пустой и будто бы император не умер.

Холодов (*за столом*). Я так застрелюсь когда, и обо мне то же самое скажут.

Варвара Михайловна. Зачем мрачно так шутите?

Холодов. Шучу ли?... Что пить-то будем?

Варвара Михайловна. Вот, «Смирновская». Годится, нет?

Холодов (*дурачась*). Очень уважаем-с.

Варвара Михайловна (*наливая в рюмку*). Вот и ладненько, вот и хорошо...

Холодов (*отодвигая налитую рюмку*). Эдакими напёрстками я не пью.

Варвара Михайловна. Разве ж это напёрстки?

Холодов. А то что ж!

Варвара Михайловна. Стаканы, что ли, подавать? А, Афанасий Васильевич?

Холодов. Их-с, их-с — самая подходящая посуда.

Тырышкин (*берёт бутылку*). Это как посмотреть...

Холодов. Да хоть как смотри — самое то.

Тырышкин (*налив Холодову в стакан, себе — в рюмку*). Ну-с?

Холодов. Э, нет! Так не годится. (*Берёт пустой стакан, наливает дополна водкой, ставит перед Тырышкиным.*) Теперь видно, что ты купец. А маленькую (*берёт рюмку у Тырышкина*) Варвара Михайловна выпьет. (*Ставит перед ней.*)

Варвара Михайловна. Хоть бы половинку налили. Куда мне столько! Захмелею я.

Холодов. И ничего страшного: маленько — не повредит.

Тырышкин (*подняв стакан, с неудовольствием посмотрев на него*). И за что выпьем?

Холодов. Чтобы рай настал на земле! Или же ад.

Варвара Михайловна. Ад?! Ну уж нет! Рай — пусть будет, но ад!..

Тырышкин. Что рай, что ад: не желаю там жить.

Варвара Михайловна. А я бы хотела... Птицы райские, райский сад. Красота ненаглядная... Может, встретимся там. (*Смотрит на Холодова.*)

Холодов. Вряд ли. Мне так гореть в аду, ну а вам, может быть, и рай уготован.

Варвара Михайловна. А сходить разве нельзя? К матушке, к батюшке...

Холодов. Пропасть — между: не докричишься, не разглядишь.

Варвара Михайловна. Я тогда... в ад сойду. Пустят?

Тырышкин. Заслужить надо и ад.

Варвара Михайловна. Заслужу — надо будет, не сробею. Выпьем, что ль?

Холодов. Предлагайте свой тост, а то я опять... хм-гм... спровоцирую на дискуссию.

Тырышкин. Может, за дорогу... холодовско-тырышкинскую?

Холодов. Как! Вы ещё не обмыли? Ну, братцы, так нельзя!

Тырышкин. Если всё обмывать, так недолго и...

Холодов. Не скажи, Афанасий Васильевич. По уму если — так сам Бог велит.

Тырышкин. Хлудов — тоже с благословения? Так, по-твоему?

Холодов. А то ты не знаешь! Хлудов-то с горя пьёт. Поманила купца графинюшка... как её бишь?

Тырышкин. Органова.

Варвара Михайловна. Органова.

Тырышкин. Органова.

Варвара Михайловна. Органова.

Холодов. Пусть будет с двойной фамилией: (*Смеётся.*) Органова-Органова... Ну и закружила влюбленного и разорила. Ой одаривал он её, ой одаривал! Ну и разорился купец, а она, она шмыг к другому — и забыла дружка сердечного.

Варвара Михайловна. Ну а он её не забыл, значит?

Холодов. Выходит, что не забыл, раз так.

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Занятная (*смотрит на мужа*), поучительная историйка.

Х о л о д о в (*поёт*). Я поднимаю свой бокал, чтоб выпить за её здоровье...

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Под такой тост я не стану пить.

Х о л о д о в. Шучу я, Варвара Михайловна. Разве не видите? Да и был уже тост. Помните? Выпьем же за то, чтобы к холодовской ладно пристроилась тырышкинская железная дорога и чтобы принесла семейству Тырышкиных баснословную прибыль!

Т ы р ы ш к и н. Довольно и того, чтобы затраты окупились.

Х о л о д о в. Окупятся, Афанасий Васильевич! Должны окупиться. Да здравствует холодовско-тырышкинская железная дорога!

Выпивает легко, за ним Тырышкин не без труда, потом Варвара Михайловна; выпив, тянется к закуске и так смешно притопывает ногами, часто-часто, что не смеяться нельзя.

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Ой! Ой! Закусить! Скорей!.. Ой, в ноги ударило.

Х о л о д о в. Здоровей будете, Варвара Михайловна.

Т ы р ы ш к и н (*захмелев сразу*). Жить хочется...

Х о л о д о в. Али ещё по одной, а?

Т ы р ы ш к и н. Наливай давай: пить так пить!

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Повременили б, Афанасий Васильевич, и так вон глаза помутнели.

Т ы р ы ш к и н. Разве ж я пьян? Так, самую малость. (*Хочет налить, Холодов забирает у него бутылку.*)

В а р в а р а М и х а й л о в н а. А мне сегодня матушка моя приснилась. Будто бы сидим мы с родителями вот как сейчас вот: самовар на столе, оладьи. Матушка и говорит мне: налей чаю, доченька. У меня, говорит, что-то сил нет. Ну я чашку взяла, кран повернула, а кипяток-то не льётся! Я говорю про то, а голоса-то и нет!..

Х о л о д о в. Помянуть надобно.

Т ы р ы ш к и н. Не к добру сон.

Входит Д а н и л а.

Д а н и л а. Савва Тимофеевич пожаловали-с.

Х о л о д о в. Кто-кто?!

Т ы р ы ш к и н. Какой еще Савва Тимофеевич?

Д а н и л а. Известно какой — Холодов.

Х о л о д о в. А я тогда кто?

Д а н и л а. Вам лучше знать, кто вы есть.

Т ы р ы ш к и н. Данила, ты что-то путаешь. Вот это — Холодов Савва Тимофеевич, а там, там кто?

Д а н и л а. Там — Холодов, Савва Тимофеевич. Они-с сами назвались, я их-с не спрашивал.

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Так пойди и спроси. (*Купцам.*) Может, то и не человек вовсе, дух какой. Стало быть, сон в руку?

Х о л о д о в. Самозванец-дух? Хотел бы я взглянуть на него. Пойти, что ли?

Т ы р ы ш к и н. Зачем? Сам придёт. Данила, спустись к нему: пусть сюда идёт.

Д а н и л а. Слушаю-с, барин. (*Уходит.*)

Т ы р ы ш к и н. Вот так да!

Х о л о д о в. Вот так номер — чтоб я помер!

В а р в а р а М и х а й л о в н а. А что, если и вправду дух? Прилетел за грехи наши...

Х о л о д о в. Сейчас узнаем. Эх, зря я не пошёл туда, я б ему крылья-то оборвал, общипал бы, как курицу.

Т ы р ы ш к и н. Нету там никого, да и не было. Сослепу привиделось старому, вот и всё.

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Ага... А имя тогда откуда? А фамилия?

Входит Д а н и л а.

Т ы р ы ш к и н (*Даниле*). Ну что, никого нет?

Д а н и л а. Почему нет? Есть. Вот они-с...

Распахивает дверь. Варвара Михайловна открывает рот, округляя глаза. Тырышкин привстает со стула. Холодов уже встал с засученными рукавами. В дверном проёме — родной сын Холодова, Т и м о ф е й С а в в и ч. Первым начинает смеяться сам

Холодов, едва успев крикнуть: «Тимоха!», за ним — Тырышкин, а там и Варвара Михайловна. Приступ смеха не даёт им говорить.

Т и м о ф е й (*переступив порог*). Что это значит, люди? Что это значит?

В ответ ему — новый взрыв хохота, смеха-грохота. Данила и тот смеётся, только беззвучно, по-стариковски.

Х о л о д о в. Ой! Ой, не могу... (*Гогочет-грохочет.*)

Т ы р ы ш к и н. Ох! Ох-хо-хо-хо... (*Хватается за живот.*)

В а р в а р а М и х а й л о в н а. Их! Их! Их-хи-хи-хи!

Тимофей подходит к отцу, трясёт его за плечо. Тот не в силах остановиться. Отгалкивает в кураже сына: «Уйди, самозванец-дух!» И опять задыхается от смеха.

Тогда Тимофей подходит к Тырышкину.

Т и м о ф е й. Может, вы объясните, что происходит?

Т ы р ы ш к и н. Сейчас... ха-ха! Сейчас... (*Садится на стул, Тимофей — на другой.*) Уф! Уф!.. Вы — Тимофей Саввич...

Т и м о ф е й. Ну.

Т ы р ы ш к и н. Отец ваш — Савва Тимофеевич...

Т и м о ф е й. Ну.

Т ы р ы ш к и н. А Данила...

Т и м о ф е й. А Данила — Данила. Ну.

Х о л о д о в. Болван! (*Хохочет снова.*)

Т и м о ф е й. Болван. Ну.

Холодов взвизгивает от смеха, смеются с новой силой и остальные.

Х о л о д о в. Ну да ну — точно: болван! (*Грохочет-хохочет.*)

Т и м о ф е й. Кто болван?

Х о л о д о в (*сквозь хохот-смех*). Ты, ты болван.

Т и м о ф е й. Я?! Ну, знаете!..

Уходит, почти бежит. Варвара Михайловна кидается вдогонку, скрывается вместе с ним за дверью. Смех начинает ослабевать, отпускает совсем. Данила уходит.

Тырышкин. Нехорошо получилось.

Холодов *(про сына)*. Сам виноват. Сказал бы: Тимофей, а то *(передразнивает)* Тимофей Саввич. Вот Данила и спутал.

Тырышкин. Всё равно нехорошо получилось: человека обидели.

Холодов. Зато посмеялись до чёртиков. Сто лет не смеялся так. Ну насмешил, ой насмешил, тетеря!

Тырышкин. Чё теперь делать-то? А?

Холодов. А ничего. До дому дойдёт — забудет. А не забудет — тоже наука. Айда-ка лучше в «Эрмитаж»: там тоже весело.

Тырышкин. В «Эрмитаж», говоришь?

Холодов. Гулять так гулять!

Тырышкин. А! Поехали!.. *(Уходят.)*

Сцена некоторое время пуста.

Входит Варвара Михайловна.

Варвара Михайловна. Ушли. Оба. В «Эрмитаж», поди, подались. К цыганам. К людям. А ты тут одна сиди: скучай, тоскуй, умирай... *(Подходит к столу, наливает водки, выпивает, кривясь, но не топает ногами, как в прошлый раз,— только передёргивается от выпитого.)* Ух! Обожгло как... Ничего, Варвара, крепись. И пей, пей! Так нужно. *(Наливает ещё, выпивает.)* Ух!.. Глупо... Глупо... живём... Как глупо живём мы! И зачем живём? Один раз, и глупо так, так глупо... Жизнь почти прошла, а что было в ней? Детство. Одно только детство, сад и река. И любви-то никакой не было. И... не будет. *(Ещё выпивает.)* Встретила б его раньше, пока девицей была, а теперь, теперь... Видит ведь, что люблю, и ни-ни, будто слеп, будто глух... Опьянела совсем. *(Качнувшись, садится за стол, видит свое отражение в самоваре.)* Что делать, Варя? Что делать? *(Поднимает рюмку, чокается сама с собой о самовар.)* Пей, подружка, пей... Надо, сегодня надо. *(Выпивает, подпирает рукой голову. Смотрит на свое отражение.)* «Милая вы моя...» Милая. Ми-ла-я...

Запевает песню, поёт-шепчет, потом громче поёт, проникаясь всем смыслом слов; выпевает, выплакивает песню, подобную народной «Но нельзя рябине к дубу перебраться...»

Милая, ты красивая,
Ты хорошая, лучше всех.
Только, видно, ты несчастливая,
Раз ты встретила, как на грех,
Утомлённого жизнью скучною,
Одинокого, невезучего.
Ты ему нужна, он — тебе, а он:
«У меня жена, я в неё влюблён».
Милая, ты красивая,
Ты хорошая, лучше всех.
Только, видно, ты несчастливая,
Только, видно, ты не из тех,
Кому чудится, кому кажется,
Что любятся ими с завистью,
Чьей красы не жаль, ведь не первоцвет.
Ой ты, грусть-печаль, счастья в мире нет.

Из-за двери выглядывает Татьяна и снова прячется.
Варвара Михайловна поёт как пела:

Милая, ты красивая,
Ты хорошая, лучше всех.
Только, видно, ты несчастливая.
Эх ты, жизнь-тоска, эх ты, эх!
Милая, ты красивая...
Почему же ты несчастли-ва-я?

Т а т ь я н а входит.

Т а т ь я н а. Мама, что с вами?
В а р в а р а М и х а й л о в н а. Со мной? Ничего. Ни-че-го.
Т а т ь я н а. Вам плохо, мама?
В а р в а р а М и х а й л о в н а. Эх, Танечка, какая я тебе мама?! Твоя
мама... Будь ты моя дочь... Эх, Таня, Таня!..
Т а т ь я н а. Я доктора позову...
В а р в а р а М и х а й л о в н а. Какой доктор, девочка? Тут сам Бог
не поможет! Иди, Таня, иди...
Т а т ь я н а. Может, я всё-таки...
В а р в а р а М и х а й л о в н а. Я сказала, иди...

Встаёт, поворачивается к окну, идёт туда. Оглянувшись, Татьяна уходит.

В а р в а р а М и х а й л о в н а (у окна). Говорила мать: не ходи за
вдовца, себя пожалей. Не послушалась, глупая. Вот и маюсь теперь, злюсь
да жалуюсь.

Смотрит за окно. Доносится крик извозчика: «Побереги-ись!»
и удаляющийся дробный стук копыт.

Щас бы в тройку почтовую — да на родину! Сколько лет уж не была там.
Цел ли дом отцов, жив ли? Над могилкой бы постоять у отца, у матери.
Иль сравнялись с землёй их могилушки? Эх ты, жизнь бестолковая, глупая...
(Достает носовой платок, прикладывает к глазам.)

Картина четвёртая

Действие происходит в ресторане «Эрмитаж». (Стены, особенно заднюю, покрыть зеркалами: помещение станет на вид больше и многолюднее.)

Зала ресторана. В глубине её — сцена, на которой стоит группа цыган, играющих
какую-то цыганскую музыку. Слышатся звон бокалов, голоса, смех.
За передним столиком — Т ы р ы ш к и н и Х о л о д о в, уже изрядно пьяные,
около сцены — Х л у д о в. Между теми и этим, кто где, — остальные к у п ц ы.

Х о л о д о в (Тырышкину). Характера в тебе нету...

Т ы р ы ш к и н. Как это нету?

Х о л о д о в. Ты никогда не сделаешь ничего такого, что я бы сделал.

Т ы р ы ш к и н. Например?

Х о л о д о в. Например? Например... А слабо тебе бороду сбрить?

Т ы р ы ш к и н. Бороду?

Х о л о д о в. Бороду, бороду.

Т ы р ы ш к и н. Её-то и ты сам не сбреешь. Ни за какие деньги. Потому
как безбородого купца настоящего не сыскать не то что в первопрестоль-
ной — во всей России. Это ж как голым ходить.

Холодов. Сбрею!
 Тырышкин. Нет.
 Холодов. Может, пари?
 Тырышкин. Как это?
 Холодов. Сыграем в орлянку: кто проиграет, тому и характер показывать. Идёт?
 Тырышкин. Идёт.
 Холодов. Честное купеческое?
 Тырышкин. Честное купеческое.
 Холодов (*поигрывая монеткой*). Орёл или решка?
 Тырышкин. Решка.
 Холодов (*подкинув и поймав монетку*). Скорлупа ты от орешка... Ха-ха... Орёл! (*Показывает.*) Тебе без бороды быти.
 Тырышкин. Буду.
 Холодов (*взяв в руку бутылку*). Ещё по одной?
 Тырышкин. Не хочу.
 Холодов. Надо, батенька, надо. (*Наливает.*) Хлудов-то, посмотри, совсем пьян, а ты?.. Нехорошо, брат.
 Тырышкин (*ища глазами Хлудова*). Где он?
 Холодов. Вон — за последним столиком. Видишь?
 Тырышкин (*увидав*). Пропал человек. (*Крутит в руке рюмку.*) И мы пропадём.
 Холодов. Типун тебя на язык! (*Понюхав чарку и сморщившись.*) А вон, чуть ближе, — Красильщиковы. Все четверо. И все американские сигары курят. Америкашки!.. И ни один не пьян. Зачем только они сюда ходят?
 Тырышкин. Себя показать, на людей посмотреть. А может, цыган любят.
 Холодов. Такие, как они... будь здоров! (*выпивает*) никогошеньки не любят. (*Тянется за закуской.*) Сюда Хлудов идёт, пьяный в стельку.
 Хлудов (*подойдя, заплетаящимся языком*). Бонжур, господа! Позвольте присесть.
 Тырышкин. Пожалуйста!
 Холодов. Шёл бы ты лесом!
 Хлудов. Благодарю! (*Садится.*) Шерше ля фам, господа!
 Холодов (*бретёрски*). Вы что-то изволили сказать, сударь?
 Хлудов. Ищите женщину — по-французски.
 Холодов (*тем же тоном*). Зачем она тебе? Ты ж нашёл уже.
 Хлудов. Нашёл (*икает*) и потерял.
 Холодов. Баба с возу — коню легче.
 Хлудов (*не соглашаясь жестом*). Баба с воза — не в коня корм.
 Тырышкин. Верно сказано. (*Выпивает.*)
 Хлудов (*намекая на бутылку*). Вы позволите?
 Тырышкин. Конечно, конечно...
 Холодов. Пей — не жалко.

Хлудов наливает себе через край, проливая на скатерть, выпивает одним махом, но с отвращением.

Тырышкин (*подавая вилку с закуской*). Закусите, Хлудов.
 Хлудов (*отстраняясь*). Не надо. Незачем!
 Холодов. Пускай не ест — раньше отмучится.
 Хлудов. Жизнь — мука, господа!

Холодов. За это и выпьем. (*Наливает Хлудову.*)

Тырышкин. Он же упадёт!

Хлудов (*вставая*). Я?! Упаду?!

Делает шаг и падает с грохотом, все в зале оборачиваются к нему. Многие смеются, Холодов покатывается со смеху.

Тырышкин. Ну вот. Я ж говорил. (*Спешит помочь Хлудову подняться.*)

Хлудов. Я сам. (*Встаёт с трудом.*) Пардон, господа.

Холодов (*смеясь*). Силён! Силён!

Тырышкин (*одёргивая Холодова*). Савва Тимофеевич! (*Всем своим видом винится за него.*)

Хлудов. Так мне и надо! (*Садится на место.*)

Музыка замолкает.

Голос из зала: «Господа, среди нас композитор Мусортский!

Поприветствуем маэстро».

Мусортский встает, раскланивается. Звучат слабые аплодисменты.

Холодов (*вскочив*). Да это он! Точно он! (*Тырышкину.*) Помнишь, я тебе рассказывал? Тимофей-то ещё привёл... (*Уходит.*)

Тырышкин (*вслед*). Зачем он тебе? Сто рублей назад взять?

Холодов подходит к Мусортскому, с минуту стоит с ним, разговаривая, и возвращается на место.

184

Холодов. Не признал меня. Не признал. (*Залом выпивает.*)

Голос со сцены: «Господа, Лола Чёрная!» Слышатся громкие аплодисменты, крики: «Ло-ла! Ло-ла!» Вступает скрипка. На сцене появляется Лола, поёт «Очи чёрные».

Лола. О-чи чёр-ны-е!..

Хлудов. Очень чёрные. Чернее ночи. (*Выпивает.*)

Лола. Как люблю я вас...

Хлудов (*подпевает*). Как люблю я вас...

Лола. Как боюсь я вас...

Хлудов. Нет, не боюсь. (*Обращаясь к обоим купцам.*) И вы, господа, не бойтесь.

Тырышкин (*Хлудову*). Да тихо, вы! Дайте послушать.

Хлудов. Пардон, месье! (*Замолкает.*)

Холодов (*Хлудову*). Так-то лучше. И ешь, ешь!

Подставляет блюдо с зажаренным целиком поросёнком, втыкает вилку в тушку, поворачивается к сцене.

Романс допет до конца. Со всех сторон кричат «браво!», и громче всех Холодов.

Лола (*публике*). Я люблю вас, господа!

Голоса. И мы тебя любим!

Хлудов. Проклятый город!

Выкрики: «Цыганочку, Лола! Цыганочку!» Гитарный перебор отзывается в публике аплодисментами. Лола поёт. Цыгане подтанцовывают. Хлудов встает.

Холодов (*хватая его за рукав*). Куда!

Х л у д о в (*отдёрнув руку*). Ту-да.

Качаясь из стороны в сторону, идёт по направлению к сцене.

Т ы р ы ш к и н. Сейчас опять упадёт.

Х о л о д о в. Не-а.

Хлудов входит в круг танцующих и танцует «цыганочку» не хуже цыган,
с какой-то болью во всех движениях, в мимике.

Х о л о д о в (*восхищаясь Хлудовым*). Молодец! Молодец! (*Тырышкину*).
А ты сказал: упадёт.

Т ы р ы ш к и н. Это чудо какое-то. Так не бывает. Он же мертвецки
пьян!

Х о л о д о в. Вот он — русский. Весь. С потрохами!

Танец кончился. Музыка смолкла.

Л о л а (*обнимая Хлудова*). Цыган! Цыган! (*Целует Хлудова*.) Люблю!
(*Ещё целует*.) Люблю!

Х о л о д о в (*с завистью в голосе*). Счастливчик. Это ж сама Лола
Чёрная!

Т ы р ы ш к и н (*про Хлудова*). Несчастный он... человек.

Х о л о д о в. Несчастный?! Да я бы! Да за поцелуй! Да Лолы Чёрной!..

Т ы р ы ш к и н. Шерше ля фам, мсье Холодов!

Лола усаживает Хлудова за его столик и сама садится туда же.

Щ у к и н - о т е ц (*вскочив с бокалом в руке*). Господа! Выпьемте за
театер! Весь мир — театр!

Щ у к и н - с ы н (*тянет его за рукав*). Папбша, постыдились бы!
(*Усаживает отца*.)

Щ у к и н - о т е ц (*вскочив на мгновение*). Виват, театр! (*Обливается
шампанским, одёрнутый за рукав. В зале смех*.)

Х о л о д о в (*стоя, с рюмкой в руке*). Господа, здоровье Лолы Чёр-
ной!

Слышится грохот отодвигаемых стульев: все, кроме Хлудова, встают.

Г о л о с а. Здоровье Лолы Чёрной!

Л о л а (*встав*). Спасибо, господа!

Садится под дружный звон бокалов. К Холодову подходит Н е и з в е с т н ы й.

Н е и з в е с т н ы й. Здравствуйте, Савва Тимофеевич!

Х о л о д о в. А, это вы. (*Тырышкин смотрит на обоих непонимающе*.)
Давненько (*с иронией*) не виделись. На этот раз сколько?

Н е и з в е с т н ы й. Пятьсот тысяч.

Х о л о д о в. А те четыреста?

Н е и з в е с т н ы й. Ушли. Все, до копейки.

Х о л о д о в. Как в прорву.

Достаёт бумажник, прячет обратно, потом выписывает Неизвестному чек.

Н е и з в е с т н ы й (*вполголоса*). Революция требует жертв.

Холодов (*подавая чек*). Вот. На пятьсот тысяч.
Неизвестный. Россия вас не забудет. (*Кланяется и уходит.*)
Тырышкин (*Холодову*). А я бы наоборот.
Холодов. Что наоборот?
Тырышкин. Не жалел бы денег на контрреволюцию.
Холодов. Действуйте-злодействуйте, господин монархист.

Взвизгивает, оборвав мелодию, скрипка. Голос со сцены: «Господа, попрошу внимания!»

Холодов (*Тырышкину*). Глянь-ка туда: Красильщиков на сцену вскарабкался. (*Кричит через залу.*) Долой американца! (*Смеётся.*)
Голос из зала. Пусть говорит.
Тырышкин (*Холодову*). Пусть. Чего ты?
Холодов (*орет*). Долой! (*Тырышкину.*) Что он сказать-то может? Ничего.

Шум затихает.

Красильщиков (*со сцены*). Господа, продаётся зверинец!

Холодов (*на всю залу*). Сам в нём живи! (*В зале хохот.*)

Красильщиков. Совсем недорого...

Выкрик. Сколько?

Красильщиков. Э-э... Двести тысяч.

Голос (*тот же*). А сказал: недорого. (*Все смеются.*)

Красильщиков. Красная цена, господа: превосходный зверинец!

Холодов (*в шутку, Тырышкину*). Покупай, Афанасий Васильевич...

Тырышкин. На кой ляд он мне?

Холодов. Татьяне в приданое.

Тырышкин. Шутишь? Шути-шути.

Красильщиков. Господа! (*Смотрит по сторонам.*) Кто берёт?... Господа, всего-навсего двести тысяч... (*Начинает терять надежду на продажу.*) Господа... кто берёт?

Бахрунин - 1 - й (*с гордостью, с самодовольством*). Я! (*Поднимается из-за стола и идёт к сцене.*)

Холодов (*когда тот обернулся*). Ба! Бахрунин! Глазам не верю.

Тырышкин. Не может быть! Он же за рупь удавится.

Холодов. Он, гляди: волос-то ещё на три добрых драки. (*Смеётся.*)

Тырышкин (*улыбаясь*). Шевелюра и правда ничего. Смотри-ка: не торгуется вовсе.

Холодов. Сейчас заторгуется. (*Кричит через залу.*) Триста тысяч даю! (*Публика оборачивается на его голос.*)

Бахрунин (*поколебавшись*). Триста пятьдесят!

Холодов. Четыреста тысяч!

Здесь и далее публика реагирует, как на аукционе.

Тырышкин (*Холодову*). Зачем он тебе, зверинец этот?

Холодов. А чтоб жиду не достался.

Тырышкин. Резонно.

Красильщиков (*публике*). Господа, может, кто-то даст больше? А?

Бахрунин. Четыреста пятьдесят!

Голос из зала: «Бахрунин! Лучше одумайся, а то завтра удавишься».
Слышится хохот-смех по всей зале.

Тырышкин. Сдавайся, Савва Тимофеевич.

Холодов. Ещё чего! *(Выкрикивает.)* Пятьсот тысяч!

Красильщикова. Кто больше? *(Ждёт.)* Господа, кто больше?..
Нет желающих?.. Пятьсот тысяч — раз!.. Пятьсот тысяч — два!.. *(Бахрунин не находит места рукам и ногам.)* Пятьсот тысяч — три-и...

Хлудов *(вскочив)*. Про-о-дано!

С размаху бьёт кулаком по столу. Звеня, падают бутылки, одна разбивается об пол. Все смеются, Холодов громче всех. Бахрунин срывается с места, падает, запнувшись, под общий хохот и выбегает вон под свист и улюлюканье. Тырышкин давится от смеха, приговаривая: «Комедь, это комедь!..»
Наконец смех стихает.

Щукин-отец *(воспользовавшись замешательством сына, вскочив)*. Господа! *(Поднимает руку с бокалом.)* Выпьемте за... а-а-а! *(Вопит от боли: это сын нечаянно защемил кожу в рукаве, усаживая папбицу.)*

Публика взрывается, взывает в смехе-стоне. Смеются до слёз, до колик в животе. Опять смех смолкает. Устанавливается относительная тишина.

Лола *(выйдя из-за стола, цыганам)*. Гей, ромалы!

Цыгане начинают играть, Лола — петь («Москву златоглавую»), цыганки — подтанцовывать. Публика захлёбывается в последнем веселье. Пьют, пьют, пьют. Холодов и Тырышкин напились до того, что играют на своем столе рюмками и специями в шахматы.

Холодов. Тырышкин *(поднимает наполненную рюмку)*, тебе — шах! *(Ставит, чокнувшись о рюмку Тырышкина.)*

Тырышкин *(пьяно)*. А я делаю рокировку. *(Меняет местами свою рюмку и перечницу.)*

Певица умолкает. Звучат последние аккорды.

Холодов. Ещё шах, Тырышкин! *(Стучает рюмкой о рюмку, водка проливается.)* Это не шах, Тырышкин. Это — мат. Партия! Alles!

Выпивает и бросает опорожнённую рюмку об пол. Звон разлетевшегося в осколки стекла совпадает с последним аккордом. Музыка обрывается.

Голос-выкрик: «Господа, засыпьте Лолу Чёрную червонцами!»

Все вскакивают, осыпают Лолу ассигнациями — листопад из бумажных денег. Хлудов покачивается на стуле, пьяный до последней степени. Шум, смех, визг.

Голос. Господа, едемте к Джентльмену! Под крыло «Чёрного лебедя». Лола поедет с нами.

Голоса. Едемте! Едемте!

Ввизгивает скрипка. Толпа выкатывается на улицу. Слышны голоса, смех, цокот лошадиных копыт. Последним выходит Тырышкин. Хлудов остаётся.

Шум отдаляется, затихает совсем.

Проходит какое-то время. Вбегает Бахрунин-1-й, сам не свой. Видит (с порога) Хлудова, уткнувшегося головой в салат.

Бахрунин (*срывающимся голосом*). Господа, революция! (*Смотрит по сторонам.*) Революция (*совсем тихо*), господа...

В зал врывается ветер, вскидывает разбросанные червонцы, треплет, взметает их, перекатывает по полу.

Эпилог

Читается актёром за сценой под музыку песни «За Доном угрюмым пылают станицы».

Утром они проснутся: кто с лёгкой головой, кто с тяжёлой — и хотя бы на мгновение лишатся дара речи, ошарашенные известием о революции. Трак не минует и их. А потом...

Братья Красильщиковы благополучно эмигрируют за границу, загодя переведя в Английский банк все свои миллионы, и не увидят гримас революции, ужасов Гражданской войны и террора. Безбедно доживут до старости и умрут своей смертью в Париже.

Бахрунин Аркадий Петрович примкнёт к большевикам и дослужится до министра финансов в Советской России. Будет репрессирован и расстрелян в 1937 году.

Бахрунин Прохор Сергеевич не примет революции и, отказавшись от бегства за границу, умрёт в лагере на Соловках.

Хлудов замёрзнет насмерть в снегу Петровского парка в декабре 1917 года.

Холодов Савва Тимофеевич застрелится едва ли не на второй день после революции, увидев, чем она оборачивается для народа и для России.

Его сын Тимофей, как и сын Шукина, Петр Иванович, погибнет в Крыму, отступая вместе с Добровольческой армией к Севастополю.

Шукин-отец умрёт в 1920 году в Большом театре во время представления оперы «Борис Годунов».

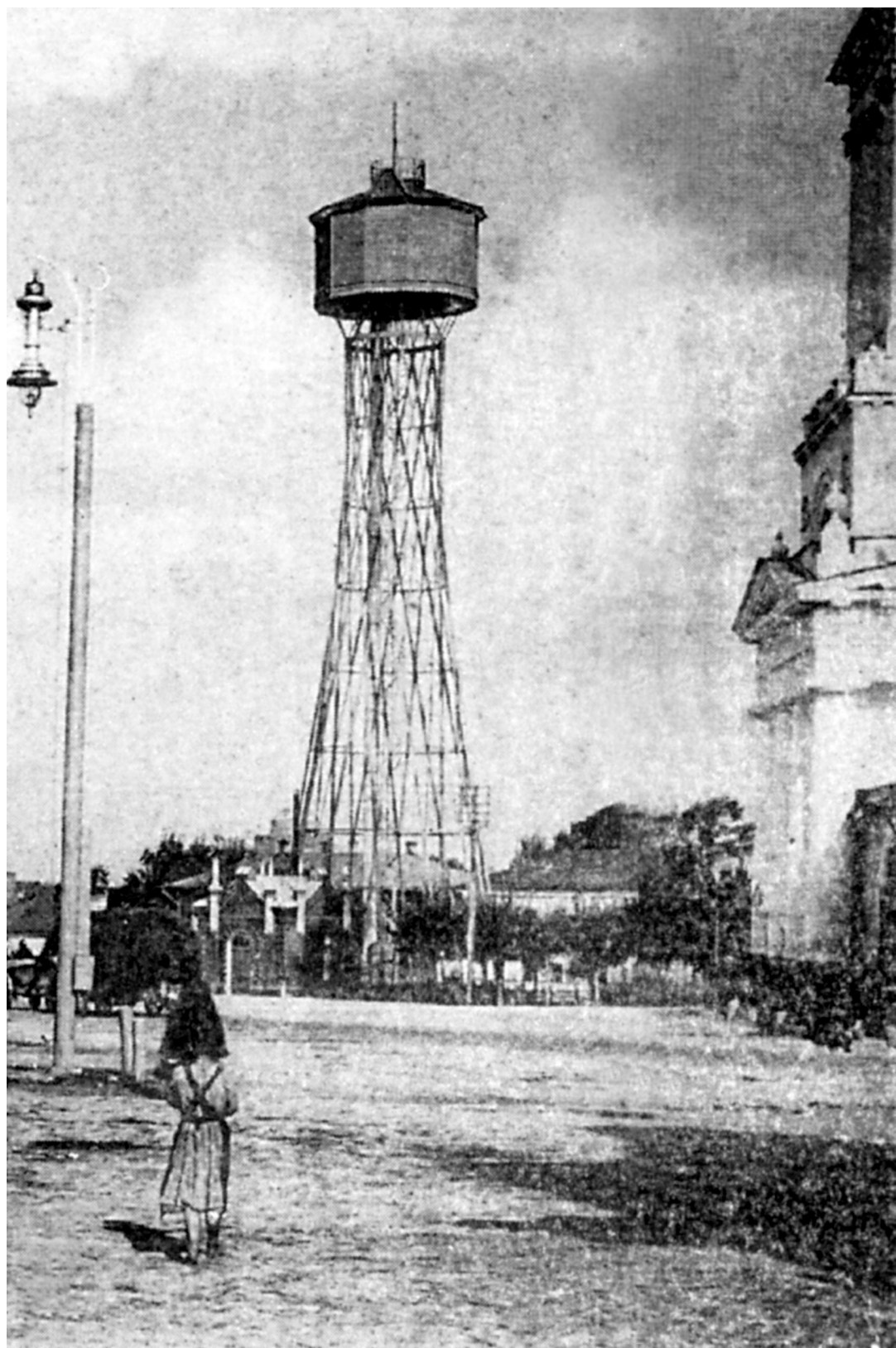
Семья Тырышкиных распадётся в первые дни Гражданской войны. Татьяна умрёт от тифа на каком-то безымянном разъезде. Афанасий Васильевич погибнет в первом же своём бою, поднявшись в штыковую атаку вслед за капеллевыми. Единственное написанное им в тот период стихотворение станет впоследствии гимном Белого движения и любимым народом поныне. Варвара Михайловна чудом доберётся до Константинополя и умрёт там в 1922 году от голода и одиночества.

ТРАК.



ПОРТАЛ





Шуховская водонапорная башня

АМФОРА

*Жертва доброму гению
Сергея Шервинского**



Лексикон «Амфоры»

Ара́хна — паук.

Гиперборе́я — северная страна.

Горди́ан — римский император, знаток вина.

Ил — сын Энея Троянского, родоначальник римлян.

Кера́мик — квартал древних Афин, славный гончарами.

Кой́не — разговорный древнегреческий язык.

Котта́б — игра за трапезой.

Оксири́нх — египетский оазис, известный древними свитками.

Острако́ны — обломки посуды; использовались в Афинах вместо бумаги, в том числе и при голосовании.

О́хлос — простолюдины, толпа.

Рого́зен — место в Болгарии, где обнаружен драгоценный клад серебряных сосудов.

Сто́ла — род одежды.

Фаю́м — оазис в Египте, прославленный живописными надгробными портретами.

Энка́устика — древняя живописная техника прочных восковых красок.

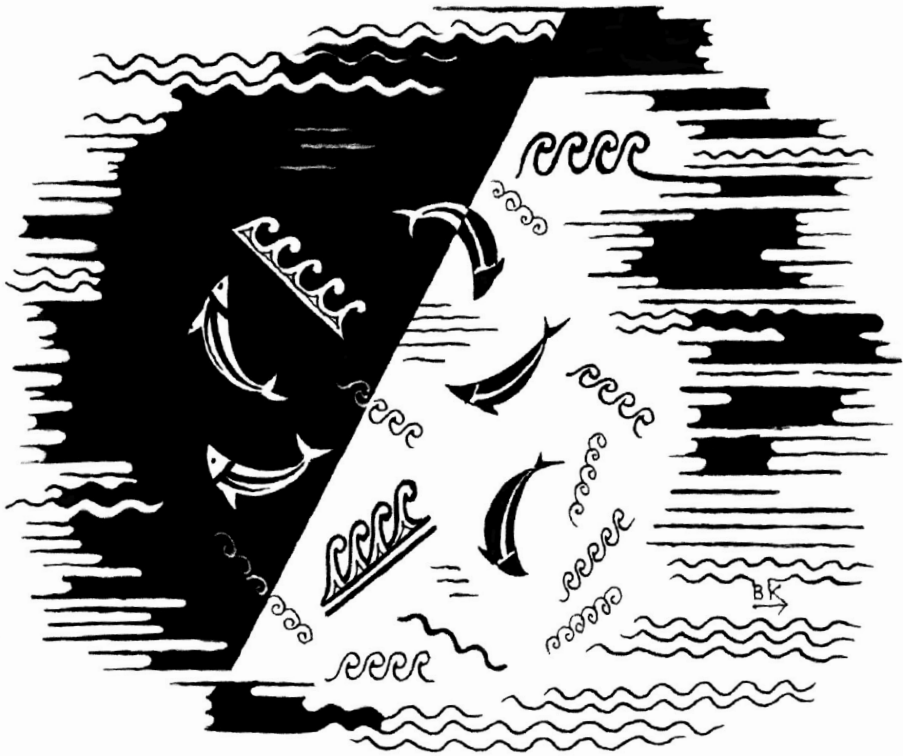
Эре́б — подземное царство.

Эфе́б — юноша.

* Сергей Васильевич Шервинский (1892–1991) — патриарх российской переводческой школы. Благодаря его трудам мы получили блистательные и точные переводы шедевров мировой поэтической классики. Особая страница его творчества — античная поэзия.

С первых своих дней и до 1962 года С.В. Шервинский подолгу жил и работал под Коломной — в Черкизове и Старках. С тех пор наши поля и роши наполнены прекрасными призраками. Софокл, Вергилий, Овидий, Катулл, как живые, беседуют с нами в его вдохновенных переводах.

«Амфора» — книга стихов Романа Славацкого — стала своеобразным памятником античности, увиденной сквозь кристалл русской культуры.



Амфора

В городе стёртом, в пыли, в замутованном гроте,
в тёмных теснинах двухтысячелетней земли,
амфору, полную мрака, на свет извлекли, —
каменным сердцем, дыханием глиняной плоти.

Вечность легла сединой на старинной работе...
Гулко гудит пустота из открытой дали.
Так в затаённых заливах идут корабли,
зорко глубины считая на брошенном лоте.

Амфора! — в эхе твоём отзывается Время,
словно распахнутый парус на чёрной триреме,
словно шумящий прибой — приливная волна,

словно воздушная пена волшебных видений...
...Если мне чудятся сны — не хочу пробужденья!
Если мне видится явь — то не надобно сна!

Фреска

Странная страсть переполнила сердце моё,
словно невидимый ветер без цвета и веса!
Точно бесплотное пламя, над памятью вьёт
девственный гений прелестных Помпей — поэтесса.

...Очи — кудрявой дриады волшебного леса.
...Стилом тонким задумчиво тронула рот
(тайна вощёных табличек — укрыта за фреской).
Что означает узорчатых строчек шитьё?!

О вековая загадка античных табличек!
Словно янтарные капли, сверкают обличья
ласковой тайны — любви сокровенный родник.

И лишь одним утоляю мучение страсти:
винною кровью стиха, что изысканный мастер
спрятал за тонкую грань пересказанных книг.

Эллинизм

О эллинизма волнистые тёмные пряди! —
наглой кифары бесстыже-изысканный лад,
пыль Палестины и пряности Десятиградья,
да гарнизоны железные римских солдат...

Тира темнеющий пурпур в открытом наряде
местной гетеры — манящий струит аромат.
Чёрный носатый равви притаился в засаде:
искренней злобой кипит его огненный взгляд...

Ну, а у моря, конечно, гораздо спокойней,
где полугреческий рынок болтает на койне, —
грек, иудей и ливиец кричат: «По рукам!»

И, прокалённая в йодистой эллинской шири,
плещет багряная влага еврейской Псалтири,
словно из каменной чаши налитая нам.



Вечер

Чуткая чёрная кожа старинных сосудов —
крепко на алую глину наплавленный лак...
Рати богов и героев кружащейся грудой
краснофигурное войско проводят сквозь мрак.

Важно свершает Афина премудрое чудо,
и Артемида стремится со сворой собак,
а мускулистый Геракл собирает запруду,
и аргонавты расправили паруса флаг.

Дышат Керамика храмы — гончарные печи!
Пыльный и выжженный рынок. И ласточек вече
старого портика сплошь облепило карниз.

Амфора вечера... Чаша — и сумрак сугубый.
Тронув улыбкою алые горькие губы,
нежно тебя обнимает хмельной Дионис.

Гай Валерий Катулл Веронский

Словно латинского говора бронзовый гул,
звон колокольный запел — и развеялся вскоре...
Как полыхает латынью, застыв на лету,
дикой черкизовской розы медовая горечь!

Призрак вечерний таинственной тогой мелькнул,
пёстрой каймою забытых античных историй —
гордость Вероны — цинично-прелестный Катулл —
дерзкий, гремящий стихом, точно римское море.

Как, сквозь века, он явился, неслыхан, неведом,
терпкой любовью, пьянящим, расплавленным бредом,
словно бы снова рождённый из мёртвых оков?!

Медиум времени, старый волшебник Шервинский,
древним вином, заповедною роскошью римской
молча наполнил пурпурную чашу Старков!

Болгарское серебро

Серебряными гроздьями сквозит
разрытое рогозенское поле.
Богине-птицы. Кони на приколе.
Полынь и пыль... И отзвуки копыт.

О чёрное вино родных раздолий!
Балканский отблеск эллинской парчи!
И в нашей лёгкой крови тоже мчит
частичка голубой эвксинской соли!

Мерцают хрусталём седые глыбы.
Серебряные медленные рыбы
пришли сюда на звонкий зов блесны.

И чашей в вышине луна лучится.
Но дремлет Белый Зал. И вереницей
струит свои серебряные сны.



Трагедии Софокла

Веянье вечера: горькие отзвуки моря,
сыплются горней пыльюю цветочные споры...
Камни орхестры лепечут о слаженном хоре.
Сходятся к жертвенной амфоре тени актёров.

Кратер ночного театра. Вечерние зори...
Мраморным горлом гудят его древние горы,
а на ступенях застыло Эдипово горе
и антистрофы Софокла грохочут в повторах.

Веянье вечера... Мрамора звонкое горло.
Полночь потоки багровые губкою стёрла,
тёмною шерстью упала ночная завеса.

Веет Эллада высоким виденьем Софокла.
Шепчут старинные свитки листвою поблёлкой
в тёмных волшебных тенётах старковского леса.

Призрак Овидия

Твоя могила — безымянна...
твоё дыхание — полынь...
От черноморского лимана
ветра несут сказаний синь.

И здесь, томительно и странно,
среди коломенских святынь
в плаще белёсого тумана
ты оживаешь!.. Время, сгинь!

О бедный друг!.. Твой жребий вечен:
среди чужих тебе наречий
скитаться призраком, в тоске,

и в горьком слоге переводов
среди чужих тебе народов
рыдать на чуждом языке!..

Публий Вергилий Марон

Каждый восхвалит с восторгом — друзья ли, враги ли, —
отполированным мрамором скроенный слог,
что из красивейших свитков возвысил Вергилий,
точно великого Августа гордый чертог.

Ныне твой огненный вздох не исчезнет в могиле,
ныне прозрачное слово — бессмертья залог.
Бронзовой урне, наполненной пеплом и пылью,
не удержать многозвучия мраморных строк!

Слово летит по Вселенной, над временем рея,
и повторяет российская Гиперборея
Рима и Мантуи ласковый, сладостный лад.

Милой латынью исчерчено русское поле,
и откликаются нежные строки буколик
тёплым домашним мычаньем черкизовских стад.

Кораблекрушение

Вся в оковах ила и ракушек
амфора — добытая со дна.
...Греческий купец не встретил суши, —
рифы бились в белых бурунах;

днище — вдрызг, и мачта — снесена,
гибнут люди, груз на дно обрушен.
...Два тысячелетья на волнах
мечутся потерянные души.

Тщетной страсти гибельная пена,
чувственность, колеблющая вены,
горький взор очей и сухость уст —

станут гулкой амфорой созвучий,
и седых времён простор зыбучий
илом скроет их воздушный груз.



Кузница

Всю мастерскую заполнили грохот и дым,
в горне мерцает огнём раскалённая крица;
быстро несут к наковальне оплавков руды,
чтобы под молотом снова ему заискриться.

Руки лихих мастеров, напряжённые лица...
Ритмом упорным повторяются эти труды,
прежде чем мёртвый металл на глазах обратится
формой живою и станет в тугие ряды.

Блещут железом и бронзой чеканные латы.
...А мастера поспешают в свой дом небогатый,
чтобы за трапезой встретить желанный покой, —

ужин украсить маслинами, рыбой и кашей,
пить, разбавляя вино, из расписанной чаши,
где прорисованы очерки их мастерской.

Гуляка

Приятней жить гулякой, чем тираном —
проклятой и мохнатою арахной;
уж лучше от любви я зачахну,
чем во дворце — от яда или раны.

На пире мы, а значит, не в слезах мы:
укроп хорош к лопатке из барана!
Я — как вино хмельного Гордиана,
где пьяностей дразнящих — на три драхмы.

Но вечер полон привкусом тревоги.
Вы смертными создали нас, о боги!
Скупое утешенье — эти лозы.

Промчится пир. Столы очистит губка.
На доньшке серебряного кубка
засохнут лепестки багряной розы.



Игра в коттаб

200

РОМАН СЛАВАЦКИЙ

Здесь, на трапёзе вечерней, четыре гетеры,
словно лихие стратеги, раскинули штаб.
Всех поделили приятелей. Выбрали меру:
сколько им с каждого драть, чтобы пыл не ослаб.

Яства вкушают с вальяжностью сытой пантеры...
Розой бесстыжею светится их нагота.
С ветреным смехом четыре прелестные стервы
В чашу из чаши плеская, играют в коттаб.

И драгоценным багрянцем кипят переплёски
в тонкой изысканной глине. Изящно и просто:
влагу пригубив, подруге плеснуть, не пролив.

Вечер лениво сменяется полночью сонной.
Месяц у входа, как будто изограф влюблённый,
тихо таится, медлителен и молчалив.

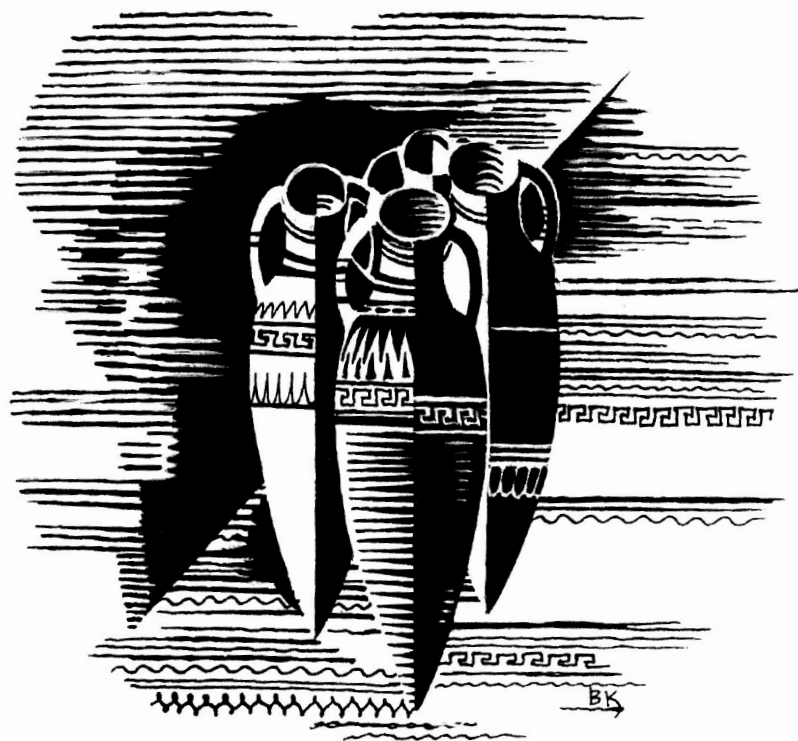
Вино

Багряных гроздий сладостная тяга,
настоянная солнцем в долгий зной,
раздавлена в точиле. Бьёт волной,
кипит и бродит зыбистая брага.

Потом пьянящий сок сольют в корчагу,
снесут в подвал, в тот замок ледяной,
где соль селитры, пыль и перегной
на тридцать лет замкнут хмельную влагу.

...Какою страстью сок любовный бродит,
тоскуя о потерянной свободе,
томясь в тисках стиха — напрасный жар!

Ступай же вглубь, на дно души, в подвалы,
слепой огонь! Минута не настала
внести на свет твой царственный угар.



Египет

Фаюм! Текучий воск, полёт учёных пчёл,
и тёмные, в гробах настоянные смолы,
и полосы пелён — разорванные столы,
и строчек вороха, которых не прочёл.

Папирусы пестрят, подобранные с пола,
тут стих поёт, а здесь — евангельский глагол;
и черепа орех белеет, пуст и гол.
Что медлишь ты, корабль, у скованного мола?

Отчаливай, вези тоску своих созвучий
в затон библиотек, сюда, на торг паучий,
в музейные тиски — за льдистое стекло.

Царь свитков — Оксиринх и тёмный мёд Фаюма!
Вас примет стылый Стикс, и мера вашей думы —
Харона узкий плот и чёрное весло.

Юноша в золотом венке

202

Подземный Нил — нефритовое дно.
Подземный свод — агатовое небо.
...Но золото сквозит, заплетено
мерцающим венком в кудрях эфеба.

Прими, Египет, жертвенные хлебы.
Прими, Египет, светлое вино!
Волной уводит в омуты Эреба
витое и тугое полотно.

...Но пыль сухого солнца нежит кожу,
и тронута дыханием, похоже,
гвоздика нецелованного рта.

Фаюма смуглый дух. В очах — обида...
Печальный плащ таинственной Киприды,
всего лишь — краски. Прах и красота.

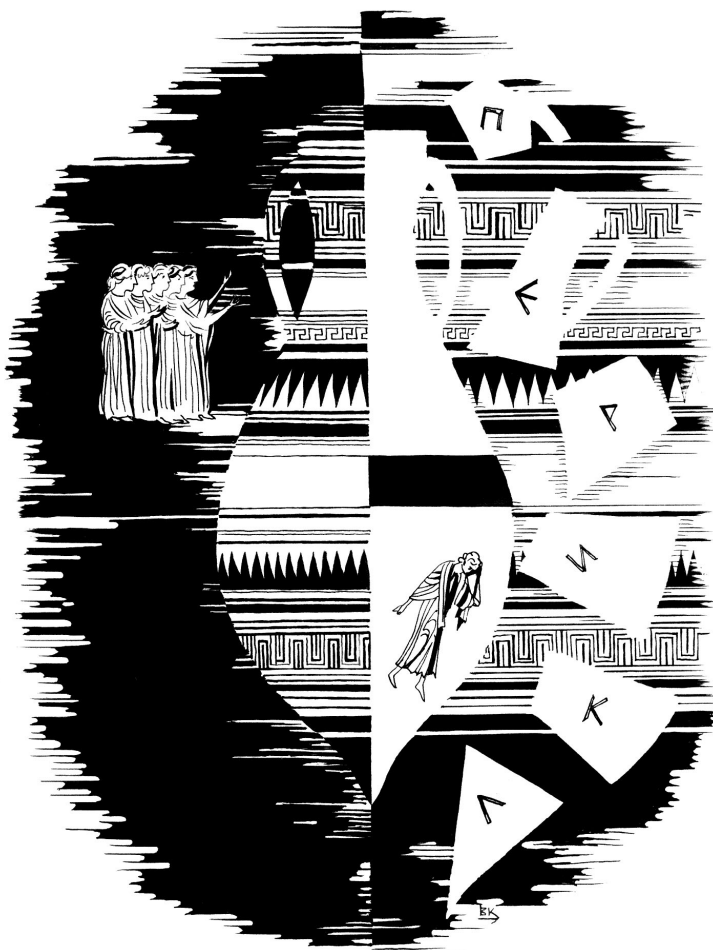
Остракизм

Пёстрыми горами всюду лежат остраконы —
битой афинской посуды кругом черепки.
Слава богам, что натруженной мышцей закона
к делу пристроены бывшие эти горшки.

На агоре собирается охлос посконный —
хитрых политиков гнать мановеньем руки:
на черепках начертать обличенье имён их;
самый опасный — узнает изгнанья силки.

Ты над народом возносишься гордым Икаром,
но из обломков обычных накопится кара...
Страж демократии — грозен пустой остракон!

Так завершается вечер бесплодный и длинный.
Великодушный Перикл покидает Афины
и надевает изгнания чёрный хитон.



Из Горация. Ода XXX

Из книги третьей

Я воздвиг монумент бронзы прочней литой,
царственных пирамид выше поднялся он;
не разобьют его грозы, и Аквилон,
и стремленье времён долгою чередой.

Я не умру. Пройдёт Города жрец — четой
с вещей каргой, святя Капитолийский склон;
славен буду везде — Авфид повторит звон, —
там, где крестьянский Давн правил скупой водой.

Кто звучнее меня? Кто славен более?
Римское молоко с мёдом Эолии
тёкшее врозь, — теперь в чаше моей слилось.

Муза! Мой дар тебе — вечно пьянящий лад.
Славься! А мне пошли свой благосклонный взгляд,
мглистый дельфийский лавр бросив на снег волос.

204 Вместо монумента

Памяти Сергея Шервинского

Растоптана во прахе слава Рима,
разбоем уничтожен Капитол,
и место, где обряд высокий шёл,
забыто всеми. Зло необратимо.

Гробы осквернены. Дворцы незримы.
На месте площадей — пустынный дол.
Ты верил, Флакк, что вечность Рим обрёл,
а он был не прочней, чем веер дыма...

Но слава о тебе — прочнее меди.
И снова, как на дружеской беседе,
твой говор вьётся — в чуждом языке —

искусством переводчика-поэта.
...Прошу, скажи ему слова приветя,
когда он выйдет к сумрачной Реке.

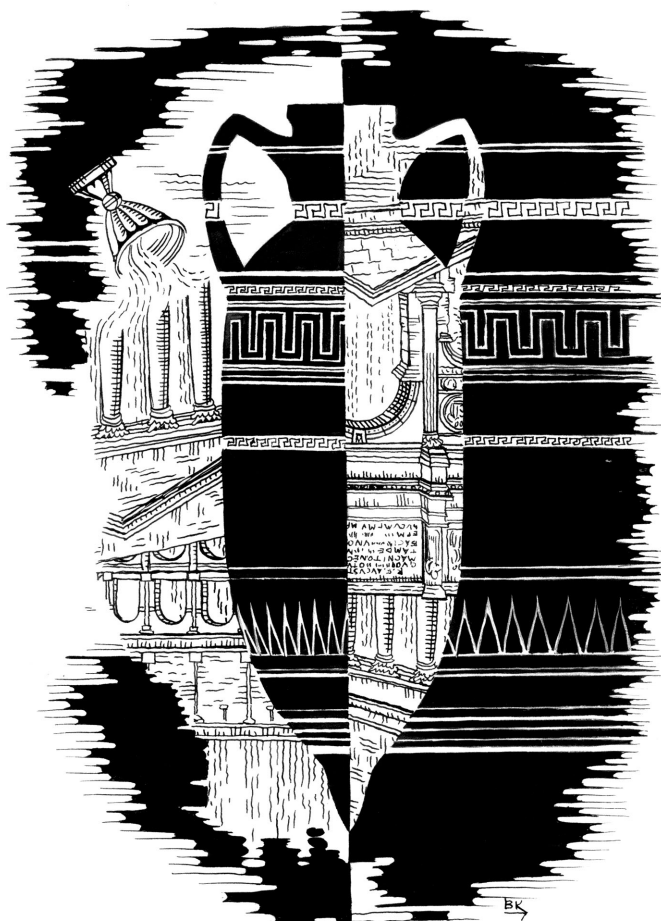
Проклятие Рима

Прощайте, пустые потомки троянского Ила!
Свистящею сталью сечёт наслоения грима
блестящий стилет — и гудит отворённая жила:
струится свинцовая кровь горделивого Рима.

В тяжёлых котлах, где вино ваша дворня варила,
искусственно старя напиток, нежданно, незримо
в глуби растворялась отравы свинцовая сила...
Вы сами себя погрузили под гнёт нестерпимый!

И вся ваша спесь золочёная значит не боле,
чем пена дождя на пустеющем каменном поле:
весь форум просохнет на солнце под говоры птичьи.

Прощайте же, дети свинца и отравленной чаши!
Ничто — ваши храмы и мраморы, статуи ваши,
и горький ваш гнёт, и постылое ваше величие.



Забытый ларь — могила, а не клад.
...Засохший парк в заброшенной долине.
Сундук открыт. Изъеден и разъят —
остались только оттиски на глине.

Истлевший жемчуг, сорванный оклад,
серебряных чешуек ветхий иней.
Но в этой русской груди — тешат взгляд
дирхемы с пыльным запахом полыни

и вязь их — как шипение зыбей...
Но вот блеснул зелёный скарабей.
Откуда здесь наследие пустыни?

...Поэт забытый! Смешаны пестро:
халдейский блеск, седое серебро
да оттиски досок на плотной глине.



Глиняная Вселенная

Сказочно-грузным чудовищем пышного мифа,
толщею стенок тяжёлых внушительно-ал,
некогда бережно скрытый в холодный подвал,
дремлет огромный, по горло закопанный пифос.

Тут бушевала пожара язвящая лихость, —
дом превратился в кострище, в кирпичный развал;
только покои кладовой огонь миновал...
Тысячелетье истлело недвижно и тихо.

Что ты скрывал? Благородное масло? Зерно?
Старые клады запасов исчезли давно.
Пыль суховея и трав обожжённые космы

шепчут в долине. И в омуте чёрного рва
стражного пифоса круглый и гулкий провал
страшно молчит, словно тьмою пронизанный Космос.

Энкаустика

Памяти Василия Хвостенко

Обнял прекрасные краски расплавленный мёд —
так создавался Фаюм и писались иконы! —
чистые линии мудрый огонь обоймёт,
кинув одеждой бессмертия — дым благовонный.

Кто колдовство этих древних секретов поймёт?
Крепко закрыты столетий тугие флаконы.
Но, проникая сквозь хвои песковской намёт,
вновь открывает настои художник-учёный.

Пламя энкаустик — помнит Коломенский край!
Только здоровье потеряно... Красочный рай
вьёт ядовитый дымок над вечерней террасой.

Он умирает. Уходит в заоблачный рой...
Где ещё, кроме России, найдётся герой,
чтобы пожертвовать жизнь — за бессмертие красок?

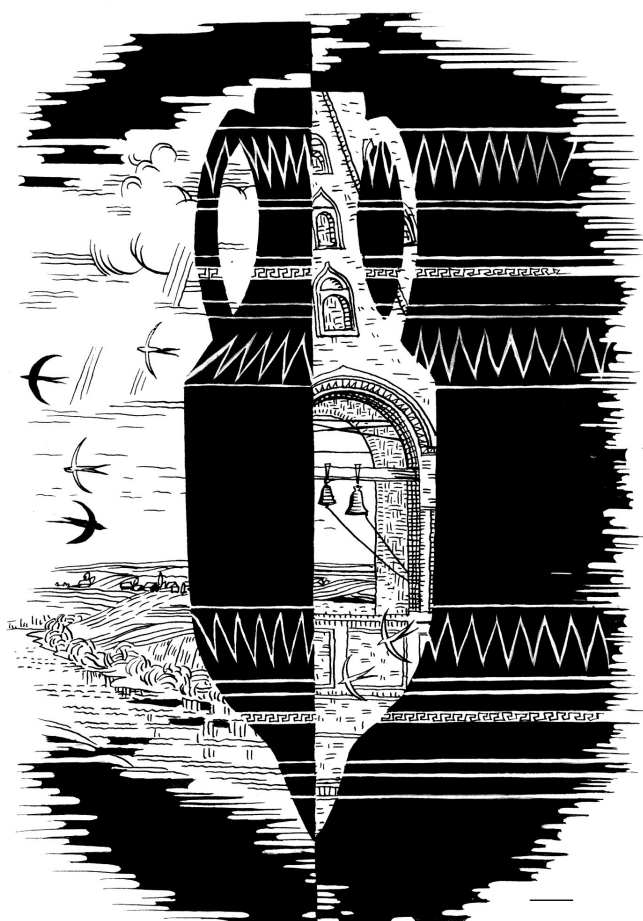
Наследие

Нам ли забыть золотые сказанья Эллады,
нам ли — наследникам греческой светлой весны?
В персти Коломны сокрыты кувшины Царьграда,
словно далёкое эхо прекрасной страны...

В шёпote греческой азбуки — вкус винограда!
Горечью гроздий заглавия книги красны!
...Русский акрополь обходят бесплотным парадом
рати могучих Микен и Ахайи сыны.

Мудростью древней полна Православная вера,
и отзываются бронзой песни Гомера
там, где в иконах и воске жива красота,

там, где в сиянии храма гремят песнословья,
там, где простое вино обращается Кровью —
вечно багряной священной Кровью Христа!



Иллюстрации В. Королёвой

БЕСЕДЫ
О
ЛИТЕРАТУРЕ





Центральная часть кремля



Капитолина Антоновна Кокшенёва — литературный критик, историк. Родилась в городе Таре Омской области. Окончила Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского. Автор более двухсот статей и шести книг по истории русской литературы и современной культуре.

Доктор филологических наук.
Член Союза писателей России.
Живёт в Москве.

Капитолина КОКШЕНЁВА

ЧТОБЫ ГРЕХ НЕ СТАЛ ПРАВДОЙ ЖИЗНИ

Какую писательскую судьбу можно назвать счастливой? Ту ли, что отмечена серьёзными литературными премиями, представительствами в президиумах, названием имени в списках выдающихся современников и большими тиражами книг? Или ту, что полна радостью творческого труда, проникновенным чтением близких по духу людей, их абсолютным пониманием писателя? Творческая зрелость Валерия Королёва пришлась на те годы, когда «внешнее» признание (тиражи, премии) совсем разошлось с внутренними достоинствами литературы. Девяностые годы и в литературе всё спутали и смешали, а перестроечный бум своей мутной волной уносил всё дальше вглубь всё подлинное, выбрасывая к читателю пену, смуту чувств и смуту мыслей. Но Королёв не стал бороться за место в модных писательских тусовках, критических рейтингах. Он и прежде, и до конца своей недолгой жизни жил и творил наособицу. Вдумчиво. И совсем не случайно среди его читателей были Виктор Астафьев, благословивший его на литературный путь, да не менее чувствительный к правде Николай Старшинов, написавший в 1996 году предисловие к книжке «Древлянская революция» и назвавший прозаика «мастером». Мастером русского слова.

В августе 1991 года произошла наша вторая революция XX века. А Королёв уже в апреле начал (и в ноябре завершил) свою повесть «Древлянская революция», читая которую сегодня можно только поклониться перед его даром сердечного и глубинного понимания событий. Ведь тогда, в 1991-м, многим казалось, что истори-



*За разговором. Николай Старшинов и Валерий Королёв.
Фото Ю. Колесникова*

212

КАПИТОЛИНА КОКШЕНЁВА

ей и человеком можно вертеть, как хочешь. Что просто неизбежно и разумно в очередной раз отказаться от неё — как ближайшей (советской), так и далёкой — исторической — своей судьбы. Но Валерий жил совсем иначе — то ли сама древняя Коломна, то ли деревенское детство научили его жить в большом историческом пространстве. Жить естественно и органично, неспешно вглядываясь в ход времени и русского человека в нём.

«Древлянская революция» написана ярко, но со всем обаянием провинциального строя жизни. Повесть так и начинается с городской тишины, с авторской добродушно-ироничной интонации: «Тихо в Древлянске. Ещё и вороны в городском саду на липах спят, и пыль, проволгнув за ночь, плотно лежит на шербатам асфальте, и не скрипят калитки в частном секторе, а в государственном не бухают двери подъездов, и если, затаив дыхание, остановиться под открытой форточкой какого-либо древлянского жилья, то можно услышать извечный предутренний сладкозвучный дуэт: тоненько выводит носом жена и чуть потолще, наверное, приоткрыв рот, вторит ей муж». Писатель сразу создаёт точное литературное настроение, словно ласково, но с крепким нажимом берёт под локоток читателя, приглашая войти в мир его повести. Так и видишь эту покойную и мило-однообразную жизнь провинциального обывателя. Так и чувствуешь утреннюю свежесть тихого Древлянска в его современном обличье. Но чуть дальше, следом, картина не то чтобы меняется, но существенно расширяется и дополняется. Дополняется другим светом — све-

том и смыслом истории. И умеющий его видеть — увидит, а умеющий слышать — услышит. «Солнце ещё нежится за окоёмом, и весь город окутан сизой полутьмой. Только над монастырским холмом пламя в небе — это, как и задумано предками, первым воспринял грядущий день золочёный крест на монастырской колокольне. Местное поверье гласит: “Споривший всю ночь с совестью своей, не поленись, перед зарёй выйди во двор и, поклонясь кресту, скинь с себя гордыню”. Из века в век многие таким манером спасались». Вот и сошлись две линии повествования о тихом Древлянске. Писатель сразу и прямо обозначает пространство своей повести. Он словно говорит читателю: если кто-то полагает, что «история прошла», что «предки прошли» и канули в Лету, что крест, встречающий первым зарю, принадлежит только ушедшему миру, — тот ошибается. И он весело принимается за повествование чрезвычайных событий города Древлянска конца XX от Рождества Христова столетия.

Чрезвычайность их в том, что в современную жизнь, где развелось много мошенников, много плутоватых мыслей в головах властей предрешающих и простых граждан, запросто являются те самые «предки», «отцы города» и его защитники, составлявшие славу Древлянска своими деяниями. Не тот калибр у нынешних, перестроечных «отцов» — Обалдуева (председателя горисполкома), Чудоюдова (зампреда) и Рыбакитина. Их новый «курс жизни» никак не предполагал таких необъяснимых явлений, как чудесное явление товарищу Обалдуеву русобородого крепкого детины старинного обличья, передавшего напуганному председателю от имени Коллегии древлянских воевод свиток с ультиматумом, да ещё и разрубившего его крепчайший стол своей саблей. Сие последнее «вещественное доказательство» послужило поводом к тайным собраниям с приглашением специалистов, могущих рассудить о возможности или невозможности каким-либо видом современного оружия так изуродовать обалдуевский стол, а также к страхам заговора, свержения власти, избранной народом, и воплям о кануне гражданской войны в милом Древлянске (к тому же появилась ещё одна версия событий — о внедрении в город никому не ведомого сильнеешего «постороннего капитала»). В свитке коллегии была явлена удивительная осведомлённость обо всех делах властей, в том числе и о неразглашаемых, как то: продажа древлянских земель, «планы развития» с привлечением иностранного капитала. Решительно требовали древлянские воеводы отставки всех нынешних представителей власти, полагая их политику «преступной».

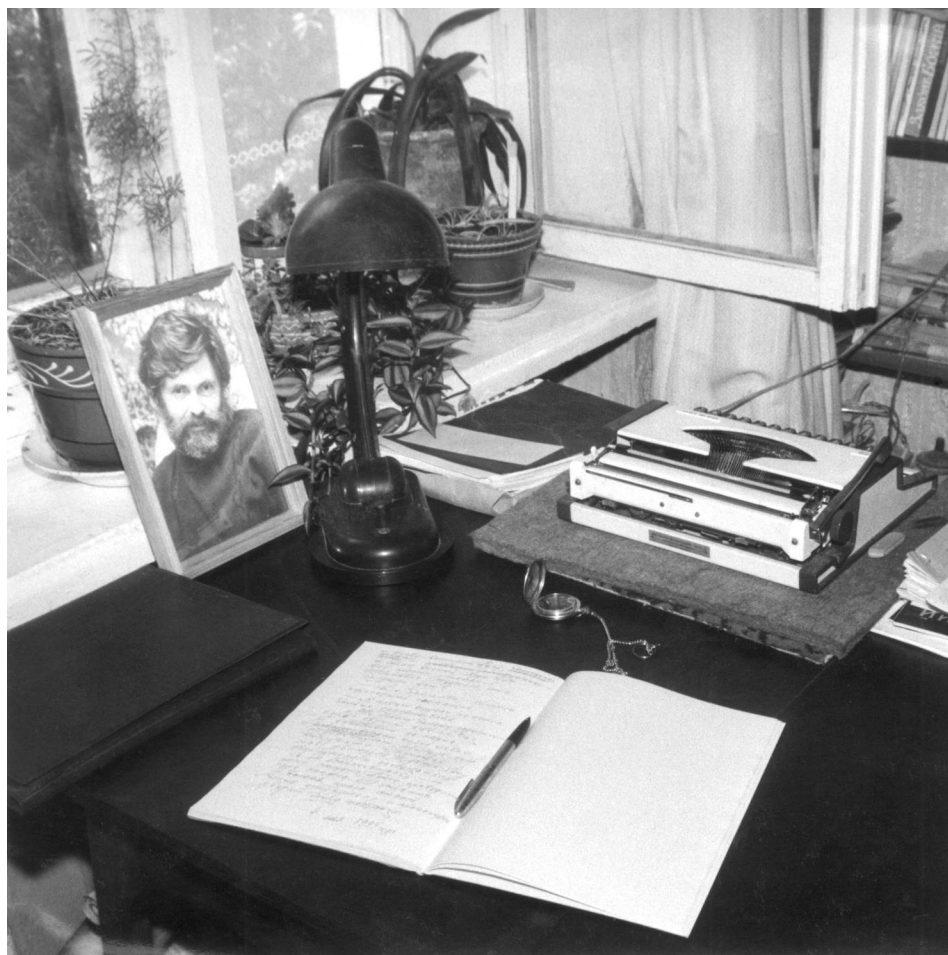
Оставим же возможность вдумчивому читателю самому проследить за всеми приключениями и страхами бедных древлянских властей, бросившихся к специалистам и старожилам за разъяснениями всех чудес и происшествий и настойчиво пытающихся убедить себя, что «этого не может быть». Скажем только, что всё отныне в Древлянске будет происходить совершенно в духе требований свитка, всё станет стремительно меняться по необъяснимому плану. Чудоюдов, Обалдуев и Рыбакитин действительно уйдут в отставку, в городе будет возведён на престол скромный научный сотрудник местного краеведческого музея Фёдор Фёдорович Протасов, народ проникнется духом древней традиционности столь стремительно, что как будто вообще и в помине не было никакого XX века с его «народовластием» и партократией. Даже новейшего образца личность — радикальный интеллект — совершит нелогичнейшие для себя поступки: лично разгромит выставочный зал современной авангардной живописи и на глазах честной публики выбросит в окно «живописные полотна» с

криками: «Очистим и очистимся! Да здравствует реализм!». Он был, конечно же, арестован за злостное хулиганство, но «приписать ему порчу художественных произведений у городского прокурора не хватило совести». Да, сегодня мы очень хорошо понимаем, что за «художественные произведения» уничтожал несчастный радикал-интеллектуал!

Появление в городе древлянских воевод для такого писателя, как Королёв, не могло быть только литературным приёмом. Не тот он писатель — у него вмешательство предков в современность несёт совершенно иную смысловую нагрузку. Слишком далеко от подлинного смысла истории уклонился нынешний человек — тут первый урок прозы Королёва. «В России, — объясняет один из воевод, — люди утратили духовное измерение вещей и жизни, судят по своему собственному интересу, по навязанному им трафарету или же по внешней видимости». Слишком самостоятельным в свершении «новой истории» и «независимым» в суждениях возмнил себя нынешний человек. Но, говорит нам своей повестью писатель, история непрерывна и последовательна. История, в сущности, для Валерия Королёва — это и ценный опыт коллективной совести народа. А потому в центре его повествования именно те герои, которые не глухи к голосу истории.

Фёдор Фёдорович Протасов, которого я уже представляла читателю, — особая фигура повести. Он именно потому так сверхъестественно возвысился, что всю жизнь собирал эти самые крохи совести-памяти в своем Древлянске. Самозабвенно погружённый в историю Древлянска, написавший исторический труд, он не нашёл понимания у издателей, полагавших, что «автор не чувствует современной эпохи», «отстаивает приоритет личности», что на излёте советской эпохи никак не приветствовалось. Упрямый Фёдор Фёдорович, который «перестройку старался не замечать», поскольку «стихия гласности и плюрализма его угнетала, выбивала из творческой колеи и воспринималась им как узаконенное хулиганство», всё же не сдался. И стал собирать и записывать «Суждения Древлянского края» непосредственно из уст самих древлян, если они таковые суждения имели. В его толстой тетради стали появляться записи вроде такой, что «в строгости себя держа, сидеть, стоять, ходить — словом, жить не ёрзая...». Сам Протасов так и жил — не ёрзая, собирая в свою амбарную книгу «мнение народное» да делясь своими мыслями с дедом Акимушкиным, смиренно сидящим перед своим домом и смиренно же ожидающим завершения своей земной жизни. Этот старый дед в повести Королёва — самая «неподвижная», недеятельная фигура. Но именно он становится заметен, когда начались фантастические изменения в городе. Становится востребован его опыт «не-действия» — опыт размышления и созерцания. Опыт сопоставления времён. Опыт прошлого, по Королёву, делает всякую реальность «трудной», опыту прошлого нужно ведь и в чём-то помогать, а не только бороться с ним, что по преимуществу и делали писатели перестроечного времени. Именно дед Акимушкин уже у коронованного Фёдора Фёдоровича требует оставить за собой только одно право — говорить правду. А говорить правду для писателя Королёва значит ещё и видеть мир правильно. Правильно понимать мир для писателя невозможно без ощущения себя не только современником, но и человеком историческим. Всякое время имеет свои пределы. Но внимание к мыслям и чувствам других эпох даёт нам шанс не только расширить границы собственной жизни, но и научиться отличать подлинное от моды, аксиомы от чудовищных заблуждений.

В конце повествования в Древлянске мгновенно изменятся почти все герои, кроме представителей «законной власти». Само это мгновенное



Рабочее место В.Королёва. Фото Ю.Колесникова

изменение — это для Королёва чрезвычайно важно. Он словно говорит в поддержку и утешение читателю, что остаётся, сохраняется в русском человеке некий заповедный неприкосновенный запас нравственности. И как только чуть-чуть прилагается воля к лучшему, воля к честному, как откликается совесть, появляется надежда, рождаются силы стряхнуть с себя морок лжи и снова начать жить по чести, «не ёрзая».

Валерий Королёв не может быть «злым» писателем даже в сатире, даже тогда, когда он говорит о предательстве русским человеком самого себя. Таково «Похождение сына боярского Еропкина, записанное со слов его в назидание потомкам иереем Лукой, переложенное на современный лад и дополненное Валерием Королёвым в год от Рождества Христова 1992-й». Само витиеватое, в духе романов петровского времени, название словно бы снимает всякую сатирическую сердитость писателя в адрес дурного «боярского сына» Еропкина. Королёв прячет под формой лубочной, любимой народом литературы свои горькие мысли. А то обстоятельство, что эти похождения были во времена оные записаны ли-

цом духовным, наостряет наш слух особо — не стало бы духовное лицо писать сугубо о приключениях. В похождениях Еропкина для Королёва важен именно этический смысл, чего он и не скрывает.

Первая главка «Похождений» начинается с энергичных и бодрящих рассуждений автора о русском человеке. Так и складывается его «портрет» с ходом повествования во всё более объёмный и многогранный. Писатель словно слышит голос некоего оппонента и с ним вступает в спор о русском человеке. Говорят, что русский человек упрям не в меру? Но только это упрямство тесно привязано к прямодушию. Если что не так, то за правильной жизнью русский и в другие края может наладиться, да и там осесть: «...Избу срубит, Спаса да Богородицу в передний угол поместит...», «пашню пашет», «озимое сеет». Говорят, что русские спать горазды? Ну а как же не спать да сил не набираться, если русскому мужику приходится пахать, сеять и урожай собирать за такой короткий срок — в три-четыре месяца! Говорят, что русский ленив. А вот, может, в этой якобы лени он «думу думает», да ещё к тому же, как у Королёва, берedit себя, «изводит своё сердце» тоской-кручиной?! Русские люди и общительны, любопытны, любят что-нибудь перенять из чужих земель, но приспособить к себе, под свой размер (тут автор словно отвечает оппоненту о подражательности и заимствованиях в русской культуре и мысли). Ещё русский человек к воинам своим относится особенно жалостливо, видя в них защитников земли, веры и народа. Вот именно по этой причине и стала достойной повествования и памяти та история, что приключилась с «воинским человеком» Еропкиным.

Еропкин, собственно, захотел «жить лучше»: рассудил он, что царская служба трудна, что жалованья маловато, содержание бедновато, что родимый его Валдай скуден, поместье его — бедно. В общем, расстроился душой и умом герой, запил горькую, а как очнулся, тут явился и гостюшка, избавитель от всех мучительных мыслей и душевных тревог (бес). Пообещал жизнь сытую, жирную, добротную. И соблазнится Еропкин, бросит всё, уйдёт искать «доходное место», не заметив, как гостюшка крест нательный с него снял, а вместо него повесил сулею с романеей (к которой и будет наш герой регулярно прикладываться во время своих походов).

Читать о Еропкине весело. Во-первых, сам он бравый, крепкий и решительный воин. А во-вторых, заранее знаешь, что этот вышедший из себя воинский человек, пустившийся в погоню за новой судьбой, всё же вернётся к себе прежнему. А пока — «как нынче Еропкину не выхвалиться?», «от малых ногтей, почитай, впервые свободу обрёл. Тут и лешим заухаешь, козлом заскачешь — должен, должен, всем должен был тридесять лет, а теперича вот вольный сокол». Обретение полнейшей свободы, как видим, даже пластически, так сказать, самим организмом утверждается: Еропкин скачет козлом.

«Похождения Еропкина» — это, в сущности, повесть Валерия Королёва о свободе. В 1992 году о ней ещё не принято было рассуждать — ею принято было активно пользоваться: один брал суверенитета, сколько мог унести, другой — что повещественней: заводик, магазин, нефтяную скважину. Свобода пользования всем и вся была такая, что действительно «козлом заскачешь».

Нельзя не удивляться тому, как Валерий Королёв уже в те начальные годы был «нравственно обеспечен» и готов к подобному разговору. И в то время, когда только-только интеллигенция училась произносить слова из

церковного обихода, училась правильно обращаться к священству, — Королёв говорит о фундаментальных для православного сознания вещах, Королёв видит проблему там, где многие еще не чувствуют опасности. «Свобода от веры ему (Еропкину. — К.К.) действительно показалась главной», — говорит писатель о своём герое в тот момент, когда воинский человек распрощался со своим родимым Валдаем, с государевой службой, со всем, что наполняло его жизнь смыслом. Но теперь-то свободному от всего и всех Еропкину свои слова и дела «с Писанием не надо сопоставлять». Отказ от христианской этики, православной традиции в пользу некой сладчайшей свободы, произведённый Еропкиным, своим следствием имел совершенно ясный результат: Еропкин оказался «свободен сам от себя, от того иного человека, жившего в нём, который с детства изнутри подслушивал его да за ним подглядывал, с той самой первой исповеди, когда сельский поп Лука велел: “Ступай, чадо, и не грехи больше”, с того дня, когда он, окончательно затвердивши заповеди Господни, не смел уже шагу шагнуть, подумать без того, чтобы не примерить свой поступок, мысль к одному из завещанных Богом правил». Конечно же, как все люди, Еропкин грешил, но только осознавал, что это грех. Так худо-бедно сам себя и спасал в свою прежнюю тягловую жизнь, — спасал постом, молитвой, страхом Божиим. Удерживал себя в божеском состоянии. Ну, а в нынешнем состоянии свободы, когда «изошёл от Еропкина тот человек, что вечно его подслушивал да окорачивал», наш герой спасает себя романей. Теперь свобода, делай, что на ум взбредёт: «И на радостях Еропкин из-под скамейки добыл сулею, единым духом, кажись, романею высосал, но, встряхнувши посудину, почувствовал — полна». Чёрт исправно выполнял свои обязательства.

Отменно написал Валерий Королёв страницы, посвящённые бегству Еропкина из родного края. Крест уже снят. От заповедей избавился, будущее богатство полностью пленило воображение. Еропкин сидит уже в лодке, а писатель очень просто и точно рассказывает, как изменивший себе герой начинает уже по-другому воспринимать и всё вокруг. То, что ещё так недавно казалось прекрасным, теперь томит и вызывает досаду. Уже и Москва-река казалась ему тесной, и берега её слишком круты, и избёнки у москвичей плохи, и храмы у них какими-то незначительными да неказистыми кажутся. В общем, совершенно тоскливая сторона, которую и покидать не жалко. Да и вся прежняя, ещё недавно такая полная и осмысленная жизнь самого Еропкина теперь видится какой-то случайной, простенькой и жалкой. Обидно стало Еропкину, решившему, что «важно не Рим строить, а сытно жить...». Изругав всю землю Русскую, как говорится, «по всем статьям», ему только и оставалось утешиться романей, которую он тут же «испил... и успокоился».

Далее попадёт наш герой в страну Свободину, где якобы «каждый свободен жить как хочет», где культ свободы, в сущности, привёл к скучной, стерильной, плановой, однообразной, почти тюремной жизни. В этом государстве можно убивать бесполезных людей (например тех, кто глазеез зачем-то на птиц); тут главное слово — *порядок* (ибо без него, как поясняют Еропкину, «нет свободы»), дети в Свободине размещаются в «дитятнике», взрослые — живут в однотипных избушках. В общем, такой неинтересной, серой, жалкой и примитивной жизни, как в этой Свободине, наш герой и представить себе не мог. Даже необыкновенная для русского человека жадность его, подогреваемая все время романей, оказалась укрощённой такой примитивной жизнью. В общем, Еропкин жил в этой не-

счастной Свободине и творил абсолютно всё то, что не свойственно русскому человеку. Даже и гостюшка-чёрт полагал близким своё торжество по переделке именно русского человека, который менее других поддавался таковой, — любые дьявольские извращения выпрямлял, подлаживал под себя, переделывал под своего Христа, которого сам же «и вынянчил». К русскому ни с какой мерой и подойти-то нельзя, но только с его собственной, что уже не может не противоречить международным планам главного искусителя. И всё же... Всё же Еропкин последнего предательства не совершает, бросает эту мороку со Свободиной да возвращается в сторонушку родимую, на службу казённую. Родина и честь, дом и служба — всё это не метафоры, но важные символы человеческой верности и человеческой надежды. Так Королёв ещё раз затвердит вечную истину: «...На Руси грех всегда считался и считается грехом и никогда не становился и не станет правдой жизни».

Повторим: эта повесть Королёва — о свободе, о выборе и позыве (инстинкте) человека к более телесно-сытой и спокойной жизни, но автор её совсем не противник свободы. Он скорее её защитник, так как в основании свободы он полагает совесть человека. Удивительно чистые страницы отданы прозаиком этим размышлениям. Послушаем же его голос: «Всеобъемлющее мерило людских деяний у русского человека — совесть. Каких только законов не написано, а русский, напраказавши, молит мир: судите, братцы, вы меня не по книгам печатным, а по совести... Закон — прямолинеен и сух, совесть же многообразна и сердечна, как людская жизнь... Великое, богоданное мерило — совесть! Прекрасно изукрасила она образ народа русского... Преудивительно совестлив на Руси воинский человек! Нет в нём той собачьей преданности, когда и ворованное, и благоприобретённое одинаково охраняется. Русский воинский человек всегда желал наперёд знать: за правду он заступит или за кривду?... Свидетельница тому — история. Только читать её надо совестливо, без собачьей преданности хозяину, велящему читать выгодное». Валерий Королёв не искал выгоды, утверждая своим творчеством нравственный тип поведения по отношению к истории и русскому человеку.

Хороша в Валерии Королёве здравость ума, свежая нерастраченность чувства, простодушие и прямота взгляда. И ещё — чистота писательской воли. Видимо, и он, как его герой Фёдор Фёдорович, любил тишину и ждал той тишины, в которой можно было бы расслышать разные времена.

Профессиональная совесть писателя, о которой теперь как-то всё реже мы вспоминаем, не позволяла Королёву обойти вниманием того русского человека, который живёт на земле. Ведь и сам он деревенский. И деревенского человека всю жизнь любил и умел чувствовать сердцем в нём всё настоящее. Менялся ли наш крестьянин в XX веке? Да, менялся. Крестьяне В.И. Белова, З.Прокопьевой, шагнувшие к нам из былых до-революционных времён, отличались не только крепостью натур, характеров, но и особым отношением к труду. Правильно сказал И.И. Евсеенко о героях Королёва — это уже не те деревенские люди, что у Носова, Распутина, Белова, Астафьева и Лихоносова. Герои королёвских повестей «На трёх буграх», «Большая вода», «Личная жизнь Аркашки Артюхина» и других отличаются от героев наших классических «деревенщиков»: «Валерий Королёв заметил, что, пока в наших “верхах” судили да рядили, как поступить с деревней, куда её в очередной раз повернуть, люди там постепенно утратили то, что ещё вчера считалось незыблемой осно-

вой крестьянской жизни. Они потеряли интерес к труду на земле». И это так. Старый дед Лепехин говорит молодым мужикам Леониду и Митьке: «На безлюдье-то жить — уметь надо. На безлюдье, чтобы не зачахнуть, надо работу чертоломить... А вы на безлюдье путём жить не умеете. Да что вы, я и то разучился, годов уж пять только телевизор гляжу». «На трёх буграх» остались три полуразорённые деревни. Поистине безлюдье. Но для крестьянской жизни оно смертельно, сколько бы кто ни работал. Пустеет и сиротеет земля — тут постоянная боль писателя.

У Распутина и Астафьева много женского одиночества. Одиночества, между тем, не безвольного. Их женщины, «горюшком любимые», продолжали жить и тянуть свою женскую безмужнюю долюшку достойно. Но как-то мне до Валерия Королёва не приходилось читать о более тяжком мужском одиночестве. Быть может, и менее выразительно мужское горе, но оно, оказывается, тоже есть. В повести «На трёх буграх» писатель даёт три разных мужских характера, три судьбы, на короткое время связанные в один узел. Для мечтательного электрика Леонида, лихого и размашистого скотника Митьки и рассудительного, надёжного заведующего фермой Семёныча нет в деревне пары. Последние мужики трёх деревень. Все три холостяка, не имеющие ничего, в сущности, кроме своей работы, одновременно бросятся женихами к молодой фельдшернице Кате, появившейся в одной из трёх деревень. Как преобразятся они! С каким лёгким юмором рассказывает писатель об их ухаживаниях и ревности! И какой горькой будет новость о том, что есть у Кати муж. Горькой настолько, что Митька, бросивший было пить, вновь вернётся к своему привычному занятию. Положительный Семёныч, конечно, не пропадёт, но и у него нет никакой надежды на создание семьи. Нет семьи — нет никакой заботушки. Но спасительно ли это для человека? А что иное, кроме семьи и труда на земле, может стать опорой деревенской жизни? Леонид, после смерти прабабки, удерживавшей его в деревне, тоже было собрался сбежать в город, жизнь в котором кажется ему увлекательной и полной смысла. Но всё же, кажется, не сбежит. Встретит по дороге в контору странного человека в рыжей шапке, который, напротив, из города едет в деревню. И о чём-то заволнуется его сердце: ведь он, Леонид, потомок землепашцев.

У деревенских героев Королёва жизнь как-то перестала складываться, скукожилась, усохла, захирела. И все же светлой печалью и тихой надеждой дышит деревенская проза Валерия. «Добрые люди» называется его повесть, напечатанная впервые в журнале «Москва» после смерти писателя. Всё лучшее, всё особенное — королёвское — здесь звучит очень ясно, звонко, завершённо.

У Королёва всегда хороши зачины — они какие-то вольные, просторные и богатые чувством и мыслью. Послушайте зачин автобиографической повести «Добрые люди»: «Избяная тишина особенная. Она как бы творит самоё себя в пространстве, очерченном четырьмя бревенчатыми стенами. Бог весть, когда на Руси наш пращур срубил первую избу, Бог весть, когда потомок срубит последнюю, и, следовательно, самотворение избяной тишины для русского человека безначально и бесконечно. Ни начала, ни конца нет этому как бы шёпоту, напоминающему, что живёт русский не просто в строении, сложенном из деревьев, что она, изба, живая и, значит, имеет право живущего в ней уму-разуму поучить, ибо она — не только хранительница человеческих тел, но и созидательница и оберегательница неповторимой русской души. В избе та душа обрела своё начало,

в ней окрепла и возросла. Многие-многие задаются вопросом: как же в такой невзрачности созрело великое?»

Русские писатели написали свои торжественные гимны — гимны хлебному полю, русской природе, русской женщине. А Королёв пишет гимн русской избе, с её живым теплом, с её натруженным скрипом, с её грустью заброшенности и ветхости. Но и с надеждой на то, что вспомнят об избе те, чьи зыбки когда-то в ней висели. Вот и вспомнил о корне своём герой повести, писатель, приехал в родную деревню. И потребовали себе место в его душе все те, кто жил и умирал в этой избе. Так и писалась эта повесть-память — не вообще о деревне и народе, но о конкретных людях, о детстве. О трёх стариках, до сих пор остающихся «постовыми» на своих деревенских местах.

Главки повести постепенно раскрывают картину деревенского мира — такого типичного и такого единственного. Первая, конечно же, должна быть посвящена прабабке — главной в семье заботнице «о благополучии рода, здоровье, сытости, жизни всех нас, малых и взрослых, близких и далёких, порождённых ею, давшей начало нашим бедам, тревогам и радостям. Прабабке абсолютно все подчинялись, не оспаривая ни в чём и никогда ее беспредельную власть». И только многие годы спустя писатель понял, что «всё великое было заложено» в него прабабкой. Что же считает «великим» русский человек? Во-первых, любовь в самом обширном смысле («Без любви жизнь — маета, работа — каторга, родимая сторона — хуже мачехи, а добрых людей днём с огнём не сыщешь»). Во-вторых, бабка учила беспокоиться только о хлебе насущном, то есть о том, что нужно для жизни божеской, а не торговой, ростовщической, корыстной. Вообще она твёрдо и прямо разделяла жизнь по любви и жизнь по хотению. Удивительно, но простая деревенская женщина знала и понимала то, что, например, отстаивал академик Сергей Аверинцев. Последний писал: «Я не верю, что возможно нравственное поведение, полностью обходящееся без какой-то доли аскетизма, то есть добровольно причиняемого себе насилия, в котором неизбежная боль уравнивается радостью освобождения». Уж кто-кто, а русский деревенский человек очень хорошо знал и о радости аскетизма, и о жертвенном и полезном самоограничении. Об актуальности и страшно малом присутствии такого типа жизни сегодня и говорить не приходится. Королёв видел, куда всё движется, и раз навсегда отчеканил: «Нерушимо то, что ни разу не нарушалось». И, наконец, нельзя никак пройти мимо ещё одной черты русского величия. Это прямота и даже прямолинейность русского человека. Не сегодня родилось расхожее убеждение, что приспособленцы, половинчатые, уклончивые и извилистые люди всегда живут лучше. Нет, полагает писатель, выживают именно прямолинейные, даже «их выживает больше»... Они и несут в себе ту суть, что зовётся духом нации.

Главка вторая повести называется «Боёк» — так прозвали в деревне маленького, щупленького и подвижного Семёна Петровича Королёва, вернувшегося с войны контуженным. Боёк, как запомнилось автору, превосходил в деревне добротой буквально всех. Он и будет одним из трёх деревенских жителей, что встретит писателя в порушенной деревне через несколько десятков лет, не растеряв за эти годы ни характера, ни доброты. Рассказ о Бойке, как и следующий, о тёте Кате (у которой на войне погибли все сыновья и муж), пленяет картинками немудрёных деревенских радостей и детских шалостей, терпеливого и нежного общения взрослых с детьми и тяжёлого, но осмысленного труда... Тётя Катя, обладавшая



В.Королёв в редакции «Коломенской правды» с победителями детского литературного конкурса. 4 октября 1994 года

телесной силой и душевной правильностью, работала, например, конюхом, воспринимая при этом свой труд как «мирское служение». И дети посильно помогали ей, поскольку её недолголюбившее материнское сердце вмещало буквально всех чужих детей. «По сю пору, — пишет Королёв, — учуяв запах конского навоза, я вновь и вновь переживаю тот детский бескорыстный и благословенный трудовой восторг, когда работалось не ради выгоды, но чтобы “лошадкам потрафить”».

Автобиографическая повесть Королёва, конечно же, просто невозможна без памяти об отце. Отцовское в нашей культуре — это всегда норма, переданная от отца к сыну. И так всегда. Это «изначально данный образ “правильности”»: что-то строгое, с чем приходится считаться, и одновременно домашнее, “своё”, опора и защита. Сыновним отношением к отцовскому (так же как и к прошлому), учил нас Пушкин, обеспечено “самостоянье человека”» (С.Аверинцев). Об этом же написал и Валерий Королёв — о том вечном, что было вложено отцом, об этой оглядке на отца, даже когда его не стало, об этом глубоком и тайном родстве: «Отец мой всей глубиной сердечной осознал, что он отец и что я, сын его, когда-нибудь вольно или невольно буду судить его, а потому жил сам и понуждал меня жить так, дабы судить было не за что». Это очень мужское чувство — ответственности перед потомками — мы катастрофически сегодня теряем. Потому о нем и писал Валерий Королёв, видя тут болезнь, вылечить которую он и не мог, но сказать о ней должен был: «“Отец” — и вглядываюсь в тех, кого теперь определяют этим словом, вижу их бегающие глаза, и кажется мне, жизнь их предков и сама их жизнь им не впрок, словно бы вообще у них нет прошлого, а произведены они кем-то в одночасье, обряжены в шутовские штаны да куртки и выпущены на улицу. Шагают — осанка есть, поступи нет. Сме-

ются — ехидство вместо веселости. Требуют у слабого — возгордившиеся наглецы. Просят у сильного — холопы. Глядячи на них, сердце болит за их сыновей: какими же они станут отцами?» Сердце писателя болело от измелчания человека, мужчины прежде всего. Болело от мизерных задач, которые наше время ставит перед человеком. Болело от пушенных вразнос, на ветер чувств и душ, ничего не скопивших с молодости.

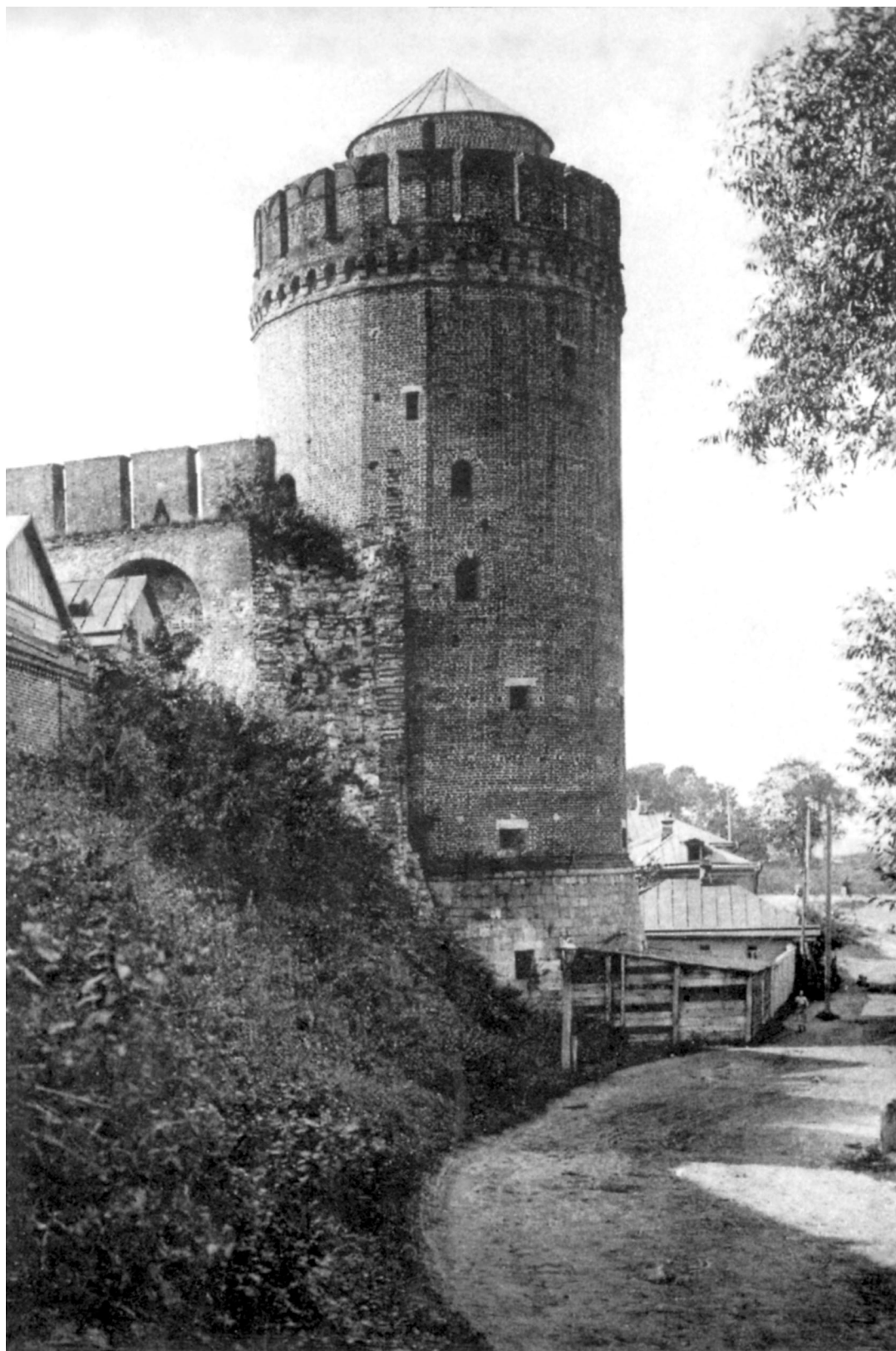
Нет, не в городе, а в своей разрушенной, еле живой деревне — деревне своего детства — находил он опору и поддержку. Опору, казалось бы, в совсем ослабевшем и сиротливом. А быть может, это возможно только потому, что в этой слабости была своя сила — в тех троих, что составляли «всё население деревни»: старых уже тёте Кате и Бойке, достаточно ещё молодавом и крепком «коренном человеке» Сашке Чиркове. Последний, который «наше время не уважает», держится за землю крепко, строит дом, обзавёлся пасекой, но не собирается становиться мироедом, не собирается «от избобилия болеть» (как на Западе).

Не удалось писателю отодвинуть в сторону простецкие деревенские дела, чтобы заняться своей творческой работой. Хорош бы он был, если бы вместо того, чтобы помочь им вытащить реальную и единственную корову-кормилицу, провалившуюся в погреб, засел бы за стол писать о подвигах своего Еропкина. Валерий Королёв, мне кажется, всегда был далёк от какой-либо абсолютизации культурных ценностей и творческой деятельности вне человека, — вне этих трёх, которые «не несут в себе безвольной покорности неотвратимой судьбе», но живут как бы под «праведной воинской присягой». Вот и Сашка сражается с чиновниками и хапальщиками за свою землю, а потому и писатель решает помочь Сашке «выиграть будущее возможное сражение, потому что, может статься, от исхода его будет зависеть, какой станет литература». И пронзает нас вместе с писателем не выразимое словами чувство — всеобщей связанности всего со всем, «всех-всех, кто составляет народ», со всем, «что речётся нашей жизнью, нормальной, человеческой...» Как не хватает нам сегодня *нормального* — нормального человека на экране СМИ, нормальной, не пустой речи; осмысленного нормального труда. Прав этот деревенский мужик Сашка, когда говорит, что «доброту никакими законами не узаконишь, её надобно просто иметь и не терять». Но знает ли Сашка, знает ли писатель, как её не терять? Знают — жить по душе, а посему «жизнь доброго человека — постоянный душевный труд».

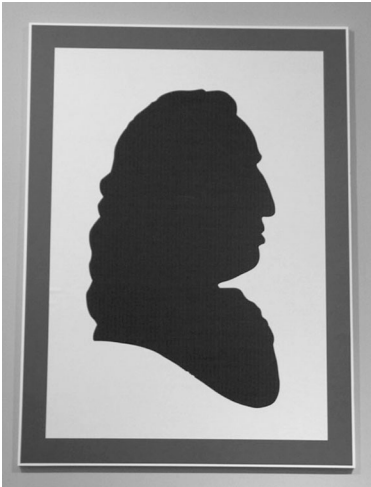
Нет, он не стоял на коленях перед творчеством и литературой. Обычно этот жест присущ писателем с завышенной оценкой самих себя и своего места в литературе. Он стоял на коленях перед русским человеком — добрым человеком — и всё хотел увидеть силу влияния доброго человека на нашу историю, всё хотел найти ту связь, что существует между ними. Так и рождается подлинная литература с её целомудренным отношением к человеку. Так рождается образ человека в русской литературе, которой честно служил Валерий Королёв.

КОЛОМЕНСКАЯ
СТАРИНА





Коломенская (Маринкина) башня кремля



Герард Фридрих Миллер (1705–1783) — выдающийся историк. Немец по происхождению, приглашённый в Россию (1725 г.), он внёс значительный вклад в развитие российской исторической науки. Известно его ценное собрание документов («Портфели Миллера») и классический труд «История Сибири».

Настоящее сокровище — его «Сочинения по истории России» (изданы в 1996 г.). Там в цикле «Описание городов Московской провинции» есть очерк «Езда в Коломну» (1778 г.). Написанный сочным языком XVIII столетия, этот текст зафиксировал массу интереснейших подробностей жизни Коломны «екатерининского века».

ЕЗДА В КОЛОМНУ

Получив от Государственной Коллегии иностранных дел и от Императорской Академии наук позволение чинить сего лета для поправления моего здоровья по городам и уездам Московской провинции разные путешествия, причём, дабы время не проводить втуне, принял я на себя сочинить Московской провинции географическое описание, и прислан ко мне для вспоможения от Академии переводчик Александр Андреев, то, во-первых, за потребно я рассудил испросить от его сиятельства главнокомандующего в Москве генерала-аншефа, сенатора, Её императорского величества генерал-адъютанта, лейб-гвардии Конного полку подполковника и кавалера князя Михаила Никитича Волконского ко всем Московской провинции и оной городов воеводам и воеводским товарищам и экономическим канцеляриям циркулярное предложение, дабы во время моего проезду по оной провинции чинили мне во всяких случающихся надобностях и по требованиям моим в делах, до моего сведения подлежащим, беспрепятственные вспоможения, что от его сиятельства 30 мая 1778 года и получил. Да по предложению его же сиятельства дана мне от Московской ямской конторы от 3 июня по всем Московской провинции городам и уездам на восемь почтовых лошадей, а за неимением оных на уездных, подорожная, которую послал я объявить для подписания в государственной Камер-коллегии. Да от его же сиятельства испросил я трёх человек солдат от Московского гарнизона, из коих оставил одного при доме моём, а двух взял с собою в дорогу. Итак, в первую поездку 3 июня о половине дня вместе с переводчиком Андреевым из Москвы отправился.

Сие первое моё путешествие было по вотчинам его сиятельства господина оберкамергера и кавалера графа Шереметева, даже до города Коломны и несколько далее, а оттуда назад до Москвы по следующим трактам.

Сперва поехал я через деревню *Хохловку* и село *Карачарово* к шереметевскому селу *Кусково*, что от Москвы в 8 верстах. Здесь граф Пётр Борисович тогда обретался сам, приехав туда за день перед тем на летнее жильё из дальних его вотчин. Не доехав до одного за три версты, по левой стороне дороги есть село *Перово* с рощею того же имени, принадлежащее зятю графа Петра Борисовича господину камергеру графу Алексею Кирилловичу Разумовскому. *Кусково* есть старое владение фамилии Шереметевых и главное жилище летнее его графского сиятельства, весьма достойное примечания для преизрядных там строений и во оных уборов, для саду, оранжерей, пруда, зверинца и пр., что всё исчислить нынешнее моё намерение не дозволяет.

Отобедав у графа Петра Борисовича и испросив себе от его сиятельства одного из его гусар в проводники, вступил я в 4 часу пополудни в дальний путь свой.

Люберицы — дворцовое село с садом в 16 верстах от города Москвы, которое принадлежало в своё время князю Меншикову, при коем переименовано было *Новым Преображенским*. Пётр III, будучи великим князем, застроил там палаты, но не довершил. Оставшиеся от сего строения материалы — белый камень и железо — употреблены в 1765 году к строению Воспитательного дома в Москве. При палатах есть большой сад, а при саду несколько казённых садовников, состоящих в ведомстве *Коломенского* дворца, до которого почитается от сего села толикое же расстояние, как и до Москвы. Две того же ведомства деревни — *Люберицы* и *Панкина* — по обеим сторонам палат и сада с приезде и при выезде считаются одним приходом и имеют в Панкине общую церковь, потому что они к палатам ближе.

Островцы — деревня графа Шереметева в 27 верстах от города Москвы. Здесь переменяли лошадей. Отъехав от Островцов одну версту, имели речку Москву в виду. Имя же Островцов от чего, никто истолковать не мог. Островов на Москве-реке в близости не объявляют. По левой стороне дороги в некотором расстоянии течение имеет речка *Пехорка*, на которой многие помещицы деревни, между коими в наилучшем виде представляет село *Пехорское* тайного советника и сенатора Михайла Михайловича Измайлова.

Проехали устье речки *Пехорки*, которая впадает с левой стороны в реку Москву. Устье оной принадлежит графу Петру Борисовичу, где и есть преизрядная его сиятельства мучная мельница о 12 поставах, приносящая до 1500 рублёв годового доходу, потому что сия речка во весь год водою изобильна. Другая, недалеко от оной, мельница его же сиятельства на речке *Малаховке* о 6 поставах платит не больше как по 150 рублёв в год оброку.

Доехали поздно вечером до села *Маркова* в 25 верстах от Островцов, где и ночевали. Здесь есть на левом берегу Москвы-реки увеселительный и многими картинами украшенный дом графа Петра Борисовича, служащий наиболее в осеннее время к пребыванию его сиятельства для звериной охоты. Большая церковь каменная во имя Казанской Пресвятыя Богородицы с пятью приделами стоит близ господского дому. Окололежащая страна населена деревнями. Сия вотчина досталась графу по наследству от покойного тестя его, князя Алексея Михайловича Черкасского. На здешнем берегу Москвы-реки находились иногда окаменелые вещи — мадрепоры, но ныне оных не видно. Старанием его сиятельства учреждён против села Маркова весьма способный через реку Москву

перевоз на плоту, на коем я 4 июня поутру переправился, а оттуда продолжал свой путь Коломенским уездом.

В 4 верстах от Маркова ехали мимо села *Бронниц*, где есть казённый коневой завод на правом берегу Москвы-реки и для лошадей находится там каменное строение.

Потом следовали по пути вотчины графа Петра Борисовича Шереметева: 1) *Амирово* — село в 17 верстах от Маркова, 2) *Мещерино* — село в 13 верстах от *Амирова*, к коим принадлежит ещё село *Чиркино* в 5 верстах от Мещерина в правую сторону и село *Рандыри* в двух верстах от города Коломны. Вся сия вотчина принадлежала прежде боярину *Василью Борисовичу Шереметеву*, который при смерти своей отказал оную боярину, а потом фельдмаршалу графу *Борису Петровичу Шереметеву*, отцу графа Петра Борисовича. Он же, боярин Василий Борисович, жительство имел в селе *Чиркине*, где скончался и погребён. Но ныне главное место сей вотчины есть село *Мещерино*, где фельдмаршал в 1719 году построил большой каменный дом, да при оном деревянный преизрядный в 1770 году графом Петром Борисовичем, потому что его сиятельство иногда и там в осеннее время звериною охотою забавляться изволил. Там же есть и большая каменная церковь изрядного и не староманерного строения, которая, ежели по внешнему виду рассуждать, может стать, прежде каменного дому, но оным же фельдмаршалом графом Борисом Петровичем построена.

Отсюда можно бы было тем же днём на переменных лошадях доехать до города *Коломны*, но дорожная коляска требовала некоторой починки, для которой здесь переночевать принуждён был. Положение села *Мещерина* есть на речке *Северке*, впадающей в реку Москву в 7 верстах от города Коломны.

По дороге от Мещерина до города Коломны нет никаких сёл ни деревень. Расстояние считается в 24 версты. От Москвы до Коломны везде равные хлебородные поля, но не везде по-надлежащему обрабатываются и местами лесом скудны. Пред въездом в город переехали по мосту чрез речку *Коломенку*, которая, как видно, по городу прозвана, а от чего город именован и когда построен, ни по летописцам, ни по преданию не известно. Догадка некоторых, якобы от приезжих италианцев фамилии *Колонны*, ни на чём не утверждается.

Приехал я в Коломну 5 июня перед полуднем. По знакомству с воеводою коллежским советником *Петром Феодоровичем Жуковым* за первый долг я признал, чтоб с ним увидеться и от него вспоможения в моих делах истребовать. После полудни того ж числа поехали мы вместе к преосвященному епископу коломенскому *Феодосию*, живущему в загородном его доме *Подлипках*, что при речке Коломенке в двух верстах от города. Его преосвященство архипастырь преизрядных качеств, довольно учён и всем городом любим. Он нас принял с отменным благоволением и приглашал нас к своему столу, в которой день мне будет свободно, на что я и согласился. Архиерейский дом в городе при соборной церкви сгорел в прошлом, 1777 году в день Вознесения Христова и ныне опять строится, на что от всемилостивейшей государыни пожаловано 12 000 рублёв на разные потребности. Позади архиерейского загородного дома лежит деревня *Подлипки*, а супротив оной при речке Коломенке село *Городище*, которого звания причину жители коломенские изъяснить не знают.

Епископ, услышав от меня, что я желаю обозреть все околичности города Коломны, а в том числе и *Голутвин* монастырь, что не в дальнем расстоянии от устья Москвы-реки, изволил меня туда проводить в своей

карете. Приняты мы были благочинно от тамошнего архимандрита Арсения, которой водил нас по всему монастырю и в одной церкви показал посох св. *Сергия Чудотворца*, первого основателя сего монастыря, из простого дерева, с деревянною же прямою клюкою, и весь притом чёрной. Мы поехали до устья, которое от монастыря с версту, а от города до монастыря считается 5 вёрст. Все тамошние места вешняя вода почти до монастыря поднимает, отчего везде голый песок и травы мало, а в старину, сказывают, был там густой лес, в котором до состроения монастыря жили разбойники, и от того произошло имя *Голутвин*, а именно от голудбы, то есть от сонмища *людей голых*, не токмо ничего собственного не имеющих, но и в нужнейшем одеянии претерпевающих недостаток. В монастыре 3 церкви каменные:

1) Богоявления Господня, по которой и Богоявленским, но с прибавлением звания *Голутвин* называется, 2) Сергия Радонежского чудотворца, 3) На Святых Вратах Введения во Храм Пресвятыя Богородицы. Кельи и ограда каменные; при монастыре сад с плодовитыми деревьями. Тут же живут и разных ремеслов мастеровые люди для монастырской потребности. При наступлении вечера преосвященный епископ проводил меня в город до моей квартиры и, посидев немного у меня, возвратился в свой загородной дом.

На другой день (6 июня) поехал я с воеводою к селу *Дединову*, лежащему на реке Оке в 25 верстах от города Коломны вниз по реке на левом берегу. При оном селе исстари строятся струга для водяного ходу по рекам. Во время же государствования царя *Михайла Феодоровича* строили там корабль для голстинского в Персию посольства и повелением государя царя *Алексея Михайловича* состроен корабль «Орёл», сожжённый при Астрахани Стенькой Разиным (сии происшествия по «Описанию Каспийского моря», мною сочинённому, известны), да, уповательно, там же построен и ботик, Петром Великим «*дедом Российскаго флота*» названный и хранящийся с 1723 года в Санкт-Петербурге. Толь достопамятные обстоятельства, без сумнения, могут прославить место, которое и кроме того по разным причинам внимания заслуживает. Оно было исстари село дворцовое, снабдевавшее двор рыбою, в рассуждении чего по данным оному грамотам жители и пользовались необычайными рыбными ловлями, но с 1762 году всемилостивейшею государынею пожаловано господину генералу-поручику и кавалеру Михайлу Львовичу Измайлову, отчего доходы его, по малой мере, до 6000 рублёв умножились. 6000 рублёв говорю потому, что жители так объявляют, но кажется, что толь важное место больше доходу в год приносить должно. Пространство села *Дединова* занимает 5 вёрст вдоль по реке *Оке*; к оному принадлежит присёлок *Клин* в расстоянии от крайних дединовских жилищ на 5 вёрст вниз по реке Оке, при устье реки *Цны*, Володимерский уезд от Коломенскаго разделяющей. В обоих находится по подушному числу 2398 человек мужеского пола и 2460 женского. Пахотных земель жители не имеют и ни на десятину для скотского выпасу: окололежащие поля принадлежат разным помещикам. Но по другой стороне реки Оки даны им луга в Зарайском уезде, коими скот свой содержат. Конечно, первые поселяне не справились с высотой берегов: не потопляются ли иногда вешнею водою? Потопляются всякую весну на шесть недель, а иногда на два месяца. И тогда жители в домах своих сидят праздно и другого сообщения один с другим, кроме что в лодках, не имеют. На одном месте, что есть верхняя половина села, есть 3 церкви (а церкви все каменные, тёплые и довольно пространные): 1) Воскресения Христова с приде-

лом Иоанна Предтечи, 2) Рождества Богородицы с приделом Трёх Святителей, 3) Петра и Павла. В нижней половине — церковь Св. Троицы с приделами Успения Богородицы и Николая Чудотворца. При сей церкви хранится образцовый струг, Петром Великим жителям данный, дабы оному в строении судов последовали. Последуют ли? Сего заподлинно сказать нельзя. Сказывают, что ежедневное искусство произвело некоторую и в сей науке перемену. Леса на струговое строение получают они по рекам *Цне* и *Угре*, которые единственно в сей стране ещё лесами изобилуют. Оные же реки им и пределами рыбной ловли по реке Оке предписаны, коими, однажко, с того времени, как рыбу ко двору не ставят, мало пользуются. Рассуждая по справедливости, требование их, коих всех жителей верховых мест, даже до Угры по реке Оке, от рыбной ловли исключить желают, с того времени как причина отменилась, некоторой перемене подвержена быть может. О реке *Цне* должно примечать, что есть и другая того же имени, которая впадает в Оку с правой стороны от города Шатица, а Угра впадает в Оку с правой же стороны по течению реки Оки ниже *Калуги*. Струги, в Дединове строящиеся, ходят по всей реке Волге, даже до Астрахани, с хлебом и товарами, а по Оке порозжие до Орла, где нагружаются хлебом для отвозки в Москву.

Проехали по дороге до *Дединова* вперёд и назад. Едучи: в 15 верстах от Коломны село *Карачеево* княгини *Анны Егорьевны Грузинской*, вдовы царевича *Бакара Вахтангеевича*, где ломают хорошей известной камень, которой употребляется также на бут в строениях. К вечеру возвратились в Коломну.

7 числа обедали у преосвященнаго Феодосия в Подлипках, угошены будучи весьма приятно.

8 числа июня остался я дома для записки путевых моих примечаний.

9 [числа]. Услышав, что в 5 верстах от города по зарайской дороге при деревне *Протопоповой* на берегу реки Оки есть каменная ломка, которую обозреть не без пользы будет, поехал я туда, но камень не иной, как которой уже описан при *Карачееве*. Такие камни, сказывают, есть во многих местах Коломенского уезда, чего ради об оных упоминать впредь за излишно почитаю.

Господин воевода, похвалив мне сад при селе *Северском* господина полковника Петра Ивановича Измайлова, лежащем на устье реки Северки в 7 верстах от города Коломны, яко вещь, примечания достойную в сей отдалённости, мы 10 июня, в воскресенье, туда поехали. Сад сей подлинно для Коломны удивления достойный. Впрочем, плодовых садов в Коломне и около сего города везде много, от которых жители и немало доходу получают. Особливо хвалят коломенские яблоки, яко величиною и вкусом прочие превосходящие.

11 июня был я в здешних двух монастырях: *Брусенском* девичьем и *Спасском* мужском, но ничего особенного не приметил и о строении их известия не получил. Того ж и 12 числа осмотрел я разные фабрики здешних жителей — суконные, шёлковые, кумачные — и при оных красивые. Сукна делают больше солдатские по 58 копеек аршин, шёлковые штофы с травами на обои и гладкие гродетурсы, и толстые тафты, и платки в 2 рубля и дороже, лёгких не делают для размножения в Москве фабрик, которые своё рукоделие дешевле, как настоящие фабриканты, продавать могут. Кумачи ткут почти лучше астраханских и светлее краскою, продают также и бумажную пряжу крашеную на потребу крестьянских баб, вышивающих оною свою одежду. Нитки белые бумажные при-

ходят из Оренбурга дешевле, нежели здесь прясть могут. Здешняя морена (корень, в красную краску употребляемое) сочнее, толще и, следовательно, лучше той, что для пробы выписали из Царяграда. Из здешних фабрикантов первые Демид да Иван Демидовы дети Мешаниновы, из коих первый живёт в Москве, но здесь фабрику суконную имеет. Другой — первостатейный здешний купец и бургомистр, коим заведено здесь делать кумачи. Он же и ситцевую фабрику завёл было, но для переменного часто вкуса в травах оставил. Сергей Сидоров сын Попов — первостатейный здешний купец — имеет шёлковую здесь фабрику, но по большей части в Москве пребывание имеет.

13 июня приготовился я к возвратному пути в Москву, простился с архиереем и с воеводою и ездил для осмотра некоторого малого монастыря за рекою Москвою близ города, о коем записал следующее: *Бобреньев* монастырь лежит в двух верстах от Коломны не при самой Москверке, но при озерке в приятной равнине, между пахотных полей, со всех сторон в виду на многие вёрсты. При монастыре деревня *Бобрюхина*, состоящая по ревизии из 93 душ мужеского полу. В монастыре две церкви каменные, одна большая, нового здания, во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, другая старая, малая, Вход Спасителей во Иерусалим. Ограда и кельи деревянные, а когда построены монастырь и церкви, о том известия нет. При новом распределении в 1763 году остался оный за штатом на собственном содержании, а церкви стали быть приходские. Оставлено во владении монастырском несколько пустошей, которые отдаются в наём, от чего строитель и три человека монахов пропитание имеют и церковное строение исправляют. Большая церковь покрыта сего лета вновь, кельи перестраиваются; строитель — человек старательный и разумный.

Отправился я из Коломны 14 июня по обыкновенной большой дороге, по которой считалось прежде 90, 93, 95, а ныне считается 100 вёрст. От коломенских же жителей — 101 верста. По оной дороге определены для перемены почтовых лошадей две станции: *Ульянинова* и *Островцы*, обе помещицьи деревни, а последняя графа Шереметева, и притом та самая, где я, едуци из Москвы, переменял лошадей. В каждой стоят по 16 почтовых лошадей.

От Коломны до Ульяниновой считается

по прежней верстовой росписи	32
по нынешней	34

От Ульяниновой до Островцов

по прежней* росписи	38
	39

От Островцов до Москвы

по прежней росписи	25
по нынешней	27

Итого: 95—100 вёрст

Дабы не иметь никакой остановки, ниже привязанности к почтовым станам, чтоб можно свободно было остановиться, где захочется, или и переночевать, где вовсе перемены нет лошадям, нанял я в Коломне непременных до Москвы лошадей и порядком дешевле указных прогонов.

* В рукописи описка; должно быть «по нынешней». — *Ред.*

В сей дистанции паче всего примечания требует село *Бронницы* для имеющегося там казённого конского заводу и приписанного к оному заводу дистрикта. Сие село лежит на правом берегу Москвы-реки при большой дороге в 14 верстах от Ульяниновой, а от Коломны в 48 верстах. Конюшня устроена в четырёх каменных палатах на 300 лошадей, которое число не всегда в полном количестве. Жеребцы разных пород держатся в стойлах, а кобылы ходят по околожлежащим лугам, на коих и сено косят с великим изобилием. По четвёртому году лошади посылаются в *Пахрино* — такой же конский завод при реке *Пахре* в 30 верстах от Бронниц, — где им чинится разбор для предбудущего употребления. Начало сего завода неизвестно. Говорят, будто от князя Меншикова. Правда, что князь Меншиков оным владел, но первое учреждение конских заводов в России должно приписать царю *Алексею Михайловичу*, о коем известно, что хороших коней чрезмерно любил, почему, вероятно, кажется, что как Бронницы, так и Пахрино от сего государя построены. Каменные конюшни в Бронницах построены во время государствования императрицы Елисаветы Петровны. Над заводом управитель из штаб-офицеров, зависит от Московской конюшенной конторы.

При заводе всякую работу исправляют жители села Бронниц и прочих ко оному приписанных сёл и деревень крестьяне, по последней ревизии из 1047 душ состоящие. В Бронницах две церкви каменные: 1) Михаила Архангела, 2) Ивана Милостивого с приделом Николая Чудотворца. Прочие к Бронницам приписные сёла называются *Велино* да *Борщёво*, кроме двух деревень — *Морозовой* и *Колупаевой*, из коих последняя лежит за рекою Москвою, но все от села Бронницы не в дальнем расстоянии. К сему заводу принадлежала прежде и *Гвоздинская волость* Московского уезда, рекою же от Бронниц отделённая, но сие назад тому несколько лет отменено.

В Бронницах я ночевал. Оттуда в 6 верстах следует село Кривцы, при реке же Москве лежащее, коим Коломенский уезд граничит с Московским.

От Кривцов в 19 верстах есть чрез реку Москву мост, из плоченных брёвен сделанный (по-здешнему: живой мост), с названием *Боровицкий*, чаятельно, для того, что в давние годы был около сего моста при реке Москве *бор* или *лес*, коего ныне уже следов нет. Оный так сделан, что для проезжающих стругов ярус брёвен вынимают и опять сплавивают. Сим мостом переехал я через реку Москву. Оттуда лежит дорога в расстоянии от мосту в 5 верстах к шереметевской деревне *Островцам*, где есть почтовый стан. Но я, желая видеть находящуюся выше моста в версте ломку белого камня, употребляемого в Москве на строение, велел туда меня повезть, и оттуда прямо к Москве. *Белый камень* ломается по обоим берегам реки Москвы при двух сёлах — *Верхнего* и *Нижнего Мячкова*, коих жители за свою собственность оный почитают и никому иному добывать не позволяют, почему и называется *мячковским*. Село Верхнее Мячково лежит на левой стороне, а Нижнее на правой, не на самых берегах, но в небольшой от оных отдалённости, один от другого в виду. Камень сей из числа известных способен к добыванию и тесанию. В земле он бывает несколько мягок, а от воздуха крепнет. Верхнего слоя камень крепче нижнего, но от воздуха расседается и за тем в дело негоден. Он же желтоват и известных частиц в нём мало. Из прямого белого выходят большие камни на могилы, а употребляемые на строение бывают длиною в три четверти и в аршин, шириною и толщиною в четверть и в шесть вершков, меньшие

куски употребляются в бут и в известь, которая сжигается там же. Фигурных и окаменелых вещей в камнях, сказывают, никаких нет. Для избежания замешательства в именах напоминает, что есть и другое село *Мячково*, не в дальнем расстоянии от Коломны, но при оном каменной ломки не имеется.

Когда я хотел от Мячкова прямым путём ехать в Москву, то извозчики сказали, что хотя и есть прямая дорога, по которой возят в город камень, но она тесна и коляскою проехать не можно; посему я принуждён был возвратиться к мосту, откуда ехал мимо *Островцов* и, не занимая *Кусково*, мимо *Вешняковой*, его же сиятельства графа Шереметева по имеющейся в ней каскаде достопамятной деревне, и по-прежнему чрез государевы деревни Карачарово и Хохловку приехал назад в Москву 15 июня около полудни во всём благополучно.

Коломна — город Московской губернии, расположен на правом берегу реки Москвы почти в 5 верстах от её впадения в Оку; причина названию, равно как и возраст города, неизвестны. Когда утверждают, что маленькая речка Коломенка, впадающая у города в Москву, возможно, и передала ему своё имя, то представляется, что Коломенка не могла иметь оное до основания города, следовательно, река получила название от города, а не город от реки. Существует также род судов, называемых «коломенки», посредством которых на реке ведётся торговля. Имя своё они, вероятно, носят по причине той, что изначально и преимущественно их строили в Коломенском уезде, как и поныне заведено в Дединове, хотя впоследствии строительство их и употребление распространилось по всей России, вплоть до Сибири. Труднее объяснить, отчего местность в Петербурге называется Коломна. Я справлялся о сём, но удовлетворительного объяснения не получил. Хотя литовские историографы числят среди предков своих прежних великих князей итальянский дом Колонна, от коего некоторые выводят и название города Коломна, но такое пустое, ничем не доказуемое измышление не заслуживает уважения.

Когда и кем был основан город, о том в русских летописях ничего не находим. Первое упоминание о нём имеется под 1234 годом при описании нашествия татар на Русь. 1 сентября Коломна была взята ими приступом, разорена и сожжена. В 1353 г. в Коломне уже был епископ по имени Афанасий. С тех пор и по сей день в Коломне свой епископ, кроме тех лет, когда епископство преобразовывалось в архиепископство, как то обыкновенно происходило. В 1364 г. в Коломне, как и во многих иных местах, свирепствовало моровое поветрие, отчего умерло много людей.

В сём городе в 1365 г. великий князь Димитрий Иванович, получивший впоследствии прозвание Донской, вступил в брак с Евдокией, дочерью великого князя суздальского Димитрия Константиновича.

Коломенские рати упомянуты под 1369 годом вместе с московскими и дмитровскими, кои бились на стороне великого князя Димитрия Ивановича против великого князя литовского Ольгерда. Князь Владимир Андреевич, племянник великого князя Димитрия Ивановича Донского, в 1374 г. повелел выстроить в Серпухове деревянный замок; при сём летописец заметил, что случилось это в вотчине князя, Московской земле и Коломенской. Из сего, однако, нельзя ещё заключить, что Москва и Коломна принадлежали князю Владимиру Андреевичу. В разных опубликованных духовных грамотах великого князя Димитрия Ивановича видим, что Коломна не только никогда не передавалась в удел, но, паче того, в завещании

города великим князем старшему сыну, Василию Дмитриевичу, содержалось намерение сохранить оный как великокняжескую вотчину.

На сей земле, и особенно в долине речки Северки, собирались ратники для отражения частых набегов татар. Свидетельством тому являются известия о походе великого князя Дмитрия Ивановича Донского на татарского хана Мамаю. Было то в 1380 году. Поход и победное возвращение проходили через Коломну. (Далее зачёркнуто: Тогда, в 1380 году, тамошний епископ звался Герасим. Он упомянут при описании похода и, пространнее, победного возвращения князя, прибывшего в Коломну 21 сентября и расположившегося здесь на несколько дней. — *Ред.*)

В 1382 г. (в рукописи ошибочно: 1383 г. — *Ред.*) хан Тохтамыш совершил свой ужасный набег на Русь. Особенно претерпела Коломна при его отходе. (Далее зачёркнуто: Епископ Герасим спасся бегством в Новгород. — *Ред.*) Другое нападение, к которому жители совсем не были готовы, приключилось от князя Олега Рязанского в 1385 году. Великий князь (далее зачёркнуто: бывший тогда в затруднении. — *Ред.*) в замиреннии с рязанским князем прибег к помощи знаменитого настоятеля Сергия. (Далее зачёркнуто: Сей поступок новгородцы сочли презрения достойным и отказались платить великому князю дань. Весной 1386 г. Коломна получила нового епископа — архимандрита владимирского Павла, после смерти за год до того Герасима. — *Ред.*) В 1398 г. великий князь Василий Дмитриевич находился в Коломне, когда великий князь литовский Витовт (польские повествователи называют его Витольд) вёл войну с Рязанским княжеством. Дочь Витовта, София, была женой Василия Дмитриевича. Витовт посетил его в Коломне, был радушно принят и щедро одарён. (Далее зачёркнуто: С преосвященным собором русского духовенства 1401 г. в Москве связано упоминание епископа коломенского Григория, преставившегося в 1405 г. Ему наследовал в 1406 г. епископ Илларион, а оному в 1409 г. — епископ Амвросий. В 1449 г. при описании поставления в митрополиты Ионы находим на сем месте епископа Варлаама, а в 1461 г. его сменил Геронтий. Оный в 1473 г. стал московским митрополитом. Место его занял епископ Никита, который умер в 1480 г. и имел преемника игумена Пафнутиева монастыря Герасима Смердкова. Оный умер в 1489 г. На его место в 1490 г. пришёл игумен Угрешского монастыря Авраамий, в 1502 г. скончавшийся, после чего епископом стал Никон, игумен Павловой пустыни. — *Ред.*)

В 1423 г. великий князь Василий Дмитриевич снова был в Коломне, в то время как его супруга навещала отца в Смоленске.

В междоусобную войну великого князя Василия Васильевича с дядей, князем Юрием Дмитриевичем, к 1433 году под властью великого князя ничего более не оставалось, кроме сего города. Но только обстоятельства переменились, и Василий вновь получил великое княжение. Коломна же, напротив, на малое время была назначена местом заточения сына князя Юрия, который в 1446 г. отомстил за то великому князю жестоким способом, оставившим последнему прозвище Тёмный.

Великое несчастье постигло Коломну в 1439 году, ибо хан Махмет, подступив к Москве и не достигнув чаемого, по возвращении обрушил всю злобу на беззащитную округу. Город был сожжён, а большинство жителей вырезано.

Во время татарского нашествия 1480 г., когда река Угра отделяла неприятеля от русских дружин, великий князь Иван Васильевич с 23 июля по 30 сентября находился в Коломне.

Последний раз Коломна подверглась вражескому нападению в июле 1523 г. Свирепые орды стеклись от берегов Волги и из Крыма, застали врасплох несчастных жителей сей местности и увели с собою множество пленных. Дабы уберечь Коломну от подобного разорения в будущем, великий князь Василий Иванович в 1525 г. повелел окружить часть города каменной стеной. Оное событие в наше время ложное толкование получило, будто бы именно тогда заложен был город Коломна. О сём можно прочесть в топографических известиях, напечатанных в 1771 г. обеими Академиями наук на русском языке. Виной сему недоразумению послужило двойное значение слова «город». Желая знать возраст города, получают ответ о возрасте каменной крепости. (Далее зачёркнуто: Она воздвигнута в августе 1530 г. — *Ред.*) С тех пор Коломна более не подвергалась нападениям неприятеля. Последующее описание раскроет нынешнее состояние города.

* * *

Окружённая каменной стеной часть города Коломны первой встаёт на пути, как только проезжаем мост через Коломенку. Дорога идёт за ворота под башней-стрельней по узким, тёмным улицам, к неудобству которых должно привыкнуть, затем чтобы находить оные хотя бы по малой части сносными. Стена не имеет правильного очертания, но размеры пространства, заключённого в ней, предупреждая вопросы, следует указать. Длина стены 980, а ширина 815 сажений. Стена примечательна облием башен, однако, помимо того, не обведена ни валом, ни рвом. Внутри стоят 5 каменных церквей: 1) Соборная церковь Успения Пресвятой Богородицы, 2) Тихвинской Богородицы, тоже соборная, для зимних служб, 3) Воскресения Христова с приделами Космы и Дамиана, 4) Николая Чудотворца с приделами Пресвятой Богородицы и Всех Скорбящих, 5) Воздвижения Креста Господня с приделом Николая Чудотворца.

Подле первой соборной церкви отстроены архиерейские палаты, сгоревшие два года назад. Там имеется ещё одна каменная церковь — Живоначальной Троицы. Далее, в пределах крепостной стены, расположен небольшой женский монастырь — Брусенский, с одной каменной церковью Успения Пресвятой Богородицы и двумя приделами: Казанской Богородицы и Иоанна Златоуста.

За стеной, в предместьях, насчитывают 9 каменных и 2 деревянные церкви. Каменные: 1) Архангела Михаила с приделом Трёх Святителей, 2) Иоанна Богослова с приделом Иоанна Воина, 3) Покрова Пресвятой Богородицы с приделом Григория Богослова, 4) Воскресения Христова с двумя приделами — Иоанна Богослова и Николая Чудотворца, 5) Рождества Христова, 6) Воздвижения Честного Креста с приделом Великомученика Никиты, 7) Богоявления Господня, при которой стоит старая деревянная церковь, 8) Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, 9) Вознесения Господня с приделом Великомученицы Екатерины. Деревянные: 1) Алексея, Человека Божия, с приделом Великомученицы Параскевии, нареченной Пятницы, 2) Симеона Столпника.

Сверх того, имеется мужской Спасский монастырь с тремя каменными церквями: 1) Преображения Господня, 2) Происхождения Честных Древ, 3) надвратной — Спаса Нерукотворного Образа.

Вот список **архиереев, возглавлявших Коломенскую епархию**, начиная с самых ранних известий.

- 1353 г. Афанасий
- 1380 г. Герасим
- 1383 г. Павел
- 1401 г. Григорий, ум. в 1405 г.
- 1406 г. Илларион, ум. в 1409 г.
- Иоанн
- 1419 г. Амвросий
- 1449 г. Варлаам
- 1461 г. Геронтий, ставший в 1473 г. московским митрополитом
- 1473 г. Никита, ум. в 1480 г.
- 1481 г. Герасим Смердков, ум. в 1489 г.
- 1490 г. Авраам, ум. в 1502 г.
- 1502 г. Никон
- 1507 г. Митрофан
- 1520 г. Тихон
- 1525 г. Вассиан, при коем была возведена каменная церковь
- 1542 г. Феодосий
- 1560 г. Герасим
- 1564 г. Варлаам
- 1565 г. Иосиф
- 1572 г. Давид
- 1581 г. Иов, позже патриарх
- 1588 г. Иосиф
- 1617 г. Рафаил
- 1643 г. Александр
- 1657 г. Павел
- 1667 г. Михаил

Митрополиты

- 1672 г. Иосиф, велел построить соборную церковь, возведение которой завершено его преемником
- 1676 г. Павел
- 1682 г. Никита
- 1705 г. Антоний
- 1719 г. Иоаникий, греческий митрополит, писался пред тем Ставропольским

Архиереи в последние годы

- 1724 г. Варлаам, позже астраханский архиерей
- 1731 г. Вениамин, ум. в 1740 г.
- 1740 г. Киприан
- 1741 г. Савва, велел крыть соборную церковь железом
- 1749 г. Гавриил Кременецкий, позже митрополит Казанский
- 1755 г. Порфирий, позже митрополит Белгородский
- 1763 г. Феодор; в заслугу оному следует поставить новый иконостас тонкой работы и колокол весом 800 пудов для соборной церкви

Поскольку архиереи и митрополиты в России именуются не только по главному городу епархии, но и по одному из прочих, стоящих под его духовным надзором, то здешний архиерей носит титул Коломенского и

Каширского; к епархии одного принадлежат 900 церквей. Перед конфискацией церковных имений он пользовался доходами с 2796 душ мужского пола. И теперь ещё прислуга его состоит из 46 человек.

Главой города является воевода, коллежский советник, имеющий себе в помощь асессора. Канцелярскими делами заправляет секретарь с 13 канцеляристами. Подпоручик с 29 унтер-офицерами и солдатами служат при канцелярии для охраны и посылок. Здесь находятся зимние квартиры Невского пехотного полка, его лазарет и каменный полковой сарай. Городская канцелярия помещается в довольно невзрачном деревянном доме.

В городе, включая посад, 11 кабаков и столько же в округе. Винные откупа составляют нынче до 31 600 рублей, но при подновлении кабаков могут заметно возрасти.

Улицы в пределах крепостной стены очень узки. На посаде просторнее. Всего в городе 30 каменных и 757 деревянных домов. Жители — большею частью купцы или причисляемые к оному сословию.

Делятся они на три гильдии:

1-я состоит из 17 душ; 2-я — из 192; 3-я — из 406 душ.

Всего 615 душ.

Среди них, однако, не следует искать мелких торговцев и ремесленников, кои носят общее наименование мещане, или горожане, и платят подушные деньги; купцы, напротив того, платят подати по размеру торгового капитала. (Далее зачёркнуто: Сюда относят ещё 98 душ, работающих на фабриках. — *Ред.*)

Справедливо удивление малому числу тамошних ремесленников, которое, однако, соразмерно потребностям, ибо большинство готовых изделий приходит из Москвы, или же сложные работы доделываются в Москве. Лишь кузнецы имеют свой повседневный заработок. Их здесь 39 душ. Прочих ремесленников, напротив того, менее 30: слесарей — 3; портных — 4; сапожников — 7; подмастерий — 15. (Далее зачёркнуто: Понеже через Коломну проходит лишь единственная большая дорога из Москвы в Рязань, то представляется чрезмерным устройство тут 2 слобод из 445 ямщиков. Помимо Коломны в уезде больше нет ямщиков. По последней ревизии 1764 г. в Коломне и уезде числится (пропуск в тексте. — *Ред.*) душ, выплачивающих подушные деньги. — *Ред.*)

Чума 1771 года не причинила сей местности большого урона. В Коломне умерло 59, а в Москве коломенских жителей — 37 человек. В ямщицких слободах было не более 5 умерших. Среди них 2 мужчин, 2 женщины и 1 ребёнок, все из одной семьи, целиком вымершей.

В Коломне не заведены ярмарки, но дважды в неделю бывают базары — в понедельник и четверг, куда крестьяне привозят для продажи излишки зерна, хмель и разную ручную работу. Небольших деревянных лавок здешних торговцев насчитывают до 370. Из оных в недавнее время сгорело от пожара 227, но вскоре были отстроены заново. В них можно найти много всякого шёлкового тканья, сукно, холсты, сатин, китайку, кунач, стеклянную посуду, фарфор, скобяные товары, сахар, пряности, фрукты, воск, мёд, свечи и т.д. Пусть не все товары отменного сорта, но вполне пригодны к здешнему употреблению. Есть также погреба с несколькими скверными сортами иноземных вин.

Первейшее пропитание городу издавна давала торговля скотом, которая и поныне существует. Летом скототорговцы едут на Дон и в Малороссию, откуда под осень пригоняют в Коломну до 16 000 голов скота,

забивают его в огромной бойне за городом, засаливают мясо, вытапливают жир и переправляют то и другое для продажи в Москву и Петербург. Считается, что ежегодно 35 000 и более пудов жира приходит в Петербург; шкуры идут на выделывание юфти. Становится тогда понятно, коим образом торговцы могут вместе с тем быть держателями боен, а держатели боен — торговцами. Через сие предприятие они до того обогащаются, что становятся во главе горожан ратманами, бургомистрами. В бытность мою здесь дюжий мясник, муж, однако, здравого рассудка, носил звание первого бургомистра. Только поварское искусство, которое в Германии привязано к ремеслу мясника, у них не заведено.

Торговля здешних жителей ведётся старинным путём, по которому они ездят с товаром на ярмарки разных городов и с зерном в Астрахань, а оттуда они привозят рыбу и икру. Строительство стругов в Дединове и судходство по рекам кормит многих людей.

Новыми предприятиями жителей Коломны, посредством которых многие заметно разбогатели, являются мануфактуры и фабрики; последние 30 лет здесь, как и всюду, процветающие. Имеется одна суконная фабрика в 17 станов, где выделывают сукна разного сорта и цвета, большею частью, однако, для обмундирования армии, и скверную каразею для подкладки. Фабрика поставляет ежегодно 300 и более кусков сукна на мундиры, и в основном тонкого, из неокрашенной шерсти, в каждом куске 27 аршин. Каразеи — до 200 кусков, каждый в 60 аршин. Шерстяное сукно продают в Тамбов и в малороссийские города. На трёх полотняных фабриках на 71 стане ткут парусину и сукна подобного сорта до 2000 кусков, каждый в 50 аршин.

Кумач, благодаря более стойкой окраске предпочитаемый персидскому, фабрика производит до 12 550 кусков, каждый по 8 аршин. На пяти станах делают на китайский манер китайку тёмно-синего цвета, до 1830 кусков, каждый по 7 аршин. На 22 станах двух фабрик приготавливают всякого рода шелка, сукна, кружева, для чего ежегодно употребляют около 66 пудов персидского и китайского шёлка. Сбывают товар частью здесь, частью в Риге, частью же в малороссийских городах. Набойные фабрики, делающие ситцы, ситцевые платки, набойку и хлопчатую бумагу, не оправдывают издержек, ибо мода изменчива и не даёт возможности рассчитывать на постоянную прибыль.

Большой доход приносят 15 кожевенных заводов, где выделывается столь же отменная юфть, как и в Ярославле, всегда находящая сбыт в Москве и Петербурге.

Столь же прибыльны и 14 солодовенных заводов, на которых вываривают около 30 000 четвертей ржаного и ячменного солода для продажи на горшечный и изразцовый промыслы, а также на кирпичные заводы, во множестве имеющиеся близ города. При сём следует заметить, что здешняя природа, равно как почти повсеместно в Московской провинции, богата горшечной глиной, употреблять которую можно было бы с большей выгодой и к общему благу.

* * *

Население Коломны и уезда, положенное в подушный оклад, по ревизии 1764 года состояло из 68 284 душ мужского пола. (В будущую ревизию 1782 года явится, насколько возросло население.)



В грандиозной «Истории государства Российского» **Николая Михайловича Карамзина** (1766–1826) неоднократно упоминается Коломна, которой не раз приходилось бывать ареной самых драматических событий русского Средневековья. От коломенских любителей древности получил он несколько драгоценных летописей. Эти рукописи сгорели в 1812 г., но сведения из них сохранились в «Истории».

Великий историк был ещё и блестящим беллетристом, основоположником русского сентиментализма. Он оказал сильнейшее влияние на юного Лажечникова. И даже в зрелом лажечниковском романтизме сверкают изредка милые сентиментальные искорки.

Очерк о Коломне (1801 г.) из «Путешествия вокруг Москвы» облечён в эпистолярную форму, хотя это наверняка не послание конкретному человеку, а просто литературный приём. В этой доверительно-разговорной атмосфере парадоксально сочетаются ирония «столичного жителя» и уважение к древней истории города.

Николай КАРАМЗИН

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ МОСКВЫ

**Письмо первое из Коломны
от 14 сентября**

Я обещал вам, любезный друг, объездить московские окрестности и сказать несколько слов о том, что увижу. Исполняя своё обещание, но время, мною избранное, не благоприятствует живописи предметов. Осенью хорошо сидеть у камина, а не скитаться; хорошо думать, а не смотреть. Недаром русские бранятся сентябрём месяцем! Унылый вид природы располагает только к меланхолическим *иеремиадам*, для которых нет нужды дышать туманами и прятаться в коляске от дождя: плакать стихами и прозой всего лучше в кабинете. Бедные люди мои, конечно, не понимают, как можно по грязи ездить для удовольствия и в Коломне искать любопытного! *Наблюдения* вашего путешественника не очень важны: что делать? Москва не Рим.

Я выехал из своей деревни не рано, и первым моим ночлегом было Кусково, некогда столь известное московским жителям, а ныне оставленное и забытое. Оно может упрекать их неблагодарностию! Бывало, всякое воскресенье, от мая до августа, дорога кусковская представляла улицу многолюдного города, и карета обскакивала карету. В садах гремела музыка, в аллеях теснились люди, и венецианская гондола с разноцветными флагами развезжала по тихим водам большого озера (так можно назвать обширный Кусковский пруд). Спектакль для благородных, разные забавы для народа и потешные огни для всех составляли еженедельный праздник Москвы. Роскошь может быть некоторым образом почтенною, когда имеет свою целию общественные удовольствия. В Кус-

кове два раза была угощаема Великая Екатерина. Знаменитый путешественник, граф Фалькенштейн¹, удивлялся там сельскому великолепию русского боярина. Наконец, к чести и славе сего поместья, должно вспомнить, что в нём отдыхал на лаврах герой Шереметев, когда отечество и Пётр Великий не имели врагов. Память и следы таких людей украшают места лучше всех зданий великолепных. Не только фамилия, но и Россия может справедливо гордиться графом Борисом Петровичем и тем добродетельным Шереметевым, которого мучил царь Иван Васильевич, желая узнать, где скрыты его мнимые сокровища, и который отвечивал ему с великодушною кротостию: «*Государь, я отправил их на тот свет с бедными!*»².

Теперь Кусково может завидовать Останкину, которое в самом деле лучше местоположением; первое есть старинное поместье Шереметевых, а второе досталось им от Черкасских. Славные останкинские кедры присланы из Сибири князем Михайлом Яковлевичем Черкасским; он был в Тобольске губернатором. Вообще можно сказать, что наши старинные бояре для сельских жилищ своих не искали живописных мест, которых довольно в окрестностях Москвы. Один Кирила Полуектович Нарышкин умел выбрать несравненное Кунцево на высоком берегу Москвы-реки, где представляется взору самый величественный амфитеатр. У нас и ныне обыкновенно думают, что в деревнях надобно садить аллеи, рыть пруды, строить беседки; у всякого свой вкус, но я люблю те места, которые для своей приятности не требуют никаких искусственных украшений. Люди небогатые, ленивые, а может быть, и некоторые *люди со вкусом* пристанут к моему мнению. Чего стоил Кусковский пруд? Хорошо взглянуть на него, но здорово ли жить на берегу страшной водяной *массы*, почти неподвижной? Река чистит воздух, большой пруд наполняет его только вредною сыростию. Кусковские сады, где глаза мои видали столько людей, представили мне довольно печальных мыслей! Там, в главной аллее, выставлялись прежде все померанцевые деревья из оранжерей: она казалась уголком Гишпаниии. Теперь всё уныло и пусто.

На другой день в 10 часов я остановился в деревне Люберцах³, которая принадлежала славному князю Меншикову, а теперь государева. Меншиков назвал её *новым Преображенским*, именем места, любезного великому его императору и другу. Пётр III, будучи великим князем, желал иметь в Люберцах сельский дом; но его не успели достроить, и заготовленные материалы, отвезённые в Москву, послужили для строения Воспитательного дому. Я, как русский и дворянин, желал видеть место, которое нравилось Петру III: он подписал два указа, славные и бессмертные!.. Я с удовольствием вошёл и в сад, где гулял некогда Меншиков, храбрый, искусный генерал и *великий человек в несчастии*. Никаких следов его не осталось в сей деревне. Местоположение красиво, и большой сад, разделяющий селение на две половины, находится под ведением коломенского управителя.

Отъехав вёрст 25, увидел я на правой стороне Москву-реку и несколько деревень, которые, с господскими домами и садами, образуют прекрасный ландшафт. К счастью, как бы нарочно для моего удовольствия, в самую ту минуту проглянуло солнце. Если исключить Владимирскую,

¹ Император Иосиф.

² Курбский называет его *мудрым царским советником*.

³ В 16 верстах от Москвы.

лесную и скучную дорогу, то можно сказать, что наша древняя столица окружена со всех сторон приятными местами. В селе Маркове я останавливался искать на берегу Москвы-реки окаменелостей, которыми оно славится. Мне удалось найти пять или шесть камней, довольно замечательных цветом и видом; один с удивительным совершенством представляет кусок ржаного хлеба.

Почти все деревни, чрез которые ехал я от Кускова до Коломны, принадлежат графу Шереметеву. Известный в истории боярин, Василий Борисович Шереметев, один из первых богачей в России, хотя имел детей, но отказал московские и коломенские поместья свои фельдмаршалу Борису Петровичу, тогда ещё молодому человеку. Сей боярин, от измены казаков, попался в плен крымским татарам в 1660 году и 20 лет страдал в тяжкой неволе. Освобождённый миром, заключённым Россиею с ханом, он жил и погребён в селе Чиркине, где я ночевал за дурною погодою, и на другой день к обеду приехал в Коломну.

Желаете ли знать, когда и кем построен сей город? никто вам того не скажет. Летописи в первый раз упоминают об нём в конце XII века; он, может быть, древнее, и гораздо древнее, Москвы. Вообще, имя Коломны встречается в истории по двум случаям: или татары жгут её, или в ней собирается русское войско идти против татар, что бывало всегда на большой равнине, где течёт река Северка: место, достойное примечания для всех любителей истории! Тут князь Димитрий Донской осматривал легионы свои, победившие Мамаю. Здесь же он примирился торжественно с рязанским князем Олегом, человеком сварливым и беспокойным, к неудовольствию бояр его, которые желали, чтобы Димитрий наказал Олега. Преподобный Сергей был им миротворцем. Что касается до имени города, то его *для забавы* можно произвести от славной италиянской фамилии Colonna. Известно, что папа Вонифантий VIII гнал всех знаменитых людей сей фамилии и что многие из них искали убежища не только в других землях, но и в других частях света. Некоторые могли уйти в Россию, выпросить у наших великих князей землю, построить город и назвать его своим именем! Писатели, которые утверждают, что Рюрик происходит от кесаря Августа и что осада Трои принадлежит к славянской истории, без сомнения, не найдут лучших доказательств!

Если мы не знаем, кто основал Коломну, то знаем, по крайней мере, что великий князь Василий Иванович окружил её каменною стеною с башнями. Улицы и строение здесь некрасивы; но зато промышленность людей достойна внимания и похвалы. Давно известны коломенские фабрики, кумачные, полотняные, шёлковые, которые с некоторого времени размножились и в других местах кругом Москвы. В самых маленьких деревеньках женщины в избах своих вьют шёлк, а мужья ткут платки и проч. Мудрено ли, что многие крестьяне начинают жить господами, опрятно, со вкусом и даже роскошно? Иностранные путешественники могли бы удивиться их избытку; но иностранцы смотрят в Москве большую пушку, разбитый колокол и не ездят по окрестным деревням. Надобно только заметить, что богатейшие из подмосковных крестьян раскольники: они не пьянствуют! Всего известнее в России коломенские сальные заводы, их более тридцати! Сало, отправляемое за море, идёт по большей части отсюда. Жители торгуют рогатым скотом, закупают его на Дону, в Малороссии, солят мясо и продают как в Москве, так и в Петербурге; неудивительно, что имя мясника здесь почтеннее, нежели где-нибудь! Коломна славится ещё яблоками, вишнями и другими плодами; мы едим их в Москве.

Не только в городе, но и в окрестных деревнях я видел очень хорошие сады.

В пяти верстах от Коломны впадает Москва-река в Оку, среди глубоких песков. Тут построен монастырь, который возбудил моё любопытство своим именем: он называется *Голутвиным*. Рассказывают, по старому монашескому преданию, что на сем месте жили некогда разбойники, которых называли *голытьбою* или голыми людьми, и что их имя в течение времени досталось монастырю в наследство. Воры не боялись в старину близости городов, в самых окрестностях Москвы имели станы и были нередко ужаснее самых чужеземных неприятелей. Есть ли место в России, где бы предание не сохранило памяти их злодейств? Все старинные сказки и песни доказывают, что они царствовали во время ига татарского.

В Голутвине монастыре три церкви и кельи все каменные. Сказывают, что он построен Сергием Чудотворцем, следственно, в XIV веке. Там хранится посох его. Прежде сей монастырь был очень богат.

В 25 верстах от Коломны находится село Дедлово, весьма достойное любопытства. Я давно желал видеть его. Тут в царствование Михаила Феодоровича строился фрегат для голштинского посла, отправленного герцогом через Россию к персидскому шаху. Олеарий описал сие путешествие. Голштинцы из Дедлова поехали Окою и Волгою в Астрахань. Корабль, или фрегат, царя Алексея Михайловича, названный *Орлом* и сожжённый Стенькою Разиным в Астрахани, строен там же, равно как и ботик Петра Великого, *дед русского флота*, прославленный Ломоносовым в стихах и в прозе и торжественно встреченный большими *внуками* его, военными кораблями, в Петербурге⁴. И ныне строят в Дедлове барки, или струга, на которых возят хлеб из Орла в Москву и которые ходят Волгою до Астрахани. Сам Пётр Великий сделал для них модель, которую ещё показывают там любопытным, но которой уже давно не следуют. Я смотрел с душевным удовольствием на сей памятник великого императора.

Деревня Клин, которая была в старину наследственным поместьем фамилии Романовых, принадлежит к Дедлову. Оно расселено вдоль низкого берега Оки на великом пространстве и в весенние месяцы заливается водою недель на шесть, так что жители друг к другу ездят в лодках. В нём около 3000 душ и три каменные церкви. Крестьяне совсем почти не имеют земли, но богаты от промыслов и строения судов. Екатерина Великая пожаловала это славное в целой России село господину Измайлову.

Странствия мои, любезный друг, не кончились; но дурное время заставляет меня отсрочить их до весны. Тогда надеюсь ещё написать к вам несколько писем, разумеется, *исторических*, и самых простых. Иногда, особливо в ясный день, позволю себе быть и маляром, если не живописцем; иногда расскажу вам и какой-нибудь анекдот, только невыдуманный. Во круг Москвы живут люди, и много добрых. Хотя вы принадлежите к секте Дюкре Жанлис, которая не любит чувствительных путешественников, *проехавших милоу, чтобы написать том*, однако ж я имею злой умысел искутить ваше терпение и при первом случае рассказать вам самую жалкую повесть! Но сей раз будьте покойны: возвращаюсь к камину своей подмосковной.

⁴ В 1723 году.



Алексей Николаевич Толстой (1882–1945) был радостно, ликующе талантлив во всех ипостасях — романист, новеллист, поэт, театральный драматург, сценарист. И жаль, что мощь Толстого-романиста и драматурга как-то затенила его прекрасные рассказы, которые он писал всю жизнь.

Предлагаемый читателю рассказ написан в конце 1921 — начале 1922 года. В нём выразился интерес к русской истории, которым было вызвано появление в творчестве Толстого таких произведений, как «Наваждение» и «День Петра».

Исторические произведения А.Н. Толстого получили высокую оценку современников. Горький неоднократно говорил о нём как о лучшем выразителе исторической романистики советской литературы.

Алексей ТОЛСТОЙ

ПОВЕСТЬ СМУТНОГО РЕМЕНИ

ИЗ РУКОПИСНОЙ КНИГИ
КНЯЗЯ ТУРЕНЕВА

На седьмом десятке жизни случилась со мной великая беда: руки, ноги опухли, образ Божий — лицо сделалось безобразное, как бабы говорят — решетом не покроешь. Одолели смертные мысли, взял страх, — волосы поднялись дыбом. Ночью слез я с лежанки, пал под образа и положил зарок — потрудиться, чем Бог меня вразумит.

Как вешним водам сойти, — послал я нарочного в Москву, к знакомцу, к дьяку Шелкалову, с подарками: два десятка гусей копчёных, полбочонка мёду да бочонок яблок мочёных, кислых, чтобы выдал мне из дворцовой кладовой тетрадь в сто листов бумаги доброй и чернил — чем писать.

И вот ныне, во исполнение зарока, припоминаю всё, что видели грешные мои глаза в прошедшие лютые годы. Из припомненного выбираю достойное удивления: неисповедим путь человеческий. А как стал припоминать, вначале-то, — Господи Боже. Плюнул, положил тетрадь за образ Заступницы: дрянь люди, хуже зверя лесного. Злодейству их нет сытости. Тьфу...

Но отойдя и поразмыслив, положил я всё же начать труд грешный и начинаю неторопливым рассказом о необыкновенном житии блаженного Нифонта. Его ещё и по сию пору помнят в нашем краю.

.....

В миру Нифонта звали Наумом. Отец его, Иван Афанасьевич, уроженец села Поливанова, при церкви был в попах и в давних летах умер. Наума взял к себе матернин дядя его, дьякон Гремячев; у дьякона Наум научился грамоте, и читал Псалтырь, и был в дьячках, и через не-

большое время посвящён в городе Коломне, при церкви Николая-Чудотворца, в попы. Там-то я его и увидел в первый раз.

Стоял у нас в Коломне наш, князей Туреневых, осадный двор, куда бежали мы из деревень и садились в осаду, когда с Дикого поля шёл крымский хан, с большими людьми. А дороги хану не было другой, как между Донцом и Ворсклой, — либо на Серпухов, либо на Коломну. Здесь по берегу Оки сторожи стояли, а в городах — береговые полки. Ока так и звалась тогда — Непрелазной стеной.

Старики говорили — велик при царе Иване был город Коломна, а я его помню — уж запустел: в последний раз крымский хан перелезал Оку через Быстрый брод, — с тех пор лет двадцать о крымцах не было слышно, и стали вольные людишки разбегаться из города, — кто на промыслы, кто в Москву, кто в степь — воровать. Остались в Коломне церковные да монастырские служители, да на осадных дворах — дворники, да на посаде среди пуста — заколоченных лавок, бурьяна на огородах — жило стрельцов с полсотни, сторожа Гуляй-города да казённые ямщики.

В пустом городе — скука. Одни галки да голуби ворошатся на гнилой кровле, на деревянной городской стене.

Был в те времена великий голод по всей земле. Три лета земля не родила. Скот весь съели. Пашню не пахали и не сеяли. Бродили люди по лесам, по дорогам: кто в Сибирь тянул, кто на север, где рыбы много, кто бежал за рубеж на литовские, на днепровские украины. В Москве царь Борис даром раздавал хлеб, и такое множество народа брело в Москву, — дикие звери белым днём драли на дорогах отсталых, тех, кто с голоду ложился.

Разбойников завелось больше, чем жителей. Сельский дом наш сожгли бродячие люди, и мы с матушкой от великого страха жили в Коломне за стеной.

Помню, мы с матушкой сидим на дворе, на крыльце на солнцепёке. Около стоит толстая, как бочка, попадья, босая, в лисьей рваной шубе, и говорит:

— Наступает кончение веку, матушка княгиня: иду я сейчас через мост, а на мосту безместные попы сидят, восемь попов, и все они драные, нечёсанные, и бранятся матерно, а иные борются и на кулачки дерутся. Я их страмить. А один мне поп, Наум, нашего приходу, говорит: «Царь Борис, слышь, дьяволу душу продал, знается с колдунами и службы не стоит, и быть нам под Борисом нельзя, — мы все, попы, уйдём в Дикую степь к казакам, к атаману Ворону-Носу. Вы ещё нас попомните».

Матушка испугалась, увела меня в светлицу. А вечером поп Наум подошёл к нашим воротам и стал бить в них рукой, покуда его не впустили.

Наум сел на лавку в избе, где мы ужинали, сам худой, борода спутанная, глаза беловатые, дикие, из подрысника полбока выдрано — тело видно. И стал он говорить дерзко:

— Теперь по ночам звезда с хвостом всходит. В Серпухове на торгу все слышали — скачут кони, а ни коней, ни верховых не видно, одни подковы видны да пыль. Я теперь поп безместный, протопоп мне по шее дал: «Николай-Чудотворец, — говорит, — и без тебя обойдётся». Дайте мне нагольный полушубок да шапку баранью, — я уйду в степь — воровать. А не дадите мне шапку да полушубок — наложу на вас епитимью, — я ещё не расстриженный, — или ещё чего-нибудь сделаю. Всё равно теперь пропадать. Мы, русские люди, все проклятые. У нас дна нет.

Сейчас же дали полушубок, и шапку, и пирогов на дорогу. Наум всех нас благословил: «В остатный, — говорит, — раз». Глаза кулаком вытер крепко и ушёл — бухнул дверь. И слышим — засвистел в темноте, на улице, из слободы ему безместные попы откликнулись. Матушка заплакала, — так стало нам всем страшно.

Прошло с тех пор более году. Голод, слава Богу, кончился, но в народе покою не было. В Коломне, бывало, соберётся торг на площади у пустого гостиного двора, и пойдут разговоры: никому не до торга. Собьются в круг и слушают рассказы про то, как знающие бабы вынимают человеческий след, и след тот сушат в печи, и толкут, и бросают на ветер, и про то, как вышли из Волыни колдуны, разбрелись по русской земле, — напускают порчи, засушь, гнилой ветер, наводят марево на хлеба, а выйти тем колдунам велел польский король, и про то, как по деревьям шатаются лихие люди — скоморохи и домрачи, — бренчат, скачут, крутятся, на дудках дудят, а придут на деревню — раскинут рожную палатку, поставят в ней «Египетские врата» и заманивают народ глядеть: пятерых за копейку. Ну как не пойти, не поглядеть! А посмотришь в «Египетские врата», засосёт, затянет — закружится голова, и летит человек через те врата в место без дна, в пропасть, где ни земли, ни солнца, ни звёзд — бездна. Так всё село и выведут лихие люди.

Московские наезжие купчишки кричали на торгу воровские слова про царя Бориса. На Петров день стольник Мясев, наш воевода, велел одного купчишку схватить, его схватили, и били на площади кнутом, и пол-языка ему резали. Рухлядишку его, что была на возу, велено всем народом грабить, а самого выбить из города.

Но народ не унимался. И вот пошли слухи про царевича Дмитрия, что не зарезан он в Угличе, а скрыт был князьями Черкасскими, и увезён в Литву, и ныне, войдя в возраст, собирает войско в Самборе — идти воевать отцов престол и опоганенную православную веру.

Помню — Великим постом вышел я за ворота послушать, как звонят у Николая-Чудотворца, — звонили хорошо, унывно. Денёк, — тоже помню, — был серый. За рекой галки летали: поднимались под небо и тучей падали вниз, на чёрные избы, — птиц этих было видимо-невидимо. Думаю: «К чему бы столько птиц над слободой?»

В это время проходит мимо нашего двора странный человек, в сермяге, в лохмотьях, а сам гладкий, румяный. Идёт, руками болтает, — прямо к площади, где толчётся народ на навозе у возов. Остановился этот человек, засмеялся и стал указывать на птиц.

— Глядите, — кричит, — воронья-то, воронья... Не простые птицы — вороны... Народ православный! — шапку с себя, войлочный колпак, содрал, — народ православный!.. Кто в Бога верует, читайте истинного царя нашего грамоту!..

Кинулся этот человек к столбу, у которого у нас на торгу воров казнили, и на гвоздь нацепил грамоту — в полполотенца, внизу на ней печать, и другая печать — на шнуре. Народ побросал воза, лотки, зашумел, сбился кучей к столбу, и дьячок Константинов стал читать:

— «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Не погиб я воровским промыслом злодея Годунова, Ангел Божий отвёл руку убийцы, зарезали иного отрока, не меня. Ныне я собрал несчётные полки... После Петрова дня выйду из Поляков на русскую землю воевать отцов престол... А вам, всем православным, крепко стоять за истинную веру и за Бориса не стоять, а кто захочет — бегите к казакам на Дон».

Тут все сразу увидели, что прелестная грамота была от царевича Димитрия. В народе закричали: «Постоим, не выдадим!» — и шапки кверху начали кидать. И шапки летят, и вороны летают — жуть.

В то же время приезжает на площадь воевода, стольник Мясев. Стегнул плетью по жеребцу, прелестную грамоту со столба рукой сорвал и велит стрельцам народ разгонять. Началась великая теснота. Стрельцы ударили на крикунов, стали рвать одежду, а народ знай лезет к воеводиному коню. «Говори, — кричат, — правду: кто истинный царь — Годунов или Димитрий?.. Животы хотим положить за истинного царя».

Дьяка Грязного стащили за ногу с верха, и били безвинно топтунками, и волокли по навозу, — хотели топить в полынье под мостом. Воевода воровства не унял, — ни с чем уехал на свой двор, велел затворить ворота.

Так шумел народ на торгу до сумерек. А ночью занялась слобода, загорелась сразу с двух концов. Забил набат. Говорили потом — колокола сами звонили на колокольнях.

Весь город проснулся, вышел на стены. Видели — снег был красный, как кровь. Птицы — вороны — тучей поднялись над пожарищем, над великим огнём. И ещё видели в небе, над дымом, над тучей птиц, простоволосую женщину: волосы у неё торчали дыбом, а на руке держала она мёртвого младенца.

В ту же ночь стрельцы разбили воеводины ворота и бегали по двору, ругались матерно, искали воеводу убить и, не найдя, сорвали замок в подклети, выкатили бочку вина, и пили сами, и поили земских людей: много их в ту ночь пришло в Коломну из деревень.

Всему этому воровству был зачинщик и голова пришлый человек, подкинувший на торгу прелестную грамоту. На другой день коломенские спохватились, что этот человек был всем ведомый Наум, безместный поп. А его и след простыл, ушёл и увёл с собой холостых стрельцов, пропойного дьячка Константинова и немало слободских ребят. Ушли они на телегах, взяли с собой наряд — единорог — и двухфунтовую пушку, пушечного зелья и ружьядишки, что успели наgrabить.

Ещё минуло более году. Всех бед и не запомнишь. Царь Борис умер: сел ужинать, и лопнула у него утроба, изо рта потекла грязь. Воевода Басманов со всем войском передался на сторону царевича Димитрия. В Москве на Болоте царевичевы тайные послы, Плещеев и Пушкин, читали перед народом грамоту, — сулили великие милости. Народ взял тех послов, увёл на Красную площадь, и там они читали грамоту во второй раз, и боярин-князь Василий Иванович Шуйский кричал с Лобного места, что убит в Угличе поповский сын. Народ закричал: «Сыты мы Годуновыми!» Ударили в набат. Кинулись в Кремль, побили колями стрельцов у Красного крыльца, ворвались в палаты, схватили царя Фёдора с царицей и поволокли через крыльца и переходы в старый годуновский дом. Скинули царя.

Всю ночь горели костры в Кремле и на Красной площади. Грабили лавки на Варварке, и на Ильинке, на Маросейке. На плавучем мосту через Москву-реку резали купчишек, кидали в воду. Из боярских дворов, из-за ворот, стреляли из пищалей. Много было разбито кабаков, выпито вина. И такие последние людишки скакали меж кострами, трясли отрепьями, скалили зубы, — московский народ только крестился, плевался, дивился много: ну и нечисть!

На другой день приехали от царевича князья Голицын и Масальский с товарищами, и убили они царя Фёдора и царицу-мать, и народ выкрикнул царём Димитрия.

Мы с матушкой тогда всё ещё жили в Коломне. Приезжие из Москвы говорили, будто в Москве — смутно и в народе шатость: сулили большие милости, а до сих пор милостей не видать. Царь Димитрий своих людей сторонится и знается больше с поляками. В мыльню не ходит каждый день, а в храм входит рысью, обедню стоит не бережно. Ноги у него короткие, правая рука короче левой руки, а нос длинный, и на нём большая бородавка, волосы носит торчком, бороду недавно только запустил, да и та у него растёт скудно. В самое Крещение, на Москве-реке, на льду, построили потешную крепость и посадили туда стрельцов. У той башни сделана морда с пастью и с клыками и выкрашена красками. Башню стали пихать с тылу, она пошла, из пасти палили из пушки и из пищалей. А когда докатили её до ледяной крепости, царь Димитрий выскочил из башни и закричал не по-русски: «Виват!»

Народ московский глядел на эту потеху с обоих берегов, и на многих в тот день нашло сомнение: кого царём посадили? Не Гришка ли то Отрепьев, беглый холоп князей Ромодановских, глумится над Русской землёй?

В мае месяце матушка моя собралась ехать в Москву. Её надоумили протопоп от Николая-Чудотворца и толстая попадья — бить государю челом на деревнишке, — просить землишки, чёрных людишек и животных и просить — сколько даст.

Собрали мы десять подвод — птицы, солонины, засолов, капусты квашеной, пирогов, полотна белёного. Мая двенадцатого числа отстояли молебен и тронулись. Матушка всю дорогу плакала, молилась, чтобы нам живыми доехать.

Въехали мы в Москву в обед четырнадцатого мая и стали в слободе на Никольском подворье, у Арбатских ворот. Пообедали. Матушка легла почивать, а я вышел на двор, где стояли воза. Сел на крыльцо и гляжу. Въезжают на двор три казака, передний, — смотрю, — Наум, я сразу его узнал, в чёрном добром кафтане, о сабле, и сам красный, злой, пьяный, — едва сидит в седле.

— Эй, дьявол! — кричит Наум. — Хозяин, пива...

Баулин, коломенского кожевника Афанасия кум, нашего подворья хозяин, гладкий, лысый посадский, вышел на крыльцо, улыбается.

— Можно, казачки, — отвечает, — можно, любезные, пиво у меня студёное, сытное, кому и пить, как не вам.

И сейчас же рябая девка с бельмом выбегла со жбаном пива, поднесла Науму. Он сдвинул шапку, испил из жбана, отдулся и слез с коня, — сел на брёвнышко у крыльца.

— Из Димитриевых али за истинного царя? — спросил он у хозяина со злобой.

Баулин усмехается, поглаживает бороду.

— Мы люди посадские, — отвечает, — мы — как мир. Тот нам царь хорош, кто миру хорош. Наше дело торговое.

— Ах ты сума перемётная, сукин ты сын! — говорит ему Наум. — Да разве Димитрий царь: расстрига, польский ставленник, Отрепьев, самый вор последний. Он у Вишневецких в Самборе конюшни мёл. Я-то уж знаю, — я сам за него кровь проливал под Новгородом-Северским, когда били мы, казаки, князя Мстиславского, я знамя взял... Я бы самого воеводу Мстиславского взял, да ушёл он в степь, — конь под ним был добрый, ах, конь... Князя три раза я бил саблей по железному колпаку, — всего окровавил... Господи, прости, сколько мы русских людей

побили... А за что? Чтобы нас в Москве поляки бесчестили и лаяли... Пороху, свинца нам продавать не велят... Придёшь в кабак, из-за стола тебя выбивают вон... Ну, погоди...

Наум стащил с себя шапку, бросил её под ноги и стал топтать.

— Мы знаем, за кем пойдём. Мы за веру постоим... Ни одного поляка живого из Москвы не выпустим!

— Будет тебе, Наум, нехорошо, — сказал ему Баулин. — Поди на сеновал, отоспись.

— Нет, я не пьяный... А — пьян, не от твоего вина... Подожди, подожди, — ужотка вам запустим ерша...

Тут Наум схватил шапку, вздел ногу в стремя, конь его кинулся в сторону. Наум поскакал за ним на одной ноге, повалился брюхом в седло. Казаки заржали, и все трое выскочили, как без ума, из ворот, запустили вскачь по слободе к Воробьёвым горам, — только пыль да куры полетели в сторону.

На другой день нам запрягли возок, и мы с матушкой поехали в Кремль, в Успенский собор, и стояли обедню; а отстояв, пошли к Шуйскому на двор, — кланяться, просить заступиться перед царём за нас — сирот: не дадут ли землишки.

Боярин-князь Василий Иванович Шуйский вышел к нам на крыльцо, и матушка кланялась ему в пояс, а я — в землю, хотя и невдомёк нам было, что уже не князь — плотный, низенький старичок в собольей зелёной шубе — стоит перед нами, а без двух дней царь. Борода у него была редкая, мужицкая, лицо одутловатое, щекой дёргает, а глаза — щёлками — большого ума, не давал только в них взглянуть.

Сказал нам боярин-князь тонким голосом, со вздохом:

— Заступлюсь перед кем нужно за твоё сиротство, матушка княгиня, но обожди, обожди, ох, обожди. Ныне все мы под Богом ходим... А мужа твоего, князя Леонтия Туренева, помню хорошо, — при царе Фёдоре он на три места ниже меня сидел: я, да князь Мстиславский, да князь Голицын, да Тверской князь, Патрикеева рода,

а после него место Туреневу, и ему воеводой место в сторожевом полку, а в большом полку — третьим воеводой. Мальчику-то вели это заучить.

Князь погладил меня по голове и отпустил нас.

На другой день, как солнце встало, пошли было мы с матушкой на Красную площадь, на торг. Куда там — не протолкаться. Народ так и лезет стеной, — боярские дети, стрельцы, персюки, татары — в пёстрых халатах, поляки — в голубых, в белых кафтанах, иные с крыльями, а наши — в зелёной, в коричневой, — все в тёмной одежде.

По брёвнам громяют телеги. Или проскачет боярин в медной греческой шапке с гребешком, — впереди него стремянные расчищают плетью дорогу, — опять давка.

У кремлёвской стены стоят писцы, кричат: «Вот, напишу за копейку!» Попы сто-



*Царь Василий Иванович
Шуйский. Из «Титулярника»
1672 года*

ят, дожидаются натошак — кого хоронить или венчать, и показывают калач, кричат: «Смотри, закушу». Кричат сбитенщики, калачники. Дудят на дудках слепцы. Между ног ползают безногие, безносые, за полы хватают. А в палатках повешено товару, — так и горит. Из-за прилавков купчишки высовываются, кричат: «К нам, к нам, боярин у нас покупал!» Пойдёшь к прилавку, — вцепится в тебя купец, в глаза прыгает, а захочешь уйти ни с чем, начинает ругать и бьёт тебя куском полотна, чтобы купил. Подалье, на Ильинке, на улице, сидят на лавках люди, на головах у них надеты глиняные горшки, и цыгане стригут им волосы, — Ильинка полна волос, как кошма.

От этого шума напал на матушку великий страх, сделалось трясение в ногах. Вернулись мы на подворье и рано легли спать. Ночью матушка меня будит, шепчет: «Одевайся скорей». На столе горит свеча, лицо у матушки как мукой посыпанное, губы трясутся, шепчет: «Хозяин прибегал, велел схорониться: говорит, чьё-то войско на Москву идёт, уже в город входят».

И мы слышим — топот множества ног и скрип телег многих, а головов не слышно, — входят молча. Вдруг застучали в ворота, — отворяй. Матушка меня схватила, спрятались мы на сеновале и до утра слушали, — нет-нет да и ломаются к нам на двор.

А утром узнали: в Москву вошло восемнадцать тысяч войска с князем Голицыным, и в Кремле уж бунт — стрельцы жалованья просят за три месяца вперёд и грозят перекинуться от царя к Голицыну, и Шуйский будто сказался больным, а иные говорят, — видели его ночью у Арбатских ворот на коне.

В самый завтрак к нам на подворье забежал божий человек, голый, в одних драных портках, на шее у него, как на цепи, висят замки, подковы и крест чугунный. Матушка взглянула на него, — вся в лице переменялась и положила ложку. А божий человек смеётся, морщится, шею вытянул — и начал топтаться, как гусь, забормотал:

— В Угличе-то кого зарезали, а? Знаете?.. Его же, и ныне его зарезали, сам, сам видал, — вот она. — И протягивает тряпочку, всю в крови. — Понюхайте, не жалко, царская кровушка мёдом пахнет... А когда ещё раз, в третий раз, резать-то его станете, опять меня позовите...

Матушка, смотрю, цепляется ногтями по столу и повалилась на скамейку. Спрыгнули её с уголька, она вскинулась.

— Царя убили! — кричит. — А вы тут ложками стучите... Идём, идём скорее, — и тащит меня за руку из-за стола, и мы побежали в город.

В Боровицкие ворота нас не пустили, — в воротах и у моста через Неглинную стояли казацкие воза, кони у коновязей, кипели котлы на кострах, казаки кричали с того берега:

— Поляки причастие из Успенского собора выкинули... Из Чудова монастыря мощи выкинули... Весь народ будут в польскую веру перегонять...

Вдоль Неглинной бежали люди, — крик, давка, визг бабий... Смотрим — сбились в кучу: бьют кого-то. Выскочил из кучи поляк, отбивается саблей и прыгнул в Неглинную, поплыл. С той стороны казаки бьют по нему из ружей.

Добежали мы до Красной площади, и здесь толпа понесла нас вдоль стены к Василию Блаженному. Все маковки его, алые, зелёные, витые, так и горели на солнце. Звонили колокола тревожно, гудел Иван Великий.

В толпе докатились мы до пригорка, — Лобного места, — кругом него теснился народ, молча, без шапок. На Лобном месте, на дубовой лавке,



*Покровский собор (собор Василия Блаженного) и Лобное место в Москве при царе Михаиле Фёдоровиче.
Гравюра из книги А.Олеария*

лежал голый человек с раздутым животом, нога левая перебита, срам прикрыт ветошью, руки сложены на пупе, а лица не видно, — на лицо надета овечья сушёная морда — личина.

— Кто это лежит, кто лежит? — спрашивает матушка.

Ей отвечают многие голоса:

— Царь.

— Русский православный царь лежит.

— Не царь, а расстрига, вор...

— Нет, это не он, ребяты, лежит.

— Господи, помилуй!

— Он много тощее, а этот — плотный...

— А он где же?

— Он ушёл...

Из толпы к Лобному месту выбивается человек, всходит к мёртвому телу, — гляжу: опять это Наум. Рот у него разбит, глаз и щека в крови, волоса — растерзаны.

— Вот вам Крест Святой, — закричал Наум и перекрестился на румяные главы храма, — этот на лав-

ке лежит: царь Димитрий, расстрига, вор... Мне верьте... Я кровь за него проливал, будь он проклят... Его мало мучили... Надо ещё мучить...

В руке Наума откуда-то появилась дудочка деревянная, крашенная, и он вставил дудочку мертвецу в руки... Вставил, всплеснул ладонями, разинул разбитый рот, — хотел, видно, засмеяться, — но пошатнулся, повалился навзничь...

Народ зашумел, закрикали бабы дурными голосами. А в это время ударили с кремлёвской стены из пушки, зазвонил благовест, отворились ворота, и выехали бояре, — впереди всех Василий Шуйский в золотой шубе, как в ризах царских. Нас затеснили, затоптали, кое уже как пробилась мы к Москва-реке. На той стороне по Замоскворечью шла стрельба, — казаки и посадские резали поляков, разбивали их осадные дворы.

Так мы с матушкой ни с чем вернулись в Коломну. Плохое началось житьё. Тяглые и чёрные людишки с нашей вотчины почти все разбежались — иных сманивали казаки, иные от поборов, от кормовых, от государева тягла разбрелись розно — куда глаза глядят.

Когда узнали, что в Москве выкрикнули царём Василия Ивановича Шуйского, народ говорил: «То дело Шуйских да Голицыных, а нам на Василия наплевать, какой он царь, мы ему крест не целовали, а мы крест целовали Димитрию, он тогда из Москвы ушёл в женском платье, и надо опять его ждать к Покрову дню».

Так и вышло. Осенью князь Шаховской, сосланный Шуйским на воеводство в Путивль, поднял город за царя Димитрия, а воевода Телятевский поднял Чернигов. Встали холопы. Вышли из лесов шиши. Двинулась

мордва на Нижний Новгород. Взбунтовался в Астрахани воевода, князь Хворостин. Войска Шуйского разбиты были под Тулой и под Рязанью. Началась смута.

А к Покрову дню и объявился Димитрий живой. Шёл он из литовской украины с казаками. За ним из Рязани двинулось ополчение с воеводой Прокопием Ляпуновым, а из Тулы вышел Истома Пашков с ополчением же. Под Москвой они соединились с названным Димитрием и стали обозом в селе Коломенском.

У нас в Коломне один только протопоп не верил в названного Димитрия, кричал:

— Дьявол вас мутит, мужичьё недотёпанное! Царя Димитрия зарезали. А нынешний Димитрий — вор, я его знаю. Зовут его Болотниковым. Он в холопах был у князя Телятевского, и бежал, и попал в плен к татарам, а татары продали его туркам, и работал у них на галерах. А от турок бежал в Венецию-город, а оттуда пробрался на Русь, будь он проклят... И ныне кидает по городам воровские письма.

Болотникова прелестные письма протопоп показывал на торгу и читал их:

— «Во имя Отца и Сына и Святого Духа... Велим мы вам, холопам и тяглым людям, побивать своих бояр, и жён их, и вотчины их и поместья брать на себя. И велим вам, слободским тяглым и чёрным людям, гостей и всех торговых людей побивать, и животы их грабить, и жён их и дочерей брать за себя. И за это мы вам, всем безыменным людям, хотим давать боярство, и воеводство, и окольниковство, и дьячество...»

На святки ночью ворвались в Коломну вору на ста двадцати санях. Матушка услышала набат, оделась, одела меня, сняла образа, завязала их в скатерть, и мы вышли за ворота. Мороз был лютый, луна высокая, ясная. Мимо, по улице, скакали сани, полные воров. На ворах шубы, на иных ризы. Хлещут по лошадям, ноги задирают, орут — все пьяные... У Николая-Чудотворца часто-часто страшно били в большой колокол. Вору доскакали до площади и сбились у воеводина двора, — стучат в ворота, ломают ставни. Мы с матушкой вернулись в избу.

В избе даже нашей было слышно, как начал кричать человек на площади. Ах, душегубы... Толстая попадя нам потом рассказывала, — сама видела, как вытащили вору воеводу из избы на снег, однорядку, рубаху содрали и ножами резали у него из спины ремни, — допытывались, где казна зарыта.

Ворота мы так и не заперли, — всё равно вору выломают. Матушка поставила на стол образ Заступницы, зажгла перед ней свечечку. Мы сидим на лавке, дожидаемся смерти. Вдруг заскрипел снег, — идут!

— Прощай, сыночек, голубчик, прости меня Христа ради, — сказала матушка, перекрестила и прижала меня к себе.

В дверь ударили ногой, в избу вошли вору. Впереди — Наум. Шапки не снял, не помолился и говорит застуженным голосом:

— Ну, поели нашего хлеба досыта, — ступайте...

— Наум, — спрашивает матушка со слезами, — ты ли это?

— Звали Наумом... Ныне я вам голова... Бери щенка своего, уходи куда глаза глядят... Счастье твоё, что я здесь.

Так мы с матушкой захватили узел с благословлёнными иконами и вышли из своего дома на трескучий мороз.

На площади горел, как свеча, двор воеводы. Куда идти? Снег по колени. Господь надоумил нас постучаться к протопопу. Долго нас не впус-

кали, потом, глядим, — над воротами высовывается растрёпанная голова. Это был сам протопоп, — узнал нас и впустил.

С той поры жили мы у протопоба в чёрной подклети. От горя, от дыма горького, от чёрствого хлеба столько слёз пролили, — на всю жизнь хватило.

К весне стало нам легче. Болотникова у деревни Котлов разбил наголову Скопин-Шуйский. Вор бежал в Тулу и сел в осаду вместе с самозванным царевичем Петрушей. Много таких царевичей тогда объявлялось по всей земле: был и Ерошка-царевич, и царевич Гаврилка, и царевич Мартынка, — погуляли, потешились в своё время.

Шуйский осадил Тулу, затопил город. В Москве вздохнули, стали подвозить хлеб, рассылать по городам голов и целовальников — править государеву казну. Но огнедыхательный дьявол, лукавый змей, поедатель душ наших, воздвиг на нас нового вора. Кто был тот вор, — никто не знал, знали только, что сидел одно время в остроге, в Пропойске, за разбой. Однако в Стародубе на воскресном торгу его признали за царевича, помогли деньгами, пристали к нему поляки и казаки, двинулся он на Москву, при Волхове разбил царское войско и стал обозом в селе Тушине, окопался земляным валом, загородился частоколом.

Поначалу вор хотел с боем овладеть Москвой, — подбивали его к тому поляки. Дрались они с москвичами на реке Химке у деревни Иваново, дрались на Яузе, на Ходынском поле, захватили у москвичей Гуляй-город, а Москвы взять не смогли. Тогда тушинские стали грабить кругом деревни. Лисовский осадил Троицу. Сапега разбил Ивана Шуйского и открыл дорогу на север — грабить северные города.

В Москве опять начался голод, а в Тушине — раздолье. И стали простые людишки из Москвы к вору перелетать. А за простыми потянулись служилые и дворяне — просить у вора деревнишек. Кланялись ему и Салтыков, и Рубец-Масальский, и Хворостин, и Плещеев, и Вельяминов. Вор жаловал — иным вотчины, иным окольнічество, а иным и боярство.

Протопоп опять стал подбивать матушку ехать в Тушино, кланяться вору на деревнишке:

— Вот всю землю раздаст, останешься ты с дитём, как обкошенный куст.

А ехать было страшно. Как тогда, весной, Болотникова разбили, — Наум с товарищами убежал из Коломны и теперь шалил в окрестностях, хвалился, что скоро будет с Волги атаман Баловень, — тогда они сделают пустоту.

Так мы и прождали до осени. А осенью вор поругался с поляками, зажёг Тушино, и бежал в Калугу, и там стал набирать новое ополчение. А поляки и русские, что остались в Тушине, послали боярина Салтыкова с товарищами к польскому королю — просить королевича Владислава на Московское царство. А царь Шуйский послал брата, Димитрия, с большим войском под Смоленск — бить поляков, и то русское войско поляки разбили под Клушином и пошли на Москву помогать тушинским полякам. А вор из Калуги тоже пошёл на Москву и стал в селе Коломенском. Такая поднялась смута — разобрать ничего было нельзя.

На Фоминой неделе в Коломну прилетел польский полковник с гусарами, дворы, что остались целы, выграбил, много народа порубил, посёк и порохом взорвал городскую стену. Мы в погребе отсиделись. Протопоп сгорел на сеновале. Толстую попадью гусары увели с собой.

Остались мы с матушкой без кола, без двора, взяли по мешку и пошли куда глаза глядят, — Христовым именем.

Помню, — поутру вышли мы из лесочка и увидели: внизу, под горой, вьётся лазоревая река, и на реке, на зелёных холмах, стоят храмы, белые и златоглавые, три стены идут кругом города, за стенами — сады и улицы, изба к избе, высокие, бревенчатые. Матушка глядит на Москву, молчит, и слёзы у неё полились.

К полудню мы подошли к Серпуховским воротам. На лугу, у ворот, у Земляного вала толпился народ, казаки, стрельцы, а посреди них на возу стоял смуглый, как цыган, человек в чёрной однорядке, могучий в плечах, большого роста, глаза запавшие, лицо гордое, с кудрявой бородкой, на шее жилы надуты. На весь народ человек этот кричал сиповатым голосом:

— Под Клушином лучшие русские люди побиты. Долго ещё нам терпеть?.. У царя Шуйского нет счастья. Шуйского надо ссадить. Нам царь нужен молодой, — простой царь. Чтоб он лучших людей слушал, чтобы нам тому царю верить и за тем царём за веру православную, за русскую землю души наши положить. Храмы наши поруганы. Поляки животы наши последние грабят, жён наших себе берут. Опустела русская земля...

— Ссадить, ссадить Шуйского! — загудел народ.

Матушка спрашивает у одного посадского, — кто таков человек — кричит на возу?

— Да ты разве не видишь, — отвечает, — Прокопий Ляпунов.

В тот же день, — мы узнали, — народ ссадил Шуйского. Ссадили, и пошла резня. Чёрные люди хотели вора на царство, Ляпуновы со стрельцами и торговые люди — Михаила Романова, бояре — королевича Владислава. А вор из села Коломенского подскакивал уже к самой Москве.

Чаяли все тогда — скоро смута кончится. А она только ещё разгоралась. Опять начался голод. Пахать, сеять — и думать было нечего. От розни, от нищеты народ вконец отупел, — рукой махнули: хоть чёрта царём.

Матушка в то время занемогла, и нас приютили в Замоскворечье добрые люди. Мы видели, как вошёл в Москву гетман Жолкевский с поляками, как поляки стали русский народ разорять и грабить, стала Москва короля польского вотчиной. Погибала русская земля. Одни бояре терпели срам, а народ затаился, закаменел лютой ненавистью, ждал срока. Видели мы, как подошло из Нижнего и северных городов мужицкое ополчение с князем Пожарским, — осадили Москву. Слободы все погорели, от Замоскворечья остались пожарища да пустоши. Стали мы жить в погребях, по ямам, обросли коростой. Теперь руками разводишь, — как на семя-то осталось русского народа.

Но, видимо, наступал предел муки человеческой. Помощи ждать было неоткуда. Не в кого верить, не на что надеяться. Ожесточились сердца. И русские люди взяли наконец Москву и вошли в опоганенный Кремль. Я сам видел, как со стены скидывали в Москву-реку бочки с человечесьей солониной. А когда в храмы вошли — только рукой махнули, заплакали. Смута кончилась. Но радости было мало: кругом, куда ни поезжай, — ни сёл, ни городов — пустыня, погост.

И ещё помню я, как в осеннюю ростепель, в ветренный, серый денёк, вышел народ за московские заставы в поле и стоял без шапок. Дул ветер, летели мокрые птицы. По чёрной, топкой дороге ехал возок. Тянули его две пары разнопегих лошадок в верёвочной сбруе, с подвязанными



*Портрет царя Михаила Фёдоровича.
Копия с оригинала XVIII века*

хвостами. За возком ехали бояре, гости и выборные лучшие люди. В окошечко из возка на косматый, драный, угрюмый народ глядел худенький отрок с опухшими глазками. Боязно было принимать венец Михаилу Романову, тяжко, уныло.

Вдруг к возку кинулся человек в рубище, — упал в грязь на колени и грудь себе ногтями рвёт... Вижу, — опять это Наум. Возок проехал, и Наум побежал за возком, не отставал от него до самого Кремля. Бежал, выл, — юродствовал.

С Романовыми были мы в дальнем свойстве, матушка была молодому царю челом на деревнишке, и царь пожаловал нам сельцо Архангельское, что близ Каргополя. А ехать туда было, как на верную смерть: по всему северному краю бродил разбойничий атаман Баловень с черкасами, литовскими и

русскими ворами, никому не давал пощады: поймает человека, набьёт ему порохом рот и уши и поджигает. Лишь года через три загнали тех воров к Олонцу и всех истребили на заонежских погостах, самого Баловня привезли в Москву, повесили за ребро.

Так до времени жили мы с матушкой в Кремле, при царском дворе, в баньке.

В день архистратига Михаила, после обедни, позвали меня к царскому столу, — в то время было мне лет семнадцать, и я сидел с детьми дворянскими у дверей, там, где стол заворачивал глаголем.

Царь — худощавый отрок — вышел к нам в ризах и в бармах, сел к столу, снял венец, по обе руки его сели Салтыковы. Царь кушал мало, всё больше на руку облакачивался. Волосы у него были светлые, тонкие, реденькие, над губой пушок, лицо усталое. Борис Салтыков наклонялся и шептал ему, царь поднимал лазоревые глаза и улыбался, — и то одному боярину, то другому посылал чашу.

Зато бояре ели сытно, — наголодались, захудели: иной был в нагольную шубу одет, иные просто в сермяге. Ели час и другой, и царь совсем заскучал. Тогда Салтыков приказал позвать скomoroxов и дудошников.

Привели скomoroxов. Они робеют, жмутся в дверях близ нашего стола. И я смотрю, — один, в бабьем сарафане, с лукошком на голове, вместо кики, — Наум: сытый, и борода расчёсана, а глаза мутные, снулые. У меня сердце захолонуло. Салтыков кричит:

— Что же вы, дураки, входите, не бойтесь, государь вас пожалует — кого петлёй, кого кнутом, кого столбом с перекладной...

Бояре засмеялись. Царь закивал головой. Тогда Наум выскочил вперёд, ударил себя по ляжкам и начал приговаривать, гнусить:

— Вот я и здесь. Зовут зовуткой, величают уткой. Нынче девок никто замуж не берёт, развелось их как тараканов, а мужиков мало, все побиты. Только я невеста богатая. Хочешь — бери, хочешь — не надо. За мной



Михаил Абакумов. Грозы минувшего. 2001 год

прошлый год он меня на Серпуховской дороге мучил, и грабил, и бил даже до смерти... Он — шиш, воровской атаман.

Царь встал, сложил руки, оглядывается на Салтыковых.

— Ну, хорошо, хорошо, — говорит, — мы его возьмём... Я сам дело разберу. — И он опять засмеялся. — Ведь дурак правду сказал, бояре, четыре журавля стоялых в нашем государстве — всего богатству...

Наума взяли под стражу, и на другой день царь велел его сослать в Преображенскую пустынь. Там Наум постригся и принял имя Нифонта.

Прошли с той поры многие годы.

Я женился, родил семерых детей и похоронил матушку. Жили мы большой семьёй в орловской вотчине. Царь Михаил умер. Начались опять войны: воевали и со счастьем, и без счастья. Отстраивали Москву, укрепляли стены, строили кремлёвские башни и палаты, заводили новые порядки. Москва богатела, но в государстве не было покою: холопы, тяглые люди, вотчинные мужики опять стали бежать на Дон и на Волгу — искали воли. Царь искал крепости, бояре и служилые люди — богатства и чести, а народ — своей воли. И ныне, говорят, на низовьях Волги опять беспокойно, — шалит казачий атаман Разин. А может быть, и так — зря — болтают.

Вот уже сколько лет богомольцы и странные люди, заходя по пути, говорили нам:

— Сходите, Христа ради, в Преображенскую пустынь, поклонитесь блаженному Нифонту.

приданого: восемь дворов крестьянских, промеж Лебедяни, на старой Казани, да восемь дворов бобыльных, в них полтора человека с четвертью, четверо в бегах да двое в бедах. А хоромного строения — два столба вбито в землю, третьим прикрыто. Да с тех дворов сходится на всякий год насыпного хлеба восемь амбаров без задних стен да четыре пуда каменного масла. Да в тех дворах сделана конюшня, а в ней четыре журавля стоялых, один конь гнед, а шерсти на нём нет. Да с тех же дворов сходится на всякий год запасу — по сорока шестов собачьих хвостов да по сорока кадучек солёных лягушек...

Дальше ничего нельзя было разобрать, так загромыхали бояре, — тряслись на лавках.

Вдруг один дворянин встаёт и говорит злобно:

— Государь, прикажи взять этого человека под стражу. В

Мы говорили богомольцам:

— Того Нифонта мы знавали и хотим его видеть, — расскажите нам про его подвиги.

Прохожие рассказывали:

— Был он великий душегуб и злодей. В пустыни принял великий постриг, и лёг в гроб, и не принимал пищи и питья, чтобы скорее умереть — преставиться. Лежал в келье, в гробу, долго. Раз ночью вся пустынь всполошилась: слышат — Нифонт кричит дурным голосом. Зашли к нему и увидели: Нифонт сидит в гробу, и хулит Христа и Божью Матерь, и ругается чёрно, и скрипит зубами. В великом страхе убежала от него братия. Ударили в колокол. Собрались в храм и молились всю ночь. А Нифонт ходил круг церкви и тряс дверь, — не мог её выломать, кидался к окнам, к решёткам и кричал простые слова. А к утру затих.

В полдень его нашли в роще, в болоте: Нифонт лежал навзничь, голый, и комары и слепни покрыли его и язвили. Игумен хотел с ним говорить, но Нифонт вскочил, и убежал, и лёг по другой край болота, и гнусы опять облепили его.

Игумен велел принести ему хлеба и положить около его головы. И Нифонт хлеба стал есть малую толику, чтобы не умереть и дольше мучительствовать. Всё тело его покрылось язвами и коростой, и гнусы больше не садились на него, и он не мог умереть. Тогда Нифонт пошёл к игумену и просил благословить его на работу. Игумен велел ему взять волов и плуг. Нифонт взял волов и вспахал большой клин за рекой. Всю зиму он рубил и возил лес на постройку келий, брался за самую тяжёлую работу. Весною взборонил клин и засеял овсом. За весь год не сказал ни слова и по ночам истязал себя. Говорили, будто овёс не взойдёт на Нифонтовом клину. Но овёс взошёл и всколосился, — буйный вышел овёс. Нифонт собрал его и повеселел. Но уст не раскрыл и не облегчил себе трудов. Молчит он уже двадцать лет. Теперь стал стар и светел. Часто приносят ему богомольцы детей, он берёт их на руки, и целует, и гладит, и глядит им в глаза, и детям оттого легче.

Вот что рассказывали нам странные люди о Нифонте. В прошлый Петровский пост я с семьёю пошёл на богомолье. Посетили мы и Преображенскую пустынь. Место чудесное: пустынь — на речном берегу, в берёзовом лесу, за высокой белой стеной, — покой и тишина.

Служка монастырский, ходивший с нами, указал нам на Нифонта. Блаженный шёл из берёзовой рощи, был худ, высок и прям, в чёрной, до земли, рясе, в клобуке с белым крестом. Шёл легко. Из-под клобука глядел на нас светлыми, как свет, уже не этой земли жильца, блаженными глазами.

Подойдя к нам, остановился, поклонился низко и прошёл, будто травы не касаясь ногами.

КОЛОМЕНСКИЕ
ТИПЫ





Храм Николы Гостиного



Валерий Альбертович Ярхо родился в Коломне в 1964 году. Успешно сотрудничает во многих столичных и коломенских изданиях. В его творчестве удачно сочетаются художественная проза, краеведческие исследования и «архивный детектив».

Постоянный автор «Коломенского альманаха».

ВДОВА ТУПИЦЫНА

Замечательный подмосковный краевед Ольга Булич в своей работе, посвящённой городу Коломне, в 20-х годах прошлого века упомянула купеческую вдову Анну Тупицыну как благотворительницу, которая пожертвовала свой дом под первое в городе женское училище. С тех пор о ней не было написано ни строчки, хотя про эту коломенскую жительницу можно было бы создавать романы и пьесы в стиле Островского, а по мотивам этих произведений снимать увлекательные фильмы и сериалы. Но своего Островского в Коломне прежней поры не отыскалось, а после революции говорить о людях, чьё совокупное состояние простиралось до миллиона рублей, было не принято — их казнили забвением, заранее посчитав, что ничего хорошего и любопытного в жизни «богачей» быть не может.

Кое-какие сведения о семействе Тупицыных собрать удалось лишь в наши дни, когда поменялся взгляд на многие вещи и пришла пора отдавать старые долги, возвращая из небытия безвестности имена людей, сыгравших в судьбе нашего города важную роль. Коллекция материалов собиралась почти семь лет, сведения появлялись из самых разных источников, часто, как говорится, «по случаю», но именно эта подборка позволяет восполнить обидный пробел в истории города.

Свёкор

Если про саму Анну Тупицыну в советское время написали хоть что-то, то про свёкра её, Филиппа Наумовича Тупицына, не упоминали вовсе, а рассказ об этом семействе начинать-то нужно именно с него. Филипп Тупицын вёл большую хлебную торговлю и во вторую купеческую гильдию вступил в 1835 году. Дела его шли всё более и более успешно, и в 1843-м Ту-

пицын перешёл в первую гильдию, но, пробыв в ней три года, снова вышел во вторую, в которой и пребывал до самой своей смерти в 1859 году.

Один из самых богатых людей Коломны, Филипп Наумович был известным благотворителем. Именно он стал первым крупным жертвователем средств на устройство городского Брусенского монастыря, когда руководство им приняла известнейшая впоследствии игуменья Олимпиада. Древняя обитель сильно обветшала, средств не имела, и ждать их было неоткуда. Вновь назначенная настоятельница пребывала в полной растерянности до того дня, когда случайная встреча не изменила всего хода дел.

Как-то раз игуменья Олимпиада, по её словам, перед началом вечерней службы стояла у монастырских ворот, а по улице мимо шёл Филипп Тупицын, спешивший в Тихвинский собор, старостой которого он к тому времени состоял не первый срок. Филипп Наумович поздоровался с матушкой Олимпиадой и скорее из вежливости спросил: отчего она так печальна? Та пожаловалась на безденежье и невозможность отремонтировать ветхие постройки. Тупицын обещал помочь и слово своё сдержал: дал игуменье денег, прислал строительный камень и кирпич. Положенный Тупицыным почин поддержали ещё несколько благотворителей, среди которых особенно много пожертвовало семейство Ермаковых, после того как в обители приняла монашеский постриг с именем Феофании дочь бывшего крепостного Шереметевых, чиркинского крестьянина Флора Яковлевича Ермакова, ставшего фабрикантом и нажившего миллионы. После смерти отца помогать монастырю взялся унаследовавший капиталы и дело отца брат Феофании, Флор Флорович. Так и шло строительство того монастырского ансамбля, разрозненные остатки которого видны ещё и по сию пору.

260

* * *

Для Тихвинского собора Тупицын также не жалел средств, а к середине 40-х годов XIX века возникла насущная необходимость ремонта, а вернее — его полной перестройки. Город к тому времени сильно разросся, это был «золотой век» купеческой Коломны, и городской собор, построенный ещё в XVIII веке, стал тесен. В праздничные дни в него уже не умещались молящиеся из числа чиновничьей и торговой элиты Коломны, чьё присутствие в главном городском храме в «табельные дни» было обязательным.

Каким был Тихвинский собор в 40-х годах XIX века, при желании можно увидеть и сегодня — в городском музее имеется отличная картина, на которой он запечатлён задолго до перестройки: сравнительно небольшой, с отдельно стоявшей шатровой колокольней, на которой были часы-куранты.

Ещё в 1841 году по решению коломенского Градского общества собор решили расширить, увеличив его пристройкой двух приделов: во имя иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали» и во имя святителя Митрофания, Воронежского Чудотворца. Как сказали бы сейчас, «генеральным спонсором проекта» стал Филипп Наумович Тупицын — он согласился пожертвовать на это более 40 тысяч рублей ассигнациями.

Между 1843 и 1845 годами Тупицын в три приёма предоставил в распоряжение коломенского Градского общества денег на общую сумму в 30 тысяч деньгами, а ещё на 14 тысяч рублей произвёл закупки материалов, необходимых для начала строительства. За таковое благодеяние семье Тупицыных от Градского общества была вынесена благодарность, а сам Филипп Наумович и его сын Ермолай были на девять лет освобождены от всех общественных служб (предоставление квартир для военного постоя,

поставка тягла и кормов для казённых нужд, исправление выборных должностей и прочее в этом роде). Губернскому архитектору Борису был заказан проект расширения Тихвинского собора, и, казалось, всё шло к тому, что работы вот-вот начнутся. Ан не тут-то было!

* * *

В 1847 году в Коломне был расквартирован гусарский Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Павловича полк и возник вопрос о размещении полкового храма. Поначалу под него хотели выделить в какой-нибудь из городских церквей отдельный придел, но таковых — достаточно вместительных и обособленных от остальных помещений — не сыскалось. Тогда полковому начальству приглянулся маленький Тихвинский собор: по размерам он вполне годился для нужд полка и к тому же отапливался, что позволяло служить в нём зимой и летом.

После совета военных с настоятелем собора протоиереем Иоанном Косминым и членами Градского общества решено было оставить Тихвинский собор таким, как он был, отдав его полковому священству гусарского полка, а для нужд города построить совершенно новый, тёплый трёхпрестольный собор во имя Сретения Господня, с двумя приделами: во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и Двенадцати Апостолов.

В то же самое время против проекта Тупицына активно выступил потомок строителя Тихвинского собора, «коломенского Креза», богатейшего купца Ивана Тимофеевича Мещанининова, уже вышедший из купечества титулярный советник Иван Иванович Мещанининов. Человек грамотный и развитой, он в своих письменных прошениях, подаваемых в различные духовные и светские инстанции, доказывал, что при перестройке собора, «производимого произволением единственного человека, старосты Филиппа Тупицына», придётся разобрать его стены до основания, что означало бы полное разрушение храма, построенного его предком, и просил не давать на это дозволения. Так дело о перестройке Тихвинского собора застопорилось, а потом и вовсе обратилось вспять.

* * *

Многолетняя переписка по этому вопросу занимает два толстых тома отдельных друг от друга архивных дел. Если продрагаться через завитушки канцелярского языка и постигнуть логику ведения дел чиновниками разных ведомств, то вкратце выйдет следующее. Настоятель Успенского собора протоиерей Иоанн Космин при поддержке именитых граждан города ходатайствовал о дозволении построить совершенно другой собор, оставив Тихвинский в том виде, в котором он был. В ходатайстве высказывалось опасение, что при копании рвов под фундамент нового храма могут обрушиться стены Успенского холодного собора — слишком близко к ним будут вестись работы. Новый же соборный храм предполагалось построить «на особенном месте», на порядочном расстоянии от двух старых соборов.

Этот проект получил одобрение во всех инстанциях, и на постройку нового тёплого храма высшим духовным начальством была даже выдана храмоздательная грамота. Но Филипп Тупицын всё это время неоднократно заявлял, что он жертвовал свои деньги именно на перестройку Тихвинского собора, так как он благоговел перед Тихвинской иконой Божией Матери и дал обет благоустройства именно этого храма. В принципе он был не против

строительства новой святыни, но финансировать его единолично не желал, говоря, что деньги дал для одного и не позволит тратить их на другое.

Градское общество попыталось отспорить те 30 тысяч, что уже хранились в городском казначействе, доказывая, что раз уж Тупицын передал деньги в распоряжение города и получил за то освобождение от общественных обязанностей, то и распоряжаться ими вправе именно Градское общество, а оно желало строить на них новый собор. Однако этот номер не прошёл, и после нескольких лет усиленной переписки с различными духовными и светскими ведомствами деньги, пожертвованные Тупицыным, на строительство Сретенского собора тратить не разрешили, предложив членам Градского общества изыскать средства внутри. Таковых жертвователей не нашлось, дело встало, и только переписка продолжалась.

* * *

Пока шла многолетняя борьба мнений, сын Филиппа Наумовича Ермайл Тупицын помер, а вдова его Анна с сыном Константином, родившимся в 1841 году, осталась жить в доме свёкра. Так тогда было принято — жена оставалась в доме мужа даже после его смерти и жила при свёкре в качестве вдовой невестки. Впрочем, уходить-то им обычно было некуда, да и незачем — мать внука Филиппа Тупицына, Анна, становилась законной наследницей капиталов семьи.

Минуло ещё несколько лет, и сам могучий Филипп Наумович оставил земную юдоль — умер он в 1859 году, завещав всё невестке, так как они «состояли в одном капитале» — то есть у Анны Осиповны не было своих денег, её приданое и имущество их с мужем и сыном было в семейном «общем капитале».

Теперь представьте себе ситуацию, в которой оказалась эта не старая ещё женщина, получившая в лучшем случае самое начальное образование (если таковое вообще имелось). У неё на руках, кроме большого хозяйства, остались ещё все капиталы и торговые дела огромной фирмы, хлопоты о возведении её с сыном в звание потомственной почётной гражданки, начатые ещё её покойным свёкром, и, наконец, крайне запутанное дело о перестройке собора.

Все участники этого длившегося более десятка лет дела настороженно ждали: что теперь предпримет наследница Тупицына? Тяжба утомила всех, новый храм строить так и не собрались — денег не нашли. На деньги, когда-то пожертвованные Тупицыным, на 14 тысяч рублей староста Успенского собора Захар Романович Колесников уже закупил белый камень, кирпич и известь для перестройки, сложил всё это возле собора в штабели и кучи, приставив к ним сторожей. И вот тут-то, в 1860 году, впервые прозвучал голос вдовы Тупицыной, объявившей о своём решении. Последними документами дела о построении святыни являются отчёты о собеседовании представителей градского духовенства и светского правления, которые спрашивали: согласна ли Тупицына принять на себя обязательства покойного Филиппа Наумовича? Анна Осиповна ответила, что она, «принимая в наследство нажитые покойным свёкром капиталы и имущества, не может не принять и обязательства, данные им при жизни в делах, которые он начинал для спасения души». Судя по тому, что мы можем наблюдать, обеты своего свёкра Анна Осиповна исполнила в полной мере. Величественный Тихвинский собор, трёхпрестольный, вплотную подведён к колокольне и вполне соответствует статусу кафедрального собора даже сегодня, спустя полтора века после описываемых событий.

* * *

О самой коломенской «богатой вдове» известно совсем немного. Девичью фамилию Анны Осиповны выяснить пока не удалось, а из документов, которые отыскиались, следует, что она родилась в 1823 году. Её покойный муж Ермолай Филиппович Тупицын родился 19 июля 1819 года, а у них с Анной 20 февраля 1841 года родился сын Константин. Значит, самой Анне Осиповне было 18 лет, когда она стала матерью; к тому моменту, когда она унаследовала состояние семейства Тупицыных (а это не менее полумиллиона рублей «чистых денег»), ей было лет тридцать пять или того меньше.

Конечно, у неё были советники, доверенные лица, но ей самой нужно было постичь премудрость обращения с огромными финансовыми средствами, способами торга, деловыми бумагами и ведением дел «в казённых присутствиях». Опять же, «судя по делам», она вполне превзошла все эти премудрости.

Спустя четыре года после обретения полной самостоятельности она добилась звания потомственной почётной гражданки, хотя было это не просто. Из Петербурга дело вернули, так как начато оно было не Анной Осиповной. И ей пришлось документально подтверждать своё родство с семейством Тупицыных, предоставив доказательства того, что она состояла в законном браке с Ермолаем Филипповичем и сын их рождён, крещён и записан в церковных книгах по всем правилам. (Если бы дело дошёл до конца сам дед Константина, Филипп Наумович, ничего бы этого не потребовалось, все члены семьи писались бы почётными гражданами уже автоматически, по определению, без дополнительных хлопот.) Указ о возведении в звание потомственных почётных граждан Анны Тупицыной и её сына Константина последовал 16 апреля 1862 года.

Спустя ещё три года, 22 августа 1865 года, Константин Ермолаевич Тупицын привёл в дом матери невестку. Он женился на дочери коломенского помещика Волженского, семнадцатилетней девице Варваре Вуколовне, и о том, как жила семья Тупицыных после женитьбы Константина, сведений собрано очень много. Этому весьма поспособствовал громадный судебный процесс, который коснулся всех без исключения членов семьи.

Невестка

Судя по материалам дела, Константин Ермолаевич получил некоторое воспитание и образование, так что для своего поколения купеческих детей мог считаться личностью вполне просвещённой, а потому и приглянулась ему не ядрёная «купецкая дочь», а обедневшая дворяночка, с которой он познакомился в доме матери. Анна Осиповна покровительствовала бедным девицам, и у неё они собирались, занимаясь рукоделием ради приработка. Может быть, бедненьких барышень у Тупицыной собирали и не без некоторого умысла — чтобы сын «далече за тем мёдом не хаживал».

Заботливые мамы того времени всерьёз опасались за своих подростков чад, ударявшихся в развлечения с «гуляющими девицами» — этого добра в Коломне хватало, и молоденькие купеческие сыновья отчаянно «шалили» в «весёлых домах» в то время, когда повсюду в мире свирепствовал сифилис и другие «нехорошие болезни», которые в ту пору не умели лечить. Предусмотрительные родители «принимали меры»: обычно нанимали хорошеньких горничных и разбитных кухарок, с которыми при найме заранее договаривались о дополнительных услугах для сынка, обещая «в случае чего» дать хорошие отступные либо позаботиться о младенце.

Как бы то ни было, Анна Осиповна была совсем не против того, что Костя увлётся Варенькой Волженской, считая, что тот просто «с ней балуется», но когда он заявил, что желает её сватать, мать «встала на дыбы». Пожитейски она была совершенно права — Константину лучше было бы жениться на девушке своего круга, из купечества. Мадемуазель Волженская получила образование в частном пансионе, играла на рояле, была звездой местных маскарардов и увеселений, где вокруг неё с самого юного возраста вился рой поклонников, ухаживания которых она не отвергала.

Нет-нет, что называется «гулящей» девица не была, но приглашения Тупицыной, в доме которой жил взрослый сын, она принимала, и все прекрасно понимали, что такое поведение для девушки на выданье, по законам купеческих семейств, живших ещё вполне по «Домострою», было недопустимо. Одно дело «шалить» с матушкиными подопечными, другое — вводить «в порядочный дом» подобную барышню...

Мать уговаривала Константина, вразумляла, «открывала ему глаза», но тот влюбился по-настоящему и ничего иного не желал, как только непременно жениться на Варе. Несмотря на сопротивление матери, Константин Ермолаевич проявил упорство и добился своего — мать любила его, а потому скрепя сердце уступила. Возможно, Анна Осиповна рассудила, что взятая из бедности красивая и образованная дворянка-бесприданница будет благодарна тому семейству, что вытасчит её из нищеты.

К Волженским послали сватов, и папаша-помещик, обременённый большим семейством и долгами, не устояв перед соблазном породниться с одним из самых богатых семейств Коломны, дал свое согласие. Стали готовиться к свадьбе: Вареньке потихоньку справили приданое — приличный гардероб, бриллиантовый гарнитур, свадебный наряд и всё прочее, что полагается порядочной невесте. Денежки на это дала Анна Осиповна.

После свадьбы жили они в одном доме, в Коломне, и, может быть, дом тот стоял где-то поблизости от Богоявленской церкви — по крайней мере, все Тупицыны крестились и венчались именно в ней, а значит — были её прихожанами. (Насчёт «собственного дома, подаренного Тупицыной для женского училища», Ольга Булич несколько погорячилась — Анна Осиповна дала Градскому обществу денег на приобретение подходящего дома, а вовсе не подарила свой собственный, родовой, купеческий, вряд ли подходящий для училища.) Итак, зажили они большой семьёй.

Анна Осиповна, сама пожив «в невестках», повела себя так, как когда-то обращались с нею самой свёкор со свекровью. Она делала Варваре замечания, указывала, какие ей платья носить, как себя вести, требовала, чтобы невестка, встречая её утром, приветствовала, кланяясь в ноги, становясь на колени и целуя ей руку. Так было положено в купеческом доме, и сама она делала так много лет кряду, не видя в этом ничего зазорного. Но Варенька напрочь отказывалась вставать перед ней на колени, хотя руку всё же целовала.

Вообще же Тупицына первое время была вполне довольна невесткой, поругивала её «для порядку», и жили они довольно мирно. Терпения Варвары хватило ненадолго, и уже осенью 1866-го, в октябре месяце, состоялась у них крупная ссора, кончившаяся дракой, а вернее — свекровь поколотила строптивую Варвару Вуколовну. Константин вместе с женой ушёл тогда из дома в номер Голяшкина. А потом они оба уехали в Петербург, откуда вернулись, когда всё немного поулеглось.

Анна Осиповна была человеком властным, но умным, вспыльчивым, но отходчивым, скандалы же воспринимала как неотъемлемую часть жизни любой семьи. Мирясь с невесткой, она писала ей: «Моё дело — любовь к вам обоим

и молитва за вас. А то, что было, так что ж! Мир есть море, а скандалы наши — это неизбежные бури в этом море». У Варвары Вуколовны был свой взгляд на этот предмет, но до поры до времени она его не обнаруживала, принимала извинения свекрови и сама целовала ей руку в знак примирения.

Помимо крутой нравом свекрови был в доме ещё один человек, отравлявший Варю жизнь, — от свекрови ей терпеть было как бы «по закону положено», не очень и обидно, а вот от сожителя свекрови, старшего приказчика фирмы Якова Ивановича Краснова, она терпеть обид не собиралась. «Сердечный друг» не старой ещё вдовы, распорядясь всеми делами фирмы, вёл домашние и хозяйственные дела. Он вмешивался во всё, и всё в семействе Тупицыных делалось не иначе как с согласия Якова Ивановича. По его словам, и сама свадьба Константина и Варвары состоялась только после того, как он её одобрил.

Постепенно Краснов стал вмешиваться в семейную жизнь молодых, и по настоянию Варвары Константин потребовал, чтобы Якова Ивановича рассчитали. При этом он устроил форменный бунт против матери и в январе 1867 года даже подал в Московский окружной суд прошение, в котором жаловался на то, что мать распоряжается капиталами деда, по духовному завещанию принадлежащими ему, и, пользуясь своим положением, разрушает покой его семейства, требуя, чтобы он оставил свою жену.

Видимо, это оказало действие, и молодые своего добились. В феврале 1867 года прошение было отозвано, а Краснова отставили от дел и удалили из дому. Вот этого Анна Осиповна простить невестке уже не могла: была она в том возрасте, когда «баба ягодка опять», на последнем излёте женской красоты и силы, а потому, вынужденная удалить старого дружка и советчика, разошлась не на шутку! После ухода Краснова Анна Осиповна закатила страшный скандал, в результате которого у беременной к тому времени Варвары произошёл выкидыш.

Когда жена оправилась от болезни, Константин Ермолаевич забрал её, и они уехали в Петербург. А по возвращении поселились в Москве, где у Тупицыных был свой большой дом на Чистых прудах. Мать оставалась в Коломне, но часто приезжала, донимая сына настойчивыми просьбами и советами оставить жену. Она твердила, что та неверна Константину, и похоже, в её словах была большая доля истины. Вырываясь из-под строгой опеки и «догляда» свекрови, Варенька предавалась увеселениям, а мужа своего стеснялась и ругала его прилюдно то «мужиком», то «дураком», всячески старалась выставить в смешном свете его простонародные привычки и недостаточную образованность.

Вокруг неё кружился рой ухажёров, и муж отчаянно ревновал её, тем более что поводы к тому имелись. Летом 1866 года, когда молодые Тупицыны жили на даче в подмосковной деревне Калистово, вышла «история» с другом Константина, актёром театра Густавом Максимовичем Эрлангером: между ним и Варварой Тупицыной тогда «завязались отношения». Во время отсутствия хозяина Эрлангер приезжал к Варваре, вдвоём ходили они в лес.

Главный скандал разразился в день годовщины свадьбы Тупицыных — 22 августа 1866 года. В тот день на даче Густав Эрлангер устроил фейерверк, а когда стемнело, в лесочке возле дачи Константин застучал свою Варвару в объятиях друга Густава — они явно и недвусмысленно целовались как давние любовники. Кровь обманутого мужа вскипела в жилах Константина, и он, угостив жену оплеухами, погнал Эрлангера со двора, а потом написал ему письмо, в котором говорил, что тот разбил его семейную жизнь.

Как-то Константин позвал жену в театр, а она не захотела, сказавшись нездоровой. Он поехал один, но в антракте решил вернуться и дома у себя

застал супругу свою Варвару Вуколовну с доктором Сукочёвым, которого выгнал со скандалом. Перехватил он и записочку, посланную Сукочёву в то время, как он поехал по делам в Коломну: «Доктор! Константин уехал, если хотите воспользоваться, то приезжайте».

Прислуга громко шепталась за спиной, посторонние люди «выражали сочувствие», хихикая в кулачок, а жена-нищенка вовсе не собиралась выражать благодарность семейству, вытаскившему её из нищеты, на что в своё время так уповала Анна Осиповна.

Слухи о поведении невестки достигли ушей свекрови, и та усилила свои старания, стремясь убедить сына развестись. Анна Осиповна дважды ездила в консисторию и даже лично просила митрополита Филарета (Дроздова) помочь ей развести сына. Но духовенство, хоть и сочувствовало известной благотворительнице, всё же указывало на то, что без веских доказательств развод невозможен.

* * *

Варвара Вуколовна, словно нарочно, чтобы позлить своих родственников-купцов, «жила на всю катушку». Константин явно метался меж двух огней и, наконец, даже решил попробовать отделиться от матери — он с женой ушёл из московского дома, наняв квартиру. В ответ мать применила против строптивых молодых «экономическую блокаду»: всеми семейными средствами распорядилась она и, прекратив выдачу денег сыну, обрекла того «на скудость».

Уже живя отдельно, Константин потребовал от Варвары прекратить знакомство с доктором Сукочёвым — врач он был обыкновенный, а то, что именно он лечил его жену, Константину Ермолаевичу было, по вполне понятным причинам, неприятно. Но супруга, проявив норов, отказалась переменить врача. Без привычного комфорта — хороших обедов, собственных лошадей, вышколенной прислуги и круговорота развлечений, чувствуя себя обманутым мужем из анекдотов, помыкавшись несколько недель на отдельной квартире, Константин вернулся в дом матери, принеся повинную голову.

Его немедленно простили, приняли и обласкали, а неблагодарная Варвара была объявлена «врагом семейства». Против неё были употреблены все «меры воздействия». Варваре отказывают в отдельном паспорте (жёны тогда вписывались в документы мужа), ей не оставили ни копейки денег. К молодой женщине чуть не каждый день являлся квартальный надзиратель, требуя документы (а если у женщины не было паспорта, она должна была встать на учёт в полиции как проститутка и получить удостоверение — промысловое свидетельство, так называемый жёлтый билет). Донимал её и квартирный хозяин, требуя оплатить квартиру.

Но в эти горькие для Вари дни её не оставили прежние друзья — после ухода мужа помех уже не было. Среди прочих её знакомых брат Густава Эрлангера, Пётр, встретившись несколько раз с Варварой в Немецком клубе, сообщил ей, что Тупицыны уполномочили его, как давнего знакомого «обеих сторон», вести переговоры о разводе. Приехав к ней на квартиру, Пётр Эрлангер предложил Варваре устроить её развод, если она даст ему пять тысяч рублей, которые ей согласны были заплатить Тупицыны, если она согласится на развод. Анна Осиповна соглашалась заплатить вполне приличные деньги, только бы уладить это дельце. Дальнейшее показало, что они вполне сторговались.

Процесс

В мае 1867 года в московскую Духовную консисторию было подано прошение о разводе потомственного почётного гражданина Константина Ермолаевича Тупицына с его женой Варварой Вуколовной, ввиду явной супружеской неверности последней. В августе того же года, 23-го и 24-го числа, свидетели: прислуга Тупицыных — камердинер, клинский мещанин Григорий Ефимович Гусев, его жена Марья Дмитриевна, служившая в доме кухаркой, и театральный актёр Густав Эрлангер — под присягой давали показания в московской Духовной консистории. Гусев рассказал, что летом 1866 года театральный актёр Густав Эрлангер часто бывал на даче Тупицыных в селе Калистове в то время, когда хозяин отсутствовал. Хозяйка Варвара Вуколовна его принимала, а в ночь с 16 на 17 июля гость остался ночевать — ему постелили на диване в кабинете хозяина. Утром, убирая комнаты, Гусев, по его словам, уронил щётку и, опасаясь, не разбудил ли он хозяйку, он заглянул в замочную скважину спальни и увидел, что Густав Эрлангер и Варвара Тупицына спят вместе, в супружеской постели.

Марья Дмитриевна Гусева дополнила рассказ супруга ещё более пикантными сведениями: тогда же, в июле, и опять же в отсутствие на даче Константина Ермолаевича, барыня и господин Эрлангер решили пойти в лес, как они сказали: «за грибами», приказав Марье взять ковёр, корзинку с припасами и идти за ними следом. В лесу они выбрали поляну и велели Марье раскинуть ковёр, а потом оставить их. Гусева пошла собирать грибы, но, сделав большой круг по лесу, незаметно для себя вернулась к той поляне, на которой оставила барыню и Эрлангера. Прежде чем выйти из лесу, она выглянула из-за кустов, обрамлявших поляну, и, по её словам, увидела «барыню Варвару Вуколовну» с Густавом Максимовичем Эрлангером сидящими на ковре, уже полураздетыми: они обнимались и осыпали друг друга страстными поцелуями. Марья так и осталась стоять за кустами и видела, как Эрлангер повалил барыню на ковёр. Она, немного понаблюдав за ними из-за кустов, потихонечку ушла на дачу.

Спрошенная Варвара Вуколовна всё отрицала, и тогда был вызван к допросу Густав Эрлангер, который признал, что после того как его друг, Константин Тупицын, познакомил его с женой Варварой Вуколовной, он, после трёх недель знакомства, «с нею сблизился» и несколько месяцев состоял с нею в любовной связи.

Дело было рассмотрено в консистории 9 ноября 1867 года, и показания Эрлангера и Гусевых были признаны вполне достаточными для установления факта прелюбодеяния. В тот же день состоялось решение, согласно которому брак Тупицыных расторгался и Варваре Волженской, бывшей Тупицыной, как виновной, было запрещено впредь вступать в брак: «навсегда оставить в безбрачном состоянии» и сверх того «подвергнуть её церковному покаянию». С решением консистории ознакомили обоих бывших супругов 15 ноября, а 20-го Константин и Варвара расписались в том, что они «изъявляют на оное решение полное своё удовольствие». Спустя шесть месяцев, 15 марта 1868 года, Святейший Синод утвердил решение московской консистории. Сбылась мечта Анны Осиповны: сын разошёлся с «неровней».

* * *

Но радость матери была недолгой. Спустя всего двенадцать дней после утверждения решения Синодом, 27 марта 1868 года, дворянка Варвара Ву-

коловна Волженская, бывшая Тупицына, пригласила к себе надзирателя 5-го квартала Арбатской части и дала ему письменное заявление, в котором утверждала, что свидетели, выступавшие на бракоразводном процессе в консистории, дали ложные показания. Она доказывала: недавно ей удалось совершенно точно установить, что им было выплачено солидное вознаграждение за лжесвидетельство.

В качестве лиц, от которых она это узнала, Волженская называла крестьянина Дмитрия Петрова, служившего кучером у её бывшего мужа, перешедшего потом к ней, солдатку Фёклу Егорову, крестьян Ивана Онисимова и Сидора Васильева. В заявлении говорилось, что кучера Петрова Константин Ермолаевич уговаривал дать показания против неё и предлагал ему за это деньги, а остальные свидетели слышали от самого Григория Гусева о том, что он получил «за правду» хорошие деньги. Надзиратель немедленно допросил указанных свидетелей (а это была прислуга самой Волженской), и те подтвердили свои слова официальным показанием.

В дальнейшем Волженская так обрисовала ситуацию с разводом: Пётр Эрлангер передал ей, что Тупицыны дают деньги, чтобы она приняла всю вину на себя, она из них платит ему пять тысяч рублей за посредничество. Густав Эрлангер признавался в прелюбодейной связи, так как ему, человеку холостому, да к тому же неправославного исповедания, ровным счётом ничего не грозило, а он был много должен Тупицыну: Густав Максимович выдал Константину вексель на шесть тысяч, который уничтожили сразу после того, как развод состоялся.

Сведения о торге между Тупицыными и Волженской подтвердили сестра Варвары, Вера Вуколовна, и её родной дядя, помещик Тамбовской губернии, титулярный советник Александр Карлович Клосс — Пётр Эрлангер вёл переговоры в их присутствии. Клосс при этом заметил, что он ведёт себя не совсем порядочно, на что Эрлангер ответил, что ему срочно нужны деньги и ему их обещали.

Допрошенные слуги показали, что Гусев осенью 1867 года рассказывал им, как его и жену вызывали в консисторию и они «давали присягу за Константина Ермолаевича». По словам раздетого франтом Гусева, за это Тупицын ему подарил серебряные часы и деньги — показывал три четвертные бумажки и говорил, что ему дали больше, но он уже потратил, накупив много разной очень красивой и модной одежды. Ещё Тупицын сулил выхлопотать ему место обер-кондуктора на железной дороге. Дмитрий Петров говорил, что ему сулили 300 рублей за показания, а Иван Онисимов утверждал, что слышал, как Анна Осиповна требовала от сына, чтобы тот непременно развёлся, в противном случае угрожала лишить всех капиталов.

Так возникло дело по обвинению потомственных почётных граждан Анны Осиповны Тупицыной и Константина Ермолаевича Тупицына в клевете, даче ложных показаний и подкупе свидетелей.

* * *

Расследование всех обстоятельств этого дела затянулось на несколько лет, и лишь в октябре 1875 года начался судебный процесс, на котором в качестве обвиняемых предстали мать и сын Тупицыны вместе с Гусевыми и Густавом Эрлангером. Очевидно, положение хоть и жившей на воле, но «состоящей под судом и следствием» сильно подействовало на Анну Осиповну, и она стала много жертвовать для содержащихся в коломенском тюремном замке арестантов. В частности, внесла 20 тысяч рублей для того,

чтобы в тюрьме устраивались духовно-просветительские собеседования священников с заключёнными и закупалась соответствующая литература.

Пресса подробно освещала ход процесса, тем более что дела противоборствующих вели лучшие на тот день юристы России: интересы Тупицыных представлял сам Плевако, а Волженской — князь Урусов. Дуэль этих двух «зубров» юриспруденции и пикантность подоплёки приковывали к себе внимание.

Поначалу сторона обвинения рисовала Константина Тупицына безвольным и едва ли не слабоумным, а мать его, Анну Осиповну, таким «персонажем Островского», богатым и самовольным чудовищем, почём зря угнетавшим благородную девицу, о которой газетчики писали как о «маленькой весёлой девочке», попавшей в лапы злобной ведьме.

Но потом выяснилось, что «невинное дитя» не очень-то и невинно: оказалось, через дядю своего, титулярного советника Александра Карловича Клосса, Варенька получила 5 тысяч рублей и ещё на 15 тысяч акций Казанской железной дороги, о происхождении которых ни сама Волженская, ни Клосс объяснить ничего не могли. Судя по всему, условившись о сумме компенсации, Волженская вполне сознательно шла на развод в качестве обвиняемой: деньги ей передали, а она вернула бриллианты, поднесённые ей перед свадьбой, которые должны были изображать её приданое.

Варвара Вуколовна подписала документ, согласно которому признавала себя прелюбодейкой, и, прекрасно зная от своей прислуги ещё до начала слушания дела, что свидетелей «награждали деньгами», скрыла этот факт от консистории. Волженская просто выжидала, когда приговор консистории, основанный на показаниях оплаченных свидетелей, вступит в силу.

Лишь после того как решение было утверждено, она подала заявление в полицию, разом превратив свекровь и бывшего мужа в преступников. Была ли это месть или циничный расчёт — кто теперь скажет? По-видимому, у неё были неплохие советчики, рассчитывавшие основательно пощипать «жирных коломенских гусей». На процессе адвокаты Волженской без усталости рисовали «тёмное царство», в котором оказалась их доверительница, часто и помногу цитировали Островского, и порою в зале суда начинался настоящий театр.

Газетчики же изменили тон, и, между прочим, было заявлено, что все хлопоты по разводу обошлись Тупицыным тысяч в тридцать — столько стоили подкуп свидетелей, погашение долгов Эрлангера, выплата «отступного» Волженской, «хлопоты» негласных ходатаев и «подмазка кого следовало» в казённых учреждениях.

Судились Тупицыны с Волженской около года, и в ноябре 1876-го наконец прозвучал приговор: вердиктом присяжных Тупицын и Тупицына были признаны виновными в подкупе и подговоре свидетелей, Гусевы и Эрлангер — в даче ложных показаний. Суд приговорил Анну Осиповну Тупицыну и Константина Ермолаевича Тупицына к лишению всех особых прав и преимуществ и ссылке на жительство в Иркутскую губернию без права покидать место поселения в течение трёх лет. Григория Гусева по приговору суда отправили в исправительное арестантское отделение тюрьмы сроком на три года, а Эрлангера подвергли аресту на четыре дня — как прусский подданный и лютеранин по исповеданию, он давал в консистории показания без присяги, которую приносили целованием креста и Евангелия по обрядам православия.

Казалось бы, Волженская могла торжествовать, но радости приговор суда «потерпевшей» почему-то не принёс — в решении имелось «особое

мнении»: ходатайствовать перед Его Императорским Величеством о помиловании Тупицыных и Гусева, так как действия Волженской были предосудительны и не совсем бескорыстны.

Приговор вынесли 7 ноября 1876 года, а уже 9-го Варвара Вуколовна подала в Сенат прошение об отмене приговора по делу Тупицыных, Гусева и Эрлангера, в котором утверждала, что суд крайне пристрастно и неправильно изложил обстоятельства дела, исказил мотивы и в результате просил о помиловании преступников. Она утверждала, что тем самым был дан повод подозревать её, Волженскую, в действительном нарушении супружеского долга и таким образом выходило, что Окружной суд подтверждал все те порочащие слухи, что послужили основанием для развода и наложением на неё запрета впредь вступать в брак. Кроме того, в решении суда содержался намёк на то, что Волженская начала дело о лжесвидетельстве, имея целью получить с Тупицыных крупное вознаграждение. Решением же суда Варвара Вуколовна была поставлена, по её словам, «в совершенно безвыходное положение», лишавшее её возможности оправдаться. Сколь можно судить по молчанию прессы, жалоба Волженской была оставлена без последствий.

* * *

Но что же стало с остальными участниками этих событий? Поток сведений, регулярно приносимый речами участников процесса, по окончании его истончился до невидимого ручейка, вернее, даже не ручейка, а так, капелек, драгоценных росинок-свидетельств, которые чаще всего попадают после многих дней работы «впустую». Именно так, в общем-то случайно, удалось выяснить, что случилось с Константином Ермолаевичем: на первой странице газеты «Московские ведомости» от 27 ноября 1889 года было помещено сообщение в траурной рамке, извещавшее: «Константин Ермолаевич Тупицын волею Божией скончался 26 ноября в 10 ч. утра, о чём жена его и дети с прискорбием извещают. Отпевание имеет быть в приходской церкви св. Гавриила Архангела, 28 ноября, в 9 часов утра, а погребение на кладбище Алексеевского монастыря».

Кто была жена Тупицына, родившая ему детей, об этом ничего не известно, как неясно и то, как после суда жила Анна Осиповна. В объявлении нет ни слова о скорбящей матери покойного, из чего можно предположить, что она к тому времени тоже умерла. Но так ли это, точно не известно — в 1889 году ей было бы 66 лет, она вполне могла жить в собственном доме в Коломне и просто отсутствовала в Москве. Пока не найдены свидетельства о том, где и когда она сама упокоилась — лишь среди благотворителей, жертвовавших в Коломне деньги на разные добрые дела, её имя упоминается несколько раз да точно известно, что именно она стояла у истоков женского образования в Коломне, о чём писала Булич.

Имя вдовы Анны Тупицыной всплывёт при закладке храма во имя иконы «Взыскание погибших» при коломенском тюремном замке — она названа как основная жертвовательница. Но эту церковь начали строить уже в начале XX века, и либо Тупицына к тому времени была уже в очень преклонном возрасте, либо пожертвование это было сделано прежде и подтверждено завещанием после её смерти. Как бы то ни было, рассказывая о вдове Тупицыной, точку ставить не хочется — здесь более уместно многоточие, которое оставляет надежду восполнить пробелы судьбы этой незаурядной личности новыми данными о ней, если вдруг таковые обнаружатся при копании исследователей во прахе времени...



Валерий Александрович Ковалёв родился в 1940 году в Коломенском районе, в деревне Солосцово. Образование высшее юридическое.

Его рассказы и очерки печатались в местных газетах. Выпустил четыре сборника рассказов: «Рассказы о Коломне и о коломенцах», «По сновидению в трёх снах», в соавторстве — «Чтобы помнили», «После выставки вверх».

Член Союза писателей России.

Валерий КОВАЛЁВ

ЭКСТРЕННЫЙ СОЗЫВ

Конец февраля 1877 года выдался малоприятным. Хотелось тепла. Однако зима никак не желала сдавать позиций. Цепко держала дверь, не позволяя молодой весне проникнуть в свои владения. Мороз лютовал на уровне крещенского. Снег сиял белизной, запятнанной лишь конскими «яблоками» на наезженных санными полозьями улицах.

Однажды вечером, когда сумрак уже окутал коломенские улицы, поубавилось прохожих, фонарщики засветили редкие уличные фонари, вдруг оживилась Почтовая улица. К двухэтажному зданию городской думы подкатывали легковые извозчики, высаживали седоков, получив с них за услуги разменные медные монеты. Подходили пешие. Свет единственного над входной дверью фонаря выхватывал из темноты фигуры с упрятанными в воротники лицами. То и дело хлопала входная думская дверь: прибывающие с улицы люди обметали веником снег с валенок под ворчание пожилого истопника, встречавшего каждого недовольным бормотанием. Те, кто были в калошах, снимали их. Шубы и чиновничьи шинели оставляли на общей вешалке. Следовали на второй этаж. Там, в освещённом зале, рассаживались на стульях, установленных рядами. На красных от мороза лицах застыли вопросительные гримасы. Вполголоса переговаривались. Обрывки фраз выдавали общее волнение. Обычно депутаты городской думы собирались в определённые дни. Заседания начинались утром. Заранее доводился до сведения набор наболевших и просто текущих вопросов. Сегодня же после полудня каждого на дому посетил запыхавшийся курьер, призвав прибыть к семи часам вечера в думу на экстренное

заседание. «Что за срочность?», «Уж не стряслось ли что с государем?», «А может, и того хуже... война?» — зависали немые вопросы.

Приглашённые всё прибывали. Кроме думцев, спешили и те, кто не входил в состав выборного органа, но был приглашён на собрание. Так, пришли и разместились кучкой известные в городе врачи. Двое аптекарей присоединились к ним. Появились чёрные фигуры настоятелей коломенских монастырей. Они скромно примостились на заднем ряду, неслышно сдвигая стулья, дабы не привлекать внимания. Покачивая высокими клубуками, молча наблюдали за происходившим, теряясь в догадках, не находя ответа на вопрос — чему они обязаны всей этой не свойственной им суетой?

Думцы занимали стулья без сутолоки — у каждого из них на заседаниях было своё постоянное место.

Городской голова поднялся из-за стола, оглядел сидевших перед ним людей. Прибыли не все. Кого-то не оказалось дома, кто-то хворал. Но число находившихся в зале выборных было достаточным, чтобы принимать решения. Присутствующие замерли, нетерпение читалось в глазах думцев. В гнетущей тишине неожиданно буднично и тихо прозвучал голос головы:

— Господа, нам необходимо назначить из числа гласных председательствующего. Чтобы не тратить время на формальности, позвольте сразу сделать предложение о кандидатуре.

И, не делая паузы:

— Предлагаю занять это место на сегодняшнем заседании, как полагаю, уважаемому нами всеми без исключения Николаю Михайловичу Осипову. Он уже изучил вопрос и, я думаю, вполне доходчиво изложит сейчас суть дела.

Николай Михайлович, уже заранее хорошо осведомлённый о повестке дня, подготовленный к докладу, встал к столу, поднял со стола лист плотной гербовой бумаги. Сперва отвёл его подальше от глаз, потом приблизил, выбирая удобное фокусное расстояние, дабы чётко видеть очертания букв. Но читать не стал, вернув бумагу на прежнее место. Посмотрел



Почтовая улица, на которой находилась Городская дума

в зал. Мысленно пересчитал думцев. Их было двадцать человек. Отдельно сидели семеро коломенских врачей. С ними рядом застыли с вопро- сительным видом аптекари. Сзади чёрными птицами притаились монахи. Их взоры также выражали интерес. Лишь матушка Ангелина, настоятельница Брусенского женского монастыря, не смотрела на Осипова. Её взгляд по привычке устремлён в пол, прямо перед собой. Что ей страсти земные, всякие искушения, она — невеста Христова, и этим всё сказано.

— Господа, экстренный этот созыв — не прихоть наша. Не стали бы мы беспокоить ни вас, гласных думы, ни господ врачей, ни провизоров, ни слуг Господних из обитателей наших. Срочность продиктована посланием, которое я держу в руках. Оно не может оставить нас равнодушными. Я так полагаю.

Он снова поднял к глазам гербовую бумагу.

— На отечество наше надвигаются суровые времена. Именно так я мыслю. Князь Владимир Андреевич Долгоруков, председатель общества попечения о больных и раненых воинах, сегодня в полдень прислал к нам из Москвы гонца с этой срочной депешей.

Осипов снова внимательно оглядел притихший зал. Потом перевёл взгляд на документ, пожевал губами, набрал воздуха и продолжил:

— Нашему городу предписано срочно решить вопрос о нашей с вами возможности по первой команде князя открыть в городе военный госпиталь на сто кроватей, обеспечить его бельём, одеждой для раненых, лекарствами, врачебным обслуживанием страждущих и, конечно же, хорошим питанием. Дело это, разумеется, хлопотное, затратное. Вот нам и предстоит определиться в обстановке и утром завтра отправить князю свои гарантии. Если, конечно, мы с вами изыщем такие возможности. А не изыщем — сами понимаете: потеряем уважение высших властей и самого государя. Да и об ответственности перед Господом Спасителем нашим забывать никак нельзя.

Николай Михайлович выждал несколько мгновений, давая возможность залу осмыслить сказанное.

— Следует помнить, что казна города рассчитана до копейки на весь текущий год. Свободных денег у нас с вами нет. Нанять помещение под госпиталь также непросто. Его надо сначала найти. Но хозяин наверняка потребует хорошей платы. Вот и должны мы с вами подумать, сможем ли оказаться достойными сынами отечества в трудный момент нашей истории.

Мёртвая тишина звенела в ушах присутствующих граждан Коломны. Среди гласных большинство принадлежало к купеческому сословию. Поглаживая старообрядческие свои бороды, опустили они взгляды. Не от боязни смотреть в глаза друг другу. Мысли требовалось выстроить в стройный рядок, чтобы логическая их связь выдала нужное заключение. Раз князь прислал такое письмо, значит, Россию ждут сложные события. Значит, следует действовать сообща, всем миром, общиной, как повелось на Руси.

А Осипов тем временем уселся на место и опустил голову, словно стеснялся смотреть в глаза притихшим в зале людям.

Минуты три длилось полное молчание. Затем Порфирий Карпов, уездный врач, наклонившись к коллегам, что-то шёпотом объявил им. Его выслушали, покачали головами, пошептались, пожестиковали. После минутного размышления поднялся с места доктор Михаил Новицкий.

— Мы, коломенские врачи, присутствующие здесь, а именно: Порфирий Карпов, Николай Эвальд, Павел Сахаров, Григорий Князев, Зенон Даммер, Фёдор Богданович и я, выражаем полную готовность обслуживать госпиталь, не претендуя на денежное содержание. Мы будем делать своё дело без ущерба для коломенских мещан, коим будет нужна медицинская помощь.

Карпов сел на место, дав понять присутствующим, что вопрос с врачебным обслуживанием госпиталя можно считать решённым.

— Заботы о приготовлении лекарств пусть не волнуют никого. Мы — Фёдор Штруп и Михаил Курдюмов — изыщем возможности безвозмездного выполнения обязанностей провизоров для пользы раненых воинов, — заявил с места аптекарь Фёдор, помечая что-то в малюсенькой записной книжке.

Осипов делал заметки на гербовой бумаге, удовлетворённо кивая головой в такт произносимым обещаниям.

Поднялся игумен Бобрёвского мужского монастыря, отец Каллист. Откинув длинные рукава рясы, перекрестившись, старец спокойно заявил:

— Дело богоугодное. Братья нашего монастыря не будут стоять в стороне. Коли это потребует для блага отечества, мы можем отрядить двух монахов для постоянного выполнения обязанностей медбратьев в госпитале. А поскольку обет нестяжательства — закон для нас, то и о жаловании говорить не будем.

— Насельники Старо-Голутвина монастыря будут денно и нощно молиться о здравии русского воинства. А монахи в количестве двух лиц станут постоянно ухаживать за ранеными, — привстал с места отец Варлаам и осенил себя крестным знамением. — Отведи, Господь, беду от отечества нашего.

— Пострадавшим за веру и отечество воинам со стороны нашей братии будет оказываться всяческая бескорыстная помощь в залечивании ран, в восстановлении здоровья, в укреплении духа. Аминь, — высказался настоятель Ново-Голутвина мужского монастыря отец Сергей и, поклонившись присутствующим, сел на место.

Солидарная с говорившими собратьями, подала голос и матушка Ангелина. Она не стала подниматься, не стала поднимать глаз и ровным голосом произнесла:

— Сёстры нашей обители придут на помощь в любую минуту. Мы будем готовы направить в госпиталь столько сестёр, сколько потребуется, и



Полевой госпиталь

готовы творить добро безвозмездно до полного выздоровления последнего воина.

Матушка говорила тихо, но уверенно. Её расслышали все присутствующие.

— Господа, — поднялся с места Осипов. — Я рад, что полное понимание важности момента объединило нас. Низко кланяюсь представителям чёрного духовенства и служителям Эскулапа за столь скорый положительный ответ. Но, как вы понимаете, нужны большие деньги на покупку госпитального инвентаря, провианта, на внесение арендных платежей за помещение и так далее. Мы подсчитали, и сумма намечается солидная: девять с половиной тысяч рублей. — Осипов внимательно посмотрел на гласных. — Пять тысяч нам сможет выделить благотворительный фонд помощи раненым. Но где взять остальные?

Он поискал взглядом по рядам, нашёл, кого искал:

— Что скажет наш казначей?

Григорий Яковлевич Буфеев, выполнявший функции казначея, не стал торопиться с ответом. Понимал старый купец, что всё равно придётся ему отвечать на вопрос о финансовых потребностях в незапланированной этой акции. Он смотрел в свои бумаги и, не отрывая от них глаз, то вскидывал, то опускал брови, что свидетельствовало о глубоком раздумье. Все ждали казначейского слова. Человек прижимистый, берегущий каждую городскую копейку, строго следящий за приходно-расходными статьями бюджета, он не мог себе позволить необдуманного высказывания на столь серьёзную тему. Мог бы сослаться на то, что бюджет свёрстан, что принят он сообща. Но вопрос слишком серьёзный, чтобы отделаться столь накатанным для казначея ответом: «Денег нет». Понимая, что все взоры устремлены на него, он был горд в эту минуту, как никогда. Государственный вопрос решался, а не какое-нибудь прошение обывателей о покраске забора вокруг бани. Наконец лицо его приняло спокойное выражение, купец вышел на приемлемое, на его взгляд, предложение. Он поднялся, окинул взглядом присутствующих:

— Мы с вами наметили в этом году потратиться на обустройство городской тюрьмы, что, конечно, немаловажно. Но вот я предлагаю урезать выделенные на эту цель средства и четыре с половиной тысячи рублей, при необходимости, направить на устройство госпиталя. Как на такой расклад посмотрят другие?

Молчание оказалось недолгим. Поднялся купец Ефим Левин и немного запальчиво изрёк:

— Поддерживаю почин. Нарушители законов пусть подождут лучших времён. Их ведь никто не звал на отсидку, потому и пусть довольствуются тем, что имеется. Не можем мы обижать наших воинов, пострадавших за веру, царя и отечество!

— Других мнений не будет. Всё верно. Сотворившему добро — платить добром, а уж душегубам и прочим отступникам — что останется, — рубанул воздух рослый купец Серафим Струев.

Разными были собравшиеся в городской думе люди. Кроме купеческого большинства, были и мещане, и мастеровые, и чиновники. Но государственное дело восприняли все одинаково: заботы страны — и их заботы.

— Ну, а каким образом изыщем мы помещение под госпиталь? Надо бы припомнить, кто из сограждан наших имеет такие обширные площади. Да и послать делегацию не откладывая. Прямо сейчас, — снова поднялся с места Осипов.

В зале зашелестел говорок: что-то друг другу сообщали, многозначительно посматривали то в потолок, то на Осипова. А тот ждал, стоя у



Мобилизация русской армии

стола, уперев взгляд в гербовую бумагу. Шли минуты, обостряя говор гласных думцев. И когда шум достиг среднего уровня, все вдруг замолчали. Осипов оторвал взгляд от бумаги и ожидающе устремил его в зал. С места медленно поднимался купец Сергей Макеев:

— А что, господа, не упростить ли нам решение и этого важнейшего задания? Моя диспозиция следующая — кстати, таковая созрела не только у меня. Не отдать ли нам под госпиталь наш зал? Да-да, тот самый, где мы сейчас восседаем А мы перейдём в первый этаж.

Из зала — ни звука. Переваривали предложенное коллегой. Потом одновременно, словно сговорившись, закивали в знак согласия. Осипов не ожидал такого поворота и, как бы в противовес сказанному, усомнился:

— Здесь не уместятся сто кроватей.

— Тогда отдадим и первый этаж, а сами подыщем дешёвенькое помещение без особых удобств, там и будем заседать, — продолжал напирать Макеев.

Осипов не нашёл больше доводов для возражения Макееву. Да и не желал этого. Его просто потрясло неожиданное предложение.

— Голосuem открыто. Возражения у господ будут?

Вместо ответа все присутствующие подняли руки, уже не раздумывая и благодарно повернув головы в сторону коллеги Макеева. Даже воздержавшихся не было.

— Спасибо, господа. Утром наш ответ будет направлен князю Долгорукову.

Расходились не спеша, чинно одевались. Шубы и чиновничьи шинели убывали с вешалки. Истопник теперь более приветливо смотрел на уходивших, предупредительно открывал двери на выход. Холодный февраль принимал их в свои объятия. Одинокий фонарь подсвечивал путь. Прячась в воротники, люди уходили в темноту. Вскоре опустела дума. Истопник запер дверь изнутри.

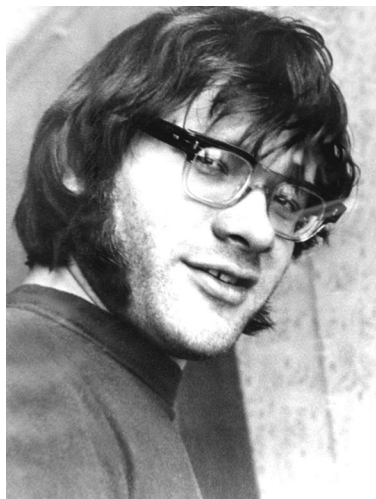
А через сорок три дня Россия объявила войну Турции.

РОДИМАЯ
СТОРОНА





Вид на Коломну с левого берега Москвы-реки



Александр Анатольевич Сулов родился 18 января 1948 года в городе Воскресенске. Окончил химико-технологический факультет Политехнического института, получив специальность «химик-технолог».

С середины 1980 годов увлёкся краеведением. Печатался в областных и районных газетах, альманахах, сборниках, буклетах. В 2004 году вышел первый авторский поэтический сборник «Сундук».

Работает преподавателем в Воскресенском филиале Московского государственного открытого университета (МГОУ). Увлекается фотографией и путешествиями.

Александр СУСЛОВ

УСАДЬБА КРИВЯКИНО

Усадьба Кривякино, расположенная в самом центре города Воскресенска, на территории старинного парка, входит в список сохранившихся, дошедших до нас (в каком виде и состоянии — это другой вопрос). В Воскресенске эту усадьбу традиционно именуют «усадьбой Лажечникова», хотя ни сам Иван Иванович Лажечников, известный писатель, ни его отец, коломенский купец Иван Ильич, этой усадьбой не владели. Владельцев было множество. Часто усадьба делилась, дробилась на части, доли (или «жеребии», как их называли), и у неё одновременно бывало несколько совладельцев (доходило иногда до шести). Усадьба строилась, застраивалась и перестраивалась (каждый владелец считал долгом построить или пристроить что-нибудь своё), претерпевая различные перемены и утраты. Особо большие потери и перестройки усадьба понесла в советский период, как, собственно, и все другие памятники культуры и архитектуры. Их перестраивали и приспособляли под административно-хозяйственные нужды, учреждения культуры (в лучшем случае) и т.п.

Первое упоминание о сельце (ещё пока не усадьбе) Кривякино относится к эпохе Ивана Грозного — это Писцовая книга Коломенского уезда за 1577–1578 гг.: «За Романом Степановичем Кустерским сельцо Кривякино». Род Кустерских (в другом написании Кустериных) владел этим сельцом и в XVII, и в XVIII веках. По документам известно, что, например, в 1678 году самым большим владением в Кривякине было владение Акима Прововича Кустерского («Акима Провова сына Кустерского»), от которого затем перешло к его сыну Афанасию Акимовичу. В указанном году в сельце насчитывалось всего 9 крестьянских дворов. Однако часто

эта «официальная» цифра не соответствовала реальной. Дело в том, что в те годы налоги взимались «с двора», и владельцы их (как и большинство россиян до сих пор) знали множество способов обойти закон. В «один двор» зачислялось часто сразу несколько крестьянских хозяйств, даже, бывало, и совершенно посторонних друг другу.

История владения Кривякином в XVII — первой половине XVIII века весьма запутанна и противоречива. Так, до 1709 года владение было разделено на две неравные части: Афанасию Кустерскому принадлежала меньшая часть (всего 1 двор), а большей (8 дворов) владел дьяк приказа военных дел (прообраз нынешнего Министерства обороны) Степан Дмитриевич Алексеев.

В 1727 году имение было куплено Григорием Ивановичем Замятиным, о котором известно лишь, что он был «директор» (чего — неясно). Продала («отказала») полсельца Кривякина ему вдова этого самого Степана Алексеева, «*Ксения Васильева дочь Степановская жена Алексеева*» (донесение «*вотчинной канторы копейста Якова Балбекова от 20 июля 1727 г.*»). С этого времени, видимо, и началось постепенное обустройство усадьбы.

Первоначальный усадебный дом был деревянным; где он находился, точно сказать невозможно, так как планов того времени не сохранилось. Предположительно он располагался на западном берегу каскада прудов, против перемычки между вторым и третьим прудами, там, где теперь начинается главная парковая аллея (конфигурация прудов тогда была иной: это был, собственно, один пруд, сделанный из речушки, протекавшей через парк; в каскад он был превращён позже).

На том месте, где теперь находится главный каменный дом, стояли крестьянские дома, глядевшие на Москву-реку и тянувшиеся на север (в сторону нынешнего бассейна) примерно на 350 метров.

В 1768 году (время царствования Екатерины II) усадьбой владел уже генерал-майор Александр Гаврилович Замятин, потомок, видимо, Замятина-«директора». В Москве было несколько ветвей родов Замятиных, каждая из которых имела свой герб (общий их предок, думный дворянин Василий Фёдорович Замятин, умер в 1515 году). О «нашем» Замятине известно, что у него был сын Гавриил Александрович, который в 1770—1785 годах воспитывался в шляхетском кадетском корпусе.

Именно с генерал-майора А.Г. Замятина ведёт свою историю каменный усадебный дом. При нём главный дом переместился на то место, которое занимает и ныне (где, повторю, проходила тогда улица крестьянских изб). Впрочем, и первый дом на этом новом месте также был деревянным (если верить изображению усадьбы на Становом атласе Коломенского уезда того времени). Каменный дом был воздвигнут при том же генерале Замятине, вероятнее всего, на рубеже 1770—1780-х годов, то есть в 1778—1780 годы.

До сих пор как минимум две легенды (или, точнее, мифа) об усадебном доме непременно кочуют из одного краеведческого материала в другой, словно некий компьютерный вирус. Оба мифа «запущены» с лёгкой руки профессора А.И. Некрасова, возглавлявшего в 20-е годы прошлого века Общество изучения русской усадьбы (ОИРУ), которое в 30-е годы закрыли (точнее сказать, ликвидировали). Так вот, комиссия ОИРУ во главе с проф. Некрасовым посетила нашу усадьбу (в то время не было ещё ни Воскресенска, ни Воскресенского района). Своё «резюме» от посещения усадьбы комиссия опубликовала в сборнике «Материалы по истории рус-

ского искусства» (выпуск II. Искусство XVIII века; М., 1928). Вот в этом сборнике и опубликована та самая фраза об авторстве Растрелли, которая стала впоследствии блуждать по всем материалам, справочникам и путеводителям: «*По сочности и скульптурной пышности обработки Кривякинский дом можно связывать с “кругом” Растрелли*». Всё. Можно связывать. А можно и не связывать. Никаких доказательств и подтверждений этого **предположения** профессора Некрасова нет (во всяком случае, пока не найдено). Тем не менее авторство архитектора из «круга Растрелли» утверждалось уже как нечто само собой разумеющееся. И это при том, что никаких зодчих «круга Растрелли» относительно строительной деятельности в Москве и Подмоскovie в 80-х годах XVIII века так до сих пор и не выявлено. То есть никакого конкретного имени назвать нельзя. Так что этот «*выдающийся зодчий круга Растрелли*» — своего рода «поручик Киж» (при том, что какой-то реальный архитектор, конечно же, существовал).

Другая легенда (миф) — это фантазия о том, что строительство дома предпринято Лажечниковыми. Здесь к тому же явный анахронизм. Коломенский купец Иван Ильич Лажечников приобрёл для себя усадьбу (через подставное лицо) с уже готовым домом. Что-то, конечно, они перестраивали по своему вкусу, но в основном это касалось парка, оранжереи, прудов.

А появился каменный дом в усадьбе Кривякино именно при генерале А.Г. Замятине. После смерти генерал-майора усадьба перешла по наследству к его вдове, Анне Александровне, «*дочь в роде своём не последняя*» — так скромно именует она себя в купчей грамоте. Усадьба в очередной раз была разделена на части (причём по суду) — одна часть отошла вдове, две другие — её детям: «подполковнику и кавалеру» Дмитрию и майору Гавриилу Александровичу Замятиным. Свою «вдовью» часть Анна Александровна продала 24 июля 1797 года двум владельцам (дробление усадьбы продолжалось). Большая часть была продана «*статскому советнику князь Борису князь Михайлову сыну Черкасскому и наследникам его*». Другую, меньшую часть, вдова продала своей родной сестре, «*генерал-майора Александр Ивановича Панина дочери его девице Александре и наследникам ея*». Из чего можно заключить, что девичья фамилия Анны Замятиной — Панина.

Во второй купчей указано, что продажа учинена «*со всякою крестьянскою скотиною и со птицею с дворовым хоромным и огуменным строением и со всяким господским заведением, каменным хоромным дворовым строением*».

Упоминание этого «каменного хоромного дворового строения» и есть **первое** документированное сведение о существовании в усадьбе каменного дома. Можно с большой долей уверенности утверждать, что заказчиком строительства этого дома и был генерал-майор Александр Гаврилович Замятин, а время постройки дома — 1780-е годы.

После 1797 года усадьбой владел коллежский асессор Николай Александрович Беклемишев. Фамилия в наших местах известная. Они владели разными имениями в наших местах, например, сельцом Федином. Из рода Беклемишевых была мать Дмитрия Пожарского, Мария (Евфросинья) Беклемишева. На каких условиях владел усадьбой Кривякино Н.А. Беклемишев, какой её частью, как долго — неизвестно. Можно только сказать, что это был конец 90-х годов XVIII века (период так называемого Павловского межевания) и владел Беклемишев усадьбой весьма недолго. Из документов того времени сохранилось несколько «экономи-



Усадьба Кривякино (Красное Сельцо), конец XVIII века. Главный дом

ческих примечаний» по этому владению, в одном из которых говорится: «Полсельцо Красное, что прежде было Кривякино На левом берегу реки Москвы, а истока безымянного— правом (безымянный исток — это ручей в овраге, вытекающий из третьего (последнего) пруда трёхкаскадной системы. — А.С.); дом господский каменный о двух этажах с деревянным строением и при нём иррегулярный плодovitый сад».

Это уже второе документальное упоминание о каменном доме и первое — о парке («иррегулярный плодovitый сад»). В этом документе обращает на себя внимание то обстоятельство, что каменный дом назван *двухэтажным*, тогда как существующий ныне дом имеет три этажа. Объяснить это противоречие пока не представляется возможным (описка?). Во всяком случае, местоположение дома описано точно. Кроме того, здесь зафиксировано и новое название усадьбы — Красное (то есть красивое) Сельцо (полсельцо). Так, видимо, новые владельцы одной из частей (собственно, главной) Кривякина решили именовать свой «жеребий», выделив и обособив его хотя бы словесно из прочих долей, — «Красное, что прежде было Кривякино». Напомню, что другая часть Кривякина с деревянными хозяйственными строениями принадлежала Черкасским и Паниным.

В связи с тем, что Беклемишев владел усадьбой в самом конце 90-х годов XVIII века, возникает вопрос: а когда же эту часть усадьбы с домом (Красное Сельцо) приобрела семья Лажечниковых?

В литературе существует устойчивое мнение, что коломенский купец Иван Ильич Лажечников владел «сельцом» с 90-х годов.

Предки Лажечниковых (собственно, Ложечниковых, которые в результате московского «аканья» превратились в Лажечниковых) упоми-

наются в коломенских переписных книгах середины XVIII века. Отец писателя, Иван Ильич, проявив предпринимательскую хватку, устроил в 1797 году в собственном доме в Коломне шёлковую ткацкую фабрику, где имелось 25 станков, которые обслуживали 60 наёмных рабочих. На четырнадцати станках вырабатывали малиновый двойной штоф (до 10 тысяч аршин в год), на двух станках — двойные фаты коноват («коноват» — род азиатской шёлковой ткани; она шла на фаты, покрывала; была ещё пословица: «Голь перекатна, а фата коноватна», см. словарь В. Даля), на трёх — кушаки травчатые (по 100 штук), а на одном стане — фаты из флёра (по 40–60 штук). Всё это продавалось в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Фабрика действовала в 1797–1803 годах, а её хозяин, единственный в Коломне того времени, имел звание «именитого» (сведения почерпнуты из книги А. И. Аксёнова «Генеалогия Коломенского и Боровского купечества. Очерки генеалогии уездного купечества XVIII века», М., 1993).

Видимо, доходы от этой фабрики и позволили купцу И. Лажечникову приобрести «дворянскую» недвижимость. Однако, не будучи дворянином, купец не имел права приобретать «дворянское гнездо». Пришлось закон «обходить», то есть записать усадьбу на подставное лицо.

Кто же был этим подставным лицом? Тут данные опять несколько расходятся.

В мае 1869 года российская общественность отмечала 50-летие литературной деятельности Ивана Ивановича Лажечникова (а его первые литературные «пробы пера» сделаны, кстати, именно в усадьбе Кривякино). Ф. Ливанов на юбилейном собрании зачитал биографию писателя (составленную со слов самого Лажечникова), где между прочим сообщил, что этим подставным лицом был генерал от кавалерии Александр Васильевич Обресков (или Обресков, написание допускалось различное). Между тем в документах указывается другой Обресков — Николай Васильевич (с 1808 г. — московский губернский предводитель дворянства, а в 1810–1816 гг. — московский гражданский губернатор). Например, в клировой ведомости церкви Свт. Иоанна Златоуста в селе Новлянском за 1822 год указывается: «*В сельце Кривякино вотчины помещика Николая Васильевича Обрескова дворовых людей мужеска полу 4, женского полу 11. Крестьянских дворов 18*». Да и сам Иван Иванович Лажечников считал, что имение для отца купил на своё имя именно Н. В. Обресков. Александр Васильевич и Николай Васильевич Обресковы — братья. На кого же именно было куплено имение? Может быть, сначала действительно на Александра, а потом переоформлено на Николая? А может, изначально на Николая, а упоминание Александра — описка или ошибка? Как бы то ни было, последним владельцем усадьбы значился Николай Васильевич, и Лажечников-старший, таким образом, превратился в «скрытого помещика», не имея на то законного права. По бумагам всё было шито-крыто, и доказать что-либо было практически невозможно. Такие случаи в то время были далеко не единичны.

Однако зададимся вопросом: с какой вдруг стати гражданский губернатор Москвы оказал коломенскому, пусть и «именитому», купцу такое благодеяние, рискуя при этом подмочить собственную репутацию? Весьма вероятно, что губернатора и купца связывали не только приятельские отношения, но и деловые. Дворянин-губернатор не имел права заниматься торговой деятельностью, а купец — приобретать на своё имя дво-

рянские имена. Видимо, оба пришли к обоюдному соглашению: купец вёл за губернатора обширную торговлю, причём товаром самым прибыльным — хлебом и солью, а губернатор купил для «своего» купца на своё имя усадьбу (заметим с печалью, что практика подставных лиц существует у нас и по сей день). Несмотря на то, что Лажечников-старший основной доход получал со своей фабрики, о нём постоянно говорят как о торговце хлебом и солью. В 1803 году по каким-то причинам фабрика закрылась, однако «хлебосольная» торговля продолжалась вплоть до 1811 года, когда Лажечников-старший якобы разорился (в тот год в результате раннего ледостава он был вынужден возить товар не по реке, а наземным транспортом, на лошадях).

Предпринимательская деятельность Лажечникова-отца не ограничилась ткацкой фабрикой в Коломне. Приобретя усадьбу Кривякино, он основал (или прикупил, детали неизвестны) небольшой серноокислотный заводик. В недавно обнаруженном документе, который витиевато называется «Дело по Указу правительствующего Сената о ищущем вольности от коммерции советника Ложечникова Сафроне Васильеве» и датирован 1820 годом, этот «серный завод» и упоминается. Суть «дела» в том, что означенный Софрон Васильев (истец) как раз и был приписан «*по серному заводу в Кривякине*», но завода этого, как выясняется из документа, «более 10 лет не существует», а «коммерции советник» Лажечников (кстати, звание «коммерции советника» приравнивалось тогда к чину коллежского асессора; получается, что Лажечников-отец в то время уже перешёл из купеческого сословия в дворянское) так и не отпускает несчастного Софрона Васильева на волю («*не предоставляет на него, Васильева, крепости, то есть «вольной»*). Вся эта тяжба длится к тому времени аж восемь лет, с 1812 года, когда в Коломенском уездном суде впервые слушалось дело «Васильев против Ложечникова». Так вот, суд встал на сторону Васильева, и тому был дан «билет на свободное проживание в Коломне». Однако Лажечников с этим решением не согласился и начал писать «*прошения в разные инстанции, в том числе и в губернское правление, о доставлении оного Васильева к нему во владение*». В частности, в 1813 году «коммерции советник» Лажечников подал в уездный суд жалобу на Васильева, где утверждал, что тот «*говорил ему разные грубости и угрожал спороть вилами сына его*» (видимо, имелся в виду Николай-младший, брат Ивана Ивановича, так как сам он в то время был уже в действующей армии; кроме того, у Ивана Ильича был и третий, самый старший сын, которого также звали Николаем; чтобы не путать Николая-старшего и Николая-младшего, последнего звали дома Сашей (см.: *Викторович В.А. Коломенские сюжеты Ивана Лажечникова // Дом Лажечникова: Сб. Вып. I. Коломна, 2004. С. 85–86*). Суд вынес решение «*наказать Васильева битьём плетью и отправить на военную службу*». Однако до битья, видимо, дело не дошло, поскольку Департамент горных дел (в чьём ведении, надо понимать, находился заводик) утвердил решение: «*завододержатель Ложечников через освобождение Васильева от наказания не лишается права отдать его в воинскую службу или просить об удалении его с завода за беспокойством нрава*».

«Беспокойный нравом» Васильев, естественно, не успокоился и подал встречную жалобу аж в правительствующий Сенат. Сенаторам заниматься такими мелкими склочными разборками было не престижно, и они объявили Васильеву, «*чтобы впредь с такими недельными прошениями не обременял*», а губернскому правлению дали указание, чтобы «дело сие до-

вели до конца». Правда, чем же оно закончилось, получил ли Васильев освобождение от Лажечникова — не известно.

Документ добавляет некоторые штрихи к имиджу «радушного и хлебосольного» купца Лажечникова. Радушен он был, видимо, только с нужными людьми.

Этот же «сернокупоросный завод с мастеровыми» упоминается и в другом документе — в «Деле о продаже за долги дома Е. Ложечникова в г. Коломне 1817—1825 гг.». Е. Ложечников — это, видимо, Емельян Ильич, брат Ивана Ильича, крёстный отец своего племянника, Ивана Ивановича, будущего писателя. Если в первом документе 1820 года утверждается, что завода уже «более 10 лет не существует», то, значит, он закрылся где-то году в 1809—1810. А возник, видимо, в самом начале XIX века, может быть, вскоре после того, как Лажечников-отец приобрёл усадьбу Кривякино.

Обратимся теперь к биографии Лажечникова-младшего (точнее сказать, «среднего», так как он был вторым из трёх сыновей) — писателя и романиста Ивана Ивановича Лажечникова, к его связям с описываемыми местами.

Главным источником к жизнеописанию Ивана Ивановича Лажечникова является критико-биографический очерк, написанный С.А. Венгеровым к собранию сочинений писателя, изданному Товариществом Вольфа в 1913 году, через 44 года после смерти романиста. Очерк довольно обширный (более ста страниц). Ознакомиться с ним можно по последнему изданию собрания сочинений писателя («Можайск—Терра», 1994. Т. 1. С. 5—111). Цитаты из этого очерка фигурируют практически во всех материалах, посвященных Лажечникову.

В одном месте своего очерка С.А. Венгеров сам цитирует Ф. Ливанова, который зачитывал биографию Ивана Лажечникова (составленную со слов последнего) на юбилейном вечере, посвящённом 50-летию литературной деятельности писателя и состоявшемся 3 мая 1869 года (в этом же году Лажечников и умер). Собственно, отмечалось 50-летие не литературной деятельности, а юбилей вступления писателя в члены Общества любителей словесности; литературную деятельность он начал раньше — публикацией своих «Мыслей» в «Вестнике Европы» за 1807 год, то есть в 16-летнем возрасте, причём подписаны были сии «Мысли» так: «С. Кривякино. И. Лож-в». Значит, можно сказать, что свою литературную деятельность юный Ваня Лажечников начал именно в усадьбе Кривякино. А самые первые его «пробы пера», сделанные также в Кривякино, были написаны по-французски. По-французски он сделал описание Мячковского кургана, где побывал, по-французски же начал писать стихи.

Однако вернёмся к «цитате в цитате» С.А. Венгерова из Ф. Ливанова, которую теперь, в свою очередь, процитируем и мы. Это широко известное описание усадьбы Кривякино, где она предстаёт в образе сказочного Эльдорадо: *«Красное Сельцо было настоящим Эльдорадо того времени (начала XIX века. — А.С.). Туда стекались дворяне уезда на приманку вкусных обедов с аристинными стерлядями, пойманными в собственных прудах, и двухфунтовыми грушами, только что сорванными в своих апельсиных. Всё это приправляли радушие, ум, любезность хозяина и красота хозяйки, истовой красавицы своего времени. Офицеры Екатеринбургского кирасирского полка, стоявшего в окрестности, толпились каждый день у гостеприимного амфитриона. Трёхэтажный дом и такой же флигель (ныне существующий флигель двухэтажный. —*



*Усадьба Кривякино. Семиствольный 300-летний дуб.
Под этим дубом отдыхало семейство
Лажечниковых*

только в короткий летний сезон. Усадьба и предусматривалась как летняя загородная дача, для зимы имелся собственный дом в Коломне. Главный же вопрос — когда это «Эльдорадо» началось? Иными словами — когда Лажечников-старший стал владельцем (пусть и неофициальным) усадьбы? В литературе практически везде фигурируют 90-е годы XVIII века, без уточнения, какой именно из них: 1791-й? 1792-й?..

Как уже было сказано выше, ещё в 1797 году, в начале Павловского межевания, частью усадьбы с главным домом владел Н.А. Беклемишев. Следовательно, Лажечников-старший мог стать новым владельцем где-то году в 1798–1799-м, а может быть, и в 1800-м (другой частью «с хозяйственными строениями» владели Черкасские и Панины). В это время Ване Лажечникову было уже восемь-десять лет. Тут кстати напомнить, что прежняя дата рождения его — 1792 год, приводимая во всех словарях, справочниках, энциклопедиях и других изданиях, не соответствует действительности, ибо сам писатель себя «омолодил» на два года, запутав всех будущих исследователей; коломенский краевед К.Залеснов обнаружил в метрической книге церкви города Коломны за 1790 год недвусмысленную запись: «В сентябре у коломенского купца Ивана Ильина сына Лажечникова сын Иоан крещён 23 дня» (см. об этом подробнее в газете «Подмосковье» за 27 октября 1990 г.). Будущий писатель вполне мог запомнить первый приезд в новоприобретённое владение.

А.С.) не могли вместить на сон грядущий посетителей. Губернаторы, ездившие ревизовать губернию (какие губернаторы? и сколько их? Сам номинальный владелец Кривякина, Н.В. Обресков, и был губернатором Москвы. — А.С.), делали несколько вёрст крюку по просёлочной дороге, чтобы откушать хлеба-соли у радушного помещика-купца. Порядочный оркестр домашних музыкантов во время обедов услаждал слух гостей увертюрами из тогдашних опер».

Если со стерлядями «в аршин» в собственных прудах ещё можно как-то согласиться (хотя стерлядь — рыба речная), то в двухфунтовые груши (то есть по 800 с лишним грамм каждая) верится с трудом.

Понятно, что всё это «Эльдорадо» расцветало

В своём наполовину автобиографическом романе «Немного лет назад» он описывает это имение, не меняя даже его названия — Красное Сельцо. Своего же отца, Ивана Ильича, он выводит здесь под именем купца Патокина, губернатор Обресков превратился в генерала Огрызкова Вот несколько цитат из этого романа (цитируются по собранию сочинений издательства «Можайск—Терра»).

«Что за очаровательные места!

С одной стороны господского дома вдоль высокого берега реки поднялась зубчатая стена вечно зелёного соснового леса, а за ним, ещё выше, берёзовая роща, которая осенью, когда лист её пожелтеет, при закате солнца, кажется золотым занавесом, задёрнувшим полнеба. В берег глубоко впадают овраги. <...> Где-то, в одном из оврагов, гремит ключ. <...> Небольшая река ластится к берегам и капризными извилинами образует красивые, разнообразные заливы, мысы, острова. <...> В мае острова, поросшие ивовыми и берёзовыми кустами, и овраги, с молодым чернолесьем, населяются хорами певчих жителей. Соловьи, под вечер, будто со всей окрестности слетаются сюда спеваться; кажется, горит воздух от их жарких песен. <...> С другой стороны усадьбы расстилаются на несколько вёрст поёмные луга с их разнообразными озёрами, днём зеркальными, а по вечерам скрывающимися под пологом своих туманов. <...> Позади усадьбы мрачный сосновый лес, населённый таинственными видениями и сказаниями, тянется вёрст на десять.

Когда Патокин купил имение, на высоком берегу реки стоял трёхэтажный, старый каменный дом в три окна ширины с высоким бельведером, озирающим всю окрестность на десятки вёрст. Но как дом походил на угрюмую башню, то новый владелец сломал его, а материал употребил на хозяйственные заведения. Его заменил дом в английском стиле, в недалёком расстоянии <...>. Из старого регулярного парка, с ленточными шпалерами четырёхугольниками и треугольниками, с остриженными ёлками в виде пирамид, колонн, грибов и прочих архитектурных затей, умеющих так уродовать природу, сохранена одна широкая липовая аллея, по которой может свободно проехать колесница, запряжённая четвернёю в ряд. <...> Золотистые дорожки своенравно побежали по разным направлениям, то свиваясь кольцом, то развиваясь волнистой лентой. Там заманивают они в киоск, здесь увлекают в тени тенистой рощи. Где есть скамейка или беседка, наверно, сбережён живописный вид. В одном месте, сквозь просеку, мелькает блестящий серп речного залива или островок, в другом промежутке куши выглядывают полуфасад красивого господского дома, в третьем — купол сельской церкви или деревенька, сползающая по крутогорью. Квадратные пруды, в виде ящиков, подёрнутые ржавой плесенью, получили неправильные фигуры; только кое-где оставлена на них высокая осока, которая к осени, с своими чёрными султанами, так живописна. Живые воды, пущенные издалека, образовали извилистый ручей, к истоку своему разветвившийся на несколько рукавов. Там вы поднимитесь на мост, прикреплённый к двум скалам, а под вами, в глубоком овраге, бушуют пенистые воды, сиюсь своротить огромные камни, преграждающие им путь; здесь под ногами вашими колеблется живой мостик, слепленный из тоненьких дощечек, невидимо для вас связанных железной цепью, или переправляетеесь на красивом паромце, повинующемся движению детской руки. Красивые лодки и ялики к услугам гуляющих, Из грота падают струи серебряной скатертью или бьют вверх водяным букетом. Везде

видна рука художника, которой дана полная свобода сыпать деньги, куда хотела. В прудах пошли гулять полусонным ходом сотни стерлядей и поскакали неугомонные карпии. На звук колокольчика стекаются к берегам стаи их, хапая с жадностью лакомую добычу, отбивают её друг у друга, заводят за неё войну.

В одном углу сада воздвигнуты великолепные оранжереи с редкими экзотическими растениями и теплица в виде длинной стеклянной галереи. Здесь иногда в сумраке осенних дней обедают Патокины с гостями».

«Некоторые из соседей не очень влюбились Патокина за его филантропические затеи. “Видно, что купец, — говорили они, — на чужое имя владеет имением; боится, чтобы мужички не доказали, так и гладит их по головке, да балует”.

На первых порах пребывания новых владельцев в Красном Сельце осаждали их и другие заботы.

За небольшим оврагом, в виду великолепной усадьбы их, прикорнули на пригорке четыре-пять избёнок, с соломенно причёской, взбитою непогодами. Их населяли до восемнадцати душ».

Здесь речь идёт о владельцах другой части Кривякина. В романе этот владелец назван Свистушкиным, весьма склочным, вздорным и неугомонным соседом Патокиных (то бишь Лажечниковых).

А вот как живописуется времяпрепровождение новых владельцев Красного Сельца:

«Владельцы Красного Сельца жили в деревне не так, как многие помещики, приезжающие из столиц в свои имения, чтобы заключить себя в стенах дома и любоваться природой только с высоты своих балконов или террас. Патокины вполне пользовались немногими прекрасными, тёплыми днями, на которые так скупое наше лето, и любили разнообразить почти ежедневно свои кочевья. <...> Случалось, что они располагали свой табор в овраге. Там вода родника, чистая как слеза, по мнению прихотливых любителей чая, ещё более возвышала букет его».

В другом, также частично автобиографическом романе — «Беленькие, черненькие, серенькие» — отца своего он вывел под именем Максима Ильича Пшеницына (намёк на торговлю хлебом). Идиллическое «Эльдорадо», описанное выше, длилось недолго, год-два от силы (счастье вообще недолговечно), и всё внезапно рухнуло, когда «в глухую ночь одного из последних годов царствования императора Павла I» (а Павел I был убит в марте 1801 года) купец Лажечников был арестован по доносу коломенского архиерея и заключён в Петропавловскую крепость как смутьян и вольнодумец. В конце концов после долгих хлопот, используя связи и влиятельных друзей, купца удалось освободить (Павел I подписал даже именной указ о его освобождении). Но торговые дела в отсутствие хозяина пришли в некоторое расстройство. В 1803 году пришлось закрыть фабрику, а в 1811 году купец чуть было окончательно не разорился. Тем не менее в грозном 1812 году семейство Лажечниковых ещё обитало в Кривякине, о чём сам писатель рассказывает в очерке «Новобранец 1812 года» (подзаголовок «Из моих памятных записок»; «новобранцу» исполнилось тогда 22 года).

«В Москве меня задерживало ожидание письма от моего отца, который жил в деревне, за восемьдесят вёрст от Москвы, в стороне от Коломны... Вместо ожидаемого разрешения отправляться на войну, получаю от отца приказ немедленно к нему явиться. Я плакал, как ребёнок, и не очень спешил выехать из Москвы... Я простился с Москвою На бере-

гу Москвы-реки, на виду сельского крова, под которым я провёл лучшие лета моего детства, встретили меня родные со слезами радости.

Через несколько дней узнали мы, что Москва занята неприятелем... В первый вечер, последовавший за печальной вестью, в северной стороне от нашей деревни разостилалось по небу багровое зарево: то горел за 80 вёрст от нас первопрестольный город, и всем нам казалось, что горит наше родное пепелище. Несколько дней сряду каждый вечер Москва развёртывала для нас эту огненную хоругвь. При свете её сельские жители собирались толпою перед сельским домом или перед церковью, молились и вздыхали о потерянном Сионе... Казаки прискакали к нам с вестью, что французы скоро появятся. В казённом селении Новлянском, на противоположном берегу Москвы-реки, ударил роковой набат: это был народный сигнал зажигать свои дома. К счастью, тревога оказалась ложной, и селение уцелело».

В следующий раз Ивану Ивановичу случилось побывать в своём «гнезде» лишь спустя сорок два года. Он уже был известным писателем, крупным чиновником, его произведения широко издавались и переиздавались.

За время его отсутствия дела в Кривякине (Красном Сельце) шли своим чередом. Пошатнувшиеся торговые дела и подорванное здоровье заставили Лажечникова-старшего отказаться от имения. Возможно, что имение пришлось продать после смерти купца (точная дата каковой неизвестна). Причём продавала имение не вдова купца, а его номинальные владельцы, наследники умершего в 1817 году Н.А. Обрезкова, его племянники — *«полковник и кавалер Василий, отставные полковник и кавалер Пётр, Гвардии юнкер Павел и порутчик Александр Александровы дети Обрезковы»*, как указано в купчей грамоте от 3 февраля 1824 года. Продано было *«сельцо Кривякино, Красное тож» «вдове действительной статской советнице Надежде Ивановне Курманалеевой и наследникам ея»*.

Сельцо продано вместе с проживавшими там *«мужеска пола дворовыми и крестьянами сто душ»*, а также *«с находящимися в том сельце Кривякине господским и крестьянским всякого рода строением и усадьбою, со скотом рогатым и мелким, с лошадьми, и со птицы, и со всяким крестьянским имуществом и строением, господскими домами, садами, аранжереями, плодовитыми и не плодовитыми деревьями, прудами и в них рыбами, с лесы санными покосы, и со всеми угодьи в показанном сельце Кривякине и в отхожей пустоши в том же уезде состоящей и именуемой Кудриной»*.

За всё это богатство вдова Курманалеева заплатила сорок девять тысяч рублей «государственными ассигнациями».

Как и все предшествующие владельцы, генеральша начала в усадьбе строительные работы. Именно при ней в усадьбе была построена домовая церковь во имя Грузинской иконы Божией Матери, разрешения на постройку которой вдова добилась в 1829 году. В мае 1829 года вдова подала прошение в Московскую консисторию *«о дозволении ей устроить домовую церковь по болезни её и преклонным летам (в то время ей было 59 лет. — А.С.) в принадлежащем ей сельце Кривякино Бронницкого уезда»*. Согласно этому прошению было заведено дело, и бюрократическая машина закрутилась. Крутилась она пять месяцев. Положительный ответ был дан статской советнице Курманалеевой лишь 18 октября того же года.

Сначала выясняли, действительно ли г-жа Курманалеева так больна, что не в состоянии посещать церковь села Новлянского, что как раз на



Усадьба Кривякино. Домовая церковь во имя Грузинской иконы Божией Матери

290

АЛЕКСАНДР СУСЛОВ

противоположном берегу от её усадьбы, *«поелику в приходском селе Новлянском церковь холодная и для неё весьма зимою вредна, ибо она, несколько уже лет, страдает ревматизмом»*.

Своё заключение о состоянии здоровья г-жи Курманалеевой вынес её, как сейчас говорят, лечащий врач, гофхирург императорского двора, коллежский советник Рамих. Он подтвердил, что *«уже третий год продолжает лечение г-жи Курманалеевой, страдающей сильным ревматизмом во всём её теле»*.

Были затребованы справки от священников о благочестии просительницы. Приходской священник удостоверил, что г-жа Курманалеева *«есть жития благочестивого и к Церкви весьма усердна, но в оной, по болезненному её состоянию, бывает редко»*. Благочинный же из села Марчуги, священник о. Иван Михайлов в своей докладной отметил, что *«сельцо Кривякино, где ныне жительство имеет г-жа Курманалеева, состоит от приходской церкви за Московью рекою, чрез которую в разлитие воды перевоз экипажей делается способным не ближе мая месяца»*. Он же доложил, что место, выбранное для построения домовая церкви, *«по его осмотрению оказалось... удобным»*, *«от господского дома отстоит на 25 аршин»*.

Для удобства болящей вдовы каменный флигель, в котором предполагалось устроить церковь, был соединён «с домом её галереєю». Флигель этот первоначально строился, видимо, как жилой.

Наконец все документы, справки, рапорты и доклады были собраны, и комиссия Святейшего Синода (в неё переправил прошение Курманалеевой митрополит Московский и Коломенский Филарет), состоящая из семи членов (один митрополит, один архиепископ, епископ, духовник, обер-священник, обер-секретарь и просто секретарь), рас-

смотрев всесторонне дело, взвесив все аргументы и доводы, вынесла положительное решение, о чём был составлен специальный указ, посланный митрополиту Филарету, а уж он дал команду — домовую церковь устроить, что и было сделано. Церковь освятили в честь Грузинской иконы Божией Матери и приписали к приходу села Новлянского.

Грузинская икона Божией Матери, как явствует из её названия, находилась когда-то в Грузии, но после того, как персидский шах Аббас I завоевал Грузию, она (икона) в числе прочих трофеев оказалась в Персии. Там её купил русский купец и перевёз в Россию. Согласно Православному энциклопедическому словарю, с 1629 года икона находилась в Архангельской губернии, близ Холмогор. Икона прославилась многими чудотворениями, и в 1658 году было установлено празднование Грузинской иконы Божией Матери 22 августа (4 сентября нового стиля). С иконы имелись, естественно, списки, один из которых и находился в домовой церкви г-жи Курманалеевой.

В указе Священного Синода, разрешавшем устройство домовой церкви, имелось одно интересное добавление: *«а в случае кончины г-жи Курманалеевой ту Церковь уничтожить, а ризницу и прочие принадлежности предоставить приходской церкви»*. Распоряжение это, кстати, выполнено не было. Домовую церковь приписали к церкви Свт. Иоанна Златоуста в селе Новлянском, что на противоположном от усадьбы берегу реки, и службу вёл священник этой церкви.

Активная деятельность генеральши Курманалеевой весьма преобразила внешний облик усадьбы, придав ей в значительной мере черты классицизма. Весьма вероятно, что именно при ней был построен террасный спуск с лестницей к Москве-реке, разбит регулярный парк и окончательно сформировалась каскадная система из трёх прудов (всё это в той или иной мере сохранилось до сих пор).

В 1846 году («октября 12 дня») южная часть сельца Кривякина была опять разделена (размежёвана) на пять (!) частей, у каждой из которых оказался свой владелец. Наибольшей частью (№ 4) владела по-прежнему Надежда Ивановна Курманалеева. Ей же принадлежала и вся северная часть сельца. Остальные доли были присоединены к окрестным «дачам».

В дальнейшем, как принято считать, имение у генеральши выкупил младший брат Ивана Ивановича — Николай Иванович Лажечников (напомню, что у него был и старший брат, которого также звали Николаем, отсюда частая путаница), подполковник в отставке (1792—1868). Вот теперь усадьба Кривякино стала действительно «имением Лажечникова» (только не писателя). Когда и при каких обстоятельствах это произошло, доподлинно не известно; принято считать, что случилось это где-то в начале 1850-х годов. Описывается даже, как «круто» вёл себя новоиспечённый помещик.

Доподлинно известно, что Иван Иванович «гостевал в деревне брата» в 1854, 1855 и 1858—1859 годах, о чём он сам сообщает в письмах: *«Москва. 28 июля 1854. Наконец, я вырвался из своей ссылки (из Витебска. — А.С.). Я успел уже съездить к брату в деревню за 70 вёрст от Москвы по Коломенской дороге. Имение прекрасное, живописно расположенное на Москве-реке. Я в нём провёл свои детство и юность. Чудные воспоминания об этом времени, прекрасный сад, дети, шумящие около меня как пчелиный рой, дивное время, книги, умное и любезное соседство и пуще всего свобода, полная свобода делали для меня пребывание в этом сельском убежище полным раем. Я не видел, как прошло 9 дней»* (Письмо к тверскому приятелю А.К. Жизневскому).

В следующем, 1855 году Иван Иванович провёл в Кривякине уже полтора летних (июнь—июль) месяца. Из письма к тому же А.К. Жизневскому от 23 июля 1855 года (письмо это широко известно и часто цитируется): «Пишу Вам из деревни (село Кривякино, в Коломенском уезде), почтеннейший друг Август Казимирович. Здесь уже почти с неделю и вполне наслаждаюсь деревенскою жизнью. Гуляю, купаюсь, ловлю рыбу и всё карпю, которых в полчаса я ловлю до пяти, вершков в пять и более (вершок — 4,44 см; пять вершков — около 22 см. — А.С.): любо тащить такую штуку. Расположение прекрасное, сад огромный, вода и воздух превосходные; по Москве-реке движутся караваны барок. Думаю, пробуду ещё дней десяток в этом земном раю». И далее (письмо от 20 августа 1855): «Погостил я более шести недель у брата в подмосковной его деревне и наслаждался вполне летним временем».

Следующий «заезд» оказался самым продолжительным. В Кривякине Иван Иванович (вместе с женой) прожил почти год: вторую половину 1858-го и первую — 1859-го, лишь иногда наезжая в Коломну.

Сохранились пять «кривякинских» писем. В частности, графу М.Н. Лонгинову, известному библиографу. Иван Иванович просит Лонгинова принять на хранение письмо Пушкина и собственный ответ тому («У вас они сохранятся лучше и, может быть, когда-нибудь пригодятся»). Последнее из писем Лажечникова Лонгинову датировано и подписано: «С. Кривякино, 16 ноября 1858». Последнее же (из сохранившихся) отправленное из Кривякина письмо датировано 5 апреля 1859 года. Иван Иванович ждёт в это время своего первенца (дочь Зинаида родилась 28 июля 1859 г.); кроме того, он оформляет себе пенсию. Все эти обстоятельства вынуждают Лажечниковых перебраться в Москву.

Видимо, больше в своё «гнездо» он не возвращался, во всяком случае других свидетельств его пребывания здесь не обнаружено.

В 1869 году, как раз в тот год, когда отмечался юбилей его литературной деятельности, Иван Иванович Лажечников скончался. Могила его находится на территории Новодевичьего монастыря в Москве.

После смерти в 1868 году Николая Ивановича Лажечникова, младшего брата писателя (Николай-старший умер еще в 1858 году), усадьбой некоторое время владела его вдова, а затем в начале 70-х годов (XIX в.) имение было распродано по частям. Часть усадебной земли приобрели богородские (Богородск — ныне г. Ногинск) купцы Сидор Мартынович Шибаяев и Михаил Иванович Клеев. Часть из этой доли они в 1873 году продали графу Сергею Владимировичу Орлову-Давыдову (владевшему к тому времени имением Смирновых — Спасское куплено у вдовы Н.М. Смирнова А.О. Смирновой в 1871 г.); причём сделка была зарегистрирована на имя жены графа, Ольги Ивановны, урождённой княжны Бяратинской. Другая часть имения перешла в руки егорьевского фабриканта Василия Алексеевича Хлудова.

Известно, что к усадьбе Кривякино приценивался Пётр Ильич Чайковский, желавший приобрести себе тихий, уединённый загородный домик, где ничто не отвлекало бы его от творчества. Однако цена за усадьбу оказалась не приемлемой для композитора, и сделка не состоялась.

От графа С.В. Орлова-Давыдова усадьба Кривякино перешла во владение князьям Ливен, которые стали его последними владельцами вплоть до 1918 года. Светлейшая княгиня Александра Петровна Ливен купила сначала часть земли, принадлежавшей Орлову-Давыдову, а затем и ту часть, что была за В.А. Хлудовым.

В архивах Москвы сохранились страховой полис на имение, его план, описание и оценка. После отмены крепостного права (1861 г.) в имении произошли довольно большие перемены. С территории северной части усадьбы была выведена вся крестьянская застройка, а её место заняли хозяйственные постройки, вытянутые на север в линию вдоль берега Москвы-реки и составлявшие вместе с главным домом, флигелем, домовою церковью некое подобие улицы. К югу от главного дома находились конюшня, каретный сарай, амбар и навес для дров.

При последних владельцах, Ливенах, главный дом подвергся наибольшей перестройке. К центральной трёхэтажной части дома (в плане почти квадратной) на месте галерей-переходов во флигели пристроили с севера и юга боковые двухэтажные крылья.

После известных событий 1917 года усадьба была национализирована, а её последние владельцы успели эмигрировать.

В мае 1918 года при Народном комиссариате по просвещению был создан Отдел по делам музеев и охраны памятников искусства и старины, возглавила который Н.И. Седова (жена Л.Троцкого). У этого отдела был подраздел, который занимался регистрацией и вывозом художественных ценностей из покинутых владельцами особняков и усадеб. За пять лет «учёта и регистрации», с 1918 по 1923 год (последняя датировка — 1 сентября 1923 г.), был составлен так называемый Сводный перечень усадеб. В 1918 году на учёт было поставлено 540 усадеб, а к 1926 году их осталось уже 228, из них 68 — в Московской губернии (причём Московская губерния была в то время гораздо обширнее современной Московской области).

В этом Сводном перечне под № 49 значится и наша усадьба. Всего три строчки: *«Кривякино б. Ливен Коломенского уезда. Вывезены портреты в Музейный фонд и фарфор в бывш. Строгановское училище»*. Что за портреты, чьей работы, в каком количестве — неизвестно. То же самое касается и фарфора. Если портреты ещё, может быть, целы и пылятся в каком-нибудь провинциальном музее, то уж фарфор вряд ли уцелел в перипетиях истекших десятилетий (почти девять десятков лет).

После национализации в домовою церкви, во флигеле и в главном доме размещалась ячейка РКСМ при Спасском сельскохозяйственном техникуме, а затем и сам техникум, причём домовая церковь во имя Грузинской иконы Божией Матери была приспособлена под клуб.

Когда в 1929 году был образован Воскресенский район и началось строительство химкомбината, в помещениях усадьбы поначалу жили первые строители, приехавшие на стройку века со всех концов Советского Союза.

Вскоре рабочие и строители переселились в бараки и немногочисленные каменные дома, а освободившуюся усадьбу (к ней выгородили часть парка площадью около 1,5 га) заняли детские учреждения.

Сначала там размещался детский сад № 2 химкомбината для детей-сирот — фактически детский дом. Вот выдержка из критического материала районной газеты «Коммунист» за 28 февраля 1946 года. Статья Н.Курсантова называется «Преступное отношение к детскому саду»: *«Более двух месяцев детский сад № 2 комбината имени Куйбышева несвоевременно получает продукты питания, мыло, топливо. Только в декабре и январе детский сад не получил 120 килограммов жиров, совсем не получил картофель, а имеющаяся капуста непригодна для питания. Не получены также сотни литров молока. <...> В чём дело, почему более 200 детей-сирот не обеспечиваются продуктами питания?»*.

Первый послевоенный год. Жизнь для всех была несладкой, а каково приходилось детям-сиротам, можно представить из этой заметки.

Критика, видимо, возымела действие, снабжение наладилось, и в дальнейшем о детсаде № 2 появлялись только благостные, пасторальные статьи и фотоснимки («День в детском саду» — «Коммунист» от 10 июня 1953 года и др.).

Спустя годы детский сад № 2 превратился в обычный и получил название «Весна», так что многие воскресенцы провели свои детские годы в старинной усадьбе, где когда-то «безмятежно процветал» юный Ваня Лажечников. Бывшая домовая церковь при этом исполняла роль столовой.

Затем, в середине 70-х годов XX века, детский сад сменился детским же санаторием «Ласточка» для детей с ослабленным здоровьем верхних дыхательных путей. Дети поправляли своё здоровье в непосредственной близости от химкомбината, который в то время активно действовал. В южном, отдельно стоящем флигеле при этом размещалась жилищно-коммунальная контора химкомбината.

В начале 90-х годов на волне «перестройки» началось общественное движение за превращение усадьбы в культурный центр, за создание на её базе городского музея. С большими трудностями и сопротивлением персонала детский санаторий из главного дома был выселен, а к апрелю 1993 года освобожден и флигель.

Городское управление культуры получило под своё попечение то, что некогда было усадьбой Кривякино с многовековой историей.

Начались реставрационные, ремонтные и восстановительные работы, которые с перерывами продолжаются и до сих пор.



Невосполнимую утрату понесло российское краеведение. В старинном русском городе Зарайске 10 марта 2007 года на 83-м году жизни скончался **ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ПОЛЯНЧЕВ** — краевед, журналист, педагог, скульптор, член международной ассоциации писателей, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин города Зарайска.

Читателям «Коломенского альманаха» запомнились его публикации в нашем издании «Земля Зарайская — земля Пушкина» и «Корни рода Шолоховых». За последнюю работу альманах награжден дипломом Союза писателей России.

Владимир Иванович Полянчев был истинным патриотом земли русской и своей малой родины, которую беззаветно любил и прославлял. Таким он и останется в памяти всех, кто его знал, с кем он общался.

Редколлегия



Ирина Евгеньевна Ракша — писатель, киносценарист, член Союза писателей и Союза журналистов России. Автор 16 книг прозы, переведённых на многие языки мира. Лауреат ряда литературных премий, в том числе «Золотое перо», им. С. Есенина, им. В. Шукшина и других. Вдова великого русского художника Юрия Ракши (1937–1980). Её именем в 1995 году Российской академией наук названа планета Солнечной системы — «ИРИНАРА». С 1994 года — председатель приходского совета храма Рождества Богородицы в Бутырской слободе.

Ирина РАКША

«НАД ПОЛЯМИ ДА НАД ЧИСТЫМИ...»

...Месяц птицею летит.
И серебряными искрами
Поле ровное блестит...

Ах, какая это прекрасная новогодняя песня! Развесёлая, удалая! Сколько в ней зимней свежести, морозного ветра!

Гривы инеем кудрявятся,
Порошит снежком в лицо.
Выходи встречать, красавица,
Мила друга на крыльцо!

Так и звенят, так и заливаются бубенцы рождественской тройки, мчащей сквозь перелески и заснеженные поля мила-друга к его любимой! Вот радости-то будет при встрече, когда «глянут в сердце очи ясные», да глянут так, что «закружится голова!» Ведь «с милой жизнь, что солнце красное, а без милой — тринтрава».

Ну, звончей, звончей, бубенчики,
Заливные голоса!
Ой ты, удаль молодецкая,
Ой ты, девичья краса!

Так и кажется, что такую задорную песню мог написать очень счастливый, весёлый, по-русски озорной человек. И мне захотелось доискаться, познакомиться с автором этих великолепных поэтичных строк. Во многих сборниках русских песен эта «Новогодняя песня» значится как «народная», однако у неё был создатель. И мне, хоть и не без труда, удалось заочно встретиться с ним.

А звали его Александр Степанович Рославлев. И жизнь у этого талантливого человека была совсем не весёлой и не счастливой.

Он родился в Коломне в 1883 году.

Это был песенный город. В двух десятках его церквей гремели слаженные хоры, звонницы переключались полнозвучными голосами колоколов. О пятиглавом Успенском соборе рассказывали, что его основал сам Димитрий Донской. Глубокой древностью веет от полуразрушенного кремля...

На Житной площади перед кремлём — размашистые торговые ряды. Всё пространство перед их огромными арками в базарные дни — понедельник и четверг — было забито подводами, торговым людом, покупателями. Чего только не наслушаешься в пёстрых коломенских лавках!

Старый город окружён слободами. А самая большая из них (сама как небольшой городок) — Ямская слобода. Купеческая Коломна, почти тысячу лет простоявшая на древнем Астраханском тракте, отделённая от Москвы всего сотней вёрст, очень зависела от конного извоза. Так что ямщиков здесь было много и труд их считался важным. На день Флора и Лавра к церкви Троицы-на-Ямках сводили множество лошадей, богато наряженных лентами и колокольцами. А троицкий батюшка обходил их с водосвятной чашей и кропил животных, благословлял на труд. Ямская станция располагалась на почётном месте со времён Ивана Грозного — у Ямской башни кремля.

А как скоротать долгий путь? Песней. Ямщицкими песнями, то весёлыми, то протяжно-грустными, пропитаны были коломенские вёрсты. На такую невесёлую песню и походила жизнь Александра Рославлева...

В двенадцать лет остался он сиротой и с этого нежного, почти детского возраста должен был надеяться лишь на себя. А ведь от роду Саша записан был «потомственным дворянином». Его отец, некогда respectable барин, Степан Рославлев, даже наследовал от родителей небольшое имение и неплохое хозяйство. Однако давнее пристрастие к «зелёному змию» портило его характер, да и всю жизнь.

Была надежда избавиться от недуга пьянства женитьбой на милой и любимой женщине, которая родила ему сына Александра — очаровательного, здорового малыша и наследника. Да не вышло...

Год от года дела в семье Рославлевых шли всё хуже. И наконец пагубная страсть хозяина привела-таки семью к полному разорению, а хозяйство — к обнищанию и распродаже. Постоянные скандалы, попреки и слёзы жены, а главное — собственное безволие и укоры совести довели господина Рославлева до жуткого конца. Страшное дело свершилось: весной 1895 года он покончил с собой.

Без отпевания хоронили его на коломенском погосте. А несчастная молодая вдова, Сашина мать, потрясённая всем этим, не выдержала. Не вынеся горя, она, как говорили тогда, — «умом тронулась»: лишилась рассудка.

В памяти Саши навсегда останется горестное воспоминание о посещении казённой больничной палаты, куда безвозвратно определили его маму. Запомнятся серые лестницы, серые коридоры, серый свет за окнами и она сама — его мама, похудевшая до неузнаваемости, враз поседевшая, с опущенной головой и крестиком на груди, не узнавшая даже любимого сына. Молча завязывала и развязывала она бахрому на ветхой скатерти убогого стола. Саше запомнились её пальцы, когда-то прекрасные, легко аккомпанирующие любимым романсам и песням, скользившие в такт музыке по клавишам рояля в гостиной.

И вот — всё кончилось. Оборвалось. Как жить дальше, Саша совершенно не знал. К тому же за три дня до трагедии, до самоубийства отца,

его выгнали из гимназии с жестоким «приговором» — «За неспособность». Правда, сторож гимназии успокоил уныло сидящего на скамейке безутешного паренька: «Не твоя тут вина. Это родители твои не способны отдать долг за твоё ученье. — И погладил его по голове: — За всё в этой жизни, милый, надо платить. Вот ведь как».

Однако жизнь продолжалась, и осиротевшему подростку надо было как-то выживать. И хотя полного гимназического образования у Саши не имелось, зато было умение прекрасно, каллиграфически писать. И это его спасло!

По протекции дальнего родственника он устраивается (о, удача!) писцом в коломенскую земскую управу. Жалованье небольшое, но на первых порах этого хватало. Так начинается его самостоятельная жизнь... Дни идут за днями, скрипит перо в богатой усадьбе с пилястрами, шуршат бумаги. И всё тягостнее, всё невыносимее с каждым днём становится серая провинциальная одурь. Неужели вот так вся жизнь пройдёт в Коломне, на одном месте, в окружении одних и тех же людей, в канцелярской пыли, под заунывный звон часов с Вознесенской колокольни?

Рядом Москва с её бурлящей и шумной жизнью. Она тянет подростка, словно магнит. И спустя год, бросив удачную, спокойную, а главное — надёжную работу, он оказывается на улицах столицы — буквально без гроша в кармане, зато в самой гуще, в водовороте незнакомой и интересной жизни. Юный «потомственный дворянин» скитается по рынкам, с нищими и пьяницами спит на Солянке в ночлежных домах, по найму работает грузчиком, служит «на побегушках» у приказчиков мелких лавок, трудится и в богатых, фирменных магазинах. Но, видно, Ангел-Хранитель, оберегая, витает над ним, распахнув крыла. Да и Ангел умершей маменьки, видно, помогает. И паренёк выживает, не гибнет. И надо признаться, его не очень-то и гнетёт, казалось бы, беспросветное это существование, эта жизнь «на дне». Такой уж у Саши лёгкий характер, такой нрав!

А не печалится он ещё и потому, что некогда. Теперь он пишет. Да, да — пишет! И с жадностью, с удовольствием. Всё больше и всё упорнее. Своим красивым каллиграфическим почерком, по вечерам склоняясь к листам бумаги в свете горящих свечей, которые десятками покупает в свечной лавке.

Каждую свободную от работы минуту он тратит на самообразование, на чтение книг и журналов или на собственные сочинения, которые постепенно становятся его страстью. Вначале это, конечно же, были стихи. Стихи и поэмы — беспомощные, незрелые, длинные, однако не без искры чувства и новизны.

Позже Александр пробует писать и рассказы, и даже статьи на разные злободневные темы. И скоро это становится его ежедневной горячей потребностью. В надежде на публикацию он, сперва с боязнью, а потом всё смелее, относит свои творенья в редакции разных газет и журналов. Посылает даже в другие города по почте. Их, разумеется, регулярно возвращают. Но молодой автор, получая назад собственные пакеты с рукописями, не смущается. Он не оставляет пера и не оставляет надежд.

И вот однажды из далёкого города Томска, куда он также посылал свои опусы, приходит пакет с толстым журналом «Сибирский наблюдатель». С бьющимся сердцем он жадно разрезает ножом страницы. Листает. И — вот оно! Как удар! Опубликовано первое стихотворение поэта Александра Рославлева под названием «Ангел». Вот он!.. Помог ему светлый

его Хранитель!.. К тому же автору «причитается получить» на почте неплохой гонорар... Первые деньги за литературный труд!.. Какая же это была радость! Какое ликование! За это не грех было и выпить «по чарке шампанского» с друзьями, прежде, конечно, не верившими в его литературные способности.

А потом... Потом к Рославлеву приходит настоящий успех. За несколько лет один за другим выходят четырнадцать поэтических сборников. Теперь он уже неплохо зарабатывает литературным трудом. Снимает приличную квартиру. Заводит кухарку. Его стихи уже постоянны на страницах московской периодической печати.

Пишет он и прозу. Его небольшая сатирическая повесть «Записки полицейского пристава» шумела в те годы, на какое-то время стала в литературных кругах Москвы буквально притчей во языцех. Только ленивый тогда не говорил о ней. А молодой, но уже довольно известный критик начала XX века Корней Чуковский, худой, носатый и злой, беспощадно высмеял повесть: «Вяло, плохо написано... Подражательно. Скверно». Чуковский так искренне досадовал на Рославлева, что посвятил его «Запискам» аж две статьи. Названия их вполне красноречивы: «Литературные стружки» и «Третий сорт».

Александр Степанович совершенно не отреагировал на такую разгромную критику. Он её словно бы и не заметил. «Как слону дробина», — говорили друзья. А он и правда был большим, здоровым и очень красивым человеком. Но главное — оставался несокрушимым оптимистом. И, не смущаясь, продолжал работать.

В те годы он близко сошёлся с Леонидом Андреевым. Хорошо знал Чехова, Александра Куприна, а особенно певца бедноты и уличных горемык Горького, с его тоже сиротской, очень схожей судьбой. В общем, сблизился со всеми видными писателями того времени. Будучи по природе благодушным, сдружился даже с тем же Корнеем Чуковским. Забавно было видеть вместе этих молодых литераторов (один осанистый и крупный, другой длинный и худой), горячо спорящих где-нибудь за столиком, в клубе или в редакции.

Любил и почитал Рославлев и Александра Блока, который, кстати, тоже осмеял его стихи, саркастично назвав их «эпигонскими».

Впрочем, с годами Рославлев действительно стал совершенно безразличен к отзывам о его творчестве. А всё потому, что его давно и серьёзно увлекала совсем иная, горячо захватившая душу страсть. И имя у этой страсти было женское — Революция. Он с восторгом отдался ей, её захватывающим лозунгам, её новым веяниям. Активно участвовал в событиях 1905 года.

Поэт безоглядно верил в справедливость грядущего общества, где все должны были быть равно счастливы и, конечно, равно богаты. Где не будет, как надеялся он, одиноких людей и горьких сирот, не будет взяток, пьянства, бесчестья. Однако его общественно-революционная деятельность денег на жизнь не давала. Приходилось и дальше существовать за счёт литературных занятий, писать на заказ для газет и журналов.

Как-то в ноябре 1907 года журнал «Пробуждение» попросил его дать «свежее стихотворение» в новогодний номер. И заплатить обещали прилично. Журнал был недорогой, непрестижный, даже несколько аляповатый. Но заказ есть заказ. Подобной халтуры у поэта и раньше хватало.

И вот после вечернего чая он подсел к столу, макнул перо в хрустальную чернильницу и склонился к бумаге, пытаясь вообразить что-то при-

ятное, зимнее, новогоднее... Он легко представил себя юным, беззаботным и... влюблённым, каким давно уже не бывал. И сразу же первые строки легко, даже слишком легко побежали из-под пера, красиво ложась на страницу:

Над конями да над быстрыми
Месяц птицею летит...

Конечно же, сколько раз он воочию видел всё это зимой. И в детстве, и позже, бывая и в родной Коломне, и в имениях у друзей. Когда, бывало, ночью весело завалишься в сани, и кони тотчас рванут с радостной силой, и устремятся в синюю даль. И куда?.. Конечно же, к милой... А над летящими конскими гривами, над звенящим поддужным бубенчиком в звёздном небе поплывёт над тобой, полетит вослед рогатый месяц в серебряной дымке.

Наша сваха — воля вольная.
Повенчает месяц нас...

Светловолосая голова Александра Степановича в золотом круге света склоняется над бумагой, и скользит, скользит по странице перо:

Словно чуют — разъярились
Кони — соколы мои.
В жарком сердце реки вскрылись
И запели соловьи.

Всю ночь он работает: черкает, комкает листы, переписывает заново. И рождаются слова, выстраиваются строки.

С милой жизнь, что солнце красное,
А без милой трын-трава...

В этих стихах не только раздольный русский пейзаж с его светлой грустью, но и сама душа поэта — широкая, удалая, со страстной мечтой о собственном счастье.

К утру Рославлев наконец закончил работу. Устало откинулся на спинку кресла. Не спеша перечитал текст, строфу за строфой, и вдруг понял, что это и не стихи вовсе, а песня. Конечно же, песня! И подумав, добавил поверху ещё одну строчку: «Новогодняя песня». Потом одним дыханием задул оплывшую, задымившую свечку и какое-то время с удовольствием, молча сидел в голубой предутренней тишине... «Получилось, кажется, получилось...» А через пару часов, наняв извозчика, он отвозил уже свой литературный заказ в редакцию. По заснеженной, морозной Москве с белыми печными дымами над крышами домов, которые словно бы подпирали низкое небо. Волновался, уткнув нос в поднятый воротник. Как-то примут там?.. Что скажут?..

И вот стихотворение А.Рославлева «Новогодняя песня» выходит в свет без задержек в первом номере журнала «Пробуждение» за 1908 год. Читатель принимает его не только как проходное новогоднее стихотворение: оно — украшение номера, больше того — это готовая песня, звучная, лёгкая... И вскоре «Новогоднюю песню» начинают петь и в светских салонах под гитару, и в мещанских домах, и в кабаках на рабочих окраинах.

Мелодию на эти слова пишут самые разные музыканты. Порой самодельные. Но та, которая, пройдя сквозь столетие, дошла до нас, которую и нынче поют современники, принадлежит известному композитору начала XX века П.Б. Владимирову.

С тех пор «Новогодняя песня» в России стала так популярна (из десятилетия в десятилетие её поют и солисты, и хоры с оркестрами), что постепенно превратилась в народную. А начальные слова — «Над конями да над быстрыми» — с годами изменились и звучат теперь так: «Над полями да над чистыми». Эта строка стала даже названием. К тому же вместо шести куплетов осталось только три. Порой даже музыканты забывают имена авторов. И в нотах забывают указать то имя композитора, то поэта. А то обоих сразу. Даже в концертах объявляют со сцены: «Русская народная песня». Что ж, такова судьба многих, самых любимых народом, бессмертных песен. И это — завидная доля.

Ну, а какова же дальнейшая судьба автора? Александр Степанович Рославлев благополучно дожид до революции семнадцатого года, которую называли тогда переворотом. Действительно, перевернулось всё. Жизнь. Судьбы. Эпоха. Однако воплотилась-таки, осуществилась его мечта — ненавистное ему самодержавие пало. Даже царскую семью в восемнадцатом расстреляли. Казалось бы, «святое» дело «освобождения» народа свершилось. Рославлев стал даже «красным» участником Гражданской войны. С Красной Армией подался на юг. Испытал всяческие жизненные коллизии. Но долгожданное счастье — равенство, братство, гармония — что-то вокруг всё не наступало. С жадной энергией он хватался за разные дела. Стал редактировать пролетарскую газету со странным названием «Красное Черноморье». Затем в Новороссийске вместе с молодым режиссёром Мейерхольдом азартно принялся создавать Театр политической сатиры. Всё надеялся увлечься, не потерять мечту. Стал по-революционному аскетичен. Забывал о себе — о сне, о еде. Да и голод сему сопутствовал. Но, несмотря на эти усилия, душа Александра Степановича почему-то всё больше печалилась, всё увядала. Лирические стихи вообще не писались, словно бы Муза, обидевшись, отвернулась от него окончательно. И до «расцвета коммунистического завтра» романтик Рославлев так и не дожид.

В ноябре двадцатого года его, человека такого большого, сильного, свалила ничтожная тифозная вошь. Заразный, мучительный тиф свирепствовал тогда в голодной, разорённой до нищеты стране. А на юге России, как в наказание, эпидемия косила буквально всех. Не успевали вывозить и хоронить трупы. И 37-летнему поэту уже не могли помочь ни врачи, ни его лёгкий, некогда весёлый нрав, ни его оптимизм, который совсем иссяк. Он умирал от сыпняка, в горячке, то теряя сознание, то приходя в себя. И лишь его Ангел-Хранитель, о котором сам поэт написал ещё в юности, теперь распростёр крыла и реял над ним с любовью. И поэт, уже уходя навсегда, не мог представить, что из всего написанного им в жизни дойдёт до потомков лишь одна немудрящая, но чистая, бессмертная песня, которую он написал когда-то в новогоднюю ночь:

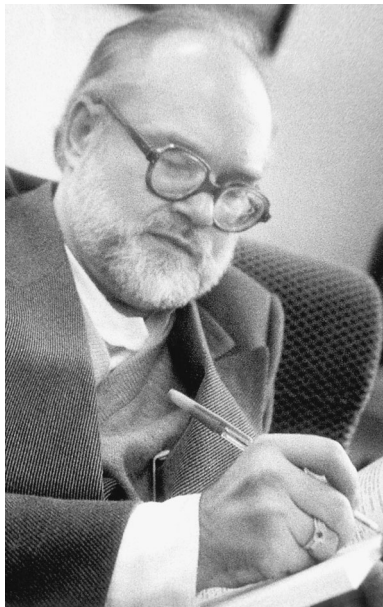
Ляг, дороженька удалая,
Через весь-то белый свет.
Ты завейся, вьюга шалая,
Замети за нами след...

ЛИЧНОСТЬ





Троицкая церковь в Шурове



Борис Владимирович Архипцев родился в Коломне 7 апреля 1950 года и всю жизнь живёт здесь. Образование высшее, педагогическое. Поэт, автор стихов гимна Коломны, песни «Город на все времена». Переводчик английской поэзии. Переводы, стихи и статьи публиковались в журналах «Иностранная литература», «Смена», «Студенческий меридиан», газетах «МК», «Молодёжь Московии», «Русская мысль» (Париж), в программах Русской службы Би-би-си, на сайте «Век перевода», в сборниках и альманахах. Автор книг переводов «Эдвард Лир. Лимерики» (Коломна, 1994) и «Полный нонсенс! Эдвард Лир по-английски и по-русски» (готовится к печати).

Борис АРХИПЦЕВ

АЙ ДА КРАПИВИН! АЙ ДА «ЩУКИН» СЫН!

...Летом далёкого 1968-го на одной подмосковной даче собралась небольшая компания. Долго говорили, жарко спорили, решали: быть или не быть театру в Коломне? Коллектив народного театра переживал трудное время, шла смена поколений, требовалась свежая кровь. Участники посиделок, люди в основном молодые и горячие, к тому же большие ревнителю искусства Мельпомены, порешили: театру — быть! Мы, сказали, и будем этим театром. Хозяин дачи, он же руководитель Коломенского народного театра тепловозостроителей (КНТТ) А.С. Лавут, всячески поддержал решимость своих гостей и учеников.

Искусство, как всегда, потребовало некоторых жертв. Выпускника Московского энергетического института Г.Абросимова ждала работа в Ленинграде, другого выпускника МЭИ, Н.Крапивина, — курсы английского и заграникомандировка. Оба выбрали Коломну. Впрочем, кроме манящего света рампы, их ждали здесь невесты — девушки, тоже весьма близкие к театральным кругам.

...Когда молоденький моторист крапа на Коломенской пристани, активный участник художественной самодеятельности Николай Крапивин, только что выпущенный с отличием из Горьковского речного училища, увидел где-то на танцах листок объявления о наборе в студию театра, он, понятно, не мог устоять. А в конце первого курса уже играл милейшего Мишу Бальзаминова. Режиссёр, опытный педагог и любимый наставник М.Л. Рошаль как-то сказал: «Не пойму, Коля, либо ты на самом деле дурак,

либо играешь здорово». А потом были ещё вечный жених Подколесин в гоголевской «Женитьбе», яркий мольеровский Аргон, которого и доселе нет-нет да вспоминают актёры-«старички» и зрители со стажем. И был Безайс из знаменитого спектакля «По ту сторону» по роману В.Кина. Эта работа наших земляков была замечена тогдашним ТВ, предъявлена всесоюзному зрителю, да так понравилась, что пошли заявки—повторить, а плёнку уже «смыли» (дефицит!). Пришлось записывать спектакль второй раз, а как же, желание зрителей — закон. Эх, славное же было времечко — самодеятельный театр на экранах ЦТ, зрители смотрят, письма пишут... Неужто было?

Старики — руководители театра — заметили, обласкали молодого актёра, признали его своим, а увидев в нём несомненные режиссёрские задатки и тягу к этому нелёгкому ремеслу, сделали на него ставку и написали рекомендацию для поступления в прославленное Щукинское училище при Театре имени Вахтангова.

Но рекомендация рекомендацией, да ведь и конкурс надобно было выдержать. Он в том, 1973-м, был на редкость солиден. И первый экзамен — по актёрскому мастерству. За столом — могучая приёмная комиссия, человек 20–25, во главе с ректором Б.Захавой, а в составе — Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, Владимир Этуш, — от обилия светил даже в глазах зарябило и как-то потемнело. Читал басню Крылова «Пустынный и Медведь» и «Подлизу» Маяковского. Большого впечатления на небожителей не произвёл, три балла поставили. Но остальные экзамены сдал на «хорошо» и «отлично». Приняли. На режиссёрское отделение. Сказочное время было! Все молодые, любопытные, азартные, неутомимые, работали как черти, день и ночь. Сами ставили, сами играли (способные ребята попадались, некоторые сейчас в профессиональном театре). В выпускном спектакле «Ревизор» играл Осипа, одобрили. А дипломную работу — «На всякого мудреца довольно простоты» Островского — принимала уже в Коломне комиссия во главе с Б.Голубовским, тогдашним главным режиссёром Театра имени Гоголя. Выставили «пятерку», а спектакль долгие годы шёл в неизменном исполнительском составе — В.Кочелев, С.Зацепин, Ю.Шафранская, С.Землянская, В.Круглов, М.Макеев, Н.Крапивин (генерал Крутицкий), став одной из легенд КНТТ.

В 1975-м Н.Крапивин подхватил древко, выпавшее из рук незабвенного А.С. Лавута, став главным режиссёром театра и руководителем студии. Тридцать с лишним годиков уже...

Поставлено за это время ни много ни мало 66 спектаклей. Среди них дюжина таких, за которые совершенно не стыдно: «Мудрец» А.Остров-



ского (1977 г.), «Трамвай “Желание”» Т.Уильямса (1979), «Утиная охота» А.Вампилова (1980), «Ревизор» Н.Гоголя (1985), «Двенадцатая ночь» У.Шекспира (1987), «Мещанин во дворянстве» Ж.-Б. Мольера (1997), «Эквус» П.Шеффера, «Мой бедный Марат» А.Арбузова, «Топаз» М.Паньоля и своеобразная трилогия А.Островского об актёрах — «Лес» (1993), «Таланты и поклонники» (1998), «Без вины виноватые» (2001). Даже среди самых крупных профессиональных театров нужно долго искать такой, где в разные годы была поставлена вся «трилогия», в Коломенском же народном все три пьесы идут одновременно! Сыграно около десятка ролей (кроме перечисленных, ещё скрипач Базильский в «Провинциальных анекдотах» А.Вампилова, чудак Бутен в изяшно-легкомысленной французской комедии «Гувернантка», Король в «Золушке» Е.Шварца).

И всё же что привело его, мальчишку из волжской деревни Токарёво, что по соседству со знаменитой Хохломой, в театр, когда и как возник в душе интерес к тому, что стало делом жизни?

Отца не знал, как и тот не узнал о рождении сына — погиб в первые дни войны где-то на севере. Мать воспитывала одна, а потом — вместе с отчимом, простым добрым русским человеком, заменившим Кольке отца. Лет пяти от роду видел в клубе на концерте самодеятельности сценку — две сложенные расписные деревянные ложки изображали телефонную трубку. Почему-то запомнилось. Первое театральное впечатление?.. В детстве любил больше всего две вещи: играть в футбол и слушать по радиоприемнику оперы в исполнении звезд Большого театра Лемешева, Козловского, Михайлова — мать приучила. Немножко играл в школьном драмкружке. Но самое грандиозное театральное воспоминание — уже когда учился в МЭИ, несколько вечеров подряд ходил во МХАТ, на спектакли, посвященные 100-летию юбилею К.С. Станиславского. В первый вечер — «Горячее сердце» с Яншиным, Грибовым, Станицыным, потом — «Синяя птица», ещё — «Милый лжец» со Степановой и Кторовым. Посмотрел — и умер там. Чокнулся на театре, по меткому словцу С.Землянской. А были ещё «Принцесса Турандот» в Вахтанговском и «Добрый человек из Сезуана» у Любимова на Таганке. Кто бы не заболел!

— *А поначалу ведь собирался стать учителем, моряком, инженером... Да понял — не моё. Словно какая-то сила вела, заставляла искать дорогу. Как выяснилось — к театру. Трудно искал, долго, но — уж лучше поздно... Главное, что нашёл, могу заниматься любимым делом и полностью реализовать себя.*

Не сомневаясь в искренности Николая Николаевича, я, однако, искал подтверждения его словам у тех, кто знает его и дольше, и лучше меня. Ведущие актрисы театра в ответ на вопрос о том, как им видится Крапивин — режиссёр и человек, не признались в равном накале любви к нему, но обнаружили одинаковую степень уважения, отметив редкостную увлечённость делом, трудолюбие и настойчивость, настырность, как сказала Н.Круглова, в достижении цели.

Л.Зацепина. Это инженер. Чёткая схема, план всего спектакля и каждой отдельной роли (сам видел эти крапивинские «чертежи» — бумажные «простыни», испещрённые изящными мелкими буквами и символами, самому только «шифровальщику» и понятными. — *Б.А.*). Никаких отклонений и сантиментов. В этом сила, но в этом же и известная слабость Крапивина.

Н.Круглова. Работать с ним трудно, приходится принимать его видение роли. Но, когда удаётся его изредка переубедить, он бывает даже благодарен. А волнуется иногда так, что за спектакль сгрызает ногти до основания...

Ю.Шафранская. Одержим работой, полон замыслов, порядочен. Будучи увлечён идеей, готов забыть про всё на свете. Обиды и огорчения не выплёскивает на окружающих, а превращает в какую-то внутреннюю созидательную энергию и— вновь за дело.

Как строит репертуар? Постоянно помнит о вахтанговской триаде: хорошая литература плюс созвучие времени плюс труппа. Трезво оценивая собственные возможности и потенциал исполнителей, что называется, рубит дерево по плечу— ведь глупо же, как бы ни хотелось, заманиваться, скажем, на «Гамлета», не имея под рукой не только принца, но и Офелии! Это спасает от явных провалов и больших разочарований.

— *Что больше всего огорчает? Кризис театра, отток зрителей. Нашему КНТ приходится очень трудно. Необходимость зарабатывать деньги, сопрягать высокие творческие помыслы с требованиями и законами нашего дикого рынка-базара. Старая гвардия стареет и уходит понемногу... А тут ещё и среднее поколение, стержень наш, надежда и опора, стало подводить, одного за другим хороним — С.Кузнецов, А.Попков, Д.Печников. Но есть и радости. Каждый год набираем ребят в студию (был, правда, небольшой перерыв), есть способные. Большие надежды связывал с сыном, Родионом (шестое поколение Крапивиных), но он трагически погиб совсем молодым... Остались внуки, седьмое поколение, а значит, есть надежда, что дедово дело не захиреет, возникнет крапивинская театральная династия...*

Надобно сказать, что с недавнего времени театр называется аббревиатурой из трёх букв, «отцепив» второе «Т» от столь привычного поколения коломенцев, почти родного *КНТТ*. Произошло это в сезоне 2003/2004 года, когда Дворец культуры тепловозостроителей, основная сценическая площадка театра, был передан Коломзаводом в отдел культуры города. Так театр тепловозостроителей превратился в общегородской Коломенский народный театр — КНТ. Что, по сути, и точнее, и справедливее — он всегда был городским театром. Ещё один любопытный исторический факт(ик). Переходя от одного хозяина к другому, трансформируясь из *КНТТ* в КНТ, коллектив формально потерял статус народного (самодетельного), но и положения муниципального, профессионального (пусть, избранный большинством собратьев — бывших народных театров Подмосковья), в силу ряда причин не достиг. Пришлось восстанавливать звание «народный театр», завоёвывать его вторично. Что и было сделано 30 мая 2004 года, после спектакля «Топаз», просмотренного авторитетной аттестационной комиссией из столицы во главе с кандидатом искусствоведения А.Шульпиным. Так КНТ стал... дважды народным.

Основные творческие вехи и победы театра последних лет.

Год 1999-й. Коломну буквально потрясла постановка мощной пьесы блестящего английского драматурга П.Шеффера «Эквус» («Кони»). Социально-этические проблемы, мины, взрывавшие западноевропейское общество 70-х годов прошлого века, оказались болезненно близки российскому зрителю на пороге миллениума. В спектакле, поставленном Н.Крапивиным и оформленном остроумным Ю.Зимовцом, блистали

молодой А.Климанов и маститый С.Зацепин. Премьера шла два вечера — случай небывалый.

Год 2000-й. Поставлена знаменитая камерная пьеса классика советской драматургии А.Арбузова «Мой бедный Марат».

Октябрь 2001-го. Премьера комедии А.Островского «Без вины виноватые». Получена правительственная телеграмма от министра культуры РФ М.Швыдкого — поздравление с 75-летием КНТТ и 40-летием театральной студии, в коей Михаил Ефимович в молодые годы и сам преподавал, наряду с такими нынешними корифеями театра, как А.Бартошевич и В.Силюнас.

10 мая 2002-го. Выпускной спектакль студии — сказка М.Ленского «Асхат и лесная девушка» в постановке Е.Кузиной — показан в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ) в Москве в присутствии председателя правления ЦДРИ великой балерины О.Лепешинской.

Октябрь 2002-го. Премьера сатирической комедии М.Паньоля «Топаз», бичующей пороки вульгарного капитализма и обошедшей сцены многих театров мира.

Год 2003-й. На коломенской сцене — пьеса в стихах Л.Филатова «Лизистрата» в постановке И. и С.Маркиных. Автор заинтересованно следит за ходом работы, планирует быть на премьере, но в день премьерного показа из Москвы приходит трагическое известие... Едва сдерживая слёзы, исполнители доводят спектакль до конца. Работа показана (и принята на ура) в колонии строгого режима г. Коврова Владимирской области, где отбывал наказание один из актёров театра.

3 апреля 2005-го. «Мой бедный Марат» с большим успехом показан на V Московском областном фестивале-конкурсе любительских театров в Ивантеевке, принёс КНТ лауреатское звание, постановщику Н.Крапивину — первый приз в номинации «За лучшее режиссёрское решение», а исполнителю заглавной роли одарённому А.Климанову — приз за лучшую мужскую роль и... приглашение на учёбу в знаменитую «Щепку», Щепкинское театральное училище при прославленном Малом театре, — сразу на второй курс без экзаменов. Сказка! К слову, главреж КНТ очень гордится своим талантливым воспитанником, трогательно опекает молодого актёра, хлопчет в городской администрации о выделении средств Алексею на продолжение и завершение учёбы в «Щепке», видит в нём достойного преемника... Хотя, если честно, представить себе наш народный без Крапивина — это примерно как белый свет без солнца: шутка ли, четвёртый десяток лет без перерыва во главе и всё так же бодр, неутомим, неутолим, азартен, неугомонен, полон планов, какие, к шутам, преемники, но — и реалистичен: седьмой десяток на середине, надо, пора и о вечном подумать!..

Осенью 2005-го открыта малая сцена на сто зрительских мест — событие долгожданное, радостное, тем более что нет сейчас ни одного уважающего себя театра, таковой сцены не имеющего, — модно. Открыта площадка комедией популярного П.Гладилина «Ботинки на толстой подошве» (постановка и сценография Ю.Зимовца).

Н.Крапивин удостоен памятного нагрудного знака «Благодарю» от губернатора Московской области.

Весна 2006-го. Премьера пьесы Василия Сигарёва «Любовь у сливного бачка». Крапивин не на шутку увлечён сейчас новым течением в драматургии XXI века — «новая драма» («new writing»), одним из лидеров коего и признан вышеозначенный молодой уроженец загадочного городка

Верхняя Салда, что в Свердловской области, лауреат первой премии «Evening Standard Award» в номинации «Самый многообещающий драматург Европы», вручённой в лондонском театре «Royal Court» (мировой центр «новой драмы»), и российских премий «Дебют» и «Антибукер». Пьесы Василия идут в США, Англии, Германии, в нескольких московских театрах одновременно и широко по России. Вот такой послушной список и наградной лист у человека, не достигшего ещё и тридцатилетнего рубежа.

Отличительные черты новой (социальной) драмы: актуальность тематики и проблематики, махровая злоба дня, лихо закрученная фабула, рельефность, яркость характеров, живая современная разговорная речь — действительно есть чем увлечься, во что влюбиться, на чём в очередной раз чокнуться...

В ближайших планах театра и души и мозга его, Н.Крапивина, — постановка бессмертной комедии А.Островского «Волки и овцы», вероятно актуальной и для нашего времени, новой вещи В.Сигарёва и классической пьесы Б.Брехта «Господин Пунтила и его слуга Матти». Интересно, интригующе, по-крапивински широко и многообещающе. Ждём!

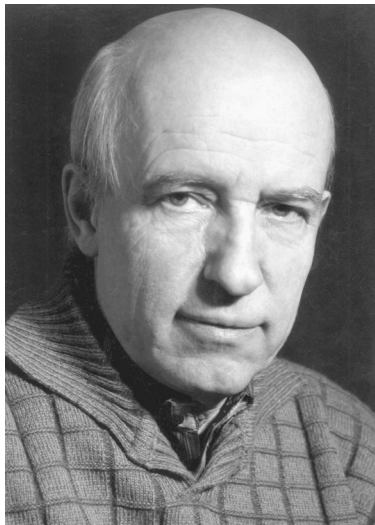
Вот такая это личность, такой человек, Николай Николаевич Крапивин. Счастливый человек, безусловно, если столько всего сделано и если, отметив 20 декабря 2006 года своё 65-летие, он с гордостью вспоминает прошлое, прочно укоренён в настоящем и смело глядит вперёд, в будущее, а там — новые пьесы, новаторские постановки, дерзкие замыслы... Кстати, этот год был урожайным на юбилеи: кроме крапивинского, на него выпали ещё 80-летие КНТ (желающих познакомиться с подробной биографией театра отсылаем к очерку «Коломенский МХАТ» в «Альманахе» за 1999 год) и 45-летие театральной студии.

Дарю недавнему славному юбиляру такие незатейливые, но искренние стихотворные строчки:

Кузен трёх чеховских сестёр,
Мудрец, охотник, ревизор.
Придёт без опоздания
Трамвай его желания!

В надежде, что сей «трамвай» будет исправно служить ему, «щукиному» сыну Николаю Крапивину, ещё столько да полстолько.

ЕГО НАЗЫВАЛИ КОРОЛЁМ ЭПИЗОДА



Анатолий Иванович Кузовкин родился 18 августа 1939 года в Москве. Осенью того же года переехал с родителями в Коломну, которая стала для него родной и близкой. Здесь окончил среднюю школу, а после трёхлетней армейской службы на Южном Урале — Коломенский педагогический институт, исторический факультет. С 1965 года и по сей день работает корреспондентом газеты «Коломенская правда».

Член Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, известный краевед. С 1973 года издаю более пятидесяти его книг, брошюр и буклетов о Коломенском крае и коломенцах.

Постоянный автор «Коломенского альманаха».

Одиннадцатого июня 2004 года на доме под номером 231/233 по улице Октябрьской революции появилась мраморная мемориальная доска: **«В этом доме в детстве и юности жил известный киноактёр, заслуженный артист Украины Лев Перфилов (1933–2000)»**. Так Коломна увековечила память нашего земляка, популярного киноактёра, заслуженного артиста Украины, которого известный кинорежиссёр С.С. Говорухин назвал «королём эпизода».

И эта высокая оценка — не объективный взгляд со стороны, она основана на опыте совместной работы. Яркий образ фотографа уголовного розыска Гриши Ушивина, прозванного товарищами «Гриша шесть на девять», созданный Львом Перфиловым (небольшая роль так называемого второго плана), не потерялся на фоне исполнителей главных ролей в многосерийном художественном фильме С.С. Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Кстати сказать, второплановые роли в этом фильме играли многие популярные талантливые артисты — Армен Джигарханян, Леонид Куравлёв, Александр Абдулов, Станислав Садальский и другие, и в этом великолепном актёрском ансамбле Лев Перфилов не затерялся, не растворился, блеснул своим талантом. Станислав Сергеевич Говорухин был очень доволен своим выбором и оценил работу Льва Перфилова в целом так: «Сотня непохожих ролей! И надо найти ключ к каждой. Сотня ключей, точных, потому что если в большой роли образ развивается постепенно и есть простор для актёра, то в

эпизоде надо быть снайпером. В короткие минуты действия вложить целый характер. В чём тут опасность? Опытный за большими ролями актёр хочет вложить в свой эпизод всё, что накопил. И под этой тяжестью фильм может перекошиться. Эпизод должен поднять главное, а не затенять его. Лев Перфилов тонко это понимает, умеет справиться с любым заданием. А ещё он умеет обогатить роль идеально найденной деталью... Перфилов — король эпизода».

Это суждение маститого кинорежиссёра было напечатано лет двадцать назад в украинском журнале «Новости киноэкрана». Здесь же, в этом номере, много добрых слов о Льве Алексеевиче Перфилове сказали кинорежиссёры Владимир Наумов, Евгений Матвеев, Николай Машенко, Геральд Бежанов, киноактёр Вячеслав Воронин.



Лев Алексеевич Перфилов

Перечисление кинофильмов, в которых снимался Лев Перфилов, займёт много места: ведь их более ста двадцати. Придётся преодолеть соблазн дать полный перечень кинолент и выделить лишь несколько наиболее значимых ролей.

Своим крёстным отцом Лев Перфилов по праву называл кинорежиссёра Владимира Наумовича Наумова. Это он пригласил артиста сняться в романтическом, героическом фильме «Павел Корчагин» (1956 г.). То была первая роль Льва Перфилова в кино. Он сыграл чистейшего по помыслам и поступкам человека, комсомольца-чеха Франца Клавичека, друга Павки. В качестве ассистента в создании того фильма принимал участие Николай Машенко. Спустя почти двадцать лет он, уже как режиссёр, приступил к работе над многосерийным телевизионным фильмом «Как закалялась сталь» и пригласил сняться в картине Льва Перфилова. Но роль предложил совсем противоположную той, что артист сыграл в первом фильме по роману Николая Островского. В беседе с Львом Перфиловым режиссёр сказал: «Нужно сыграть роль самого ярого врага Советской власти. И сыграть так, чтобы тебя возненавидел весь Советский Союз — ведь фильм снимается по заказу Центрального телевидения, и его будут смотреть во всех уголках огромной страны».

Так уж получалось, что в большинстве фильмов Льву Перфилову доводилось играть отрицательных героев: подонков, негодяев, мерзавцев, пьяниц, заклятых врагов страны, народа. В связи с этим у Льва Алексеевича не раз спрашивали о его «взаимоотношениях» со своими героями. На что актёр отвечал: «Чем больше я играю негодяев, тем чище становлюсь сам. Стараюсь ловко сыграть негодяя, подонка. Бывало, что и переигрываю главного героя. Зрителю запоминается отрицательный персонаж.



*Лев Алексеевич Перфилов
в роли моряка-офицера*

Во имя чего? Чтобы те, кто запомнит меня на экране, вовремя увидели такого же человека в жизни. Пусть это громкие слова, но такова моя гражданская позиция... А играть очень интересно, порой и не главную роль. Ведь в одном эпизоде можно показать целое явление, слой нашей жизни».

Однако с удовольствием играл и положительных героев, на первый взгляд простоватых, чудаковатых, но, если потребуется, способных совершить героический поступок. Таковы его герои в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Тройной прыжок “Пантеры”».

К сожалению, режиссёры до конца не использовали весь спектр таланта Льва Алексеевича Перфилова. Лишь в одном фильме он исполнил главную роль — в картине «Таврия». Действие происходит на Украине, во времена крепостного права. Перфилов сыграл молодого богатого повесу, которому всё дозволено, который, когда выдавали

замуж крестьянок, не пропускал случая пользоваться правом первой брачной ночи. В очередной раз барчук воспользовался этим, когда вышла замуж любимая горничная его матери. Жених пошёл на отчаянный шаг: убил негодяя, а затем и себя. Здесь Перфилов создал один из лучших в советском кинематографе образ героя с отрицательным обаянием. Но тот старый фильм давно уже никто не видел...

Многие другие кинофильмы, в которых снимался Лев Перфилов, время от времени появляются на телеэкранах. «Поединок», «Ветер» (кстати, некоторые эпизоды фильма снимались в Коломне), «Цыган», «Бумбараш», «Инспектор уголовного розыска», «Человек в проходном дворе», «Будни уголовного розыска», «Дни Турбиных», «Легенда о Тиле», «Волшебный голос Джельсомино», «Приключения Электроника», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Зелёный фургон», «Старая крепость», «Самая обаятельная и привлекательная», «Кин-дза-дза!», «Дубровский», «Витя Глушаков — друг апачей». После выхода фильма «Приключения Электроника», где Перфилов сыграл забавного гангстера, его коронные фразы — «Кто ударил шефа?!» и «Мы хотим видеть картины!» — вошли в нашу жизнь, стали почти крылатыми.

Многие, с кем Лев Перфилов работал на съёмочной площадке, отмечали такую особенность его таланта: он вносил дополнения в сценарий, дописывал биографии своих героев, придумывал новые эпизоды, импровизировал. В фильме «Место встречи изменить нельзя» Лев Алексеевич взял в руки аккордеон и исполнил любимую с детства песню: «Мы летим, ковыляя во мгле, мы идём на последнем крыле...». И этот эпизод очень органично вошёл в сюжет фильма.

Лёве не было десяти лет, когда из Коломенского военкомата принесли жуткий, убийственный по содержанию документ; в народе его называли «похоронкой». В извещении было сказано, что старший лейтенант 142-й стрелковой бригады Перфилов Алексей Павлович погиб в бою смертью героя 25 января 1943 года и похоронен в Ленинградской области. Так в одночасье Лёва и его младший братишка Юра стали сиротами, а их мать, Александра Ивановна Перфилова, — вдовой.

Отца Лёва любил и обожал. Тот работал неподалёку от дома, на патефонном заводе, начальником планового отдела, а Лёва учился в 6-й школе, которая находилась рядом с заводом. На всю жизнь запомнил, как до порога школы провожал его отец — красивый, высокий, с доброй улыбкой на лице.

Жили Перфиловы на центральной улице, носящей имя Октябрьской революции, бывшей Астраханской, которая прорезала город с северо-запада до юго-востока, от Московской заставы до Рязанской, в доме № 51 на первом этаже. Здание было поделено на две части, и на втором углу висел номер 53. В середине прошлого столетия улицу увеличили за счёт присоединения к ней Сандырей и Шоссейной улицы в Голутвине. Все дома заново пронумеровали и отсчёт повели с въезда в город, со стороны Москвы. Так дом, в котором жили когда-то Перфиловы, получил номер 233.

Артистические задатки проявлялись у Льва Перфилова со школьных лет. Вот что мне рассказали жившие в ту пору в соседнем доме сёстры Ильичёвы (такова была их девичья фамилия).

Антонина Георгиевна Казёнкина.

Лёва и я — одноклассники, но учились мы в разных школах. Я — в женской, 26-й, на Кузнецкой улице (ныне Уманская), а Лёва — в 6-й, мужской. Он



Лёва Перфилов с братом Юрой, мамой и отчимом

приносил нам, девочкам, приглашения на вечера в свою школу. И мы с удовольствием ходили туда. Был он худощавым, высоким не по годам. У него были пышные вьющиеся волосы, и почему-то всегда вихор торпорщился. Глаза огромные, нос крупный, но в общем симпатичный. Он был очень похож на своего деда, который работал на «Текстильмаше». Говорят, и на отца походил.

Тамара Георгиевна Шевлягина.

Я на пять лет помоложе Лёвы. Запомнилось, как он собирал ребят из соседних домов моего примерно возраста в сарай, который стоял у них во дворе, и устраивал представления. Там он сделал какой-то помост в виде сцены, занавески на проволоке повесил. Какие-то небольшие сценки показывал. Запомнилось, что уж очень у него выразительно фашисты получались. Я только потом, когда повзрослела, поняла, почему так это у него выходило: он вкладывал всю свою ненависть в изображение врагов, которые убили на войне его отца. С одной стороны, и смешно у него выходило, а с другой — умел пробуждать у нас чувство ненависти к фашистам.

Запомнился и вот такой случай. В наши дворы приходили играть ребята из домов напротив, в том числе мальчик Витя — друг Лёвин. И вот однажды Лёва говорит (вроде они поспорили из-за чего-то): «Вот сейчас я схожу к твоим отцу с матерью и узнаю, жадные они или нет». И юркнул в сарай. Вскоре вышел оттуда совершенно неузнаваемым: одет в потрёпанные штаны и рубашку, на голове разодранная кепка, лицо вымазано глиной и золой. В таком виде и отправился в дом своего друга. Мы все с нетерпением ждали его возвращения. И вот он появился, подошёл к Витьке: «Не жадные, вот хлеба и моркови дали». По всей вероятности, Лёву не узнали: так сумел он перевоплотиться...

Мама, Александра Ивановна, делала всё возможное, чтобы дети росли ухоженными, ощущали тепло и заботу. Постоянную помощь в воспитании ребят ей оказывала сестра, педагог Анастасия Ивановна Лазарева, у которой в сентябре 1941 года на Ладогe погиб 18-летний сын Леонид, курсант военного училища, выпускник коломенской школы № 9.

Шло время. Однажды на пути Александры Ивановны встретился brave офицер-артиллерист, подполковник Василий Лученко — человек добрый и заботливый. Младшему из братьев — Юре — дал свои отчество и фамилию. А Лёва, рано повзрослевший, рассудительный, горячо любящий отца, на предложение отчима решительно сказал, что гордится своим отцом-героем и в память о нём будет с честью носить и фамилию его, и отчество.

У Лёвы рано обнаружился абсолютный музыкальный слух. Тётя Настя подсказала мальчику записаться в хор Дома пионеров. И Лёва с удовольствием обучался пению под руководством Андрея Павловича Радищева, участника войны, человека, увлечённого музыкой, литературой и старавшегося привить этот интерес своим воспитанникам.

Летом 1948 года родилась идея побывать на поле русской славы — в Бородино. В походную группу отбирали лучших ребят из всех кружков Дома пионеров. В их число попал и Лёва Перфилов, перешедший в седьмой класс.

Тот поход был недолгим, но запомнившимся ребятам. Городская газета «Коломенский рабочий» 10 сентября рассказала об этом событии, отведя материалам чуть ли не всю вторую полосу. В подвальной статье руководитель похода А.П. Радищев нашёл нужным написать: «Обилие

впечатлений вызвало у ребят желание запечатлеть то, что они видели и слышали. Юные художники Женя Некрасов, Витя Разорёнов и другие сделали зарисовки здания музея и памятников. Многие участники похода вели дневники, в которых описали всё самое интересное, что они видели. «Теперь мы так хорошо представляем себе события 1812 года, точно сами были их современниками», — пишут в своём дневнике Л.Перфилов и И.Петров».

И на этой же странице помещена заметка «В Бородинском музее», которая подписана так: «Игорь Петров, ученик 8-го класса. Лёва Перфилов, ученик 7-го класса». Полностью привожу её текст.

Солнце клонилось к закату. Мы подходили к станции Бородино.

— Скоро ли Бородинское поле? — спросил Юра, наш юный художник.

— Скоро, скоро! — послышалось в ответ.

Юра нетерпелив. Ведь он хочет не только осмотреть, но и зарисовать поле, где произошла историческая битва.

Все участники похода были возбуждены. Разве можно оставаться совершенно спокойным, когда приближаешься к местам, где русские войска под руководством Кутузова, Багратиона, Барклая-де-Толли, Раевского решали судьбу России?

Мы подходили к памятникам, стоявшим в стороне от дороги, и с нетерпением ждали того часа, когда пойдём осматривать Бородинское поле.

Вот мы в Бородинском музее... Первый зал музея. Сразу стало тихо, и экскурсовод начал беседу. Наше внимание привлекли две фотографии самого музея. На одной из них мы видим здание музея таким, каким оно было до войны 1941—1945 годов. На другой фотографии: то же самое здание, но после ухода немцев. Эти фотографии не имеют ничего общего. На первой мы видим прекрасное здание, на второй развалины.

Теперь музей полностью восстановлен.

Дальше мы видим бюсты и портреты генералов, знамёна, мундиры, вооружение русских и французских войск.

Не менее интересно было и на Бородинском поле. Экскурсовод подробно объяснял все события, происходившие во время битвы, и мы ясно представили себе всю картину этого сражения.

Экскурсия была очень интересной.

Я попытался найти участников того давнего похода (ведь прошло уже почти полвека!). К сожалению, в январе 1997 года умер Андрей Павлович Радищев. Нет в живых Игоря Михайловича Петрова, инженера конструкторского бюро машиностроения. Девять лет назад скончался Игорь Владимирович Катьков, чьи снимки были опубликованы в том памятном номере «Коломенского рабочего». Но с тремя участниками похода побеседовал. Вот что услышал.

Лариса Михайловна Ларина. *Лёва был на год моложе. Запомнился, что очень весёлым был, компанейским. Старался развлекать всех в походе. Комик.*

Тамара Ивановна Трофимова. *У нас были нормальные детские отношения. Всё казалось нам в радужном цвете: хи-хи да ха-ха. А Лёва был весёлым. Анекдоты любил рассказывать. Отмочит какой-нибудь номерок, мы все покатываемся со смеху.*

Инженер-конструктор Коломзавода, член Союза дизайнеров России **Евгений Сергеевич Некрасов** (это его упомянул в своей статье А.П. Ради-

щев) нашёл маленький альбомчик, который брал с собою в поход. «Художником я по ряду причин не стал, хотя успешно сдал экзамены и был принят в Рязанское художественное училище. Но в детстве рисовал с увлечением. И вот сохранились наброски, которые я сделал на Бородинском поле. А на одной странице — незаконченный портрет Лёвы Перфилова. Я набросок этот сделал почему? Выразительное лицо у него было».

Великодушие и доброту Льва Алексеевича Перфилова непременно отмечали все, кто его помнит, — товарищи по кинематографическому цеху, друзья, родственники.

Судьба у Перфилова была далеко не безоблачной. Но он никогда не забывал, что он человек, а это, как утверждал писатель-классик, «звучит гордо». Своим поведением, отношением к людям Лев Алексеевич подтверждал верность афоризма.

Мама актёра, **Александра Ивановна**, в одной из бесед с журналистом подчеркнула: «Признаю сыновнюю порядочность, доброту, душевность, любовь к детям». У Л.А. Перфилова было своих пятеро детей да приёмный сын от третьего брака, который носит отчество и фамилию отчима.

Народный артист СССР **Евгений Семёнович Матвеев** рассказывал: «Так случилось в моей жизни, что после многих лет актёрской работы я вынужден был перейти в режиссуру. Вынужден потому, что на съёмках повредил позвоночник, два года был на инвалидности, да и врачи требовали, чтоб я сменил профессию. Режиссура для меня тогда, в 1956 году, была делом новым, тяжёлым, и, взявшись ставить “Цыгана”, я надеялся лишь на добрых людей, которые могли б мне помочь. Таким надёжным товарищем оказался Лев Перфилов. Он не только полностью вылепил для фильма своего Костю, принёс мне его готовеньким, а и помогал другим, бук-

315

ЕГО НАЗЫВАЛИ КОРОЛЁМ ЭПИЗОДА



Лев Перфилов с женой Еленой, братом Юрой, мамой и отчимом

важно пропал на съёмочной площадке. Лёва — верный товарищ, друг, что не так часто встречается в нашей «киношной жизни»».

В семье двоюродного брата Л.А. Перфилова, Владимира Дмитриевича Шепелева, вспоминают, что приезды Лёвы к ним в гости были счастливыми днями. «Когда мы жили ещё на Октябрьской улице, — рассказала жена В.Д. Шепелева, **Ирина Александровна**, — он обязательно встречался со своими товарищами, друзьями давних детских лет. И в новую квартиру на Пионерскую к нам приезжал. Очень ему вид из окна нравился: на сады, на Репинские овраги, на коломенские храмы».

Дочь Л.А. Перфилова, **Ирина Львовна Степанова**, вспоминает: «Отец был очень неприветлив, скромный по натуре человек, он всё старался сделать что-то доброе людям. Когда в 1990-е годы многие артисты Киевской киностудии, где он состоял в штате, остались без работы, он стал вести авторскую телепередачу, рассказывал об их нелёгких судьбах, чтобы как-то помочь им. Но кому-то из чиновников эта передача не понравилась, и её прикрыли. Отец тяжело болел, но оставался оптимистом до последнего часа, просил включить ему весёлую музыку, никогда не говорил о смерти... А вот о том, что очень хотел бы переехать из Киева в Коломну, в последнее время разговор заводил всё чаще и чаще».

Во время одного из последних посещений Л.А. Перфиловым Коломны Ирина пошла погулять с отцом по городу. Пришли в кремль, на сквер «Блюдечко», спустились к Москве-реке. Лев Алексеевич подошёл к воде, набрал горсть камешков и стал потихонечку бросать их, наблюдая, как расходятся круги. И так стоял в задумчивости долго. Дочь полюбопытствовала: «Пап, что с тобой?» И услышала в ответ: «О-о, Иришка, разве не о чем подумать?!»

316

* * *

«Горды мы тем, что здесь, на этой встрече, ещё один земляк увековечен» — эти слова друга детства Льва Перфилова, дизайнера, инженера Коломзавода Е.С. Некрасова можно поставить эпиграфом к торжественной церемонии открытия мемориальной доски. Специальное постановление на этот счёт издал глава города Коломны В.И. Шувалов. А выполнена она энтузиастами — членами художественного совета «У Николына-Посаде», который возглавляет краевед А.С. Арзуманов. В числе инициаторов было Коломенское отделение Ассоциации работников правоохранительных органов Российской Федерации.

Народу собралось много: и простые горожане, узнавшие о предстоящем из объявлений в газетах, по радио и телевидению, и представители администрации, культурных центров, средств массовой информации, и люди, хорошо знавшие Перфилова с детства.

Много интересного услышали собравшиеся.

Заместитель главы администрации города А.А. Мешканцов подчеркнул, что имя достойного сына России — Льва Алексеевича Перфилова — не случайно увековечено в родном городе именно сегодня, накануне государственного праздника — Дня России.

Трогательно-волнительным, с нотками грусти было выступление ветерана педагогического труда Т.Д. Сариковой.

— В детстве я вместе с семьёй — родителями и старшим братом Виктором — жила напротив Лёвы Перфилова, в Доме учителя, на первом этаже. Лёва был близким другом моего брата, они учились в одной школе № 6. Лёва часто



Лев Алексеевич Перфилов с друзьями и товарищами детских лет. Снимок сделан в Коломне во дворе дома, где он жил в 30–40-е годы

317

приходил к нам домой и действительно испытывал на моих родителях своё умение перевоплощаться. Мы в семье его очень любили.

Лёва увлёк брата в драмкружок. Они вместе участвовали в различных театральных представлениях. Помню, в одном из них Лёва играл женскую роль (школа № 6 в то время была мужской), а Виктор — роль гусара. И Лёва отлично справился с этой ролью, тем более что голос у него был мягкий, мелодичный, очень похожий на женский.

После окончания школы пути друзей разошлись. Я не знаю, встречался ли мой брат со Львом Перфиловым после окончания школы. Я в последний раз видела Лёву в конце 1950-х годов в Коломне. А потом мы следили за ним на экране и всегда очень радовались его новой роли.

Открытие памятной доски «королю эпизода» на его родине не стало сугубо коломенским событием. Свои приветствия прислали московские кинематографисты.

От Гильдии актёров кино России телеграмму подписали президент ГАКР заслуженный артист России С.В. Жигунов, первый вице-президент ГАКР, заслуженный деятель искусств Б.В. Токарев и генеральный директор ГАКР В.А. Гущина. Они написали:

«Пусть недолго, но мы были знакомы с замечательным актёром, потрясающим человеком Львом Алексеевичем Перфиловым. Он был одним из основателей Гильдии актёров советского кино, принимал активное участие в Международном фестивале кино “Созвездие” и Международном кинофоруме России, Украины и Белоруссии “Бригантина”. Мы помним этого весёлого, энергично-

го человека и искренне благодарим инициативную группу за открытие памятной доски на родине актёра».

Из Комитета по культуре Государственной Думы телеграмму прислал заместитель председателя комитета Александр Розенбаум:

«Накануне значительного события в культурной жизни не только для жителей Коломны, но и для всех российских поклонников актёра Льва Перфилова позвольте выразить инициаторам установки мемориальной доски искреннюю признательность за доброе дело».

А вот «индивидуальная» телеграмма.

«Организаторам, участникам и гостям открытия мемориальной доски Льву Алексеевичу Перфилову.

Сердечно рад приветствовать всех вас: инициаторов, организаторов, участников и гостей, обеспечивших и сделавших возможным создание и открытие мемориальной доски замечательному человеку, заслуженному артисту Украины Льву Перфилову.

Спасибо всем за огромный организационный труд и искреннюю заботу о памяти артиста и сохранении её для потомков. Отраднo знать, что есть бескорыстные энтузиасты, готовые на такие благородные, но, увы, такие редкие в наше время поступки.

Мне очень приятно, что довелось общаться и трудиться рядом с таким человеком.

Я благодарен организаторам и участникам за добрую память о Л.А. Перфилове, желаю вам дальнейших успехов, мужества, стойкости, терпения и веры в правоту и необходимость своего труда.

С наилучшими пожеланиями

Станислав Говорухин».

Приятно было коломенцам получить такие отзывы о земляке.

С неподдельным интересом было выслушано выступление родного брата Льва Алексеевича Перфилова, приехавшего из Москвы, актёра Российского академического молодёжного театра, лауреата Государственной премии России, заслуженного артиста РФ **Юрия Васильевича Лученко**.

— Наш отец погиб в начале сорок третьего под Ленинградом. Мы жили в Коломне, в эвакуацию не уехали. В городе и окрест него стояло много воинских частей: ведь Коломна в годы войны была центром формирования артиллерийских частей и соединений. Один из офицеров влюбился в нашу маму. Когда мама вышла замуж, Лёвка посчитал её поступок предательством по отношению к отцу. Он страшно невзлюбил отчима и уже тогда, будучи ребёнком, проявил характер: оставил фамилию отца. А меня отчим усыновил. Поэтому у нас с братом разные отчества и фамилии.

Лёвка с ходу поступил в «Щепку» — Московское училище имени Щепкина, был самым молодым на курсе. После его окончания работал в театрах, на киностудии имени Довженко в Киеве. Там и жил последние годы. В Киеве его и похоронили. Но он последнее десятилетие мечтал вернуться в Россию, мечтал вернуться в Коломну.

Теперь Лев Алексеевич Перфилов навсегда возвратился в дом своего детства...

КУПАЛІНКА





Свято-Покровская церковь в г. Молодечно. Фото В.Страж



Герб города Молодечно

Михась Козловский — белорусский краевед, издатель, публицист. Родился в 1960 году в деревне Рябиновая Молодечненского района Минской области.

В настоящее время работает библиотекарем Молодечненской районной центральной библиотеки им. Максима Богдановича. Является руководителем литературного объединения «Купалінка», редактором историко-литературного журнала «Купфэрак Віленічыны». Пишет на белорусском языке.

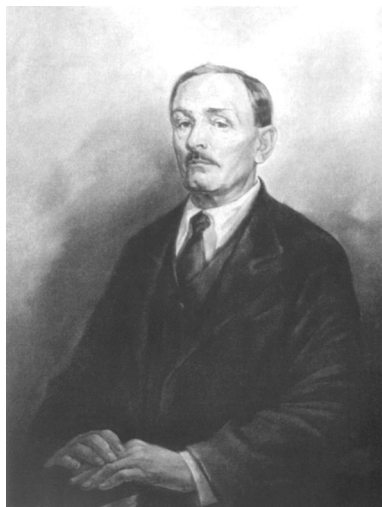
Автор многочисленных исторических и литературных статей в республиканской и местной печати. Составитель антологии литературы Молодечненщины «Я тут бачу свой край...» (2005). Автор книги исторических очерков и эссе «Галасы разбуджаных птушак» (2006). Живёт в г. Молодечно.

Михась КОЗЛОВСКИЙ

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Молодечненщина... Необыкновенно красивый уголок родной белорусской земли. И красота та всегдашняя, в любую пору года. Будь это метельная и снежная зима, деликатно нежная весна, солнечно золотистое лето или скучная и лиственная осень. Её холмистые уголки плавно переходят в равнинные поля, тихие и задумчивые речки соседствуют с загадочными и таинственными прудами и озёрами, а величественные леса, которые похожи на старинные готические храмы, дружелюбно смотрят на разбросанные поблизости деревни и городки. А по обе стороны старинных трактов и дорог, по которым отправлялись в свет за наукой наши далёкие предки, шумят золотистыми волнами хлеба и удивленно моргают пронзительно-синими глазами васильки — эти вечные символы родной Беларуси.

Мужественной и героической была эта земля в прошлом. Много раз колесницы войны грохотали по её территории. То высокомерный швед решал свои дела с Москвой, то надменный Наполеон двигал свои полчища на Россию, всегда ей первой доставалось. Не осталась Молодечненщина в стороне и от освободительных восстаний, которыми руководили Тадеуш Костюшко, Якуб Ясинский, Кастусь Калиновский. Поддерживала восставших и деньгами, и провиантом, и людьми. Часто становилась она и местом их последнего упокоения. Местом их памяти и почитания. К примеру, в Плебани, на старом католическом кладбище, спят вечным сном повстанцы времён Калиновского. Стоит над их могилой красивый памятник, а вековые деревья рассказывают им дальнейшую сказку жизни. Сказку будущего.



*Янка Купала. Художник
Ю. Герасименко-Жизневский*

Грозным ураганом пронесли по территории Молодечненщины и две последние мировые войны. Смерть, ужас, разрушение принесли они жителям этой земли. Но они выжили, выстояли и победили. Назло страху, безверию и отчаянью. Потому что знали, что эта земля дана им Богом, иной у них нет, да, вероятно, она и не нужна.

Память об этих исторических событиях навеки осталась жить в старинных городищах, густо разбросанных по всей её территории, разрушенных замках Молодечно и Радошкович, в седых курганах, под которыми спят мужественные защитники этой земли, в величественных памятниках солдатам Великой Отечественной войны.

Но лучшая память этой земли — люди, их вечный и бессмертный труд. Потому что

это именно они пахали и засеивали поля, выращивали сады, строили красивые здания. Слагали стихи и песни, создавали уникальный, удивительный фольклор, в который вкладывали свою чистую, нежную душу. Они же создали и величественное здание белорусской литературы и культуры.

322

И звездой первой величины Молодечненщины, её вершиной и славой является Янка Купала, который родился 7 июля 1882 года в деревне Вязынка. Потом он неоднократно бывал на своей дорогой родине: то навещал своего друга Андрея Посоха в деревне Городилово, то какие-то не-



Вязынка — место рождения поэта. Линогравюра Миколы Кунавы

отложные дела приводили в Яхимовщину или деревню Городок. Именно здесь, в Яхимовщине, Янка Купала написал свои бессмертные поэтические шедевры «Перед висельницей», «Там», «Не грусти», «А кто там идёт?», «Что ты спишь?» и другие. Здесь родился и его пламенный призыв «До спаць! Паўстаньце грамадою».

Молодечненщина помнит и чтит имя своего знаменитого земляка. В Радошкевичах и д. Вязынка установлены величественные памятники народному Песняру, его имя носит самое крупное в районе сельхозпредприятие и улица в городском посёлке. Свидетельством самого искреннего уважения к великому Купале является открытие в 1972 году мемориального комплекса в Вязинке и филиала Литературного музея Янки Купалы в деревне Яхимовщина.



*Томаш Зан. Художник
В.Лазовский*

руководителей национально-освободительного движения в бывшей Западной Белоруссии, талантливый

математик и композитор Семён Рак-Михайловский родился в деревне Максимовка недалеко от Радошкович. Дорогами Молодечненщины ходили и другие деятели национальной культуры. Это и Симон Будный — мыслитель, печатник и просветитель, который жил и работал в д. Хохлова, и один из основателей национальной прозы Ш.Ядвигин (А.Левицкий), и М.Богданович, который летом 1911 года в д. Ракутёвщина в усадьбе Вацлава Лычковского создал свои поэтические циклы. На Молодечненщине часто бывали композитор Михаил Огинский, поэты Викентий Дунин-Марцинкевич, Францишек Богушевич, Якуб Колас, общественный деятель Бронислав Тарашкевич, живописец Язеп Дроздович.

В городе Молодечно жили и работали историк и литературовед Микола Ермолович, поэт и переводчик Петро Битель, прозаик Микола Копылович. Долгое время здесь жил Аркадий Чернышевич, один из лучших современных писателей, создатель прекрасных романов «На рубеже веков» и «Рассвет». Молодечненщина является родиной известного драма-

Молодечненская земля дала миру великое множество талантливых писателей, художников, краеведов и учёных. Здесь родился Томаш Зан — известный учёный и поэт, создатель первого в царской России минералогического музея; родина учёных-натуралистов братьев Бенедикта и Владислава Дыбовских — поместье Адамарин около деревни Дуброво; один из



*Ш.Ядвигин. Художник
И.Пою*



*Михаил Огинский.
Художник В.Лазовский*



*Бронислав Тарашкевич.
Художник И. Смольяков*

вого председателя Белорусского краеведческого товарищества нашего времени, известного краеведа Геннадия Кохановского. В

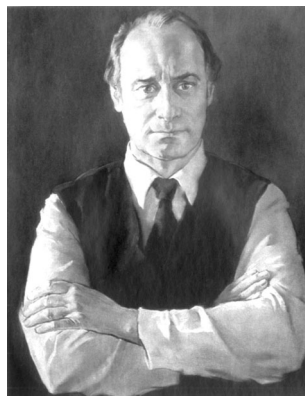
молодечненских учебных заведениях учились Александр Тышинский и Леонард Ходька, Михась Чарот и Леонид Свен. Эта земля стала для них родной, дорогой и желанной. Землёй, которая являлась для многих путеводной звездой в самостоятельную жизнь, источником вдохновения и наилучших надежд. Потому что Молодечненщина закалила их жизненно, сделала личностями, вселила веру в свои силы и научила жить с любовью к родной земле.

В последние годы город Молодечно становится одним из центров культуры Минщины. Здесь проводятся традиционные республиканские фестивали белорусской песни и поэзии, мастеров театрального искусства «Маладзечанская сакавца», плодотворно работает литературное объединение «Купалінка», которое продолжает богатые традиции литературного прошлого и тем самым думает о будущем, о своих продолжателях.

турга Ивана Козела, литературоведа и поэта Рыгора Семашкевича, прозаика Янки Голубовича и многих других. С нашей землёй связан творческий и жизненный путь доктора исторических наук, пер-



*Микола Копылович.
Художник Г. Селедец*



*Геннадий Кохановский.
Художник
Ю. Герасименко-
Жизневский*

Перевод с белорусского автора

Лидия Гордынец — белорусская поэтесса. Родилась в 1952 году в деревне Августово Воложинского района Минской области. Окончила Минский кооперативный техникум. Работала на разных должностях в сфере торговли города Молодечно. Член литературного объединения «Купалінка», что работает при «Маладзечанскай газеце». Пишет на белорусском языке.

Стихи её печатались на страницах «Літаратуры і мастацтва», «Белорускай Нівы», «Маладзечанскай газеты», «Куфэрка Віленічыны», коллективного сборника «Погляды». Она является автором сборника стихов «Саламяны капялюшык» (2004). Живёт в городе Молодечно.

ПЕСНЕЮ РИФМА ПРИДЁТ

* * *

Дивная музыка царственной осени
Вновь мне уснуть не даёт.
Вновь карандаш ко мне в руки напросится.
Песнею рифма придёт.
Тихо за домом скрипка играет,
Лунные блики в окне.
Ох ты, красавица, ох, дорогая,
Сердце встревожила мне.
Вечером серым золото стелешь...
Как мне прожить без тебя!
Утром цветною встретишь метелью
Ты на крылечке меня.
Гостьей в мой домик сама ты попросишься,
Скрипочка вновь запоёт...
Дивная музыка царственной осени
Долго уснуть не даёт.

Поздняя ягода

Скатертью белой снежная заметь
Стелет полей тишину.
А у дороги факелом ярким
Кустик калины взмахнул.
Капли в снегу этих ягод осенних —
Жар посредине зимы.
Ветер калину тронет несмело
Вздохом нежданной вины.

Не отмахнуться мне от напасти,
Вот он, тот хмель забытья, —
Поздняя ягода, позднее счастье,
Поздняя песня моя.

* * *

Там, где во травах звёздочка сгорала,
А лунный свет стекал в луга как мёд,
Под чебрецовым спала покрывалом
Дочь августа — разнеженная ночь.
Ей колыбель само сплетало лето,
Во ржи шептали сказку васильки,
И затихали трепетные ветры
Под сонное течение реки.
Ночь спала, сладко спала недотрога,
Но вышли в путь измена и обман.
Во тьме ночной бежала вдаль дорога
В сентябрьский первый, утренний туман.
Там, где во травах звёздочка сгорала,
А лунный свет стекал в луга как мёд,
Под чебрецовым спала покрывалом
Дочь августа — разнеженная ночь.

Колыбельная

Ночь пришла издалека,
Вновь в садочке тихо.
Там качала воробья
Мама-воробьяха.
— Спи-усни, сыночек мой,
Все уснули детки.
Дал Бог нам с тобой покой,
И цветку, и ветке.

И луну уложат спать
Песни тихой речки.
Завтра будем подбирать
Крошки у крылечка.

Всех разбудит свет зари —
Птиц и пчёлоч в улье.
Спи, сыночек, крепко спи,
Люли, люли, люли.

Перевод с белорусского автора

Таисия Трофимова — белорусская поэтесса, переводчик, журналистка. Родилась в 1955 году в деревне Маньково Слуцкого района Минской области в семье учителя белорусского языка и литературы. Окончила Минское педучилище, Московский университет искусств, факультет журналистики Белгосуниверситета. Работала воспитателем в ПТУ № 87 города Молодечно, методистом в Центре эстетического воспитания, социальным педагогом в Молодечненском музыкальном училище. Член Союза журналистов (1994) и Союза писателей Беларуси (2001). Песни на слова Т.Трофимовой звучали на республиканских и международных фестивалях песни и поэзии, вошли в золотой фонд белорусской эстрады. Пишет на белорусском языке.

Автор поэтических сборников «Усміхнуся ветрам» (1998), «Зёлкі ад пакут» (1988), «Паспелі вішні» (2005). Живёт в городе Молодечно.

ПОСПЕЛИ ВИШНИ

* * *

А мог бы мимо прошагать,
А мог бы вовсе не заметить.
И день, как сотни дней, опять
Мгновенно канул бы в столетье.

Кто вы? Кого благодарить,
Что в январе пахнуло летом?
Стихи спешу вам подарить,
Хоть так непросто быть поэтом.

Мелькают лица второпях,
Все одинаково похожи.
Ты что-то значишь для меня,
А мог бы просто быть прохожим.

В душе моей остался след —
О вас не думать невозможно.
А вдруг знакомый силуэт
Мелькнёт в толпе неосторожно...

Поспели вишни

*Учителю белорусского языка и литературы,
моему отцу Ивану Павловичу Янучку*

Среди стихов и писем непророчих,
Ещё закрутит их круговорот,
Нашла листок — отца красивый почерк,
Под ним число... — мой юбилейный год.

«Паспелі вішні, прыязджай, дачушка»...
Держу я трепетно письмо в руках.
Меня ласкал он, покупал игрушки,
И перед ним в долгах я, как в шелках.

Читаю много в почерке знакомом
О нашей хате, что в конце села,
И детство моё помню я медовым,
Хоть часто и бесхлебица была.

Играл с азартом на гармонии Гришка.
Все шестеро мы подпевали в лад.
Мы вырастали с песнею и книжкой.
Жаль, время не вернется назад.

«Язміну куст бабуля пасадзіла», —
Читаю я из-под его пера.
Куда б меня дороги ни водили,
Мне не хватало нашего двора.

Летят воспоминанья лентой-стружкой...
Как зацветали яблони весной.
«Паспелі вішні, прыязджай, дачушка...»
Как много счастья в строчке-то одной!

То дерево я не забыла вовсе,
Где аиста встречала детвора...
Так быстро проплывают зимы-вёсна,
И кажется, всё было лишь вчера.

Парное молоко подносит мама...
Мне б целовать сегодня мамин след.
Росли мы то послушны, то упрямы,
Из гнёзд своих мы вылетали в свет.

По одному, как те же аистята,
Взмахнули крыльями и — им летать...
Живёт один отец, пустая хата.
Он нас готов всегда с дороги ждать.

Январь... Светает... Холодно... Морозно...
Сегодня еду! Завтра, может — поздно...

Перевод с белорусского автора

ДУХОВНАЯ
НИВА





Храм Иоанна Богослова



Владимир Николаевич Крупин — известный прозаик и публицист. Родился в 1941 году в с. Кильмезь Кировской области. Блестящее художественное мастерство, виртуозное владение стилем, социально-философская острота его произведений позволяют назвать его одним из лучших современных писателей. Миссию русского художника видит в том, чтобы бороться «за воскрешение России... за чистоту и святость Православия».

Будучи главным редактором журнала «Москва», создал раздел «Домашняя церковь» — единственный до сих пор в «толстых» литературно-художественных журналах. Активно участвует в православных изданиях. Много делает для воспитания в детях любви к христианской вере — составил «Православную азбуку», «Детский церковный календарь», сборник «Русские святые».

Живёт в Москве.

Владимир КРУПИН

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ, ПЕРВОУЧИТЕЛИ СЛАВЯНСКИЕ

Мы пишем какими буквами? Латинскими? Нет. А какими? Греческими? Нет. Какими же? Славянскими. Мы пишем на кириллице. А слово «кириллица» откуда? Оно от имени *Кирилл*.

Братья Солунские

Солунь — крепость и обитель Православия времён раннего христианства и Средневековья. Отсюда, из ныне греческого города Салоники, что в бухте у полуострова Халкидики, родом был небесный покровитель русского воинства, один из любимых святых России — святой великомученик Димитрий Солунский. Отсюда же и великие братья солунские — Кирилл и Мефодий.

Солунь в Греции, но братья не были греками, они из семьи болгарского воеводы. Их было семь братьев: Мефодий самый старший, а Константин (Кирилл — его монашеское имя) — самый младший.

Мефодий пошёл по стопам отца, стал военным, служил в княжестве Славиния, бывшем под греческим управлением. Но войско Славинии было славянским. Здесь Мефодий дослужился до звания воеводы и был им десять лет. Но стал он тяготиться суетой житейской. Он всегда был набожным, много молился, радости мира, забавы молодёжи не привлекали его. Он добивался отставки и действительно ушёл со службы. Никогда не бывши женатым, он принял монашеский постриг, и не где-нибудь, а на легендарной со времён античности горе Олимп.

Младший брат тоже шёл молитвенным путём. Блестяще учился в Константинополе. Вместе с ним за партой сидел будущий византийский император Михаил, а в числе преподавателей был Фотий, будущий патриарх Константинопольский.

Интересно, что его ещё в школе прозвали Константином Философом.

Бегство и возвращение

Конечно, такого прекрасного ученика не хотели отпускать учителя. Он принял сан иерея и получил должность хранителя патриаршей библиотеки при храме Святой Софии. Это было очень высокое назначение для столь молодого человека. Но Константин пренебрёг всеми благами и попросту бежал в один из дальних монастырей на Чёрном море. Его разыскали и вернули. И назначили преподавателем философии в высшей Константинопольской школе.

«Во Святой Троице солнечный круг есть подобие Бога Отца. Как круг не имеет ни начала, ни конца, так и Бог — безначален и бесконечен. Как от солнечного круга происходит светлый луч и солнечная теплота, так от Бога Отца рождается Сын и исходит Дух Святой... Солнечный луч, просвещающий всю Вселенную, есть подобие Бога Сына, рождённого от Отца и являемого в сем мире, солнечная же теплота, исходящая от того же солнечного круга вместе с лучом, есть подобие Бога Духа Святого... И как солнце, состоящее из трёх предметов: круга, луча и теплоты, не разделяется на три солнца, так и Пресвятая Троица, хотя имеет три лица: Отца, Сына, Святого Духа, — не разделяется Божеством на три бога. Но есть Один Бог», — учил Константин Философ.

332

Мудрость (а слово «философия» и означает «любовь к мудрости») и образованность Константина были таковы, что он был выдвинут от лица православных на публичный диспут с еретиками-иконоборцами, то есть с теми, кто не признавал святых икон. Константин победил в споре вождя еретиков Анния.

Затем новый диспут, новое сражение за чистоту веры православной. На сей раз с сарацинами.

Все эти годы братья держали связь, знали друг о друге. И при первой возможности Константин удаляется к Мефодию, на Олимп, в место обитания прежних языческих богов, занятое православным монастырём.

Константин, в отличие от брата, только на Олимпе начинает заниматься славянским языком. До того времени он занимался греческим, латынью, еврейским — теми языками, на которых была сделана надпись над распятым Христом: «Иисус Назорей. Царь Иудейский».

В монастыре на Олимпе были в основном славяне. И хотя службы шли на греческом языке, проповеди читались на славянском. Да и повседневное общение было на славянском — ведь рассказ ведётся о создателях славянской азбуки. Авторы такого алфавита должны были знать язык до самых его глубин. И они изучили многие тонкости языка.

«К неразумным хазарам»

Не всегда же вопросы межнациональных отношений решались огнём и мечом. Сколько угодно примеров мирного разрешения конфликтов.

Византийскую империю на севере тревожили племена хазар-язычников. Именно к ним были отправлены оба брата с проповедью христианской веры.

И направил их не кто-то, а сам император Византии. Это говорит о том, что братья были знамениты своей учёностью и набожностью не только на Олимпе.

Достигнув в 858 году Корсуни (ныне окраина Севастополя), братья оставались для изучения и русского, и хазарского языков. Свет христианства уже проникал на Русь, и там в IX веке уже была письменность. Известны так называемые письма черноризца (монаха) Храбра. Константину и Мефодию принесли Евангелие и Псалтырь, написанные по-русски. История не сохранила имени человека, принёсшего книги. Говорят, им был самарянин, живший по соседству с братьями. Желая испытать образованность и ум Кирилла, он и принёс ему книги, написанные по-русски. Не ведая незнакомого ему языка, обратился Кирилл к Господу, испросил у него дар чтения и понимания неизвестных ему букв (ныне о них говорят как о глаголической азбуке). Произошло чудо: начал читать солунский монах. «Воистину, верующие во Христа приемлют и благодать Святого Духа!» — воскликнул самарянин.

В прениях с иудеями и мусульманами братья одержали победу. И ещё несколько дел благих они совершили: нашли мощи святого Климента — священномученика, папы Римского, доставили останки в Константинополь, а также окрестили около двухсот человек из местных жителей.

Порядок букв — мироздания музыка

Они вернулись в столицу, и их разлучили. Мефодий получил направление в монастырь Полихрон, где стал игуменом, а Константин остался в столице.

В 862 году к императору пришли послы славянского князя Ростислава из Моравии и стали жаловаться на притеснения со стороны немцев. Те заставляли их молиться на латыни и учиться на немецком языке. Ростислав просил прислать учителей, которые могли бы нести Слово Божие на славянском языке.

Конечно, кому ещё можно было поручить дело просвещения славян, как не Константину, который долгие годы занимался славянским языком. Император пригласил Константина и сказал: «Необходимо тебе идти к славянам, ибо никто лучше тебя это не выполнит». Константин просил, чтобы брат Мефодий помог ему.

С постом и молитвой приступили братья к работе. Славяне Горазд, Климент, Савва, Наум и Агляр помогали братьям составлять славянскую азбуку.

Дело составления азбуки — наитруднейшее. Стали Кирилл и Мефодий расставлять буквы будущего славянского алфавита в, казалось, привычном порядке — так, как это было до них в латыни. Многие буквы были взяты Константином из греческого унциала. И поняли братья, что не хватает таких знаков, которые бы точ-



Кирилл и Мефодий переводят книги на славянский язык. Радзивиловская летопись. XV в.

но соответствовали знаковому (фонетическому) составу славянских языков и наречий. Новой азбуке не хватало воздуха, свободного дыхания родных песен и гор, сказаний и залитых солнцем лугов. Нужны были новые начертания, иные — маленькие, ясные рисунки-буквы. Таких начертаний не было ни в одной другой азбуке. Поэтому был изобретён целый ряд неповторимых буквенных написаний. И азбука зазвучала совершенно по-новому: по-славянски напевно и широко, звонко и привольно. Это сейчас легко и привычно проговорить: «А, Б, В, Г, Д» и так далее.

Но почему буквы встали именно в таком порядке, почему имеют именно такое написание — мало кто задумывается. Возможно, в самом порядке букв заложен какой-то иной, неземной смысл? Иногда вспоминают легенду, будто славянская азбука явилась одному из братьев во сне. Может, сам строй славянской азбуки был дан славянским народам самим Создателем?

Славянская азбука и богослужебные книги были переведены на славянский язык в 863 году.

Злоба епископов

Братья служили в Моравии на славянском языке. Это вызывало злобу католических епископов, которые совершали в моравских церквях службу на латинском языке. Конечно, они теряли и паству, и доходы. Но не могли же они запретить окончательно славянский язык. Тогда они решили запретить богослужение на славянском языке. Они выставили в доказательство своего запрета то, что надписи на Кресте Иисуса были только на латинском, греческом и еврейском.

Константин отвечал: «Разве не для всех народов светит солнце? Разве не для всех людей идёт дождь? Разве не равны перед Господом все смертные? А вспомните, как говорил псалмопевец Давид: “Пойте Господеву все земли, хвалите Господа все языки, всякое дыхание да хвалит Господа”. И в Святом Евангелии сказано: “Шедши, научите вся языки”». Побуждённые в споре епископы ещё более озлобились и подали жалобу в Рим, в Ватикан.

Язык — главное богатство каждой нации. Язык дороже всех природных недр. Он — единственное, что отличает человека от животных. Достаточно вспомнить, что Иисус Христос является Словом, воплотившимся по Слову Отца Небесного. Знаменательно и начало Евангелия от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», — и становится ясно, насколько высоко ставится слово. И как бережно надо относиться к слову.

Братья были вызваны в Рим, к папе Николаю I на суд. Отслужив напутный молебен, они отправились в опасную дорогу. С собою были взяты мощи святого папы Климента. Настроенный немецкими епископами против братьев, папа Римский Николай I внезапно скончался, на его место заступил Адриан II. Он же, в отличие от предшественника, отнёсся к братьям уважительно, встретил их с почестями — лично выехал за город со свитой.

Константин поднёс в дар папе Евангелие и другие книги на славянском языке. Папа в знак уважения к святым текстам велел положить их на престол храма Святой Марии. Мало того, он утвердил богослужения на славянском языке. И уже вскоре в нескольких храмах Рима, там, где собирались славяне, начались службы по книгам, привезённым братьями. Слова Священной литургии раздались там, где до того звучали только латынь и католическая месса.

Кончина Константина

Было тогда Константину сорок два года, когда он почувствовал приближение смерти. Некоторые источники высказывают догадку, что он был отравлен медленно действующим ядом. Он принял схиму с именем Кирилл. Через пятьдесят дней после этого он отошёл к Господу. Мефодий умолял папу разрешить увезти тело брата для погребения в родной земле. Но папа приказал положить мощи святого в церкви Святого Климента. Вскоре по Риму разнеслись известия о чудесах исцелений, происходящих от мощей.

Мефодий находился при мощах брата до тех пор, пока папа Римский Адриан II не рукоположил его в епископы Моравии и Паннонии.

Заслуга Мефодия состояла в том, что со временем древнейшим литературным славянским языком стал старославянский. В его основу лёг язык солунских славян, возведённый в ранг литературного книжного языка. Этот диалект воспринял грецизмы, моравизмы и иные влияния. С XI века он стал всё чаще приобретать в Болгарии, Сербии, на Руси и в других землях местные черты. Старославянский (церковнославянский или древнеславянский) язык был межславянским. Он оказал большое воздействие на русский литературный язык.

В Велеграде

Столицей тогдашней Моравии был город Велеград. Это княжество находится в центре Европы. Его проезжали многие славянские народы: хорваты, далматы, чехи. Всех их с любовью принимал моравский епископ Мефодий. В 871 году он собственноручно крестил чешского князя Боривоя, его супругу Людмилу, святую, высоко чтимую поныне чешскими православными, и не только чешскими. Имя «Людмила» всегда было любимо в славянских странах. В самой же Чехии он ввёл славянское богослужение. За это он много претерпевал нападения от иностранных миссионеров. Они настроили против Мефодия немецкого императора и зальцбургского архиепископа.

Последовала ссылка в Швабию на два с половиной года. По существу, это была даже не ссылка, а настоящее тюремное заключение: святой Мефодий не мог проповедовать, не имел возможности служить в церкви. Вся его жизнь была сплошным страданием. Он стойчески, с мужеством перенёс швабский период своей жизни.

В 874 году его освободили по распоряжению папы Римского, теперь уже Иоанна VIII.

Новые гонения

Крестил Мефодий также одного польского князя. А что означает крещение князя? Означает, что и его подчинённые, его слуги, воины, земледельцы тоже окрестятся. Это ли не повод для католических епископов вновь ополчиться на архиепископа Мефодия?

На сей раз гонения были посерьёзнее. Мефодия обвиняли, что он не принимает римское учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына (так называемое филиокве). Мефодия вызвали в Рим. Но его высокое духовное состояние, его знания и, конечно, заступничество за него брата Кирилла, мощи которого он посетил в первый же день, помогли Мефодию выстоять во всех нападениях на него ватиканских кардиналов.

Недолго оставалось жить святому Мефодию. В последние годы он переводил на славянский язык Ветхий Завет, а также Номоканон. Это пра-вила святых отцов Православной Церкви.

Ему, как и брату Кириллу, был открыт день кончины. Он призвал к себе учеников, указал на Горазда и назначил его своим преемником.

Отпевали святого Мефодия на трёх языках: славянском, греческом и латинском. Было это в 885 году.

Древнейшие службы святым относятся к XIII столетию. То есть значе-ние подвига Кирилла и Мефодия хорошо понимали в древности, при-числяя братьев к лику святых.

Русская Православная Церковь установила торжественную память свя-тым в 1863 году, в день 24 мая по новому стилю. В России было создано Кирилло-Мефодиевское общество. Его деятельность ныне продолжается Международным фондом славянской письменности и культуры. День 24 мая счастливо пришёл на окончание учебного года. Ко дню святых братьев в школах пишутся сочинения о русской истории, русской культуре. Высту-пают фольклорные ансамбли, мастера народных промыслов показывают свою продукцию, открываются выставки народного костюма, кулинары готовят блюда национальной кухни, художники представляют свои рабо-ты. Словом, всё оживляется под воздействием Слова, о котором идёт речь.

Причём святые Кирилл и Мефодий не просто святые, а равноапостоль-ные. Вот как высоко оценила их подвиг Православная Церковь.

Прислушаемся к мерной поступи славянской речи, попробуем по-нять церковнославянский текст, говорящий о значении солунских бра-тьев: «Ими бо начаса на сроднем нам языке словенском Литургия Боже-ственная и все церковное служение совершатися, и тем неисчерпаемый кладезь воды текущая в жизнь вечную».

Основные события жизни

Около 805–815-х годов — в городе Солунь (по-гречески Салоники) родился Мефодий.

827 год — родился Константин.

858 год — поездка к хазарам-язычникам в Корсунь, в Крым. Обрете-ние мощей папы Римского Климента. Крещение двухсот человек.

862 год — поездка в Моравию, где читаются проповеди на славянском языке. Принесённые братьями книги на славянском языке вызвали не-приятнь латинского духовенства. Вызов в Рим, на суд к папе Николаю I. Папа Римский Адриан II разрешает славяноязычное богослужение.

863 год — Константин и Мефодий создают славянскую азбуку.

869 год — принятие Константином схимы с именем Кирилл. Кончина святого равноапостольного Константина (в монашестве Кирилл).

Около 870 года — посвящение Мефодия в епископы Моравии и Пан-нонии.

871 год — крещение Мефодием чешского князя Боривоя и его супру-ги Людмилы.

Около 871–872 годов — ссылка Мефодия в Швабию.

874 год — отзыв Мефодия из швабской ссылки папой Римским Иоан-ном VIII.

879 год — новый вызов Мефодия в римский суд. Оправдание перво-учителя славянского. Переводы Мефодием Номоканона и библейских книг на язык одного из южнославянских, болгарских, наречий.

885 год — кончина святого равноапостольного Мефодия.



Священник Андрей ЛОГВИНОВ

В 2001 году в Москве вышел сборник стихов священника Андрея Логвинова «Крестный ход». «О Крестном Пути России сказано немало, а предстоит осознать куда больше, — говорит автор. — Но есть ещё — Крестный Ход. Это когда мы не ждём новых ударов судьбы, а смело выходим им навстречу, развернув хоругви души, обозначив до конца, кто мы есть. И дай Бог каждому из нас обрести свой крестный ход, который создаёт мужественное преодоление, высекая искры неожиданной высокой радости».

Лирика и философия соединились с молитвой и созерцанием для глубинного поэтического осмысления жизни человеческой души в России.

КРЕСТНЫЙ ХОД

НАЧАЛО ПОСТА

**Россия — черница
На первой седмице поста.
Взмывает, как птица,
Святая её красота.**

**Как в пору молений
Меняется русский народ!
Припав на колени —
Он в рост богатырский встаёт.**

**Канон покаянный,
Хотя бы на вечер, на миг,
В душе окаянной
Меняет личину на лик.**

**Вседневного быта
Слезает с неё шелуха.
Слезами омыта,
Она первозданно тиха.**

**Как будто бы оптом
Собрали мучительный грех —
И попран он, втоптан
В чернеющий мартовский снег.**

Все — братья и сёстры!
Все в звёздах церковных свечей!
В посту даже воздух
Живительней всяких речей.

ОБЛАКА НА ВЕРБНОЕ

В горячем весеннем саду
ломал я для праздника вербу.
А в ветреном небе носились
резвые облака.
Но видно, так лихо
завёл я псалом,
что мы допевали его уже вместе —
белые облака в синем небе,
белое облако моей бороды
и крохотные пушистые облачка на ветках.

БЕЗРАБОТИЦА

Сидят у церкви мужики,
и вид у всех у них помятый.
И проходящие бабульки
отстёгивают им копейки
от тощей пенсии своей.

* * *

Так дано много!
Так легка трата:
Возлюби Бога,
Полюби брата,

Накорми пташку,
Пожалей кошку,
Дай больным чашку,
А другим — ложку.

Так уж Всевышний
Создал: мы — люди
Не когда дышим,
А пока — любим...

ЦИКЛОН

Погода совсем не годится,
Неделю которую льёт.
Деревня Иванковица
Теперь, как корабль, плывёт.

Как мачта, торчит колокольня.
Да только размокли дела,
И даже на богомолье
Дороги вода залила.

Ни клюквы побрать на болото,
Ни просто сходить в огород.
Стоит под водою работа,
Которой невпроворот.

ОТПЛЫТИЕ

А мне уже — простите за беспечность —
Немножко наплевать, кто в чём не прав.
Мой пароход отчаливает в вечность.
Снуют матросы, убирая трап.

А жаль — туда так мало накопил я.
Весь мой багаж — помятый чемодан.
Стоят в углу отстёгнутые крылья
Как дар, что был в прокат когда-то дан.

Мой пароход отчаливает в вечность.
Эй! Только траурных не надо драм!
Спасибо за любовь и за сердечность.
Ещё я пригожусь. До встречи — там.

ВО ПСКОВЕ

Этот город — как молитва,
Возвышать не перестанет.
Это — воин, вечно в битве,
Вечный меч на мощном стане.

Будь же век твой долгий-долгий!
...Поясок реки Великой,
Колыбель премудрой Ольги,
Валуны да часк клики.

От приволий этих — Пушкин.
От раздолий этих — Невский.
Нас храни, великодушный.
Нас крести на подвиг дерзкий.

* * *

Через тебя
для меня открывается Бог,
то, что зовётся
Неизреченная Благость,
то, без чего я
выжить бы даже не мог, —
милость,
поддерживающая
мою малость.

ДЕКАБРЬ

Вонзается в сугроб судьбы декабрь,
Вмерзает в нас, как в берег дебаркадер.
Он среди месяцев — седой декан,
Вещающий о расщепленье ядер.

Расщеплен, как лучина, год, конец.
Конец — как кладезь, где всего начало.
В нём день Екатеринин — злат венец,
Его Варвары юность увенчала.

И заново, отрадой декабрей,
Приходят, согревая ежегодник,
Апостол Первозданный наш Андрей
И Дед Морозом — Николай Угодник.

И будет чудо более всего —
Когда сгорит последняя лучина,
Затеплится во мраке Рождество
И — явится вещей Первопричина!..

ДВЕ ГОРЫ

Две горы две тыщи лет
Всё зовут в объятья:
На одной Фаворский свет,
На другой — Распятые.

На Фаворе благодать,
На Голгофе — горе,
Но без горя — не видать
Света на Фаворе.

На Фаворе хорошо!
На Голгофе — плохо,
Без разбору в порошок
Разотрёт эпоха.

И душа — как нагишом
На позор, бедняжка.
На Фаворе хорошо.
На Голгофе — тяжко.

Господи, прости, прости!
Дал бы только силы
Совесть дабы пронести
До креста-могилы,

Не предать — себе виной —
Доброту-сердечность.
Вид с Фавора: шар земной.
Вид с Голгофы: вечность.

КРЕСТНЫЙ ХОД

Крестный ход —
Он идёт и идёт
По земле моей
Каждый год.

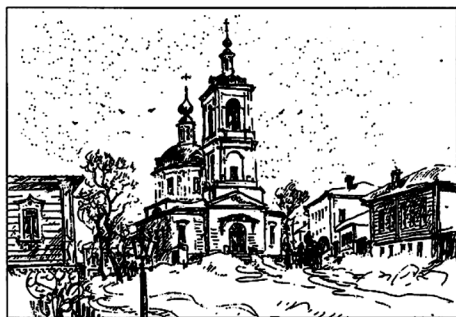
Среди бед,
Среди тысяч забот
За столетьем столетье
Проходит —
Он в тебе и во мне,
Крестный ход,
Из беспамятства
Совесть выводит.
Пусть мы спим —
Только где-то идёт
Крестный ход.

Даже если народ
Водку пьёт,
Все святыни в безумстве

Сметая, —
Как трава сквозь асфальт,
Прорастёт
Всенародная память
Святая,
Восстаёт,
Если снова зовёт
Крестный ход.

И народ мой святыни несёт,
С непривычки порой спотыкаясь,
И народ мой молитву ведёт,
На словах непростых запинаясь.

Средь лихих непогод
Пропадёт? —
Никогда не погибнет
Народ,
Раз, как совесть живая,
Идёт
Этот вечный великий поход —
Крестный ход.



В этом году мы отмечаем 195-летие победоносного завершения Отечественной войны 1812–1813 гг.

Памятником освобождения Коломны от угрозы французского нашествия стала церковь Покрова Божией Матери, построенная на Коломенском Посаде именно в 1813 году. Храм был сильно разорён, но сейчас святыня успешно восстанавливается под руководством о. Сергия Федченко.

Мы поздравляем всех коломенцев, наипаче же — общину Покровской церкви — со знаменательной датой. Пусть Коломна вновь обретёт красоту и величие своих священных монументов!

Редколлегия

ТАЙНА КОЛОМНЫ



У любого приезжающего в Коломну невольно замирает сердце от загадочного очарования этого града. В чём заключается тайна Коломны — только в её древней архитектуре или здесь скрыто ещё что-то удивительное и прекрасное? Об этом размышляет заместитель главного редактора «Коломенского альманаха» писатель Роман Славацкий.

Знаем ли мы, что такое Коломна? На первый взгляд этот вопрос может показаться парадоксальным. Для здешних жителей и для гостей Коломна — город удивительной красоты и 830-летней летописной истории. Её кремлёвские стены и златоглавые святыни радуют глаз величавой древностью своей. Но многие ли из нас видят что-то кроме внешнего образа? Не зря Гераклит, один из семи величайших мудрецов Эллады, молвил когда-то: «Скрытая гармония лучше явной». Но, увы, глубинное величие Старой Коломны остаётся неведомым для большинства её обитателей.

Разве это справедливо?

Вспомним о нашем прошлом! Вспомним о том, что шесть веков назад слава об этом священном граде гремела по всей Русской земле. И было чем гордиться. Присоединённая к Москве святым Даниилом Московским в 1300 году, Коломна становится мощнейшей опорой молодого княжества. Обстоятельства этой истории известны. Великий князь Рязанский Константин решил напасть на Москву. Его предприятие не сулило особого риска: крошечное княжество не могло тягаться с могущественной Рязанью. Одного только не учёл Константин: благоверный Даниил хоть и был последним сыном, но происходил-то он от святого Александра Невского. И он в полной мере унаследовал от отца и его воинский талант, и праведность жизни. Московский владетель не только разбил рязанца, но и захватил его в плен.

Огромный Коломенский уезд обеспечил контроль за пересечением рек Москвы и Оки и скрещением важных сухопутных дорог. Отсюда лежал кратчайший путь в Орду. Тут пролегал надёжная граница в Поочье — защита от беспокойных ордынских князей и сильной Рязани. Кстати, Даниил предложил пленни-

ку свободу, если тот признает утрату коломенских земель. Но Константин отказался, предпочтя почётный плен в Москве позорному миру.

Впрочем, его жертва оказалась напрасной. Благочестивый Даниил вскоре умер, а его наследник, Юрий Данилович, убил пленника. Это преступление вызвало ненависть рязанцев и злобу соседей. Московский князь был убит в Орде своими соперниками. Зато его преемник, Иван Данилович Калита, многократно усилил власть, закрепив за собой титул великого князя Владимирского и коломенские владения. Наследник Калиты, Симеон Гордый, прославился как крепкий государственный деятель. Но для Коломны он дорог прежде всего как духовный строитель. Его хлопотами изменилось к лучшему культурное развитие нашего края.

В 1353 году основана Коломенская епархия — первая в Московском княжестве. И это была не просто новая кафедра. На рубеже XIV—XV веков наши владыки были, как правило, викариями митрополита всея Руси; они управляли делами Русской Церкви и фактически возглавляли её в отсутствие митрополита. Отчего современники уделяли такое большое внимание встрече великого князя Дмитрия с епископом Коломенским Герасимом в Пятницких воротах кремля в августе 1380 года? Мы сегодня часто вспоминаем благословение преподобного Сергия, но для тогдашних жителей земли Русской особое значение имели события в Коломне. Почему? Да

потому, что в это время митрополичья кафедра не была замещена и вот уже в течение трёх лет духовным главой Руси был владыка Герасим. И его благословение означало, что вся Церковь освящает этот поход.

«Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть о Митяе», «Повести о Николае Заразском», многочисленные летописные известия — всё это было написано в Коломне, или о коломенцах, или при участии наших земляков.

Семь монастырей в кремле и окрестностях, три десятка приходских церквей только в городе, мастерские книжных переписчиков, иконописные артели — именно здесь от года к году собирались и умножались культурные богатства



Слово. Коломна. Фото Ю. Колесникова

ва. Шесть каменных храмов насчитывалось в наших краях; из них лишь церковь Иоанна Предтечи в Городище сохранилась до нашего времени. Это древнейшее каменное сооружение Подмосковья — вторая половина XIV века!

Лишь малая толика этих сокровищ дошла до нас. Но, даже несмотря на вражеские нашествия, страшные пожары, гражданские войны, до сих пор хранятся в государственных библиотеках созданные в Коломне рукописи, в музеях Москвы представлены десять коломенских икон. В том числе знаменитый Донской образ Богородицы, написанный для Успенского собора великим Феофаном Греком. Всё здесь наполнено славой столетий: и заречный Бобренов Богородице-Рождественский монастырь, и Успенский собор — кафедральный храм Московской епархии — монументальные очевидцы Куликовского похода. Старейшая обитель города — Богоявленский Старо-Голутвин монастырь основан в 1374 году преподобным Сергием Радонежским и благоверным Дмитрием Московским. Строгий шатёр Брусенского Успенского монастыря символизирует память о присоединении Казани в 1552 году.

А основа коломенской славы — во времена Дмитрия Донского. Не зря старинные книжники называли Коломну «любимым градом» великого князя. Сохранилась легенда, что он даже родился в наших краях. И то, что княжеская свадьба прошла здесь в 1366 году, достаточно показательно. В кремле, в домовый Воскресенской церкви московского государя, таинство браковенчания соединило двух будущих святых Русской Православной Церкви: Дмитрия Донского и Евдокию (Евфросинию) Московскую.

Соборной площади пришлось стать свидетельницей важнейших и драматичнейших событий российской истории. Здесь в 1433 году находился



Стена Коломенского кремля. Фото В.Смылова

в ссылке Василий Тёмный, так что на краткое время наш город превратился в столицу Московского княжества. Тут властители Руси собирали войска для защиты Отчизны, строили обетные святыни, молились о чадородии, укрепляли город. Царь Василий III украсил цитадель великолепным памятником итальянского Возрождения — алым семнадцатибашенным кремлём.

С тех пор бытуют у нас таинственные предания о государевой библиотеке, что хранилась некогда в царских палатах, о священных реликвиях и загадочных кладах. Но что пользы грустить об утраченных или спрятанных сокровищах? Сама Коломна — сокровище, драгоценный узорчатый ларец, украшенный дивными памятниками средневекового искусства. А за священными стенами этого ковчега хранятся свидетельства истории, в которых воплощено самое драгоценное, самая суть русской души. Мы, по своему недомыслию, забыли о своих сокровищах, мы разрывали златотканые ризы русской истории, приговаривая: вот здесь — история народа, а вот тут — «церковное мракобесие». Да как возможно оторвать нашу культуру от веры? Разве можно душу вынуть из человека, не причинив ему вреда?

То, что церковность всегда была основой коломенского духа, — это не досужие придумки, а неоспоримый факт. Вспомним: когда центральная власть призабыла о городе и о его прежних заслугах, ведь только Церковь возвышала Коломну. На пороге Нового времени наша крепость стала тыловой, и главным занятием здешних обитателей сделались торговля да ремесло. Смута начала XVII столетия в последний раз



Коломна. 1711 год

потрясла город воинским громом, оставив по себе развалины и легенды о Маринином кладе. Но церковные иерархи не забыли о древнем крае. В середине века, в эпоху горестного раскола, Коломенская епархия на десять лет стала Патриаршей областью, владением великого Никона.

Архитектурный образ целиком формировался церковными постройками. Мало того, что возвели новый пятиглавый Успенский собор и грандиозную Соборную колокольню; весь город, не только кремль, но и Посад, украсился созвездием церквей, чьи золотые венцы и высокие звонницы создали прихотливый силуэт Старой Коломны. Наши земляки составляли учебные пособия, в том числе и в стихотворной форме, как, например, загадочный Прохор Коломнятин.

А потом, в петровские времена, когда повсеместно стали учреждаться духовные семинарии, и у нас возникла церковная школа, а затем и семинария, и не где-нибудь, а на Архиерейском дворе. Наши владыки входили в число наиболее образованных людей России. К примеру, последний коломенский епископ, Афанасий (Иванов), стал архиереем из ректоров Славяно-греко-латинской академии. Он был дружен с просветителем Новиковым и сам не чуждался литературного труда. Он определил настоятелем Успенского собора и учителем семинарии о. Василия Протопопова, талантливого поэта и переводчика.

Выпускником коломенской духовной школы был и митрополит Московский Платон (Левшин), «русский Златоуст», известный на всю Россию своим ораторским искусством. В трудные для нас дни, когда Павел I повелел упразднить Коломенскую епархию, а кафедру перевести в Тулу, он поддержал город. Владыка взял нас под своё управление и с тех пор стал именоваться митрополитом Московским и Коломенским. Это не вполне исцелило боль утраты. Но коломенцы по крайней мере могли гордиться, что их город стал второй кафедрой в первой епархии России.

Кстати, когда граф Аракчеев собрался приспособить пустующий Архиерейский дом под кавалерийские казармы, именно митрополит Платон спас кремль от такого поругания. В 1802 году на месте епархиального подворья он учредил Троицкий Ново-Голутвин монастырь. И то, что Соборная площадь не только не запустела, а стала ещё краше, — прямая заслуга знаменитого владыки.

Что же говорить о святителе Филарете (Дроздове)! Величайший церковный деятель своего века, богослов, мыслитель, педагог, непревзойдённый проповедник, талантливый литератор и, наконец, русский святой, небесный покровитель нашего града... Как мы будем «делить» его? Вот здесь, мол, он — деятель культуры, а здесь — церковник. Какая бессмыслица! Ведь святитель потому и оказал огромное воздействие на культуру России, что был человеком Церкви. Его непререкаемый нравственный авторитет основан на глубочайшей православной духовности. Здесь истоки его сильнейшего влияния на русскую литературу, на множество отечественных писателей, начиная с великого Пушкина.

И то, что наш уроженец, создатель жанра русского исторического романа И.И. Лажечников в своих воспоминаниях гордится тем, что он земляк Филарета, — это не преувеличение, а истинная правда.

Конечно, в XIX веке Коломна оставалась провинцией. Но необычная это была провинция! Своим богатством и архитектурой наш уездный город скорее смахивал на губернский. Множество каменных домов клас-

сической архитектуры — громадные усадьбы с колоннадами, флигелями, роскошными подъездными воротами... Среди них встречаются и работы гениального архитектора Матвея Казакова. Вообще, весь город выстроен в казаковском духе: распланирован под прямыми углами, строгие кварталы следуют один за другим, как в римском военном лагере. А над ними парят воздушные силуэты церквей, в том числе Вознесенский храм — того же Казакова. Нарядная «русская готика» заковала коломенские монастыри стрельчатыми коронами причудливых оград. Но не это было главным. А главное — то, что под провинциальной роскошью Коломна скрывала неизреченные глубины древней истории. Это затаённое прошлое, сплавленное огнём и кровью, освящённое драгоценными реликвиями, лишь изредка проявлялось — то через таинственные легенды, то через вековые обычаи. До девятнадцатого века и даже до наших дней сохранилось почитание Пятницких ворот кремля как памятника Куликовского похода.

Как раз об этих легендарных пластах повествует наш «неопознанный гений» — знаменитый философ, богослов и писатель второй половины XIX века Никита Гиляров-Платонов. Строки его воспоминаний «Из пережитого» оживили полузабытую старину.

И всё же образ минувшего оставался скрытым — так древняя икона таится под многими покрывами записей и поновлений.

И вот странность: катастрофа 1917 года, принёсшая столько ужасающих бедствий, человеческих и культурных потерь, заставила нас другими глазами взглянуть на историю Коломны. Как будто произошло землетрясение: геологические пласты сдвинулись, открывая прежде неизвестное, обнажая логику формирования материка. Многое было утрачено, обращено в руины, но вместе с тем исчезло наносное; бездна времени раскрыла свою стратиграфию, точно в археологическом раскопе.

Недаром именно в эти времена, в начале XX столетия, так много пишут о Коломне не только учёные-историки, но прежде всего — знаменитые литераторы. Ахматова, Есенин, Заболоцкий, Соколов-Микитов, Чайнов, Куприн, Пильняк и многие, многие другие — все они, словно таинственные золотокузнецы, осыпали нашу землю кружевом словесных самоцветов.

О пашни, пашни, пашни,
Коломенская грусть,
На сердце день вчерашний,
А в сердце светит Русь.
...О край разливов грозных
И тихих вешних сил,
Здесь по заре и звёздам
Я школу проходил.
И мыслил и читал я
По библии ветров,
И пас со мной Исайя
Моих золотых коров.

В этих грохочущих есенинских строках — исполинский размах московской земли, былинная правда Коломны, внезапно раскрытая ветром времени.



Возрождение. Фото В.Смылова

Не будем предаваться историко-краеведческим причитаниям по поводу культурных потерь в советскую эпоху. Банально это. Да, конечно, мы многое потеряли. Но мы и многое обрели. Над нами — сонм новомучеников, которые в годы гонений кровью своей запечатлели верность отеческой вере. Перед нами — неисчислимые сокровища духовности, созданные в новые времена. И в нас — память о единстве истории, о величии средневековой культуры, масштаб и значение которой лишь начинают осознаваться современниками.

Зримое свидетельство этого признания — тот факт, что впервые с послевоенных времён Коломна не только по титулу, но и на деле стала кафедральным городом Московской епархии. Причём дело не ограничилось реставрацией и освящением кафедрального Успенского собора.

Здесь же, на Соборной площади, восстановлена епархиальная резиденция. Тут, в Митрополичьих палатах, владыка Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский, не раз принимал Патриарха всея Руси, Президента России, губернатора Московской области и немало других облечённых властью людей.

Недаром Коломна, сравнительно небольшой районный город, избрана в 2007 году столицей всероссийского церковно-государственного праздника — Дня славянской письменности и культуры.

Знаем ли мы, что такое Коломна? Нет, мне кажется, мы лишь только начинаем понимать её глубинный смысл. И дай Бог, чтобы нам или хотя бы детям нашим удалось увидеть цельной и обновлённой эту громадную фреску: непрерывную восьмивековую ленту созидания, поисков и веры!

Дорогие наши
меценаты!

Редакционная
коллегия
«Коломенского
альманаха»
выражает вам
сердечную
признательность
за содействие
в издании
очередного номера
нашего
литературного
ежегодника.
За десять лет
своего
существования
«Коломенский
альманах»
приобрёл широкую
известность
в России, получил
множество
положительных
отзывов и
рецензий в самых
авторитетных
литературных
изданиях.
И в том, что
славное имя
Коломны достойно
звучит
на российских
литературных
просторах, есть
и большая ваша
заслуга!

НАШИ МЕЦЕНАТЫ

Валерий Иванович ШУВАЛОВ,

глава городского округа Коломны

Алексей Борисович МАЗУРОВ,

ректор Коломенского государственного
педагогического института

Валерий Михайлович КАШИН,

начальник — главный конструктор
Коломенского Бюро машиностроения

Валерий Николаевич НИЛОВ,

генеральный директор
ООО концерна «ЮГ»

Николай Николаевич СИДЕЛЁВ,

директор автоколонны № 1417 ГУП
«Мострансавто»

Николай Тимофеевич ВОРОНИН,

генеральный директор ООО ПКФ
«ДОММ»

Валерий Семёнович КОССОВ,

директор ФГУП «ВНИКТИ»
МПС России

Сергей Сергеевич СЕРГЕЕВ,

директор научно-производственной
ассоциации «ТЕХНО-АС»

Евгений Владимирович ЗАХАРЧЕНКО,

генеральный директор ООО
«Теплогарант — Плюс»

Эдуард Насибуллович ТУМЕРКИН,

директор ООО «Ракурс»

Юрий Михайлович УГОЛЕВ,

директор экономической научно-производственной фирмы
«Новатор»

Игорь Викторович ЧИРКОВ,

индивидуальный предприниматель

Наталья Николаевна ДРАНЕЕВА,

заместитель председателя правления Коломенской городской
организации общества «Знание»

Михаил Яковлевич АРЕНЗОН,

главный редактор еженедельной газеты «Ять»

Марина Николаевна МАЛИЦКАЯ,

директор салона штор «Эники»

Сергей Анатольевич АСТАПОВ,

руководитель Аккредитованного Коломенского учебного
компьютерного Центра общества «Знание» России

Людмила Платоновна РЫБАЛКА,

индивидуальный предприниматель

Роман СЛАВАЦКИЙ

Шепчет Время в собранных страницах;
каждый том — столетий мощный вздох.
В каждой книге спрятана частица
ваших мыслей, планов и трудов.
Тут не только строфы или проза,
тут ещё — людская доброта,
щедрой жертвы долгий ровный отзвук,
мир, открытый с чистого листа!

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ
«КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В.С. МЕЛЬНИКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Р.В. СЛАВАЦКИЙ
В.В. УШАКОВА
О.В. КОЧЕТКОВ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
А.Г. ВАСИЛЬЕВА

РЕДКОЛЛЕГИЯ
М.Г. Абакумов, А.П. Ауэр, С.А. Астапов, Т.Ф. Башкирова,
Е.С. Гринин, А.М. Дудкин, А.И. Кузовкин, В.Н. Леонов,
Е.А. Новикова, С.И. Патрикеев,
И.Е. Ракша (Москва), А.А. Сахаров (Воскресенск),
М.М. Сигал, О.Ю. Шилов

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕДАКЦИИ
М.Н. Алексеев — писатель, Герой Социалистического Труда
Л.И. Бородин — главный редактор журнала «Москва»
В.Н. Ганичев — председатель Союза писателей России
В.Н. Крупин — писатель
С.Ю. Куняев — главный редактор журнала «Наш современник»
В.В. Личутин — писатель
А.Б. Мазуров — ректор Коломенского государственного педагогического института
Н.В. Маркелова — председатель Комитета по культуре администрации г. Коломны
С.М. Харламов — народный художник России
Л.И. Хитяева — народная артистка СССР
В.И. Шувалов — глава городского округа Коломна
Е.Ю. Юшин — главный редактор журнала «Молодая гвардия»

В оформлении обложки использован фотозтиюд Юрия Колесникова
Фотопортреты авторов выполнены Юрием Имханицким и Львом Авдеевым
Штриховой рисунок, посвящённый 830-летию г. Коломны, выполнен

художником Евгением Грининым
Редакторы А.Г. Васильева, В.В. Ушакова
Художник Е.С. Гринин
Компьютерная вёрстка Е.Ю. Ерофеева
Корректор Л.М. Боровикова

Свидетельство о регистрации ПИ № 1-50294 от 26 апреля 2002 года Министерства
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
140402, Московская область, г. Коломна, ул. Калинина, д. 49. Тел. (4966) 13-31-78.
E-mail: glago@inbox.ru

Подписано в печать 28.03.07. Формат 70x100/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22. Тираж 1000 экз. Заказ
Издательство журнала «Москва». 121918, Москва, ул. Арбат, 20.
Тел. (495) 291-83-91, 291-71-10. Факс (495) 291-07-32.
Типография ОАО «Астра-Полиграфия», 119019, Москва, Филипповский пер., 13.